

ISSN 0130-7673

И О В Ы И М Т Р

N *M O T R* Y

4



1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(840)

Апрель, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР МАКАНИН — Кавказский пленный, рассказ	3
МЯТНЫЕ ПРЯНИКИ ВРЕМЕНИ В РОЗОВОМ КЛЮВЕ, стихи из русской провинции. Евгений Карасев. Распахнуть окно и сорвать яблоко. Михаил Сопин. Почему говорим мы на разной волне. Елена Ягунова. Поздние встречи. Сергей Васильев. Синица, твоё чаепитье	20
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ — У нас в богадельне, маленькая повесть	30
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ — Десять стихотворных приложений к бойкому месту	53
МИХАИЛ БУТОВ — Астрономия насекомых, рассказ	60
«СРЕДИ ПЛАМЕНИ СТОЮ, ПЕСНЬ ПЛАЧЕВНУЮ ПОЮ». Из смоленского фольклора. Предисловие Дмитрия Покровского. Подготовка текстов и пояснения Ольги Юкечевой	69

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР — 16-й день Хэворта 1924 года. Перевела с английского И. Бернштейн	80
--	----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ. — Последний рубеж	118
------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ КЛЯМКИН — Новая демократия или новая диктатура?	129
Д. ШТУРМАН — Размышления о либерализме	159

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ — Эстафета	169
----------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

- ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Воскресшее слово. Главы из
книги. Окончание 171

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Тень «Амаркорда» 215

ПО ХОДУ ДЕЛА

- АЛЛА МАРЧЕНКО — «...зывается vulgar» 227

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

230

Дмитрий Бак. Плененный свободой.
Вл. Славецкий. Дороги и тропинка.
Валерий Липневич. Человек одинокий.
Марина Новикова. Пушкин в зеркале фольклора.
Елена Сорокина. Музыка вчера, сегодня, завтра.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — О возможностях творчества 247
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 251
КНИЖНАЯ ПОЛКА 253
SUMMARY 256

«Новый мир» — 70 лет издания.
«Новый мир» — более 800 номеров с момента основания.
«Новый мир» — зеркало сегодняшней российской словесности.

Уважаемые читатели! Не забудьте вовремя продлить вашу подписку. Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, то вы можете оформить подписку на «Новый мир» прямо в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»**
в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, D-80328 München Germany
Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d
Fax (089) 54-218-218

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННЫЙ

Рассказ

1

Солдаты, скорее всего, не знали про то, что *красота спасет мир*, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо — она пугала. Из горной теснины выпрыгнул вдруг ручей. Еще более насторожила обоих открытая поляна, окрашенная солнцем до ослепляющей желтизны. Рубахин шел первым, более опытный.

Куда вдруг делись горы? Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о счастливом детстве (которого не было). Особняком стояли над травой гордые южные деревья (он не знал их названий). Но более всего волновала равнинную душу эта высокая трава, дышавшая под несильным ветром.

— Стой-ка, Вов. Не спеши, — предупреждает негромко Рубахин.

Быть на незнакомом открытом месте — все равно что быть на мушке. И прежде чем выйти из густого кустарника, Вовка-стрелок вскидывает свой карабин и с особой медлительностью ведет им слева направо, используя оптический прицел как бинокль. Он затаил дыхание. Он оглядывает столь щедрое солнцем пространство. Он замечает у бугра маленький транзисторный приемник.

— Ага! — восклицает шепотом Вовка-стрелок. (Бугор сух. Приемничек сверкнул на солнце стеклом.)

Короткими перебежками оба солдата в пятнистых гимнастерках добираются до вырытой наполовину (и давно заброшенной) траншеи газопровода — до рыжего, в осенних красках бугра. Они повертели в руках: они уже узнали приемничек. Ефрейтор Боярков, напившись, любил уединиться, лежа где-нибудь в обнимку с этим стареньким транзистором. Раздвигая высокую траву, они ищут тело. Находят неподалеку. Тело Бояркова привалено двумя камнями. Обрел смерть. (Стреляли в упор — он, похоже, и глаза свои пьяные не успел протереть. Впалые щеки. В части решили, что он в бегах.) Документов никаких. Надо сообщать. Но почему боевики не взяли транзистор? Потому что улика. Нет. А потому, что слишком он старенький и дребезжащий. Не вещь. Необратимость случившегося (смерть — один из ясных случаев необратимости) торопит и против воли подгоняет: делает обоих солдат суетными. Орудуя плоскими камнями как лопатами, они энергично и быстро закапывают убитого. Так же наскоро слепив над ним холмик земли (приметный насыпной холм), солдаты идут дальше.

И вновь — на самом выходе из теснины — высокая трава. Ничуть не пожухла. Тихо колышется. И так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими солдатами) птицы. Возможно, в этом смысле красота и спасает мир. Она нет-нет и появляется как знак. Не давая человеку сойти с пути. (Шагая от него неподалеку. С присмотром.) Заставляя насторожиться, красота заставляет помнить.

Но на этот раз открытое солнечное место оказывается знакомым и безопасным. Горы расступаются. Впереди ровный путь, чуть дальше наезжен-

ная машинами пыльная развилка, а там и — воинская часть. Солдаты невольно прибавляют шагу.

Подполковник Гуров, однако, не в части, а у себя дома. Надо идти. Не передохнув и минуты, солдаты топаят туда, где живет подполковник, всесильный в этом месте, а также во всех примыкающих (красивых и таких солнечных) местах земли. Живет он с женой в хорошем деревенском доме, с верандой для отдыха, увитой виноградом; при доме есть и хозяйство. Время жаркое — полдень. На открытой веранде подполковник Гуров и его гость Алибеков; разморенные обедом, они дремлют в легких плетеных креслах в ожидании чая. Рубахин докладывает, запинаясь и несколько робея. Гуров сонно смотрит на них обоих, таких пропыленных (пришедших к нему незвано и — что тоже не в пользу — совсем незнакомых ему своими лицами); на миг Гуров молодеет; резко повысив голос, он выкрикивает, никакой подмоги кому бы то ни было, какая, к чертям, подмога! — ему даже смешно слушать, чтобы он направил куда-то своих солдат выручать грузовики, которые по собственной дурости *влипли* в ущелье!..

Больше того: он их так не отпустит. Рассерженный, он велит обоим солдатам заняться песком: пусть-ка они честно потрутся — помогут во дворе. Кррругом — арш! И чтоб разбросали ту гору песка у въезда. И чтоб песок по всем дорожкам! — к дому и к огороду — грязь всюду, мать ее перемать, не пройдешь!.. Жена подполковника, как и все хозяйки на свете, рада дармовым солдатским рукам. Анна Федоровна, с засученными рукавами, в грязных разбитых мужских ботинках, тут же и появляется на огороде с радостными кликами: пусть, пусть еще и с грядками ей помогут!..

Солдаты развозят песок на тачках. Разбрасывают его, сеют лопатами по дорожкам. Жара. А песок сырой, брали, видно, у речки.

Вовка водрузил на кучу песка транзистор убитого ефрейтора, нашел поддерживающую дух ритмичную музыку. (Но негромко. Для своего же блага. Чтоб не помешать Гурову и Алибекову, разговаривающим на веранде. Алибеков, судя по доносящимся тягучим его словам, выторговывает оружие — дело важное.)

Транзистор на песчаном бугре еще раз напоминает Рубахину, какое красивое место выбрал себе Боярков на погибель. Пьяненький дурак, он в лесу спать побоялся, на полянку вышел. Еще и к бугру. Когда боевики набегали, Боярков толкнул свой приемничек в сторону (своего верного дружка), чтобы тот сполз с бугра в траву. Боялся, что отнимут, — мол, сам как-нибудь, а его не отдам. Едва ли! Заснул он пьяный, а приемник попросту выпал у него из рук и, съехав на чуть, скатился по склону.

Убили в упор. Молодые. Из тех, что хотят поскорее убить первого, чтобы войти во вкус. Пусть даже сонного. Приемник стоял теперь на куче песка, а Рубахин видел тот залитый солнцем рыжий бугор, с двумя цепкими кустами на северном склоне. Красота места поразила, и Рубахин — памятью — не отпускает (и все больше вбирает в себя) склон, где уснул Боярков, тот бугор, траву, золотую листву кустов, а с ними еще один опыт выживания, который ничем незаменим. Красота постоянна в своей попытке спасти. Она окликнет человека в его памяти. Она напомнит.

Сначала они разгоняли тачки по вязкой земле, потом догадались: покидали по дорожкам доски. Первым шустро катит тачку Вовка, за ним, нагрузив горой, толкает свою огромную тачку Рубахин. Он разделся до пояса, поблескивая на солнце мощным и мокрым от пота телом.

2

— Даю десять «калашниковых». Даю пять ящиков патронов. Ты слышал, Алибек, — не три, а пять ящиков.

— Слышал.

— Но чтоб к первому числу провиант...

— Я, Петрович, после обеда немного сплю. Ты тоже, как я знаю. Не забыла ли Анна Федоровна наш чай?

— Не забыла. За чай не волнуйся.

— Как не волноваться! — смеется гость. — Чай — это тебе не война, чай остывает.

Гуров и Алибеков помалу возобновляют свой некончающийся разговор. Но вялость слов (как и некоторая ленивость их спора) обманчива — Алибеков прибыл за оружием, а Гурову, его офицерам и солдатам, позарез нужен провиант, прокорм. Обменный фонд, конечно, оружие; иногда бензин.

— Харч чтобы к первому числу. И чтоб без этих дурацких засад в горах. Вино не обязательно. Но хоть сколько-то водки.

— Водки нет.

— Ищи, ищи, Алибек. Я же ищу тебе патроны!

Подполковник зовет жену: как там чай? ах, какой будет сию минуту отменный крепкий чай! — Аня, как же так? ты кричала нам с грядок, что уже заварила!

В ожидании чая оба неспешно, с послеобеденной ленцой закуривают. Дым так же лениво переползает с прохладной веранды на виноград и — пластами — тянется в сторону огорода.

Сделав Рубахину знак: мол, попытаюсь добыть выпивки (раз уж здесь застряли), стрелок отходит шаг за шагом к плетеному забору. (У Вовки всегда хитрые знаки и жесты.) За плетнем молодая женщина с ребенком, и Вовка-стрелок тотчас с ней перемигивается. Вот он перепрыгнул плетень и вступает с ней в разговор. Молодец! А Рубахин знай толкает тачку с песком. Кому что. Вовка из тех бойких солдат, кто не выносит вялотекущей работы. (И всякой другой работы тоже.)

И надо же: поладили! Удивительно, как сразу эта молодуха идет навстречу — словно бы только и ждала солдата, который ласково с ней заговорит. Впрочем, Вовка симпатичный, улыбчивый и где на лицную секунду задержится — пустит корешки.

Вовка ее обнимает, она бьет его по рукам. Дело обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает, что надо бы завлечь ее в глубь избы. Он уговаривает, пробует с силой тянуть за руку. Молодуха упирается: «А вот и нету!» — смеется. Но за шагом шаг они смещаются оба в сторону избы, к приоткрытой там из-за жары двери. И вот они там. А малыш, неподалеку от двери, продолжает играть с кошкой.

Рубахин тем временем с тачкой. Где не проехать, он, перебрав с прежних мест, вновь выложил доски в нитку — он осторожно вел по ним колесо, удерживая на весу тяжесть песка.

Подполковник Гуров продолжает неторопливый торг с Алибековым, жена (она вымыла руки, надела красную блузку) подала им чай, каждому свой — два по-восточному изящных заварных чайника.

— Хорошо заваривает, умеет! — хвалит Алибеков.

Гуров:

— И чего ты упрямишься, Алибек!.. Ты ж, если со стороны глянуть, пленный. Все ж таки не забывай, где ты находишься. Ты у меня сидишь.

— Это почему же — я у тебя?

— Да хоть бы потому, что долины здесь наши.

— Долины ваши — горы наши.

Алибеков смеется:

— Шутишь, Петрович. Какой я пленный... Это ты здесь пленный! — Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: — Он пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат — пленный!

Смеется:

— А я как раз не пленный.

И опять за свое:

— Двенадцать «калашей». И семь ящиков патронов.

Теперь смеется Гуров:

— Двенадцать, ха-ха!.. Что за цифра такая — двенадцать? Откуда ты берешь такие цифры?.. Я понимаю — десять; цифра как цифра, запомнить можно. Значит, стволов — десять!

— Двенадцать.

— Десять...

Алибеков восхищенно вздыхает:

— Вечер какой сегодня будет! Ц-ц!

— До вечера еще далеко.

Они медленно пьют чай. Неторопливый разговор двух давно знающих и уважающих друг друга людей. (Рубахин катит очередную тачку. Накрепляет ее. Ссыпает песок. Разбрасывая песок лопатой, ровняет с землей.)

— Знаешь, Петрович, что старики наши говорят? В поселках и в аулах у нас умные старики.

— Что ж они говорят?

— А говорят они — поход на Европу пора делать. Пора опять идти туда.

— Хватил, Алибек. Евро-опа!..

— А что? Европа и есть Европа. Старики говорят, не так далеко. Старики недовольны. Старики говорят, куда русские, туда и мы — и чего мы друг в дружку стреляем?

— Вот ты и спроси своих кунаков — чего?! — сердито вскрикивает Гуров.

— О-о-о, обиделся. Чай пьем — душой добреем...

Какое-то время они молчат. Алибеков снова рассуждает, неторопливо подливая из чайника в чашку:

— ...не так уж она далеко. Время от времени ходить в Европу надо. Старики говорят, что сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет.

— Когда еще станет. Жди!

— Чай отличный. Ах, Анна Федоровна, завари нам еще. Очень прошу!

Гуров вздыхает:

— Вечер и правда будет чудный сегодня. Это ты прав.

— А я всегда прав, Петрович. Ладно, десять «калашей», согласен. А патронов — семь ящиков...

— Опять за свое. Откуда ты берешь такие цифры — нет такой цифры семь!

Хозяйка несет (в двух белых кастрюлях) остатки обеда, чтобы скормить пришлым солдатам. Рубахин живо откликается — да! да! солдат разве откажется!.. «А где второй?» И тут запинаящемуся Рубахину приходится тяжело лгать: мол, ему кажется, у стрелка живот скрутило. Подумав, он добавляет чуть более убедительно: «Мается, бедный». — «Может, зелени наелся? яблок?» — спрашивает сердобольно подполковничиха.

Окрошка вкусна, с яйцом, с кусками колбасы; Рубахин так и склонился над первой кастрюлей. При этом он громко бьет ложкой по краям, гремит. Знак.

Вовка-стрелок слышит (и, конечно, понимает) звук стучащей ложки. Но ему не до еды. Молодая женщина в свою очередь слышит (и тоже понимает) доносящееся со двора истеричное мяуканье и вслед вскрик оцарапанного малыша: «Маа-ам!..» Видно, задергал кошку. Но женщина сейчас вся занята чувством: истосковавшаяся по ласке, с радостью и с жадностью она обнимает стрелка, не желая упустить счастливый случай. Про стрелка и говорить нечего — солдат есть солдат. И тут снова детский капризный крик: «Ма-ааам...»

Женщина срывается с постели — высунув голову в дверь, она цыкнула на малыша; и притворяет дверь плотнее. Босо протопав, возвращается к солдату; и словно вся вспыхивает заново. «Ух, жаркая! Ух, ты даешь!» — восхищен Вовка, а она зажимает ему рот: «Тс-сс...»

Шепотом Вовка излагает ей нехитрый солдатский наказ: просит молодую женщину сходить в сельпо и купить там дрянного их портвейна, солдату в форме не продадут, а ей это пустяк...

Он делится с ней и главной заботой: им бы сейчас не бутылку — им бы ящик портвейна.

— Зачем вам?

— В уплату. Дорогу нам заперли.

— А чо ж вы, если портвейн нужен, к подполковнику пришли?

— Дураки, вот и пришли.

Молодая женщина вдруг плачет — рассказывает, что недавно она сбилась с дороги и ее изнасиловали. Вовка-стрелок, удивленный, присвистывает: вот ведь как!.. Посочувствовав, он спрашивает (с любопытством), сколько ж их было? — их было четверо, она всхлипывает, утирая глаза уголком простыни. Ему хочется порасспросить. Но ей хочется помолчать. Она утыкается головой, ртом ему в грудь: хочется слов утешения; простое чувство.

Разговаривают: да, бутылку портвейна она, конечно, купит ему, но только если стрелок пойдет с ней к магазину. Она сразу же купленную бутылку ему передаст. Не может она с бутылкой идти домой, после того что с ней случилось, — люди знают, люди что подумают...

Во второй кастрюле тоже много еды: каша и кусок мяса из консервов, — Рубахин все уминает. Он ест не быстро, не жадно. Запивает он двумя кружками холодной воды. От воды его немного знобит, он надевает гимнастерку.

— Отдохнем малость, — говорит он самому себе и уходит к плетню.

Он прилег; впадает в дрему. А из соседнего домика, куда скрылся Вовка, через открытое окно доносится тихий сговор.

Вовка: — ...тебе подарок куплю. Косынку красивую. Или шаль тебе разыщу.

Она: — Ты ж уедешь. — Заплакала.

Вовка: — Так я пришлю, если уеду! Какое тут сомненье!..

Вовка долго упрашивал, чтобы она стоя согнулась. Не слишком высокий Вовка (он этого никогда не скрывал и охотно рассказывал солдатам) любил обхватить крупную женщину сзади. Неужели она не понимает? Так приятно, когда женщина большая... Она отбивалась, отнекивалась. Под их долгий, жаркий шепот (слова уже становились неразличимы) Рубахин уснул.

Возле магазина, едва получив портвейн из ее рук, Вовка сует бутылку в глубокий надежный карман солдатских брюк и — бегом, бегом — к Рубахину, которого он оставил. Молодая женщина так его выручила, и кричит, с некоторой опаской напрягая на улице голос, кричит вслед с упреком, но Вовка машет рукой, уже не до нее — все, все, пора!.. Он бежит узкой улицей. Он бежит меж плетней, срезая путь к дому подполковника Гурова. Есть новость (и какая новость!) — стрелок стоял, озираясь, возле их заплеванного магазинишки (ожидая бутылку) и услышал об этом от проходивших мимо солдат.

Перепрыгнув плетень, он находит спящего Рубахина и толкает его:

— Рубаха, слышь!.. Дело верное: старлей Савкин пойдет сейчас в лес на разоружение.

— А? — Рубахин заспанно смотрит на него.

Вовка сыплет словами. Торопит:

— На разоружение идут. Нам бы с ними. Прихватим чурку — вот бы и отлично! Ты ж сам говорил...

Рубахин уже проснулся. Да, понял. Да. Будет как раз. Да-а, нам скорее всего там повезет — надо идти. Солдаты тихо-тихо выбирают из подполковничьей усадьбы. Они осторожно забирают вещмешки, свое оружие, стоявшее у колодца. Они перелазят плетень и уходят чужой калиткой, чтобы те двое, с веранды, их не увидели и не окликнули.

Их не увидели; и не окликнули. Сидят.

Жара. Тихо. И Алибеков негромко напевает, голос у него чистый:

Все здесь замерло-ооо до утра-ааа...

Тихо.

— Люди не меняются, Алибек.

— Не меняются, думаешь?

— Только стареют.

— Ха. Как мы с тобой... — Алибеков подливает тонкой струей себе в чашку. Ему уже не хочется торговаться. Грустно. К тому же все слова он сказал, и теперь правильные слова сами (своей неспешной логикой) доберутся до его старого друга Гурова. Можно не говорить их вслух.

— Вот чай хороший совсем исчез.

— Пусть.

— Чай дорожает. Еда дорожает. А время не меня-я-яется, — тянет слова Алибеков.

Хозяйка как раз вносит на смену еще два заварных чайника. Чай — это верно. Дорожает. «Но меняется время или нет, а прокорм ты, брат, привезешь...» — думает Гуров и тоже слова вслух пока не произносит.

Гуров знает, что Алибеков поумнее, похитрее его. Зато его, Гурова, многие мысли прочны и за долгие годы продуманы до такой белой ясности, что это уже и не мысли, а части его собственного тела, как руки и ноги.

Раньше (в былые-то дни) при интендантских сбоях или просто при задержках с солдатским харчем Гуров тотчас надевал парадный мундир. Он цеплял на грудь свой орден и медали. В армейском «козлике» ГАЗ-69 (с какой пылью, с каким ветерком!) мчал он по горным извилистым дорогам в районный центр, пока не подкатывал наконец к известному зданию с колоннами, куда и входил не сбавляя шага (и не глядя на умученных ожиданием посетителей и просителей), напрямик в кабинет. А если не в райкоме, то в исполкоме. Гуров умел добиться. Бывало, и сам рулил на базу, и взятку давал, а иногда еще и умасливал кого нужно красивым именным пистолетом (мол, пригодится: Восток — это Восток!.. Он и думать не думал, что когда-нибудь эти игристые слова сбудутся). А теперь пистолет ничто, тьфу. Теперь десять стволов мало — дай двенадцать. Он, Гуров, должен накормить солдат. С возрастом человеку все тяжелее даются перемены, но взамен становишься более снисходителен к людским слабостям. Это и равновесит. Он должен накормить также и самого себя. Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей продолжаться — вот весь ответ. Обменивая оружие, он не думает о последствиях. При чем здесь он?.. Жизнь сама собой переменялась в сторону всевозможных обменов (меняй что хочешь на что хочешь) — и Гуров тоже менял. Жизнь сама собой переменялась в сторону войны (и какой дурной войны — ни войны, ни мира!) — и Гуров, разумеется, воевал. Воевал и не стрелял. (А только время от времени разоружал по приказу. Или, в конце концов, стрелял по другому приказу; свыше.) Он поладит и с этим временем, он соответствует. Но... но, конечно, тоскует. Тоскует по таким понятным ему былым временам, когда, примчавшись на своем «газике», он входил в тот кабинет и мог накричать, всласть выmaterить, а уж потом, снисходя до мира, развалиться в кожаном кресле и покуривать с райкомовцем, как с дружком-приятелем. И пусть ждут просители за дверью кабинета. Однажды не застал он райкомовца ни в кабинете, ни дома: тот уехал. Но зато застал его жену. (Поехав к ним домой.) И отказа тоже не было. Едва начинавшему тогда сидеть, молодцеватому майору Гурову она дала все, что только может дать скучающая женщина, оставшаяся летом в одиночестве на целую неделю. Все, что могла. Все, и даже больше, подумал он (имея в виду ключи от огромного холодильника номер два, их районного мясокомбината, где складировали свежесокопченое мясо).

— Алибек. Я тут вспомнил. А копченого мяса ты не достанешь?..

3

Операция по разоружению (еще с ермоловских времен она и называлась «подковой») сводилась к тому, что боевиков окружали, но так и не замыкали окружение до конца. Оставляли один-единственный выход. Торопясь по этой тропе, боевики растягивались в прерывистую цепочку, так что из засады — хоть справа, хоть слева — взять любого из них, утянуть в кусты (или в прыжке сбить с тропы в обрыв и там разоружить) было делом не самым простым, но возможным. Конечно, все это время шла частая стрельба поверх голов, пугавшая и заставлявшая их уходить.

Оба затесались в число тех, кто шел на разоружение, однако Вовку высмотрели и тотчас изгнали: старлей Савкин полагался только на своих. Взгляд старлея скользнул по мощной фигуре Рубахина, но не уперся в него, не цапнул, и хрипатого приказа «*Два шага вперед!*..» не последовало — скорее всего, старлей просто не приметил. Рубахин стоял в группе самых мощных и крепких солдат, он с ними сливался.

А как только началась стрельба, Рубахин поспешил и уже был в засаде; он покурился в кустах с неким ефрейтором Гешей. Солдаты-старогодки, они вспоминали тех, кто демобилизовался. Нет, не завидовали. Хера ли завидовать? Неизвестно, где лучше...

— Шустро бегут, — сказал Геша, не подымая глаз на мелькавшие в кустах тени.

Боевики бежали сначала по двое, по трое, с шумом и треском проносясь по заросшей кустами старинной тропе. Но кого-то из одиночек уже расхватывали. Вскрик. Возня... и тишина. («Взяли?» — спрашивал Геша глазами Рубахина, и тот кивком отвечал: «Взяли».) И вновь нарастал треск в кустах. Приближались. Стрелять они еще худо-бедно умели (и убивать, конечно, тоже), но бежать через кусты с оружием в руках, с патронташем на шее да еще под выстрелами — конечно, тяжело. Спугнутые, натываясь на огонь из засад, боевики сами собой устремлялись по тропе, что вроде бы все сужалась и уводила их в горы.

— А вот этот будет мой — лады? — сказал Рубахин, привставая и ускоряя шаг к просвету.

— Ни пуха! — Геша наскоро докуривал.

Оказалось, «этот» не одиночка — бежали двое, но уже выпрыгнувший из кустов Рубахин упускать их права не имел. «Сто-оой! Сто-оой!..» Он кинулся с пугающим криком за ними. Стартовал Рубахин неважнецки. Ком мускулов развить скорость сразу не мог, но уж когда он разогнался, ни кривой куст, ни осыпь под ногой значения не имели — летел.

Он мчался уже метрах в шести от боевика. А первый (то есть бежавший первым) шел резвее его, уходил. Второго (тот был уже совсем близко) Рубахин не опасался, он видел болтающийся на шее автомат, но патроны расстреляны (или же боевик стрелять на бегу был неловок?). Первый опаснее, автомата не было, и значит, пистолет.

Рубахин наддал. Сзади он слышал поступь бегущего следом — ага, Гешка прикрыл! Двое надвое...

Нагнав, он не стал ни хватать, ни валить (пока с ним, упавшим, разберешься, первый наверняка уйдет). Сильным ударом левой он сбил его в овраг, в ломкие кусты, крикнув Геше: «Один в канаве! Возьми его!..» — и рванул за первым, длинноволосым.

Рубахин шел уже самым быстрым ходом, но и тот был бегун. Едва Рубахин стал его доставать, он тоже прибавил. Теперь шли вровень, их разделяло метров восемь — десять. Обернувшись, убегающий вскинул пистолет и выстрелил — Рубахин увидел, что он совсем молодой. Еще выстрелил. (И терял скорость. Если б не стрелял, он бы ушел.)

Стрелял он через левое плечо, пули сильно недобирали, так что Рубахин не пригибался каждый раз, когда боевик заносил руку для выстрела. Однако все патроны не стал расстреливать, хитрец. Стал уходить. Рубахин

тотчас понял. Не медля больше, Рубахин швырнул свой автомат — по ногам. Этого, конечно, хватило.

Бегущий вскрикнул от боли, дернулся и стал заваливаться, Рубахин достал его прыжком, подмял, правой рукой прихватывая за запястье, где пистолет. Пистолета не было. Падая, выронил его, тот еще боец!.. Рубахин завел ему руки, вывернув плечо, конечно с болью. Тот ойкнул и обмяк. Рубахин все еще на порыве извлек из кармана ремешок, скрутил руки, посадил у дерева, притолкнув несильное тело к стволу — сиди!.. И только тут встал наконец с земли и ходил по тропе, отдыхаясь и ища в траве — уже внимательным глазом — свой автомат и выброшенный беглецом пистолет.

Снова топот — Рубахин скакнул с тропы в сторону, к корявому дубку, где сидел пойманный. «Тихо!» — велел ему Рубахин. В мгновение проскочили мимо них несколько удачливых и быстроногих боевиков. За ними, матюкаясь, бежали солдаты. Рубахин не вмешивался. Он дело сделал.

Он глянул на пойманного: лицо удивило. Во-первых, молодостью, хотя такие юнцы, лет шестнадцати — семнадцати, среди боевиков бывали нередко. Правильные черты, нежная кожа. Чем-то еще поразило его лицо кавказца, но чем? — он не успел понять.

— Пошли, — сказал Рубахин, помогая ему (со скрученными за спиной руками) подняться.

Когда шли, предупредил:

— И не бежать. Не вздумай даже. Я не застрелю. Но я сильно побью — понял?

Молодой пленник прихрамывал. Автомат, что швырнул Рубахин, поранил ему ногу. Или притворяется?.. Пойманный обычно старается вызвать к себе жалость. Хромает. Или кашляет сильно.

4

Обезоруженных было много, двадцать два человека, и потому, возможно, Рубахин отстоял своего пленного без труда. «Этот мой!» — повторял, держа руку на его плече, Рубахин в общем шуме и гаме — в той последней суете, когда пленных пытаются построить, чтобы вести в часть. Напряженные никак не спало. Пленные толпились, боясь, что их сейчас разделат. Держались один за другого, перекрикиваясь на своем языке. У некоторых даже не были связаны руки. «Почему твой? Вон сколько их — все они наши!» Но Рубахин качал головой: мол, те наши, а этот — мой. Появился Вовка-стрелок, как всегда вовремя и в свою минуту. Куда лучше, чем Рубахин, он умел и сказать правду, и задурить голову. «Нам необходимо! оставь! Записка от Гурова... Нам для обмена пленных!» — вдохновенно лгал он. «Но ты доложи старлею». — «Уже доложено. Уже договорено!» — продолжал Вовка взахлеб, мол, подполковник сейчас чай пьет у себя дома (что было правдой) — они вдвоем только что оттуда (тоже правда), и Гуров, мол, самолично написал для них записку. Да, записка там, на КП...

Вовка заметно осунулся. Рубахин недоуменно глянул в его сторону: как-никак через кусты за длинноволосым бежал он — ловил и вязал он, потел он, а осунулся Вовка.

Пленных (наконец построив) повели к машинам. Отдельно несли оружие, и кто-то вслух вел счет: семнадцать «калашниковых», семь пистолетов, десяток гранат. Двое убитых во время гона, двое раненых, у нас тоже один ранен и Коротков убит... Крытые брезентом грузовики вытянулись в колонну и, в сопровождении двух бэтээров (в голове и в хвосте), с ревом, набирая все больше скорости, двинулись в часть. Солдаты в машинах возбужденно обсуждали, горланили. Все хотели есть.

По прибытии, едва вылезли из машины, Рубахин и Вовка-стрелок вместе со своим пленным тут же отбились в сторону. К ним не цеплялись. С пленными в общем-то делать нечего: молодых отпустят, матерых месяца два-три подержат на гауптвахте, как в тюрьме, ну а если побегут — их не без удовольствия постреляют... война! Бояркова, быть может, эти же самые

боевики застрелили спящего (или только-только открывшего со сна глаза). Лицо без единой царапины. И муравьи ползли. В первую минуту Рубахин и Вовка стали сбрасывать муравьев. Когда перевернули, в спине Бояркова сквозила дыра. Стреляли в упор; но пули не успели разойтись и ударили в грудь кучно: проломив ребра, пули вынесли наружу все его нутро — на земле (в земле) лежало крошево ребер, на них печень, почки, круги кишок, все в большой стылой луже крови. Несколько пуль застопорило на еще исходящих паром кишках. Боярков лежал перевернутый с огромной дырой в спине. А его нутро, вместе с пулями, лежало в земле.

Вовка заворачивал к столовой.

— ...на обмен взяли. Подполковник разрешение дал, — спешил сказать Вовка, опережая расспросы встретившихся солдат из взвода Орликова.

Солдаты, сытые после еды, выкрикивали ему: мол, передавай привет. Спрашивали: кто в плену? на кого меняем?!

— На обмен, — повторял Вовка-стрелок.

Ваня Бравченко засмеялся:

— Валюта!

Сержант Ходжаев крикнул:

— Молодцы, хорошо поймали! Таких любят!.. Их начальник, — он мотнул головой в сторону гор, — таких очень любит.

Чтобы пояснить, Ходжаев еще и засмеялся, показав крепкие белые солдатские зубы.

— Два, три, пять человек на одного выменяешь! — крикнул он. — Таких, как девушку, любят! — И, поравнявшись, он подмигнул Рубахину.

Рубахин хмыкнул. Он вдруг догадался, что его беспокоило в пленном боевике: юноша был очень красив.

Пленный не слишком хорошо говорил по-русски, но, конечно, все понимал. Злобно, с гортанно взвизгивающими звуками он выкрикнул Ходжаеву что-то в ответ. Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он красив — длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них — большие, вразлет и чуть враскос.

Вовка быстро сговорился с поваром. Перед дорогой надо было хорошо поесть. За длинным дощатым столом шумно и душно; жарко. Сели с краю — и тут же из вещмешка Вовка извлек ополовиненную бутылку портвейна; скрытным движением он сунул ее под столом Рубахину, чтобы тот, зажав бутылку, как водится, меж колен, незаметно для других ее допил. «Ровняк половину тебе оставил. Цени, Рубаха, мою доброту!..»

Поставил тарелку и перед пленным: — Нэ хачу, — резко ответил тот. Отвернулся, качнув темными локонами.

Вовка придвинул к нему ближе: — Хотя бы мясо порубай. Дорога долгая.

Пленный молчал. Вовка заволновался, что тот, пожалуй, двинет сейчас локтем тарелку и столь трудно выпрошенная у повара лишняя каша с мясом будет на полу.

Он быстро разбросал третью порцию по тарелкам себе и Рубахину. Пошли. Пора было идти.

5

У ручья они пили, зачерпывая по очереди воду пластмассовым стаканчиком. Пленного, видно, мучила жажда; стремительно шагнув, он, словно рухнул, упал на колени, гремя галькой. Он не дождался, пока развяжут руки или напоят из стаканчика, — стоя на коленях и склонившись к быстрой воде лицом, долго пил. Связанные сзади посиневшие руки при этом задирались кверху; казалось, он молится каким-то необычным способом.

Потом сидел на песке. Лицо мокро. Прижимая щеку к плечу, он пытался сбросить без помощи рук нависшие там и тут на лице капли воды. Рубахин подошел:

— Мы бы дали тебе напиться. И руки бы развязали... Куда спешишь?

Не ответил. Рубахин посмотрел на него и ладонью отер ему воду на подбородке. Кожа была такой нежной, что рука Рубахина дрогнула. Не ожидал. И ведь точно! Как у девушки, подумал он.

Глаза их встретились, и Рубахин тут же отвел взгляд, смутившись вдруг скользнувших и не слишком хороших мыслей.

На миг насторожил Рубахина ветер, шумнувший в кустах. Как бы не шаги?.. Смущение отступило. (Но оно только припряталось. Не ушло совсем.) Рубахин был простой солдат — он не был защищен от человеческой красоты как таковой. И вот уже вновь словно бы исподволь напрашивалось новое и незнакомое ему чувство. И, конечно, он отлично помнил, как крикнул тогда и как подмигнул сержант Ходжаев. Сейчас предстояло быть и вовсе лицом к лицу. Пленный не мог самостоятельно перейти ручей. Крупная галька и напористое течение, а он был бос, и нога распухла у щиколотки так сильно, что уже в самом начале пути ему пришлось сбросить свои красивые кроссовки (на время они лежали в вещмешке Рубахина). Если при переходе ручья раз-другой упадет, он может стать никуда не годным. Ручей потащит волоком. Выбора нет. И понятно, что Рубахин, кто же еще, должен был нести его через воду: не он ли, когда брал в плен, броском своего автомата повредил ему ногу?

Чувство сострадания помогло Рубахину; сострадание пришло ему в помощь очень кстати и откуда-то свыше, как с неба (но оттуда же нахлынуло вновь смущение заодно с новым пониманием опасной этой красоты). Рубахин растерялся лишь на миг. Он подхватил юношу на руки, нес через ручей. Тот дернулся, но руки Рубахина были мощны и сильны.

— Ну-ну. Не брыкайся, — сказал он, и это были примерно те же грубоватые слова, какие сказал бы он в подобной ситуации женщине.

Он нес; слышал дыхание юноши. Тот нарочито отвернул лицо, и все же его руки (развязанные на время перехода), обхватившие Рубахина, были цепки — он ведь не хотел упасть в воду, на камни. Как и всякий, кто несет на руках человека, Рубахин ничего не видел под ногами и ступал осторожно. Скосив глаза, он только и видел бегущую вдаль воду ручья и, на фоне прыгающей воды, профиль юноши, нежный, чистый, с неожиданно припухлой нижней губой, капризно выпятившейся, как у молоденькой женщины.

Здесь же у ручья сделали первый привал. Для безопасности сошли с тропы вниз по течению. Сидели в кустах. Рубахин держал на коленях автомат со снятым предохранителем. Есть пока не хотелось, но пили воду несколько раз. Вовка, лежа на боку, крутил приемничек, тот еле слышно свистел, булькал, мяукал, взрывался незнакомой речью. Вовка, как и всегда, полагался на опыт Рубахина, за километр слышавшего камень под чужой ногой.

— Рубаха, я сплю. Слышь. Я сплю, — честно предупреждал он, проваливаясь в мгновенной солдатской дреме.

Когда зоркий старлей изгнал его из числа тех, кто пошел на разоружение, Вовка от нечего делать вернулся в домишко, где жила молодая женщина. (Домишко рядом с домом подполковника. Но Вовка был осторожен.) Она, понятно, обругала, попеняла солдату, так скоро бросившему ее у магазина. Но через минуту они снова оказались лицом к лицу, а еще через минуту в постели. Так что теперь Вовка был приятно изнурен. Дорогу он осиливал, но на привалах его тотчас кидало в сон.

Рубахину было проще заговорить на быстром ходу.

— ...если по-настоящему, какие мы враги — мы свои люди. Ведь были же друзья! Разве нет? — горячился и даже как бы настаивал Рубахин, пряча в привычные (в советские) слова смущавшее его чувство. А ноги знай шагали.

Вовка-стрелок фыркнул:

— Да здравствует нерушимая дружба народов...

Рубахин расслышал, конечно, насмешку. Но сказал сдержанно:

— Вов. Я ведь не с тобой говорю.

Вовка на всякий случай смолк. Но и юноша молчал.

— Я такой же человек, как ты. А ты такой же, как я. Зачем нам воевать? — продолжал говорить всем известные слова Рубахин, но мимо цели; получалось, что стершиеся слова говорил он самому себе да кустам вокруг. Да еще тропинке, что после ручья рванулась напрямик в горы. Рубахину хотелось, чтобы юноша хоть как-то ему возразил. Хотелось услышать голос. Пусть что-то скажет. (Рубахин все больше чувствовал себя неспокойным.)

Вовка-стрелок (на ходу) шевельнул пальцем, и приемничек в его солдатском мешке ожил, зачирикал. Вовка еще шевельнул — нашел маршевую песню. А Рубахин все говорил. Наконец устал и смолк.

Идти со связанными руками (и с плохой ногой) непросто, если подъем крут. Пленный боевик оступался; шел с трудом. На одном из подъемов вдруг упал. Кое-как встал, не жаловался; но Рубахин заметил его слезы.

Рубахин несколько скоропалительно сказал:

— Если не убежишь, я развяжу тебе руки. Дай слово.

Вовка-стрелок услышал (сквозь музыку приемника) и вскрикнул:

— Рубаха! да ты спятил!..

Вовка шел впереди. Он ругнулся: мол, глупость какая. А приемник меж тем звучал громко.

— Вов. Выруби... Мне слышать надо.

— Счас.

Музыка смолкла.

Рубахин развязал пленному руки — куда он уйдет с такой ногой от него, от Рубахина.

Шли довольно быстро. Впереди пленный. Рядом полусонный Вовка. А чуть сзади молчаливый, весь на инстинктах Рубахин.

Освободить кому-то хотя бы только кисти рук и хотя бы только на время пути — приятно. Со сладким привкусом сглотнулась слюна в гортани Рубахина. Редкая минута. Но привкус привкусом, а взгляд его не слабел. Тропа набрала крутизну. Стороной они прошли холмик, где был закопан пьянчуга Боярков. Замечательное залитое вечерним солнцем место.

На ночном привале Рубахин отдал ему свои шерстяные носки. Сам остался в сапогах на босу ногу. Всем спать! (И совсем малый костер!..) Рубахин отобрал у Вовки транзистор (ночью ни звука). Автомат, как всегда, на коленях. Он сидел плечом к пленному, а спиной к дереву в своей любимой с давних времен позе охотника (чуткой, но позволяющей немного впасть в дрему). Ночь. Он как бы спал. И в параллель сну слышал сидящего рядом пленника — слышал и чувствовал настолько, что среагировал бы в тот же миг, вздумай тот шевельнуться хоть чуточку нестандартно. Но тот и не думал о побеге. Он тосковал. (Рубахин вникал в чужую душу.) Вот оба они впали в дрему (доверяя), а вот Рубахин уже почувствовал, как юношей вновь овладела тоска. Днем пленный старался держаться гордецом, но сейчас его явно донимала душевная боль. Чего, собственно, он печалился? Рубахин еще днем внятно намекнул ему, что ведут его не в воинскую тюрьму и не для каких-то иных темных целей, а именно, чтобы отдать его своим — взамен на право проехать. Всего-то и дел — передать своим. Сидя рядом с Рубахиным, он может не волноваться. Пусть он не знает про машины и заблокированную там дорогу, но ведь он знает (чувствует), что ему ничто не грозит. Более того. Он чувствует, конечно, что он симпатичен ему, Рубахину... Рубахин вдруг вновь смутился. Рубахин скосил глаза. Тот тосковал. В уже подступившей тьме лицо пленного было по-прежнему красиво и так печально. «Ну-ну!» — дружелюбно сказал Рубахин, стараясь приободрить.

И медленно протянул руку. Боясь встревожить этот полуоборот лица и удивительную красоту неподвижного взгляда, Рубахин только чуть коснулся пальцами его тонкой скулы и как бы поправил локон, длинную прядку, свисавшую вдоль его щеки. Юноша не отдернул лица. Он молчал. И как показалось — но это могло показаться, — еле уловимо, щекой ответил пальцам Рубахина.

Стоило смежить глаза, Вовка-стрелок наново проживал ускользящие сладкие минуты, так стремительно промчавшиеся в том деревенском домишке. За мигом миг — дробная и такая краткая радость женской близости. Он спал сидя; спал стоя; спал на ходу. Не удивительно, что ночью он крепко уснул (хотя был его час) и не уследил, как рядом пробежал зверь, возможно кабан. Всех всколыхнуло. А треск в кустах зятануто долго сходил на нет. «Хочешь, чтобы нас тоже пристрелили сонных?!» — Рубахин легонько дернул солдата за ухо. Встал. Вслушался. Было тихо.

Подложив в огонь хворосту, Рубахин ходил кругами, постоял у распадка; вернулся. Он сел рядом с пленным. Пережив испуг, тот сидел в некотором напряжении. Плечи свело; ссутулился — красивое лицо совсем утонуло в ночи. «Ну что?.. Как ты?» — спросил простецки. В таких случаях вопрос — это прежде всего пригляд за пленным: не обманчива ли его дрема; не подыскал ли он нож; и не надумал ли, пока спят, уйти в темную ночь? (сдуру — ведь Рубахин нагонит его тотчас).

— Хорош, — ответил тот коротко.

Оба какое-то время молчали.

Так оказалось, что, задав вопрос, Рубахин остался сидеть с ним рядом (не каждую же минуту менять место у костра).

Рубахин похлопал его по плечу:

— Не робей. Я же сказал: как приведем, сразу тебя отдадим вашим — понял?

Тот кивнул: да, он понял. Рубахин этак хохотнул:

— А ты правда красивый.

Помолчали еще.

— Как нога?

— Хорошо.

— Ладно, спи. Времени в обрез. Надо еще чуток покемарить, а там и утро...

И вот тут, как бы согласившись, что надо подремать, пленный юноша медленно склонил свою голову вправо, на плечо Рубахину. Ничего особенного: так и растягивают свой недолгий сон солдаты, привалившись друг к другу. Но вот тепло тела, а с ним и ток чувственности (тоже отдельными волнами) стали пробиваться, перетекая — волна за волной — через прислоненное плечо юноши в плечо Рубахина. Да нет же. Парень спит. Парень просто спит, подумал Рубахин, гоня наваждение. И тут же напрягся и весь одеревенел, такой силы заряд тепла и неожиданной нежности пробился в эту минуту ему в плечо; в притихшую душу. Рубахин замер. И юноша — услышав или угадав его настороженность — тоже чутко замер. Еще минута — и их касание лишилось чувственности. Они просто сидели рядом.

— Да. Подремлем, — сказал Рубахин в никуда. Сказал, не отрываясь взглядом от красных маленьких языков костра.

Пленный качнулся, чуть удобнее разместив голову на его плече. И почти тут же стал вновь ощущаться ток податливого и призывного тепла. Рубахин расслышал теперь тихую дрожь юноши, как же так... что ж это такое? — взбаламученно соображал он. И вновь весь он затаился, сдерживаясь (и уже боясь, что ответная дрожь его выдаст). Но дрожь — это только дрожь, можно пережить. Более же всего Рубахин страшился, что вот сейчас голова юноши тихо к нему повернется (все движения его были тихие и ошутимо вкрадчивые, вместе с тем как бы и ничего не значащие — чуть шевельнулся человек в дреме, ну и что?..) — повернется к нему именно

что лицом, почти касаясь, после чего он неизбежно услышит юное дыхание и близость губ. Миг нарастал. Рубахин тоже испытал минуту слабости. Его желудок первым из связки органов не выдержал столь непривычного чувственного перегруза — сдавил спазм, и тотчас пресс матерого солдата сделался жестким, как стиральная доска. И следом перехватило дыхание. Рубахин разом зашелся в кашле, а юноша, как спугнутый, отнял голову от его плеча.

Вовка-стрелок проснулся:

— Бухаешь, как пушка, — с ума сошел!.. слышно на полкилометра!

Беспечный Вовка тут же и заснул. И сам же — как в ответ — стал храпывать. Да еще с таким звучным присвистом.

Рубахин засмеялся — вот, мол, мой боевой товарищ. Беспеременно спит. Днем спит, ночью спит!

Пленный сказал медленно и с улыбкой:

— Я думаю, он имел женщину. Вчера.

Рубахин удивился: вот как?.. И, припомнив, тут же согласился:

— Похоже на то.

— Я думаю, вчера днем было.

— Точно! точно!..

Оба посмеялись, как это бывает в таких случаях у мужчин.

Но следом (и очень осторожно) пленный юноша спросил:

— А ты — ты давно имел женщину?

Рубахин пожал плечами:

— Давно. Год, можно считать.

— Некрасивая совсем? Баба?.. Я думаю, она некрасивая была. Солдаты никогда не имеют красивых женщин.

Возникла такая долгая тяжелая пауза. Рубахин чувствовал, как камень лег ему на затылок (и давит, давит...).

Рано утром костер совсем погас. Замерзший Вовка тоже перебрался к ним и уткнулся лицом, плечом в спину Рубахину. А сбоку к Рубахину приткнулся пленный, всю ночь манивший солдата сладким пятном тепла. Так троим, обогревая друг друга, они дотянули до утра.

Поставили котелок с водой на огонь.

— Чайком балуемся, — сказал Рубахин с некоторой виноватостью за необычные переживания ночи.

С самого утра ожила эта в себе не уверенная, но уже непрячущаяся его виноватость: Рубахин вдруг начал за юношей ухаживать. (Он взволновался. Он никак не ожидал этого от себя.) В руках, как болезнь, появилось мелкое нетерпение. Он дважды заварил ему чай в стакане. Он бросил куски сахара, помешал звонкой ложечкой, подал. Он оставил ему как бы навсегда свои носки — носи, не снимай, пойдешь в них дальше!.. — такая вот пробилась заботливость.

И как-то суетлив стал Рубахин и все разжигал, разжигал костер, чтобы тому было теплее.

Пленный выпил чай. Он сидел на корточках и следил за движениями рук Рубахина.

— Теплые носки. Хорошие, — похвалил он, переводя взгляд на свои ноги.

— Мать вязала.

— А-а.

— Не снимай!.. Я же сказал: ты пойдешь в них. А я себе на ноги что-нибудь намотаю.

Юноша, вынув расческу из кармана, занялся своими волосами: долго расчесывал их. Время от времени он горделиво встряхивал головой. И снова выверенными взмахами приглаживал волосы до самых плеч. Чувствовать свою красоту ему было так же естественно, как дышать воздухом.

В теплых и крепких шерстяных носках юноша шел заметно увереннее. Он и вообще держался посмелее. Тоски в глазах не было. Он несомненно уже знал, что Рубахин смущен наметившимися их отношениями. Возможно, ему это было приятно. Он искоса поглядывал на Рубахина, на его руки, на автомат и про себя мимолетно улыбался, как бы играючи одержав победу над этим огромным, сильным и таким робким детиной.

У ручья он не снимал носки. Он стоял, ожидая, когда Рубахин его подхватит. Рука юноши не цеплялась, как прежде, только за ворот; без стеснения он держался мягкой рукой прямо за шею ступающего через ручей Рубахина, иногда, по ходу и шагу, перемещая ладонь тому под гимнастерку — так, как было удобнее.

Рубахин вновь отобрал у Вовки-стрелка транзистор. И дал знак молчать: он вел; на расширившейся затоптанной тропе Рубахин не доверял никому (до самой белой скалы). Скала, с известной ему развилкой троп, была уже на виду. Место опасное. Но как раз и защищенное тем, что там расходились (или сходились — это как смотреть!) две узкие тропки.

Скала (в солдатской простоте) называлась *нос*. Белый большой треугольный выступ камня надвигался на них, как нос корабля, — и все нависал.

Они уже карабкались у подножия, под самой скалой, в курчавом кустарнике. *Этого не может быть!* — пронеслось в сознании солдата, когда там, наверху, он расслышал надвигающуюся опасность (и справа, и слева). С обеих сторон скалы спускались люди. Чужая и такая плотная, беспорядочно-частая поступь. *Суки*. Чтобы два чужих отряда вот так совпали минута к минуте, заняв обе тропы, — такого *не может быть!* Скала была тем и спасительна, что давала услышать и загодя разминуться.

Теперь они, конечно, не успевали продвинуться ни туда, ни сюда. Ни даже метнуться из-под скалы назад в лес через открытое место. Их трое, один пленный; их тотчас заметят; их перестреляют немедленно; или попросту загонят в чашу, обложив кругом. *Этого не может быть*, — жалобно пискнула его мысль уже в третий раз, как отрекаясь. (И ушла, исчезла, бросила его.) Теперь все на инстинктах. В ноздрях потянуло холодком. Не только их шаги. В почти полном безветрии Рубахин слышал медлительное распрямление травы, по которой прошли.

— Тс-с.

Он прижал палец к губам. Вовка понял. И мотнул головой в сторону пленного: как он?

Рубахин глянул тому в лицо: юноша тоже мгновенно понял (понял, что идут свои), лоб и щеки его медленно наливались краской — признак непредсказуемого поведения.

«А! Будь что будет!» — сказал себе Рубахин, быстро изготовив автомат к бою. Он ощупывал запасные обоймы. Но мысль о бое (как и всякая мысль в миг опасности) тоже отступила в сторону (бросила его), не желая взвалить на себя ответ. Инстинкт велел прислушаться. И ждать. В ноздрях тянуло и тянуло холодом. И так значаще тихо зашевелились травы. Шаги ближе. *Нет*. Их много. Их слишком много... Рубахин еще раз глянул, считывая с лица пленного и угадывая — как он? что он? в страхе быть убитым затаится ли он и смолчит (хорошо бы) или сразу же кинется им навстречу с радостью, с дурью в полубезумных огромных глазах и (главное!) с криком?

Не отрывая взгляда от идущих по левой тропе (этот отряд был совсем недалеко и пройдет мимо них первым), Рубахин завел руку назад и осторожно коснулся тела пленного. Тот чуть дрожал, как дрожит женщина перед близким объятьем. Рубахин тронул шею, ощупью перешел на его лицо и, мягко коснувшись, положил пальцы и ладонь на красивые губы, на рот (который должен был молчать); губы подрагивали.

Медленно Рубахин притягивал юношу к себе ближе (а глаз не отрывал от левой тропы, от подтягивающейся цепочки отряда). Вовка следил за отрядом справа: там тоже уже слышались шаги, сыпались вниз камешки, и

кто-то из боевиков, держа автомат на плече, все лязгал им об автомат идущего сзади.

Юноша не сопротивлялся Рубахину. Обнимая за плечо, Рубахин развернул его к себе — юноша (он был пониже) уже сам потянулся к нему, прижался, ткнувшись губами ниже его небритого подбородка, в сонную артерию. Юноша дрожал, не понимая. «Н-н...» — слабо выдохнул он, совсем как женщина, сказав свое «нет» не как отказ — как робость, в то время как Рубахин следил его и ждал (сторожа вскрик). И как же расширились его глаза, пытавшиеся в испуге обойти глаза Рубахина и — через воздух и небо — увидеть своих! Он открыл рот, но ведь не кричал. Он, может быть, только и хотел глубже вдохнуть. Но вторая рука Рубахина, опустившая автомат на землю, зажала ему и приоткрытый рот с красивыми губами, и нос, чуть трепетававший. «Н-ны...» — хотел что-то досказать пленный юноша, но не успел. Тело его рванулось, ноги напряглись, однако под ногами уже не было опоры. Рубахин оторвал его от земли. Держал в объятиях, не давая коснуться ногами ни чутких кустов, ни камней, что покатались бы с шумом. Той рукой, что обнимала, Рубахин, блокируя, обошел горло. Сдавил; красота не успела спасти. Несколько конвульсий... и только.

Ниже скалы, где сходились тропы, раздались вскоре же дружеские гортанные возгласы. Отряды обнаружили друг друга. Слышались приветствия, вопросы — как? что?! куда это вы направляетесь?! (Самый вероятный из вопросов.) Хлопали друг друга по плечу. Смеялись. Один из боевиков, воспользовавшись остановкой, надумал помочиться. Он подбежал к скале, где было удобнее. Он не знал, что он уже на мушке. Он стоял всего в нескольких шагах от кустов, за которыми лежали двое живых (прячась, они залегли) и мертвый. Он помочился, икнул и, подпернув брюки, заторопился.

Когда отряды прошли мимо, а их удаляющиеся в низину шаги и голоса совсем стихли, двое солдат с автоматами вынесли из кустов мертвое тело. Они понесли его в редкий лес, недалеко и тропой налево, где, как помнил Рубахин, открывалась площадка — сухая плешина с песчаной, мягкой землей. Рыли яму, вычерпывая песок плоскими камнями. Вовка-стрелок спросил, возьмет ли Рубахин назад свои носки, Рубахин покачал головой. И ни словом о человеке, к которому, в общем, уже привыкли. Полминуты посидели молчком у могилы. Какое там посидеть — война!..

6

Без перемен: две грузовые машины (Рубахин видит их издали) стоят на том самом месте.

Дорога с ходу втискивается в проход меж скал, но узкое место стерегут боевики. Машины уже обстреляны, но не прицельно. (А продвинься они еще хоть сколько-то, их просто изрешетят.) Стоят машины уже четвертый день; ждут. Боевики хотят оружие — тогда пропустят.

— ...не возем мы автоматов! нет у нас оружия! — кричат со стороны грузовиков. В ответ со скалы выстрел. Или целый град выстрелов, длинная очередь. И в придачу смех — га-га-га-га!.. — такой радостный, напористый и так по-детски ликующий катится с высоты смех.

Солдаты сопровождения и шофера (всех вместе шесть человек) расположились у кустов на обочине дороги, укрывшись за корпусами грузовиков. Кочевая их жизнь нехитра: готовят на костре еду или спят.

Когда Рубахин и Вовка-стрелок подходят ближе, на скале, где засада, Рубахин примечает огонь, бледный дневной костер — боевики тоже готовят обед. Вялая война. Почему бы не перекусить по возможности сытно, не выпить горячего чайку?

Подходящих все ближе Рубахина и Вовку со скалы тоже, конечно, видят. Боевики зорки. И хотя им видно, что двое как ушли, так и пришли

(ничего зримого не принесли), со скалы на всякий случай стреляют. Очередь. Еще очередь.

Рубахин и Вовка-стрелок уже подошли к своим.

Старшина выставил живот вперед. Спрашивает Рубахина:

— Ну?.. Будет подмога?

— Хера!

Рубахин не стал объяснять.

— И пленного не удалось подловить?

— Не.

Рубахин спросил воды, он долго пил из ведра, проливая прямо на гимнастерку, на грудь, потом слепо шагнул в сторону и, не выбирая где, свалился в кустах спать. Трава еще не распрямилась; он лежал на том месте, что и два дня назад, когда его толкнули в бок и послали за подмогой (дав Вовку в придачу). В мятую траву он ушел головой по самые уши, не слыша, что там выговаривает старшина. Плевать он хотел. Устал он.

Вовка сел к дереву в тень, раскинув ноги и надвинув панаму на глаза. Насмешничая, он спрашивал шоферов: а что ж сами вы? так и не нашли объезда?.. да неужели ж?! «Объезда нет», — отвечали ему. Шофера лежали в высокой траве. Один из этих тугодумов умело лепил самокрутку из обрывка газеты.

Старшина Береговой, раздосадованный неудачей похода, попытался снова вступить в переговоры.

— Эй! — кричал он. — Слухай меня!.. Эй! — кричал он доверительным (как он считал) голосом. — Клянусь, ничего такого нет в машинах — ни оружия, ни продуктов. Пустые мы!.. Пусть придет ваш человек и проверит — все покажем, стрелять его не будем. Эй! слышь!..

В ответ раздалась стрельба. И веселый гогот.

— Мать в душу! — ругнулся старшина.

Стреляли со скалы беспорядочно. Стреляли так долго и так бессмысленно, что старшина еще раз выматерил и позвал: — Вов. Ну-ка поди сюда.

Оба шофера, что лежали в траве, оживились: — Вов! Вов! Иди сюда. Покажь абрекам, как стрелять надо!

Вовка-стрелок зевнул; лениво оторвал спину от дерева. (Привалившись к нему, он так хорошо сидел.)

Но, взяв оружие, он целил без лени. Он расположился на траве удобнее и, выставив карабин, ловил в оптическом прицеле то одну, то другую фигурку из тех, что суетились на скале, нависавшей слева над дорогой. Их всех было отлично видно. Он бы, пожалуй, попал и без оптического прицела.

И как раз горец, стоявший на краю скалы, издевательски заулюлюкал.

— Вов. А тебе охота в него попасть? — спросил шофер.

— На хрена он мне, — фыркнул Вовка.

Помолчав, добавил:

— Мне нравится целиться и жать на спуск. Я и без пули знаю, когда я попал.

Невозможность понималась без слов: убей он боевика, грузовикам по дороге уже не проехать.

— Этого, что орет, я, считай, шпокнул. — Вовка спустил курок незаряженного карабина. Он баловался. Прицелился — и вновь лихо щелкнул. — И вот этого, считай, шпокнул!.. А этому я могу полжопы оторвать. Убить — нет, он за деревом, а полжопы — пожалста!..

Подчас, углядев у кого-то из горцев что-нибудь поблескивающее на солнце — бутылку водки или (было поутру!) замечательный китайский термос, Вовка тщательно прицеливался и вдребезги разносил выстрелом заметный предмет. Но сейчас ничего привлекательного не было.

Рубахину тем временем спалось тревожно. Набегал (или, зарывшись в траву, Рубахин сам вызывал его в себе?) один и тот же дурной, беспокоящий сон: прекрасное лицо пленного юноши.

— Вовк. Дай курнуть! (И что за удовольствие ловить на мушку?)

— Сейчас! — Вовка знай целил и целил, уже в азарте забавы, — он вел перекрестье по силуэту скалы: по кромке камня... по горному кустарнику... по стволу дерева. Ага! Он приметил тощего боевика; стоя у дерева, тот кромсал ножницами свои патлы. Стрижка — дело интимное. Зеркальце сверкнуло, дав знак, — Вовка мигом зарядил и поймал. Он нажал спуск, и серебристая лужица, прикрепленная к стволу вяза, разлетелась в мельчайшие куски. В ответ раздались проклятья и, как всегда, беспорядочная стрельба. (И словно бы журавли закликали за нависшей над дорогой скалой: *гуляль-киляль-ляль-киляль-снайпер...*) Фигурки на скале забегали — кричали, вопили, улюлюкали. Но затем (видно, по команде) притихли. Какое-то время не высовывались (и вообще вели себя скромнее). И, конечно, думали, что они укрылись. Вовка-стрелок видел не только их спрятавшиеся головы, кадки на горле, животы — он видел даже пуговицы их рубашек и, балуясь, переводил перекрестье с одной на другую...

— Вовка! Отставить! — одернул старшина.

— Уже!.. — откликнулся стрелок, прихватывая рукой карабин и направляясь к высокой траве (с той же нехитрой солдатской мыслью: поспать).

А Рубахин терял: лицо юноши уже не удерживалось долго перед его глазами — лицо раепадалось, едва возникнув. Оно размывалось, утрачивая себя и оставив лишь невнятную и неинтересную красоту. Чье-то лицо. Забытое. Образ таял. Словно бы на прощанье (прощаясь и, быть может, прощая его) юноша вновь обрел более или менее ясные черты (и как вспыхнуло!). Лицо. Но не только лицо — стоял сам юноша. Казалось, что он сейчас что-то скажет. Он шагнул еще ближе и стремительно обхватил шею Рубахина руками (как это сделал Рубахин у той скалы), но тонкие руки его оказались мягки, как у молодой женщины, — порывисты, но нежны, и Рубахин (он был начеку) успел понять, что сейчас во сне может случиться мужская слабость. Он скрипнул зубами, усилием отгоняя видение, и тут же проснулся, чувствуя ноющую тяжесть в паху.

— Покурить бы! — со сна хрипло проговорил он. И услышал стрельбу...

Возможно, от выстрелов он и проснулся. Тонкая струйка автоматной очереди — цок-цок-цок-цок-цок — выбивала мелкие камешки и фонтанчики пыли на дороге возле застывших грузовиков. Грузовики стояли. (Рубахина это мало волновало. Когда-нибудь да ведь дадут им дорогу.)

Вовка-стрелок с карабином в обнимку спал неподалеку в траве. У Вовки нынче крепкие сигареты (купил в сельском магазинишке вместе с портвейном), — сигареты были на виду, торчали из нагрудного кармана. Рубахин выбрал из них одну. Вовка тихо посапывал.

Рубахин курил, делая медленные затяжки. Он лежал на спине — глядел в небо, а слева и справа (давня на боковое зрение) теснились те самые горы, которые обступили его здесь и не отпускали. Рубахин свое отслужил. Каждый раз, собираясь послать на хер все и всех (и навсегда уехать домой, в степь за Доном), он собирал наскоро свой битый чемодан и... и оставался. «И что здесь такого особенного? Горы?..» — проговорил он вслух, с озленностью не на кого-то, а на себя. Что интересного в стильной солдатской казарме — да и что интересного в самих горах? — думал он с досадой. Он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого сказал: «Уже который век!..» — он словно бы проговорился; слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль. Серые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда. Но все-таки — горы?! Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность — но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала?

Я знал одного отрядного,
только у него ребра были продольные! —
Барак гоготнул дружно,
признались воспитателю новому:
— Сотворить из нас честных труженников
пробовали, ох какие подкованные! —
Казалось, после такого приема отрядный навострит лыжи —
кашалоты, любого скушают.
Но он, к удивлению нашему, выжил
и даже пытался влезть к уркам в душу.
Как-то, задетый его словами,
в сердцах костеря сосунка обльжно,
я съязвил:

— Гражданин начальник, а сами
что вы сделали стоящего в жизни? —
Неприютность, лагерную лямку —

он не причислил к успеху,

призадумался, глядя в сизое окошко:
— На шаг впереди незнакомого человека
прошел по дороге,

которую перешла черная кошка. —

Его представленья о доброте, о людях мне были чужды,
я не в ладах с ним оттрубил свой срок.
Но страх, что я живу никчемно, —

это чувство

вселил в меня тот въедливый щенок.

Поверка

В бараке лагерном, тесном,
с окошками, затянутыми испариной,
умирал генерал известный,
герой войны в Испании.
Он то теплил сознание,
то вновь терял пульс.
Пришел лепила¹. Сказал со знанием:
«Готов гусь!»
Мертвецов вывозили из зоны;
у пункта охраны
их молотком казенным
поверял Полтора Ивана.
Надзиратель, детина рыжий
(такому пахать и пахать),
бил так, чтоб сачок не выжил,
а мертвому —

не подыхать.

С генерала стянули рогожу рваную —
дубак дубаком.

И тут Полтора Ивана
огрел его молотком.
Генерал привстал на телеге,
губами хватая воздух.
И снэги пошли, снэги,
и близкими стали звезды..

¹ Лепила — заключенный, работающий при медчасти.

Не всполошился рыжий —
 накрапал в отчетной бумаге:
 хотел наострить лыжи,
 а проще — сбежать из лагеря.
 И дальше пошла подвода.
 Все по режиму. По расписанию.
 Так получил свободу
 герой войны в Испании.

Старик

Мене, Текел, Фарес².

Мы шли по этапу. С добычей спиннинг —
 тянулся наш поезд из глуби лесов.
 И реки сцепили на масляных спинах
 гудящие руки железных мостов.
 И облако низкое с солнцем багровым
 было похоже на льдину с костром.
 И таяла вера в приход Иеговы...
 На нарах старик с пожелтевшим челом
 в окошко с решеткой смотрел и молился.
 Вокруг были воры, картежников рык —
 но ясю такой лучезарной светился
 его вдохновенный, всезнающий лик.
 Казалось: была ему в радость дорога,
 и воры, и карты, и все впереди...
 И что-то во мне отошло. И тревогу
 сменила надежда в груди.

* *
 *

Свентицкому Борису.

Ты знаешь, что я вспомнил, дружище?
 Твой старый деревянный дом на улице нашего детства;
 окно, выходящее в сад, и яблоки, яблоки,
 уткнувшиеся в самые стекла.
 Пора была голодная, послевоенная,
 я впервые пришел к тебе в дом
 и вылупился на это неправдашнее окно,
 пораженный доступностью соблазнительных яблок.
 Ты улыбнулся, открыл окно и протянул мне яблоко,
 прохладное, все в каплях росы,
 точно обрызганное дождем.
 Я взял яблоко, надкусил громко, как расколочил орех,
 и принялся жадно грызть сочную хрустящую сладость.
 Когда это было?!
 Потом наши пути разошлись:
 ты остался в своем добром деревянном доме,
 а я бесшабашно ринулся на манящий большак.
 Испугался ли захиреть в родном захолустье?
 Захотел ли испытать себя на рискованных дорогах?
 Или просто возжелал побольше ухватить от жизни?

² Мене, Текел, Фарес — огненные письмена, увиденные на небе во время пира древнеассирийским тираном Валтасаром, что значило: исчислен, взвешен, расчленен.

Трудно сказать.
 Только я поскользнулся.
 Я прошел лагеря и тюрьмы.
 Валил лес в тайге, добывал бутовый камень в карьерах.
 Стыл в штрафных изоляторах. И всегда, чтобы согреться,
 я открывал в памяти твое окно в яблоневый сад...
 Я слышал, ты и нынче живешь в своем старом доме.
 Жалуешься на отсутствие газа, теплой воды.
 Но ты можешь распахнуть окно и сорвать яблоко,
 дышащее запахами детства —
 для меня бесконечно далекого,
 а для тебя — под рукой.
 Ты несказанно счастлив, дружище!
 Правда, это открытие стоит так дорого,
 что лучше живи в неведении о своем богатстве
 и пеняй на неудобства быта и скудость бытия.



«...Мне 57 лет, 20 из них провел в лагерях и тюрьмах, имею 7 судимостей за кражи и нарушения административного надзора (наверное, режима? — *Ред.*). Но это, так сказать, в прошлом. Вот уже 17 лет, как я на воле... Стихи пишу давно, как попал за колючую проволоку, с тех пор и пишу... От надзирателей тайл, ибо один знаток прочитал и сказал: «Пять зим добавят». Пописывал и прозу...» (из письма Е. Карасева Олегу Чухонцеву). Автор небольшого стихотворного сборника и повести «Один на льдине», вышедших в 1993 году в Твери тиражом 999 экземпляров. Живет в Твери.

МИХАИЛ СОПИН



ПОЧЕМУ ГОВОРИМ МЫ НА РАЗНОЙ ВОЛНЕ

* *
 *

Говорила мне обитель,
 Подтверждал родной уют:
 Зряче жизнь свою любите,
 Слепо любят — предают.
 Ни утехи, ни покоя
 Не нашел. Прошли лета,
 Кто ответит, что такое
 Массовая слепота?
 Лилипуты — великаны.
 Боль — полночная сова.
 Резче звякают стаканы.
 Глуше падают слова.
 Над полями, над лесами —
 Ключья пепла, воронье.
 Сами, сами подписали
 Мы своими голосами
 Обречение свое.

* *
*

Где спасительный брег,
Я бы стал на колени,
Но мольба моя — грех
Десяти поколений:
Жизнь — авось,
Смерть — авось...
Правда — яви меж снами.
Так у нас повелось —
Власти вечно не с нами —
Кнут кремлевских богов
Гнал нас в мертвые дали.
Росомахи снегов
След багровый съедали.
Прокричи, паровоз,
О людском лихолетье.
Я до смерти промерз,
Я замерз на столетье.

* *
*

Слева — западный свет.
Справа — темный восток.
Ветер в душу и глубже.
Но мир не жесток —
Богоданный букет
Из святых и менял.
Здесь не раз я себе
Приговор отменял.
Мне держава — тюрьма.
Не союзник — союз,
В нем страшнее, чем смерти,
Бездумных боюсь:
Неуемная брань,
Клеветнический рот.
Голодрань всех времен!
Но ведь тот же народ.

Та же горечь во мне,
Та же гордость во мне.
Почему ж говорим мы
На разной волне?
Я ведь тоже прошел
По крутой, не в обход.
И за все —
На висках замерзающий пот.
По стране, по стране,
По стране, по стране
Босиком я бегу
По нержавеющей стерне:
Добежать не могу,
Отдохнуть не могу.
И рябиновой россыпью
След на снегу.



Родился в 1931 году в Курской области. Отца, военпреда на Харьковском танковом заводе, расстреляли в конце 30-х. Воспитывался бабушкой в деревне. Когда пришла оккупация, бабушка отдала его в помощь партизанам. Будучи сыном полка, Сопин прошел всю войну — до Потсдама. Оттуда, переболев тифом, вернулся в свою деревню, был арестован «как поднявший руку на героя-фронтовика» (защищал честь сестры от настойчивого ухажера). Был осужден, работал на строительстве Волго-Дона. После амнистии, в 1953-м, уехал в Харьков, где попал в компанию уголовников, вместе с которыми был арестован в 1955 году. Заключение отбывал в лагерях Северного Урала — до 1970 года. Писать стихи начал на фронте, продолжил в заключении. Выпустил три книги стихов. Живет в Вологде.

ЕЛЕНА ЯГУНОВА



ПОЗДНИЕ ВСТРЕЧИ



Весна,
а как-то вяло, сонно
часы безмерные текут
по циферблату небосклона.
Прошло лишь несколько минут,
а кажется, уже неделя
со всею скукой прожита,
и еле-еле, еле-еле
капли сонной маета.
Под кровлей булькает ложбина,
не в силах сжать запавший рот,
как будто смерть по капле пьет,
как будто знает, что умрет,
и безразлична ей кончина.



Северо-западный ветер
вымел остатки зимы
перед окном на холмы.
Вот вам и мартовский вечер.

Ох эта поздняя стужа —
не отойти от окна, —
было б неплохо на ужин
выпить немного вина.

Было б неплохо согреться —
одолевает озноб,
будто бы прямо под сердце
мне намедает сугроб.

Ты бы зашла по-соседски,
валяются книги из рук:
Тютчев, Рембо, Достоевский —
милый зачитанный круг.

Ох эти поздние встречи,
чай за кухонным стоном —
кутаем зябкие плечи
исповедальным теплом.

* *
*

Нагретый аромат тяжелых лилий,
над синей заводью стояние стрекоз.
Мне душно от распущенных волос,
пропитанных подсолнечною пылью.

Над раскаленной степью дикий зной,
шершавым шелестом щекочет кукуруза.
Коровы тучею прошли на водопой,
в блаженной мути по рога огрузли.

Отфыркивают радугу носы,
сбивая с толку разъяренных слепней.
Ленивый самолет завис над степью,
пастух сверяет с ним свои часы.

И жалко времени, и страшно пропустить
минуты в этом солнечном мельканье,
и миражей текучее дыханье,
и камышовым оборотнем — выпь,

и мальчиков верхом на лошадях,
замедленно над травами плывущих,
и плосколицых идолов, идущих
за кругом круг на каменных ногах.

Кто создал их подобием людей,
лишив навеки муки состраданья,
тем самым обрекая на скитанья
по циферблату бесконечных дней?

Им, твердокаменным, должно быть, все равно,
какой им век тоской в сосцы вопьется.
Слагают яркость и незримость солнца,
как будто время им подчинено.

* *
*

Тарелка спелых вишен на столе,
собака спит у запертой двери,
свет лампы отражается в окне,
колеблется и множится в стекле.
В соседней комнате часы пробили три.

Пугливая крадется тишина.
Как странно — пес ее не слышит.
Я вижу в отражении окна,
как над столом склоняется она,
по выцветшей бумаге что-то пишет.

Не глядя вишни спелые берет,
о чем-то думая, их в кулачке сжимает
и, наклонив голову, наблюдает,
как по запястью липкий сок течет
и темным пятнышком на буквы наползает.

Но, собственное уловив движенье
в прозрачной неподвижности стекла,
она на полдыханье замерла
и соскользнула в сумрак отраженья.

Напоминают о ее вторженье
две смятых вишни на поверхности стола...



Живет в Норильске. Стихи пришли из Красноярска от Виктора Астафьева.
Больше ничего об этой северной жительнице редакции не известно.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

*

СИНИЦА, ТВОЕ ЧАЕПИТЬЕ

* *
*

Ночь на то и дана, чтобы пел коростель,
То и славно, что надо ложиться в постель,
Чтоб проснуться в снегах на Тоболе.
И не лучше ль войти в этот обморок вброд,
Чем растерянно ждать, что возьмут в оборот
Да и выведут в чистое поле?

Я на кухоньке тесной сию храбрецом,
Я курю сигарету, пью чай с чабрецом,
От высоких обид коченею,
А на улице злобные речи слышны,
И круги под глазами у нищей страны
Пострашнее, чем звезды над нею.

* *
*

Жирную зелень роц отражает пруд,
Кем-то подвешенный к самым высоким кронам,
Спрятавшим речь улиток в сырой изумруд
Мхов, но позволившим вволю орать воронам.

Кстати сказать, отражение искажено
Невероятно, но это резонно, ибо
Линза пруда слишком выпукла — в ней смешно
Выглядит даже обыкновенная рыба.

Даже тростник, преломленный сознанием в бред.
Что же касается нас, мы почти уроды
Перед восторгом висячей воды и пред
Ветхозаветным ликом живой природы.

* *
*

Дымятся декабря сырые потроха,
И слышно, как снегирь кликушествует где-то.
И если плоть твоя укутана в меха,
Душа, наоборот, разута и раздета.

И более — слепа. И ей поводырем —
Бессмертье. И душа спешит хлебнуть земного
И в богословский спор вступить со снегирем,
Чтоб, проиграв его, вернуться в тело снова.

* *
*

Незаметно холодает,
На ресницах снег не тает,
Впору шубу надевать;
Полночь падает отвесно;
В человеческой шкуре тесно,
Да куда ж ее девать!

К прежней жизни не вернуться,
Голубком не обернуться
И травой не прорасти.
Громящая временами,
Ангелы стоят над нами
С тихой вечностью в горсти.

Ангелы стоят живые,
Словно псы сторожевые,
Все мрачней день ото дня,
И особенно ночами
Блещут грозными глазами
На тебя и на меня.

Взять бы, что ли, да напиться
Из козлиного копытца,
И не важно, что потом —
Голубятня с голубями,
Или пойло с отрубями,
Или черви с жадным ртом.

Лишь бы ты не взбеленилась
И, как девка, не пленилась
Пошлой выдумкой пустой;
Лишь бы смерть не обманула;
Лишь бы жизнь не громыгнула,
Будто выстрел холостой.

* *
*

Ложечка тенькает тонко о стенку стакана,
Длится и длится, синица, твое чаепитье:
Мятные пряники времени в розовом клюве,
Иней на грудке и щебет веселый в гортани.
И удивленно ты пьешь из январского утра
Всплески зари, обжигающей нежное горло,
Пьешь, холодея внезапно от капель морозных
И ужасаясь кипящему в сердце восторгу.

* *
*

Этот день не лыком шит,
Ради Бога, с ним не балуй.
Серый дождичек шуршит
Над листвою пятипалой.

Дождь мышиный, дождь грибной,
Непрерывно морозящий
Над тобой и надо мной,
Над малиновою чащей.

Не поймать его за хвост
Ни тебе, ни нашей мурке,
И блестят пылинки звезд
На седой мышиною шкурке.

И пускай нехороша
Эта вот грязца на грядке —
Серая его душа
С Господом играет в прятки.



Живет в Волгограде (бывшем Сталинграде и Царицыне). Ничего об авторе, к сожалению, не знаем.



ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ

*

У НАС В БОГАДЕЛЬНЕ

Маленькая повесть

Потому что ведь Тихон Харитонович хотел как лучше, чтоб никого не обидеть. Всем хотел угодить. Дочерям своим он так и сказал:

— Дом теперь ваш. Все бумаги я на вас записал. Вы теперь хозяйки. Вроде как на приданое вам. А мне много не нужно. Кровать где-нибудь в углу. У меня и вещей-то нет.

Броня и Клава как раз телевизор смотрели. А как передача кончилась, Броня, старшая, к нему оборачивается:

— Тебе бы к Любке надо. В городе-то лучше. Все удобства.

И Клава тоже ей поддакивает:

— И за что Любке такая честь? Одна в двухкомнатной квартире.

А если уж так говорить, какая там квартира? Одно название. Комнатенки — повернуться негде, кухня тоже крошечная, стол еле влез. Раньше там Фелицата Фирсовна жила, мама Тихона Харитоновича. А теперь, когда Фелицаты Фирсовны не стало, младшая, Люба, туда и переехала. Вроде бы все по справедливости. Только Броня и Клава свое:

— Ты всегда Любку больше любил. Всегда все ей. Вот бы и жил с ней в городе.

А еще через день, рано утром, являются во двор какие-то люди. На крыльце разложились, закусывать стали.

— Вы кто такие? — спрашивает Тихон Харитонович.

Никто ему сразу не ответил. Потом один из них дожеввал закуску и говорит:

— Ты бы шел отсюда, отец. Мешаешь только. Не видишь — ремонт здесь будет. Хозяйки твои подрядили...

— А дом-то, Господи, — вмешался второй, у которого большой красный ячмень на глазу. — Развалюха! Хуже всякого сарая!

Весь день рабочие по дому ходили, громко разговаривали, топали, накурили, грязи в комнаты нанесли. Вот вечером Броня с Клавой возвращаются, Тихон Харитонович им и говорит:

— А ведь и то правда. Надо бы Любку навестить... Проведать, как она там в городе.

Собрался он без долгих разговоров и на другой день с утра пораньше на автобус. Приехал в город, а Любы дома нет — на работе она. Вечером приходит, Тихон Харитонович на лестнице сидит.

— А меня сестры твои к тебе послали...

Постелила ему Люба на диване, белье чистое достала. Утром поит его чаем и говорит:

— Сам видишь, как здесь тесно. А у меня вечером гости.

Вечером сидит Тихон Харитонович на кухне, в комнатах — смех, музыка, табаком тянет. Люба то и дело на кухню прибегает — то за рюмкой, то за вилкой. А потом, когда расходились, она гостя какого-то на кухню приводит, длинный такой, лохматый. Костюм на нем хороший, дорогой.

— Познакомься, отец... Это мой жених... Руслан...

Тихон Харитонович посмотрел на него и сказал:

— Вон невеста у тебя какая, Руслан. Приданое-то — квартира двухкомнатная.

— Мы тут подумали, отец, — говорит Люба, сама в сторону смотрит. — Может, тебе в дом престарелых... Там ведь лучше...

Потом к жениху своему подходит, за руку его берет. А у него на пальце перстень большой.

— Руслан тебе место хорошее устроит...

Руслан на перстень подышал и о рукав протирает.

— Дом-то не простой. Для избранных. Все артисты, певцы. Ну, у меня, конечно, знакомства, связи.

А еще через неделю, наверное, приходит этот самый Руслан, веселый такой, и сразу к Тихону Харитоновичу.

— Вот, — говорит и бумажкой какой-то трясет. — Оформил. Дорого мне это стоило. Но я денег не пожалел. Директор там Николай Павлович, мой знакомый. Вы прямо к нему. Вас там встретят.

Руслан тут же объяснил, как туда добираться. Сначала на поезде, потом на автобусе до речной переправы. А там, как из автобуса вылезешь, сразу увидишь — на другом берегу особняк старинный с колоннами, бывшая графская усадьба.

Тихон Харитонович повертел в руках бумажку, посмотрел на печать и в тот же день на автобус — домой. Люба, когда провожала, сказала:

— Одежду теплую непременно возьми... Зима на носу...

Вернулся Тихон Харитонович домой, там ремонт в полном разгаре. В комнате рабочие вино пьют, а Броня и Клава обедом их кормят. Тихон Харитонович направление всем показывает.

— Вот, — говорит. — Дом-то не простой. Для избранных. Все артисты, певцы.

— Ты только не сбеги оттуда, отец, — говорит один из рабочих, тот самый, у которого ячмень на глазу. — Вон соседка моя, Матрена Кирилловна. Два раза из дома престарелых сбежала. Сын ее с невесткой уговорили избу продать, к ним переехать. Деньги, конечно, взяли, а ей говорят: у нас двое детей, где же тебе жить? Она и пошла на вокзал милостыню просить. Ее в дом престарелых — а она бежит оттуда.

Вечером сел было Тихон Харитонович телевизор смотреть. Сидел, сидел, потом взял бумажку с направлением — и к соседу Ермилу Брюхину через дорогу. Изба у Ермила пустая, вещей нет ничего, одни картины везде — на лавке, на окнах, на столе. Краской масляной пахнет.

— Садись, я тебя рисовать буду, — говорит Брюхин.

— Некогда мне, — отвечает Тихон Харитонович. — Мне собираться надо. В дом престарелых.

И бумажку с печатью показывает.

— Дом-то особенный. Для избранных. Все артисты, певцы.

— Ну что ж, — сказал Ермил Брюхин. — Это твоя грань жизни. Твое счастье или смерть.

— Я так думаю, — говорит Тихон Харитонович. — Молодым тоже жить надо. А со мной какая им радость? Я мешаю им только. Да и мне покой лучше. Буду себе в тишине жить.

Ермил Брюхин повернул к себе один из холстов, стоящий на лавке. На портрете был изображен сам Ермил за дощатым столом, лохматый, весь бородой обросший. Перед ним на столе пузырек с фиолетовыми чернилами и три луковицы.

— Жизнь ежедневно в глубь времен уходит, — говорит Ермил. — А за чем я жил, я и не знаю. Люди идут мимо меня, как немые. А ведь человек рождается ради душевного взаимопонимания. Отчего и является любовь.

— Жили-то мы по-разному. Всякое было. Может, обижал когда дочерей, кто его знает. Пусть теперь поживут...

Посмотрел Тихон Харитонович еще раз на портрет Ермила Брюхина, на три луковицы перед ним и говорит:

— Ну вот теперь и ехать можно... Теперь я все чувствую душой и сердцем...

Попрощался он с хозяином и пошел к себе собираться. Вещи какие-никакие в чемодан побросал, одежду теплую. Ему и собирать-то там особо нечего. Разве что фотографии дочек, когда маленькими были. Броня и Клава смотрят на него, удивляются. Разыскал где-то игрушки старые и тоже в чемодан пихает — куклу с оторванной ногой, клоуна без глаз и без носа.

— Господи, это тебе зачем?

— Это я вам маленьким подарил, — отвечает Тихон Харитонович. — Новый год тогда был... Елка... Бабушка Фелицата Фирсовна пироги пекла... И мать ваша жива была...

Через день Тихон Харитонович выехал. Броня и Клава билет ему взяли, на станцию проводить пошли. Возле вагона Броня сказала:

— Ты одевайся там теплее. Не лето ведь, к зиме дело...

В самую последнюю минуту прибежал к поезду Ермил Брюхин, картину какую-то под мышкой тащит. На картине не то собака, не то еще какой-то зверь желтого цвета.

— Вот, — говорит. — На память. Возьми с собой.

— Что же здесь нарисовано? — спрашивает Тихон Харитонович.

— Привиделась мне как-то собака, — отвечает Ермил. — Глядит на меня, а у нее один глаз искусственный. Вот я и изобразил.

Проводница возле вагона тоже посмотрела на собаку.

— Похоже, — говорит.

Поезд уже далеко отошел, дочери давно ушли, а Ермил Брюхин все стоит, рукой машет.

Через сутки Тихон Харитонович уже на месте. Сошел с поезда, погода сухая, солнышко, только автобуса, конечно, никакого нет. Пока попутную машину ловил, то да се, только к вечеру до переправы добрался. Глянул на другой берег — а там на горе точно, как и говорил Руслан, — особняк старинный с колоннами.

У парома народу никого, один старик перевозчик в зимней шапке. Поглядел он на Тихона Харитоновича:

— К Ефиму Григорьевичу собрались?

— Какой еще Ефим Григорьевич? Не знаю я никакого Ефима Григорьевича, — отвечает Тихон Харитонович.

Потом пришел на паром еще какой-то небритый в фуражке, за спиной мешок. Увидел Тихона Харитоновича.

— К Ефиму Григорьевичу? — спрашивает.

Последней пришла на паром бабка в платке. Села на лавку возле Тихона Харитоновича, вздыхает:

— К Ефиму Григорьевичу, значит... Это хорошо...

Не успел паром от этого берега отойти, другой берег уже рядом — речушка-то неширокая. Смотрит Тихон Харитонович, на том берегу люди какие-то: старик высокий, волосы седые, длинные, до плеч, другой — пониже, стриженный наголо, а третий и вовсе колесом скрюченный. Стоят руками машут. Тихон Харитонович сначала подумал, что это встречают его. А потом видит, длинноволосый со стриженным сцепились, будто хотят друг дружку в воду спихнуть. Кричат громко, на пароме слышно:

— Жулик твой Ефимка! Жулик и шарлатан!

Это длинноволосый кричит.

— Пророк! — огрызается стриженный, сам пыхтит, отдувается. — Святой старец!

— Чтоб его дьяволы забрали! Черти сожгли! — не унимается длинноволосый. Голос у него густой, раскатистый.

А паромщик даже не смотрит в их сторону.

— Опять артисты представляют...

— Неужели артисты? — ахает Тихон Харитонович, а сам думает: «Не обманул, значит, Руслан. И правда артисты...»

Как паром остановился, Тихон Харитонович сошел на берег, стоит, куда идти — не знает. Тут скрюченный старик его увидел.

— С приездом, с приездом, — кланяется. — Милости просим! У нас хорошо: кругом вода, в середине беда. А что? У нас кто больше съест, тот и староста! Один вот съел тридцать три пирога с пирогом да все с творогóm, вот и стал главным. А другие под ним ходят.

Он дернул за рукав длинноволосого.

— Вот Лаврищев, к примеру, актер. Кто его не знает? Рака со звоном встречает, небо кольями подпирает. А тоже в низком звании.

Затем стриженного толкает:

— А это музыкант-настройщик Федякин. Личность тоже известная. Корову в баню водит, козу пряниками кормит. И этот в подчинении.

— Будет тебе, Гаврюша, — морщится Федякин, — шута из себя корчить.

Тихон Харитонович постоял, потом говорит:

— А меня дочери сюда отправили. Я им дом отдал. А они меня сюда.

Длинноволосый актер так руками и всплеснул:

— Выгнали, значит? Как короля Лира? Ну точно — король Лир! Корону разделил, покинул двор! Ты слышишь, Гаврюша, где ты там?

— Я тут, — откликнулся скрюченный. — Какой же король без шута? Вот он я! Подарил? Выгнали? Выходит, кому раз, кому два, кому и ничего! Ты не пробовал, дядя, солнце мешком ловить, блинами острог конопатить? Ты случайно, дядя, не из Тулы?

— Постой, Гаврюша, — перебил его актер. — Как это там у Шекспира? «Восстали дочери против отца!»

Он развел руки в стороны, одну выше другой, и выставил вперед ногу.

— «Так пусть все зло...» И дальше как-то там... «На мерзких дочерей твоих падет». Вот как! Вспомнил! «Пусть дьяволы калеными щипцами ухватят и потащат их в огонь!»

Тихон Харитонович сначала не понял, что он говорит, потом догадался — стихи.

— Да я и не жалуюсь на них вовсе, — говорит он.

— А ты бунтуй! Бунтуй! Как король Лир! «Вдохните, боги, в меня высокий гнев!»

Он повернулся и двинулся вверх по дороге, все поплелись за ним.

— Что ж бунтовать? — говорил Тихон Харитонович, идущий сзади. — Мы сами-то лучше, что ли? Нас поскрести, тоже шелуха наружная слетит. А под ней всякое...

Поднялись они на гору, вошли в дом, Тихон Харитонович удивляется — коридоры просторные, потолки высокие, лепнина везде. Окна тоже во всю стену, занавески белые до полу. Федякин тем временем успел сбегать куда-то, потом возвращается:

— В семендяевскую его... Ефим Григорьевич распорядился...

Поднялись на второй этаж, в самый конец коридора. В комнате душно, пахнет чем-то кислым, лекарством каким-то. На столе — крошки, шелуха луковая. На подоконнике банка стеклянная с тремя кусками сахара. Смотрит Тихон Харитонович — в углу старушка какая-то, голова платком замотана, в руках тряпка.

— Не обращай внимания, — говорит Лаврищев, — «Катя монастырская». Приберется и уйдет. Молчальница. Сейчас хоть отвечать стала. А раньше слова не вытянешь.

Он подошел сзади к старушке и громко так, в самое ухо, как глухой:

— «Но я увижу, как гром испепелит таких детей!»

Старушка даже головы не повернула.

— Вот видишь! Вообще-то уборщица у нас есть. Но Катя так, от себя убирать ходит. И всегда молчит.

И снова ей в самое ухо:

— «И это будет нечто ужаснее всего, что видел свет...»

— Здесь до тебя Семендяев жил, — продолжал Лаврищев. — Умер он... Скверный был старик, доносчик и кляузник. Сколько крови нам перепортил. Не знали уж, куда от него деться. А тут Господь и призвал его...

— Царство ему небесное, — вздохнула в углу «Катя монастырская». — Что ж теперь-то... Помер человек...

— А уж помирал как, не приведи Господи, — говорит Лаврищев. — Все никак отойти не мог. Вроде бы лежит, дыхания нет. Станут его переворачивать, а он поднимается снова и сидит. Потом кто-то догадался — у него, говорит, под матрасом, наверное, доносы, сжечь их надо. Полезли под матрас, точно — листки какие-то. Ну, сожгли их, конечно. Пепел в окно развеяли. После этого просит он воды принести. Глотнул один раз и отошел уже насовсем. Видно, пепел душу его выгнал.

— Царство ему небесное, — снова вздохнула в углу «Катя монастырская» и перекрестилась.

— В коридор потом вышли, а там кошки. И все черные. Откуда бы им взяться? Никогда таких у нас не было. Мы так и решили, что это, верно, не кошки, а души, какие покойник загубил.

Тихон Харитонович тем временем, пока Лаврищев рассказывал, вещи свои успел разобрать. Первым делом он картину Брюхина над кроватью повесил, там как раз гвоздик был. Федякин подошел и спросил:

— Что это за зверь?

— Собака, — ответил Тихон Харитонович.

— Похоже, — кивнул головой Федякин.

Потом Тихон Харитонович фотографии дочек на комод расставил, игрушки рядом разложил. Лаврищев долго снимки разглядывал:

— «Не дочери, а сущие тигрицы!» А ведь помню еще! Не забыл! «Вырви из души своей любовь и грудь взамен наполни ядом желчи!»

— Да Бог с ним, с королем Лиром! — взмолился Тихон Харитонович.

— Похоже! — еще раз сказал Федякин, глядя на желтую собаку. — Вам бы к Ефиму Григорьевичу зайти, представиться...

— Да кто он такой, наконец? — спрашивает Тихон Харитонович. — Только и слышу со всех сторон: Ефим Григорьевич да Ефим Григорьевич.

Все сразу замолчали, один Гаврюша хихикает:

— Есть тут у нас птичка. Не снегирь, не синичка, не петух, не воробей, не щегол, не соловей. Что это, дядя? Не знаешь? Вот и мы не знаем. Пришел и живет. Всеми командует.

— Сам скоро увидишь, — хмурится Лаврищев.

— И горшок у него с перекладиной, — не унимается Гаврюша. — В одной половине щи болтает, в другую помой сливает.

Тут «Катя монастырская» уборку закончила как раз, и все выходить стали. Лаврищев уже было дверь за собой закрыл, потом снова вернулся:

— Ведь помню, а? «...исчакни! Пропади от язв отцовского проклятья...»

Ушел он наконец, а Тихон Харитонович все разговаривает с ним:

— Разве я сам хорошо жил? Может, я больше перед ними виноват. Вот теперь мое искупление. Какое уж тут проклятье? Разве можно — пропади, исчакни?

Ночью лежит Тихон Харитонович в своей постели, в доме тишина. «Вот он и покой, — думает. — Вот что мне нужно. Хорошо-то как!»

Только спал он этой ночью все равно плохо. Все ему кошки черные снились, будто по комнате ходят. Особенно одна — здоровенная, ровно теленок. Потом открыл глаза, смотрит, а это не кошка вовсе, а человек в комнате на корточках сидит. Луна в окно светит прямо ему на спину.

— Кто здесь? — спрашивает Тихон Харитонович.

— Не пугайся, — отвечает гость. — Жил я здесь, в этой комнате. Вещички мои тут остались...

— Семендяев, что ли? — вспомнил Тихон Харитонович.

— Он самый. Меня здесь, верно, хорошо помнят. Много я им крови испортил. Характер у меня такой. Доносы писал. Под матрасом которые

были, они сожгли, другие остались. За зеркалом. Про эти они не знают.

Поднялся он с корточек, к кровати подходит.

— Заговор у них здесь. Тайное общество. Против Ефима Григорьевича. Извести его хотят, так и знай.

Тут в коридоре под дверью шаги чьи-то послышались, будто хромым шаркает, ногу приволакивает. И Семендяев тут же пропал, исчез куда-то. Ждал его снова Тихон Харитонович, ждал, не заметил, как уснул. Утром только проснулся — в комнату заглядывает кто-то. Знакомая стриженная голова — Федякин. Дверь-то от сквозняка газетой была заложена, газета и упала. Федякин поднял ее и спрашивает:

— Это ваша газета?

— Моя, — отвечает Тихон Харитонович.

— День-то сегодня какой! — улыбается Федякин. — Прямо праздник! Именины Ефима Григорьевича! Святой день, ангельский! Вот счастье-то выпало! Вы уж не забудьте поздравить! А погода-то, погода! Будто лето вернулось...

Ушел Федякин, Тихон Харитонович Семендяева сразу вспомнил — заговор, общество, доносы. Подошел он к зеркалу, осмотрел его — ничего особенного, зеркало как зеркало. Рукой сзади провел так, на всякий случай. Ничего, конечно, нет — ровная стена. Когда уже совсем было выходить собрался, вернулся все же, будто толкал кто. Снял зеркало с гвоздя, а там, на обратной стороне, вроде кармашка сделано, в кармашке бумаги какие-то. Взял он эти бумаги — и в коридор.

Спустился по лестнице, куда идти — не знает. Видит, старик какой-то по коридору шаркает, низенький такой, издали будто не старик даже — мальчик. Идет, ногу приволакивает.

— Где здесь столовая? — спрашивает Тихон Харитонович.

Старик смотрит на него, будто не понимает, потом рукой на дверь впереди показывает, а сам за угол — и пропал. Тихон Харитонович постоял еще немного, а потом прямо в ту дверь, какую старик указал. Входит, а там комната просторная, светлая. Окна высокие, над окнами украшения лепные — гилянды из цветов и фруктов. Посреди комнаты столы сдвинуты в ряд, с обеих сторон старики и старушки на стульях сидят. Во главе старик высокий, с большим крестом на груди. Волосы жидкие, длинные, на пробор расчесанные. Борода тоже жидкая, растрепанная, в бороде капуста застряла. Рубаха на старике застиранная, у ворота застегнутая, а руки длинные, жилистые. В руках гребенка. Сидит он и волосы гребенкой расчесывает. На столе перед ним сухари черные горкой и миска с кислой капустой.

Тихон Харитонович так сразу и решил, что это не кто иной, как тот самый Ефим Григорьевич, о котором все говорят. А старец уже Тихона Харитоновича увидел:

— А, новенький! Ты иди, иди, не бойся! Будешь возле меня — все хорошо будет.

Старушка рядом с ним чистенькая такая, воротничок белый, кружевной.

— Идите, идите, не бойтесь. Он вам ничего не сделает...

А старец сухарь из кучи выбрал и Тихону Харитоновичу протягивает.

— Смирять себя надо, вот что. Проще быть, проще. К Богу ближе. Этих всяких хитроостей не надо. Ой, хитры вы здесь все, вижу я вас. В душе вашей читаю. Хитры вы больно.

Говорит он, а во рту у него вместо зубов одни корешки черные, Тихон Харитонович это почему-то заметил. Поглядел он место себе найти, а Федякин уже тут как тут, рукой ему машет, рядом с собой сажает. Тихон Харитонович как сел, так во все глаза на старца уставился. Вот старушка в кружевном воротничке тарелку свою старцу протягивает. А тот пальцами капусту из миски берет и старушке на тарелку кладет. Федякин рядом шепчет:

— Артистка это бывшая, певица. В Москве, в Большом театре пела...

Потом старик какой-то в шерстяном вязаном жилете к старцу со стаканом чая подходит:

— Благослови, отец...

Старец из банки стеклянной кусок сахару достает и в стакан старику кидает.

— Благодать тебе Божия...

— Муж это ее, — шепчет Федякин, — той самой певицы. Известный музыкант. На виолончели играл...

Вдруг откуда ни возьмись из боковой двери Гаврюша скрюченный показывается и прямо к старцу идет, приплясывает.

— Отгадай загадку, дядя. Под полóm, под полóm ходит барыня с колóm.

— Не знаю, не знаю, — говорит старец.

— Мышь это, дядя, мышь. Фу-фу, неужто не чуешь — мышиным духом пахнет.

Тут он бочком как-то подскакивает к той самой двери, из которой вышел, и за ручку дергает.

— Стару бабу да за пуп! Принимайте гостей важных!

Повернули головы, а в дверях гости стоят, два человека. Все зашумели сразу, загалдели:

— Николай Павлович!

— Елизавета Петровна!

Тихон Харитонович, конечно, догадался — директор это со своей женой. Подходят они к столу, торжественные такие.

— С днем ангела тебя, Ефим Григорьевич!

И ставят перед ним коробку большую. Развязали ее, а там — сервиз чайный, дорогой. Все, конечно, заохали. Ефим Григорьевич директора по правую от себя руку сажает, супругу его по левую.

— Теперь и праздник начинать можно!

И сразу из кухни поварахи идут, будто только и ждали сигнала, подносы с закуской тащат. На подносах тарелки с колбасой, сыром, фруктами. Ефим Григорьевич только морщится:

— Не люблю я этих разносолов. Мне бы хлеб черный да капуста.

Ну а все так и накинудись на закуски — видно, что в диковинку, не каждый день. Старушка напротив Тихона Харитоновича в теплой меховой безрукавке бутерброды один на другой складывает и в сумочку матерчатую запихивает.

— Пианистка это, — шепчет Федякин. — Не то скрипачка. За границу все время ездила.

Рядом с музыкантшей толстяк в клетчатом пиджаке, щеки висят. Набил полный рот, никак прожевать не может.

— Писатель тоже, — шепчет Федякин. — Для кино раньше писал. И ведь сын есть, семья, квартира хорошая. Нет, говорит, хочу здесь жить. Мемуары писать на покое.

Гаврюша в это время достал откуда-то большой стакан тонкого стекла с узорами, перед Ефимом Григорьевичем ставит:

— Выпей винца, дядя. Чудная мадера нового манера. Бочка воды да полфунта лебеды!

Не успел сказать — из кухни бутылки с вином несут. А как вино принесли, народу в комнате стало еще больше, все идут и идут. Федякин не успевает нашептывать в ухо Тихону Харитоновичу:

— Врач Маруся Алексеевна, поварахи Глаша и Нинель, уборщица тетя Фрося.

А Гаврюша все возле старца Ефима Григорьевича крутится:

— Народу-то сколько, дядя, народу! Герасим, что крышу нам красил! Еще таракан и паук, заморский петух, курица и кошка, пономарь Ермошка, лесная лисица и нашего попа кобылица.

В разгар веселья заходила в комнату какая-то дама в шляпе с большими полями. Поздравила Ефима Григорьевича, взяла три яблока со стола и тут же ушла. Старец поглядел ей вслед:

— Ох не любят меня враги мои, ох не любят.

А Федякин поднимается и говорит:

— За здоровье святого чудотворца!

Выпили вина, кто хотел, какой-то старик в тубетейке встает:

— А как с дочерью моей было? Я вам расскажу. Пишет она мне, что заболела, плохо ей. Месяц целый лежала, не вставала. Потом во сне человек к ней какой-то приходит и говорит: «Будешь здорова». И что вы думаете? Через три дня поправилась. А на той неделе приезжает ко мне сюда, раньше-то она не ездила. Увидела Ефима Григорьевича, да как крикнет: «Вот он! Вот кто во сне ко мне приходил!»

Все опять ахают, головами качают:

— Чудотворец!

Сидели так за столом, сидели, вдруг Ефим Григорьевич как вскочит, как стукнет кулаком по столу, аж посуда загремела. Все, конечно, в недоумении. Директор с женой даже вздрогнули. А Ефим Григорьевич спрашивает:

— Ну что? Где у вас ёкнуло? Здесь или здесь?

И рукой сначала на лоб показывает, потом на сердце. Николай Павлович на жену поглядел, потом на старца и на сердце показывает.

— То-то же, — говорит старец. — Коли что будешь для людей делать, спрашивай не ум, а сердце. Сердце вернее ума.

Сел обратно на место и вино себе наливает.

— Помни, здесь теперь вся наша Россия, в этом доме! Нет у нас больше ничего! Только этот дом! Пока я тут — и дом будет! Не будет меня — и дома не будет! Так-то вот!

Супруга директора Елизавета Петровна за руку старца хватает:

— Мы с тобой никогда не расстанемся! И ты ничего не думай!

А рука у старца большая, узловатая, со вздувшимися жилами, ногти черные.

— Вон рука у меня какая. Все от тяжелой работы.

Потом один палец вверх выставил.

— Смотри, как кожа почернела. Это я из одной женщины беса изгонял. А она возьми и укуси меня за палец. Но я все-таки одолел беса. Выскочил он и убежал.

И пальцем в Елизавету Петровну тычет:

— К Богу надо ближе. Сама себя унизишь и спасешься. Помни. Смирись, вот и спасение.

Потом к директору поворачивается:

— Бери бумагу, пиши.

Николай Павлович достает записную книжку, вырывает листок.

— Радуйся простоте, — диктует старец. — Горе гордым и злым, им и солнце не греет. Пошли, Господи, смирение душам нашим.

Подумал еще, помолчал, потом взял у директора ручку и жирный крест на листочке поставил.

— Это ты возьми и читай! Сердцем читай!

Выпил еще вина большой стакан.

— Мне еще пять лет положено пробыть с вами. А после я скроюсь в глухом месте, вдали от людей, и там буду спасаться...

Елизавета Петровна опять руку его хватает:

— Не оставляй нас, Ефим! Погибнем мы без тебя!

— Ладно, ладно, — говорит старец и из-за стола поднимается. — А теперь танцевать будем! Федякин, иди за баяном...

— Может, в домино лучше? — спрашивает Николай Павлович. — Вчетвером, как обычно...

— После, после, — отвечает Ефим Григорьевич. — Знаю, что любишь. Но после. Сперва танцевать...

Тут старики и старушки поспешно стали подниматься от стола.

Тихон Харитонович тоже было к двери пошел. У дверей Ефим Григорьевич нагнал его:

— Что в гости ко мне не зашел? Приехал и не зашел. Гордым хочешь остаться? Ты заходи, не думай. Ты не бойся меня. Вот как ближе сойдемся, увидишь, что я за человек. Я все могу. Завтра и приходи.

Вышел Тихон Харитонович из столовой, а в коридоре Лаврищев стоит, будто ждет кого. Тихон Харитонович сразу к нему.

— Я все знаю, — шепчет. — Вы хотите извести Ефима Григорьевича!

И бумаги ему протягивает, какие за зеркалом были.

— Вот тебе на! — удивляется Лаврищев. — Не все, значит, сожгли. Ну, ты эти непременно сожги! Не то ходить будет...

— Кто?

— Семендяев. Покоя не даст.

Тут из дверей столовой одна из поварих выходит, Глаша, на кухню идет. В руках у нее поднос с посудой. Лаврищев как ее увидел, Тихона Харитоновича бросил и за ней:

— Глашенька, голубушка! Умоляю! Всего одну рюмочку...

Глаша остановилась, у самой глаза масляные.

— Так ступайте в столовую. Там осталось.

— Только не туда! — морщится Лаврищев. — Там пляшут. Ноги моей там не будет!

Из столовой уже всю музыку федякинского баяна. Глаша сунула Лаврищеву поднос с посудой.

— Ладно уж. Сейчас принесу.

Лаврищев с подносом вернулся к Тихону Харитоновичу.

— Прямо с души воротит! Вот ведь какую власть в доме взял старец! Все по его указке! Директор у него спрашивает, какую рубашку надевать. А ведь явился-то как сначала? Простым странником! Дескать, по святым местам ходит. Нельзя ли, мол, переночевать!

— Как же он силу такую взял? — интересуется Тихон Харитонович.

— Случай тогда вышел... Несчастье как раз... Жена директорская Елизавета Петровна на машине разбилась. Думали, не выживет. Шофер-то на месте погиб, сразу, а она лежит, глаз не открывает. Тут как раз старец! Подходит: «Погляди на меня, Лизонька. Открой глаза». Она и открыла. Он тогда и говорит: «Поправится». С тех самых пор и остался. Молятся они на него.

— А вы — извести! Грех-то какой! Это даже в мыслях грех!

Лаврищев не успел ничего ответить, потому что тут как раз Глаша снова выходит. В руках у нее бутылка и стакан, а в бутылке на самом дне остатки вина. Лаврищев сунул Тихону Харитоновичу поднос с посудой, сам за бутылку хватается.

— Век тебя, Глашенька, поминать буду...

А как Глаша с подносом ушла, он вина выпил.

— Тут еще сын директорский, Алешка. Пьет сильно. Молодой совсем, а конченный пьяница. А старец держит его, заговаривает. Пошепчет что-то — тот и держится. Неделю не пьет, месяц...

— А правда, что у вас общество, заговор? — спрашивает Тихон Харитонович.

Лаврищев еще отпил немного вина и говорит:

— Скоро все узнаешь.

На другой день сразу после завтрака Тихон Харитонович, как и обещал, к Ефиму Григорьевичу собрался. Вышел в коридор, а тут Гаврюша идет, бормочет что-то:

— Шла свинья из овина, размыкала сено по рылу. Знаю, куда идешь, знаю. И тебя, значит, запрягли? Скажи, дядя, что к стенке приставить нельзя? Правильно — дорогу... Вот ты иди и иди... Ждут там тебя...

Хотел Тихон Харитонович спросить у него дорогу, а Гаврюша пропал, как сквозь землю провалился. Вместо него идет по коридору старик низенький, тот самый, что ногу приволакивает. Тихон Харитонович кричит ему:

— Где здесь комната Ефима Григорьевича?

А старик вздрогнул, будто испугался, и скорей, скорей дальше, к лестнице и вниз. Опять Тихон Харитонович один. Тут дверь рядом с ним открывается, и выходит парень молодой в очках, с бородой, волосы на затылке в узелок стянуты.

— Вам Ефима Григорьевича? — спрашивает. — Идите за мной.

Идет Тихон Харитонович за ним, а сам удивляется: «Откуда здесь в доме такой?» Бородатый долго водил его по коридорам и лестницам, пока не привел наконец к Ефиму Григорьевичу.

Комната у старца не в пример лучше других — светлая, просторная. Под потолком люстра богатая, под стеклянным колпаком. Мебель тяжелая, старинная, стулья с высокими спинками. Видно, еще от старых времен остались. На полу ковер, в углу у окна образ с лампадкой. На стенах — иконы, картинки из Святого писания.

Старец сидел в кресле, орехи шелкал. Увидел гостей, поднялся:

— Алеша! Хорошо, что ты пришел!

«Вот оно что, — думает Тихон Харитонович. — Стало быть, сын директорский». А старец уже возле Тихона Харитоновича и вдруг в ноги ему кланяется:

— Прости меня, милый, если виноват в чем... Не держи зла... Может, обидел чем... Прости...

— Что вы, что вы! — даже испугался Тихон Харитонович. — Какие обиды? Никакой обиды нет!

— Как же! — шурится Ефим Григорьевич. — Рассказывай! Хитрые вы все здесь очень! Вижу я вас! У каждого камень за пазухой! Проще надо быть, проще!

Потом к Алеше подходит:

— Вылечу я тебя, вылечу. Что доктора? Не смыслят ничего. Так себе. Лекарства только прописывают, а толку нет. Еще хуже от ихнего лечения. Я по-божьему лечу. Опять запрет на тебя положу, на месяц.

— На месяц много, — говорит Алеша. — На неделю хотя бы...

— Ну, ладно, ладно, на две. Садись пиши!

Алеша сел за стол, взял карандаш.

— Проклинаю свое излишество, — диктует старец, — которое гнетет меня и ведет скуку. Воскресни, душа, от бездны греховной...

Походил по комнате, походил, потом продолжает:

— Бог радуется и утешает. Решительность на небе. Радость будет здесь.

После этого взял у Алеши карандаш и поставил на бумаге большой крест.

— Это ты клади под подушку на ночь. Все исполнится. Благодать Божия выше болезни. Будешь безболезнен во всем. А теперь ступай.

Как Алеша вышел, Ефим Григорьевич сразу к буфету, бутылку с вином достает. Налил два стакана, перекрестил их и отпил из одного немного.

— А ты что ж, выпить не хочешь? Вина, что ли, боишься? Оно-то, милый, самое лучшее лекарство. От всех болезней. Настоящее Божье средство. И душе и телу крепость.

Отпил он затем из другого стакана.

— Знаю, о чем думаешь, милый. Знаю, что извести меня хотят... Про заговор знаю. Директору жалуются. Записки мне пишут. Убирайся, мол, отсюда. Только ведь выгнать меня — погибель всем, могила открытая. Ты это знай, милый. Дом-то наш хорош? Хорош! Много до него охотников. Все приходят. Дельцы всякие, коммерсанты. А я их не допускаю. Бесы это. А как меня не будет, и дома не будет. Ты смотри, дружок, стой за меня. Не слушай врагов.

Он достал гребенку и долго расчесывал волосы. Потом смешал остатки вина из двух стаканов и снова отпил.

— Завтра выходной. Гости съедутся. Родные, знакомые. Так ты скажи там, директору или жене его, чтобы в большую залу никого не пускали. Беда там может быть. Так и передай, не забудь. Для того и звал тебя.

Вышел Тихон Харитонович от старца, идет к себе, а навстречу по лестнице Елизавета Петровна спускается, старушка с ней та самая, что рядом со старцем сидела на именинах, воротничок белый кружевной.

— Мне вам сказать надо, — говорит Тихон Харитонович. — Хотя, конечно, пустое, наверное...

— Погодите, мой друг, — отвечает Елизавета Петровна. — После. Мы сейчас больных навещаем. Идемте с нами.

Подошла она к крайней двери, стучит. Заходят потом, комната узкая, тесная. На кровати старик лежит, книгу читает. На тумбочке возле него грелка, стакан с водой.

— Вы что читаете? — спрашивает Елизавета Петровна.

Старик поднял на нее глаза.

— Да вот все ноги болят, — отвечает.

А Елизавета Петровна будто не замечает, что он не слышит. Увидела валенки возле кровати.

— На зиму уже приготовили? — спрашивает. — А я вам бублик принесла.

Вынимает она из сумочки бублик и кладет на тумбочку. Потом к старушке оборачивается:

— Сколько же ему лет?

— Сто десять, — отвечает старушка.

— Откуда вы знаете?

— Сам говорит...

Старик вдруг оживился:

— Я еще крепкий. Потому — чай на тараканах пью.

— Как это — на тараканах?

— А у меня на тумбочке чайник заварочный. Ночью тараканы в него забираются, через носик. Ну, утром-то я, конечно, утопших выбрасываю. А чай — ничего, пью...

Постояли они еще немного возле старика, запах у него тяжелый, и вышли. В коридоре Тихон Харитонович и говорит:

— Я, собственно, от Ефима Григорьевича... Он просил передать...

Елизавета Петровна как вспыхнет сразу:

— Что же вы молчите? Надо было раньше!

— Он просил передать, чтобы завтра никого в большую залу не пускали. Несчастье там может быть. Хотя, думаю, глупости все это...

Елизавета Петровна перепугалась, пятнами красными пошла. Засуетилась сразу и к себе по лестнице.

— Дальше-то пойдем? — кричит ей вслед старушка.

— После, после, — машет рукой Елизавета Петровна.

А Тихон Харитонович свое:

— Да я же говорю, глупость все это...

На другой день с самого рассвета весь дом на ногах — чистятся, убираются. И сразу после завтрака все обитатели в передней зале, внизу, гостей ждут. Некоторые даже на завтрак не ходили, так и сидят здесь — старушка с кружевным воротничком, писатель в клетчатом пиджаке. Немного погодя директор с супругой пришли, одеты все нарядно. Ефим Григорьевич тут же, в кресле плетеном возле окна сидит. Погода вот только, как назло, испортилась, с ночи сеется мелкий осенний дождик. Федякин баян принес, музыку играет. Поиграл сначала, потом к старцу подсел:

— Как же с ремонтом, Ефим Григорьевич? Зима на носу. У меня с потолка течет.

Ефим Григорьевич махнул рукой:

— Я скажу директору, он сделает...

Сидят так все, ждут. А как ждать устали, смотрят, от реки, с парома, автобус в гору поднимается. Все сразу с мест повскакали, кто на улицу выбежал с зонтиком, кто в зале остался.

Первой вышла из автобуса дама солидная, не молодая уже, одета богато. С ней мужчина с красным лицом, с зонтиком. Под руку ее поддерживает. Гаврюша на даму пальцем указывает:

— Дама солидная, за три версты видная. С неделю ростом и два дня загнущи. Это уж известно к кому. Не к нам, грешным, не к нам.

Дама как в дом вошла, сразу к Ефиму Григорьевичу кинулась. Духами от нее на всю залу пахнет.

— Ты мне велел, целитель, и все по-твоему вышло. Головной боли как не бывало. И тоска прошла.

Старец расцеловался с ней, по плечу похлопал, потом по спине.

— Будешь меня слушаться — все хорошо будет.

Дама схватила его руку и целует. Потом подарки стала перед ним выкладывать — платки носовые, конфеты, иконки, кресты.

— Тебе, избранник Божий! Тебе, новый апостол! Платки сама обрубала, там буквы твои.

Ефим Григорьевич близко возле нее стоит, по бокам ее похлопывает.

— Ты добрая... Обо мне помнишь... Тепло от тебя идет...

Тем временем спутник дамы зонтик раскрыл и в угол сушиться поставил. Сам к Николаю Павловичу идет. Подошел и стоит возле него.

— Вам чего? — спрашивает Николай Павлович.

А гость молча бумажку ему какую-то протягивает. Директор повертел бумажку в руках и супруге показывает.

— Очки в комнате оставил. Прочти.

Елизавета Петровна сначала про себя прочла, потом вслух, медленно, с трудом разбирая слова:

— «Милый, прими и выслушай. Сделай для него все, и милость Божия будет с тобой. Да, это знай. Сила твоя в духе».

— Это ты писал? — спрашивает директор старца.

А Ефим Григорьевич от дамы своей оторваться не может. Потом руку убрал и говорит:

— Тебе давно пора бухгалтера сменить. Твой-то старый заворовался, должно быть. На руку, верно, не чист. Ты этого возьми. Лучше будет.

Николай Павлович махнул гостю рукой:

— Ладно. Потом поговорим.

Ефим Григорьевич хотел еще что-то сказать, но тут к нему другие женщины подходить стали, все больше молодые. Старец со всеми целуется, по бокам похлопывает. Одна в шляпке, накрашенная, молоденькая со всем, тоже руку его целует. Только слышно со всех сторон:

— Чудотворец! Человек Божий!

Гаврюша среди них крутится, подпрыгивает.

— Мою жену не видели? Мою жену не видели? Что ж она не едет?

— Какая же у тебя жена? — спрашивают у него.

— Жена хорошая... С печки ее сняли... Она поклонилась, да надвое развалилась. А я взял мочалу, сшил, да еще три года с нею жил...

Ефим Григорьевич наконец поднялся со стула, отстранил поклонниц:

— Ну, будет, будет. Устал я. Ступайте гулять. А я по комнатам пройдуся.

Увидел Тихона Харитоновича, пальцем манит:

— Идем со мной, милый...

Пошли они вдвоем по этажам ходить. Ефим Григорьевич в комнаты заходит, с гостями приезжими знакомится. На первом этаже в третьей комнате Марья Гавриловна, певица бывшая, сопрано. К ней племянница приехала, Изабелла. Старец как вошел, сразу к племяннице, за руку ее берет и в щеку целует. Та покраснела, а старец ей:

— Гордости в вас беда сколько! От гордости, милые, весь грех начинается. Первое дело — убить в себе гордыню. Принизиться надо.

А Марья Гавриловна уже знает — рюмочку из буфета достает и вина из бутылки наливает. Коробку с конфетами открывает, какую племянница привезла.

После певичы старец с Тихоном Харитоновичем на второй этаж под-
нялись. Там Недобоев в угловой, писатель, книжки детские писал. У него
в гостях дочь Шура с внучкой. Миловидная такая внучка, серьезная. Ста-
рец как увидел, даже причмокнул:

— Хороша у тебя внучка, Недобоев...

Он сначала дочь Шуру расцеловал, потом к внучке идет, за руку хвата-
ет. А та вдруг как руку выдернет, резко так, замахнулась даже. Старец от-
шатнулся и вон из комнаты как ошпаренный. Недобоев за ним:

— Ефим Григорьевич, ты куда? Что с тобой?

А старец даже не оборачивается.

— Не очень хорошо у тебя принимают. Внучка больно дерзкая. Гор-
дости много. А невелика, кажется, птаха.

Убежал старец, а Тихон Харитонович слышит сзади:

— «У меня в груди все вытеснено душевной бурей!»

Обернулся — Лаврищев за спиной.

— Что ж дочери не приехали? Отца-то родного навестить! Выгнали из
дома и знать не хотят! «Одно я сознаю: дочернюю неблагодарность! Но я
им покажу...»

— Господь с вами! — машет рукой Тихон Харитонович. — Какая еще
буря? Оставьте меня в покое.

— Прощаешь? — укоризненно говорит Лаврищев. — Предательницам
прощаешь? Нет, не выйдет из тебя король Лир! Какой ты король? Не тя-
нешь ты на короля!

Они как раз возле дверей в большой зал стояли. Только Лаврищев хо-
тел еще из Шекспира что-то сказать, как в зале грохот какой-то раздался.
Двери-то в зал с вечера были заперты, как старец велел. Кинулись за ди-
ректором. Николай Павлович прибежал, двери отперли, смотрят — на
полу осколки какие-то, стекло битое. А это люстра старинная с потолка
обрушилась. Хорошо, в зале никого не было, а то так бы на месте и при-
било.

Вечером лежит Тихон Харитонович в своей постели, уснуть не может.
Внизу гости — голоса, смех. Потом музыка, Федякин на баяне играет.
Лежит Тихон Харитонович и думает: «Откуда старец про люстру мог
знать?» Потом стал он засыпать понемногу, тут в дверь кто-то осторожно
так скребется. Зажег Тихон Харитонович свет, спрашивает:

— Кто там?

А в дверь голова стриженная просовывается — Федякин.

— Ефим Григорьевич приглашает вниз, в столовую...

— Поздно уже, — говорит Тихон Харитонович. — Спать надо...

— Ефим Григорьевич очень просит, — настаивает Федякин.

Ну, делать нечего, раз зовут — надо идти. Тихон Харитонович накинул
плащ старый на плечи, идет за Федякиным. Как вошли они в столовую,
Тихон Харитонович сразу понять ничего не может. Видит — приезжая, та
самая, в шляпке, накрашенная, у стола сидит с гитарой, струны перебира-
ет. На столе — конфеты, бутылки с вином, стаканы. Еще какие-то женщи-
ны в комнате, почти раздетые. Поварихи Глаша и Нинель тоже здесь. Кто-
то в белой нижней рубашке по комнате ходит, приплясывает, приседает.
Смотрит Тихон Харитонович, а это Ефим Григорьевич. Тут и старец его
увидел:

— Иди сюда! Мы сейчас подарки дарить будем!

Лезет он в карман задний и достает толстую пачку денег.

— Если бы я хотел, капиталы большие мог накопить. Сколько душе
угодно. Да у меня руки дырявые. Не умеют деньги держать...

Говорит, а сам бумажки по одной разбрасывает. Девицы тут же подби-
рают, друг друга отпихивают, хохочут.

— Вы все меня слушайте, и хорошо будет. Директор у меня вот где. Я
ему говорю: «Какой из тебя директор? Тебе огородом заниматься, цветоч-
ки сажать. Тебе бы на дачу, к земле. Оно и к Богу ближе. На душе-то, чай,

много чего замаливать?» А уж как пригрожу, мол, уеду — сразу на все соглашаются.

Опустился на стул, волосы гребенкой расчесывает. А девицы ластятся к нему, обнимают, на колени садятся. Старец целует их, бормочет что-то непонятное.

— Чувствуйте вместе! Радуйтесь вместе! Дай благодать ума! Премудрости нет числа! Веселье, веселье — путь ангелов!

Волосы у него на висках слиплись, на лбу морщины крестом. Тут видит, что Тихон Харитонович на него смотрит.

— В человеке грязи много и порока, — говорит. — Греха много. А я снимаю грехи. От страстей освобождаю. Призвание мое такое. Сам-то я бесстрастен. Бог мне за подвиги такой дар дал. Баба прикоснется ко мне — и освобождается от блудных страстей. Они потому ко мне и льнут.

Повариха Глаша обхватила голову его руками, к себе прижимает. Старец бубнит глухо у нее из-под руки:

— Молись, чтоб я камнем стал, — тогда дам вам покой. А до тех пор не дам.

Тут он голову из-под руки поварихиной высунул и вверх смотрит. Там над дверью оконце полукруглое, все паутиной заросло, а в окне лицо чьего-то. Ефим Григорьевич как крикнет:

— Это что за рожа? Леший!

Тихон Харитонович глянул вверх — лицо вроде знакомое, уж не Лаврищев ли? Потом лицо пропало и грохот за дверью, будто кто со стула упал. Выскочили все, девицы визжат, Ефим Григорьевич кричит: «Чур меня! Чур меня!» А впереди по коридору фигура чья-то бежит.

На другой день Тихон Харитонович все думал — Лаврищев это был или нет. Он хотел подойти к актеру и спросить, но Лаврищев повел себя как-то странно. Какие-то знаки таинственные делал, палец то и дело к губам прикладывал. В коридоре мимо прошел, голову в сторону отвернул.

— Никому ни слова, — слышит Тихон Харитонович.

После обеда на лестнице догнал, шепчет:

— Не оборачивайся... Теперь уже скоро... Наши все знают... Ждут...

А после ужина он и вовсе пропал куда-то. Искал его Тихон Харитонович, искал — нет нигде. В комнату его заглянул — никого. В коридоре тоже ни души. Потом видит — в дальнем конце у выхода на летницу стоит кто-то. Пригляделся — старик, тот самый, хромой, низенький. Стоит и рукой манит. Тихон Харитонович за ним. Старик идет впереди, шаркает, ногу приволакивает. Поднялись они на верхний этаж, возле крайней двери останавливаются. Старик постучал условным знаком, подождал, потом еще постучал. Дверь наконец открылась, а за ней Лаврищев.

— Никто вас не видел, Акимушка? — спрашивает.

— Никто, — отвечает хромой.

Вошли они, а комната маленькая, тесная, духами и пудрой сладко пахнет. На стенах — фотографии в рамках: женщины в громадных шляпах, мужчины с цветами. Между фотографиями букетики засохшие к обоям приколоты. Возле ширмы, сбоку так, хозяйка сидит. Тихон Харитонович ее сразу признал — та самая дама, которая на именинах Ефима Григорьевича показалась на минуту и сразу ушла. Вблизи Тихон Харитонович разглядел ее хорошо. Прическа замысловатая, на лице пудра, губы накрашены. Протягивает она руку, берет с этажерки какой-то флакончик, нюхает, пальчики тоненькие, сухие.

— Мне тут письмо пришло, — говорит.

— Какое еще письмо? — Лаврищев равнодушно так.

— От подруги моей Алисы. Да странное какое-то...

Она приподняла угол скатерти на столе и достала конверт. Долго бормотала что-то про себя, потом читает:

— «...и в церкви нашей теперь все по-новому. Никакой благодати. Теснота, брань, досужие разговоры. Старушки из-за места ссорятся. Парни какие-то в куртках всех расталкивают. А на улице, у церкви машины их

заграничные стоят. Ни радости, ни благодати. Певчие фальшивят. Служители по храму с сумками снуют. Служба еще не кончилась, а священник, молодой парень, уже переоделся, пальто модное, к выходу спешит».

— Что же здесь странного? — спрашивает Лаврищев.

— Дальше вот, дальше... Вот здесь... «А тут новое дело. Старца, говорят, какого-то святого убили. Не знаю, правда или нет? Ядом его сначала травили, потом стреляли. Под конец, говорят, и вовсе в реку кинули, под лед. А ведь Божий человек! Как же можно? Спрашиваю: что за старец? Распутин, говорят, какой-то...»

— Что за бред? — говорит Лаврищев. — Какой еще Распутин? Григорий, что ли? Конокрад? Так это когда было? При царе еще!

— Вот Иван Перфильевич придет, он разберется, — говорит хозяйка.

Лаврищев сразу оживился.

— Ты сейчас Ивана Перфильевича увидишь, — говорит он Тихону Харитоновичу. — Он у нас главный. Всему нашему делу голова. Особенный человек. В столовую со всеми не ходит. У себя ест.

— Особенный — это точно, — подтверждает Акимушка. — У него в комнате гроб стоит, рядом с кроватью. Так возле гроба и живет.

Тут как раз дверь открывается, и на пороге показывается кто-то. В темноте-то его сначала не разглядеть. А как на свет вышел, смотрит Тихон Харитонович — юродивый не юродивый, ряженный какой-то старик. Фартуком обмотан, будто мастеровой. На фартуке картинки наклеены — звезды с лучами, треугольники. На поясе лопаточка маленькая и молоточек нацеплены. Через плечо — лента с узорами: ветки какие-то, колонны. И весь он с головы до ног увешан цепочками, шнурами, погремушками. Подходит он к столу и тоненьким голоском напевает: «От нас, злодеи, удаляйтесь...» Потом вдруг как крикнет:

— Господи, к Тебе взываю об отмщении врагам!

Голову наклонил и ладонью правой руки по лбу проводит.

— Будет тебе, Иван Перфильевич, — говорит хозяйка. — Ты все чудишь! Угомонись!

— Господь благословляет праведных и наказует беззаконных. Надо умереть греху, дабы ожить для жизни духа, — говорит старик.

И сделал при этом так: положил большой палец правой руки на правый глаз, а указательным стал целиться куда-то в окно.

— Господи, — вздыхает хозяйка. — Что ж это за дом такой? Мужик какой-то, лапотник, всем заправляет! Власть какую взял! Помяните мое слово, Афанасий Никифорович, рухнет этот дом. В одночасье рухнет!

Тихон Харитонович посмотрел в угол, а там в инвалидном кресле, за ширмой, еще один старик сидит, его от дверей и не видно. Головой трясет, мычит, на голове шапочка черная.

— Сыр без... Сыр без...

— Не обращайтесь внимания, — говорит хозяйка. — Это он после удара. Сторона у него левая отнялась, говорить не может. Не те слова выходят. Он хочет сказать — сын бесовский...

Старик еще сильнее головой трясет:

— Луга, луга...

— Слуга дьявола, значит, — поясняет хозяйка. — На лбу-то Ефима видели — шишка? Он ее волосами прикрывает. Это и есть печать антихриста.

Тут старик в фартуке пальцы в кружку с водой опускает и кропит всех:

— Сейте семена царствия света! Выходите на брань со злом, не сядя жизни!

После этого сцепил он пальцы обеих рук ладонями наружу и закрыл ими лицо.

— Я знаю, что надо, — говорит вдруг Лаврищев.

Все сразу к нему:

— Что? Что?

— Отравить его надо, вот что!

Все загалдели сразу, перебивать друг друга стали. Старик в кресле мычит: «Бе... бе...» Ряженный знаки делает. То к сердцу руку приложит, то вперед вытянет, на носки поднимается. Потом берет со стола топорик, каким мясо разделявают, и говорит:

— Безжалостно отсекай вредных членов общества!

— Да, да, — поддакивает хозяйка. — Надо положить конец власти этого мужика! Нужен решительный разговор!

А Лаврищев свое:

— Отравить старца, и все тут!

Они еще долго говорили, обсуждали, что с Ефимом Григорьевичем делать. Хозяйка все время флакончик с этажерки доставала и нюхала. Звали ее Розалия Никитична.

Вернулся Тихон Харитонович к себе поздно. Забрался под одеяло, спит или не спит — не знает. Только под утро уже, светать когда взялось, слышит — в комнате есть кто-то.

— Семендяев, ты? — спрашивает.

А сам думает: «Бумаги-то его доносительные я не сжег. Вот он и ходит». Пригляделся — нет, не Семендяев, не его фигура. А потом как услышал шепот: «Прибраться...», понял — «Катя монастырская». Только удивляется:

— Что ж так рано? Спят еще все...

Катя сначала щеткой в углу возила, потом к кровати подошла, на краешек присела.

— Ты не слушай людей разных. Если судят строго ближних, это от высококого о себе мнения! Многие под видом борьбы с дьяволом служат ему. Это те, кто не прощает врагов, а воюет с ними...

Она протерла тряпкой тумбочку у кровати, потом говорит:

— Это же бес людей мучит. Бес осуждения и злословия. У нас в монастыре монашенка одна была. Как гнев ее одолевает, она на молитву становится. Молится о терпении к злодею. И видим мы — у нее изо рта дым поднимается. А она говорит: это гнев мой с дымом выходит. И под конец всегда свеча огненная из ее уст к небу восходит.

Походила она еще по комнате с тряпкой, а потом вдруг пропала. Тихон Харитонович поднялся — в комнате никого. Он даже в коридор вышел — тоже никого. Только кошка черная мимо его двери идет. Так он и не узнал, куда «Катя монастырская» делась.

В столовой за завтраком подсел к нему Лаврищев.

— В самом деле, — говорит. — Ультиматум старцу! Решительный разговор! Иван Перфильевич тоже так считает. Пусть наконец оставит нас в покое!

А тут директор в столовую входит, Николай Павлович. Пожелал всем приятного аппетита, потом и говорит:

— Прямо беда с этими коммерсантами. Не дают покоя. Опять на наш дом зарятся. Отобрать хотят. Ну что с ними поделаешь? Вот нынче еду в город хлопотать.

— Очень хорошо, — тихо говорит Лаврищев. — Теперь и поговорим со старцем с Ефимкой!

— Дом-то наш особенный, — продолжает директор. — Не как иные дома. Такого дома, может, и нет нигде больше. У нас все по-иному, все по-своему, не как у других.

— Вы уж там постарайтесь, — говорят за столом. — Защитите нас. Не дайте в обиду.

— Вы не беспокойтесь, — говорит Николай Павлович. — Ничего у них не выйдет. Отстоим наш дом.

После завтрака сразу Николай Павлович с супругой своей Елизаветой Петровной и сыном Алешей на лодке по реке катались, потом в огороде работали, на заднем дворе, за домом, — грядки окапывали, мусор сжигали, ботву старую. А после обеда, не успели попить чаю, — машина легковая у подъезда сигналит. Федякин как автомобиль увидел, ахнул:

— Та самая! На которой Елизавета Петровна тогда чуть не убилась!

Провожать семью директорскую вышли все обитатели дома. Николай Павлович на крыльце стоит, улыбается. Китель на нем офицерский, поношенный, в руках фуражка. С ним рядом Ефим Григорьевич.

— Ты не бойся, — говорит он директору. — Все хорошо будет. Бог поможет.

И все в толпе тоже стали говорить:

— Бог не оставит. Не допустит...

Николай Павлович помахал рукой и полез в машину вслед за женой и сыном. Старики и старушки долго еще стояли на улице, руками махали. А как машину на пароме увидели, снова махать стали. У многих так на глазах слезы и стоят.

За ужином Лаврищев опять говорит:

— Вот теперь с Ефимкой и говорить надо!

Только Ефим Григорьевич в столовую не явился. Ждали его долго, думали — покажется наконец. А он, будто чувствует, не идет. Заперся в своей комнате и сидит. Тогда Лаврищев говорит Тихону Харитоновичу:

— Сходи к старцу, тебя он примет. Скажи — поговорить надо! Пусть выйдет!

В столовой много народу собралось, ждут, будто представления какого. Поварихи с кухни Глаша и Нинель тоже тут, в дверях стоят. Новые еще приходят и спрашивают:

— Что случилось?

Тихон Харитонович поднялся наверх, разыскал комнату старца, стучит.

— Кто там? — спрашивает Ефим Григорьевич.

Узнал, что Тихон Харитонович, дверь отпер, впустил.

— Шума-то сколько, шума, — говорит. — Что они там? Ну да вода утечет — и нет ее. Это все так. Полают да отстанут. Так и будет! Утешение от Бога, а от бесов горе. Только Бог сильнее бесов. Колодец глубок, а веревки у них короткие.

— Вам бы лучше выйти, — говорит Тихон Харитонович. — Они все равно не отстанут. Всю ночь шуметь будут.

Ефим Григорьевич посмотрел на него и говорит:

— Ладно, приду! Ждите!

Вернулся Тихон Харитонович в столовую, а там Гаврюша вовсю веселится, будто праздник какой.

— Как кума к куме приплыла в решете. Покумимся, кума, покумимся! Придет он к вам, как же! Только его и видели!

Ну, ждали Ефима Григорьевича, ждали, а он все не идет. Послали тогда Гаврюшу к нему узнать: будет ли? Тот не долго ходил, скоро возвращается. Идет и рожи корчит:

— Я ему говорю: «Дядя, а дядя, в которой стороне ваша деревня?» А он мне: «У нас деревни нет, а все лес». Вот так-то! Эх вы! Пуд соли извели, а родимого пятна не смыли!

— Да что, придет ли? — перебили его.

— К себе зовет, — говорит Гаврюша. — Три человека, говорит, не больше. Депутация то есть.

Лаврищев хватает Тихона Харитоновича за руку:

— Идем!

— Я-то что ж? Я — зачем? — пробовал возражать Тихон Харитонович, но Лаврищев его не слушал. С ними пошли Розалия Никитична и Акимушка. Подошли к двери старца, стучат. Ефим Григорьевич спрашивает:

— Тихон Харитонович здесь?

Лаврищев Тихона Харитоновича в бок толкает.

— Здесь, — говорит тот.

— Сколько народу с тобой, милый? — спрашивает старец.

— Три человека, как вы сказали.

Ефим Григорьевич тогда щелкнул задвижкой, впустил. Не успели войти, Гаврюша следом проскальзывает, когда только подкрасться успел.

Старец стоит посреди комнаты под лампой, руки на груди сложил, на голове шапка с лентой. На ленте надпись: «Во мне вся сила». Постоял так немного, потом на стул сел. Посидел и снова встает, ходит.

Чувствуется, видно, что за разговор будет. Акимушка тоже за ним следом ходить стал, ногу больную волочит. Розалия Никитична ему говорит:

— Начинайте, Акимушка...

А Лаврищев как крикнет:

— Что вы самого тихого заставляете? Вы лучше всех знаете, вы и говорите!

Только Розалия Никитична хотела что-то сказать, а Акимушка как кинется на старца:

— Ах ты обманщик! Ах ты притворщик!

Ефим Григорьевич вдруг испугался, попятился, губы у него затряслись. Акимушка за рукав его дергает:

— Ты — безбожник! Ты — антихрист!

Ефим Григорьевич слабо так защищается, голосок тихий:

— Сам ты безбожник...

Тут и Розалия Никитична заговорила:

— Пора развязаться с тобой, Ефим! Чувствую, что плохо будет, а все равно. Ты обманываешь всех, за нос водишь! А главное — женщин преследуешь... Маруся Алексеевна вон жалуется — проходу ей не даешь. Что же это такое?

Ефим Григорьевич у стены встал, гребенку вынул, волосы расчесывает. Глаза так и бегают. Гаврюша перед ним пляшет:

— Купи, дядя, баранок, а поцелуй в придачу. Скажи, дядя, что это такое: ни тело, ни дух, к кому подлечу, как раз научу?

Ефим Григорьевич гребенкой на него замахнулся:

— Что ты мелешь, дурак! Ступай отсюда!

— А это ум-разум, — гнусавит Гаврюша. — Ум-разум. Вот что тебе надо.

Тут Лаврищев к старцу подходит, встал перед ним в позу, ногу отставил. «Неужто декламировать будет?» — думает Тихон Харитонович.

— Говори, бесов сын! — гремит Лаврищев. — Сейчас, при всех! Правда это или нет?

Ефим Григорьевич по сторонам озирается, будто ищет кого.

— Правда, правда, все правда...

— Зачем же ты это делаешь? — спрашивает Лаврищев. — Зачем женщин преследуешь?

— Блудные страсти я с них снимаю, — отвечает Ефим Григорьевич. — Мне к женщине прикоснуться — ровно к чурбану. У меня похоти нет. Дух бесстрастия во мне суший. Я передаю им, а они от этого чище делаются. Освящаются.

Лаврищев повернул голову, увидел в углу образ и толкнул старца на колени.

— Говори: клянусь здесь перед святым ликом оставить дом этот! Клянись! Целуй икону!

Все на старца смотрят — что дальше будет? А тут такое началось — целое представление. Дверь внезапно открывается, закрыть-то ее закрыли, а запереть не заперли, и на пороге Иван Перфильевич. Откуда он взялся — так никто и не понял. На нем, как и в прошлый раз, — побрякушки всякие, ленты, цепочки. На голове шляпа круглая. Посмотрел он на всех, потом повернулся и вкатывает в комнату кресло инвалидное, в котором старик сидит в черной шапочке. В руках старика большой лист картона с рисунком: скелет и скрещенные кинжалы. Внизу подпись: «Сам таким будешь». После этого подходит Иван Перфильевич к выключателю и гасит свет.

— Желаящие света должны прежде узреть тьму! Устранись от наружных вещей! Обрати всего себя внутрь, к источнику высшей жизни!

Потом снова включил свет и сказал:

— Да узрите свет!

А старик в кресле бубнит:

— Суд, кони... Суд, кони...

Розалия Никитична поясняет:

— Сосуд беззакония это... Покарай, Господь, сосуд беззакония — он хочет сказать.

Ефим Григорьевич смотрит на всех испуганно, потом перекрестился и полез целовать икону.

— Как все люди, — бормочет. — Как все люди... Грешен — не святой.

Как стали все выходить, Лаврищев в дверях остановился, лицо строгое сделал.

— Помни про свою клятву!

Тихон Харитонович в этот день спать лег рано. Утром уже лежит без сна, слышит — под дверь в коридоре будто стоит кто-то. Поднялся он, выглянул из комнаты, сначала даже глазам не поверил — Ефим Григорьевич. Рубаха на нем длинная, ночная. Сам белый, лица нет, руки трясутся.

— Пойдем ко мне, миленький... Посмотри, что у меня там в шкафу...

Тихон Харитонович как был раздетый, так и пошел за ним. Приходят в комнату, Ефим Григорьевич на шкаф показывает. Сам колотится, зуб на зуб не попадает. Тихон Харитонович посмотрел — шкаф как шкаф, ничего особенного. Приоткрыл он дверцу, а оттуда как дохнет стылým морозным воздухом. Тихон Харитонович дверцу сразу захлопнул.

— Ну что? — спрашивает Ефим Григорьевич.

— Чертовщина какая-то, — отвечает Тихон Харитонович. — Главное — откуда же там снег? До зимы-то еще далеко. Вон листья не все опали...

Постоял он немного, потом снова дверцу приоткрывает, осторожно так. А там внутри светло, светлей, чем в комнате. И картина перед глазами: мостик, речка, снежок — зимнее утро. Под мостом на льду человек стоит с усами. Все это, конечно, может быть, еще и ничего, но вот что удивительно: одежда на человеке странная — шапка форменная, шинель, сапоги. Ну вылитый городской, какие раньше при царе были. Стоит он и пристально так под ноги себе смотрит. А там во льду край мехового воротника от шубы торчит. Городовой посмотрел по сторонам, потом достает откуда-то топорик и принимается рубить лед. Прорубил лунку, а там уже видно — тело утопное в реке. Стал он тело вытаскивать, а оно вырвалось и назад в воду. Воротник у шубы оторвался.

Дальше — еще интересней. Народу всякого понаехало пропасть. Военные, полицейские, все тоже в царской форме. Видно, что чины большие, наверное, даже генералы есть. На льду столпились, все загородили. Тихон Харитонович видит только — утопленника в шубе на берег выносят. А он так и застыл с поднятыми вверх руками.

Положили тело на снег, ходят вокруг, совещаются. Потом обернули труп рожей, положили на санки и повезли куда-то. Один городской с усами остался. Ходит он по берегу, руками себя похлопывает, чтобы согреться. Потом вдруг неожиданно оглядывается и пристально так в сторону Тихона Харитоновича смотрит. Тихон Харитонович даже отшатнулся, шкаф поскорее захлопнул. А как снова открыл (интересно все же), городской уже тут как тут, прямо перед ним стоит, руку к шапке прикладывает.

— Старший городской Андреев... По первой дистанции...

Тихон Харитонович растерялся, отступил на шаг, а городской Андреев из шкафа прямо в комнату и шагнул. Пар от него морозный, на усах иней. Стоит в комнате, озирается, в руках галоша резиновая.

— Вот, — говорит. — На мосту лежала. Обронили, значит, когда тело кидали.

Тут он образ в углу увидел, перекрестился.

— Грех-то какой! Человека убили!

— Какого еще человека? — спрашивает Тихон Харитонович.

— Известно какого. Распугина, старца святого...

Тихон Харитонович сразу вспомнил — письмо Розалии Никитичны, что она читала. «Чудеса, да и только», — думает. А сам говорит:

— Холоду-то напустили. Вон как комнату выстудили.

А городской Андреев будто не слышит. Берет стул и садится посреди комнаты.

— Я вам расскажу, как было...

Сам на Ефима Григорьевича так и смотрит, глаз не отводит, будто только для него нарочно и рассказывать будет.

— Это все князь Юсупов. К себе его зазвал. Пирожными сначала угощал. А там — цианистый калий. Мадерой тоже, и в мадере яд. Только не брала старца отравы, вот в чем дело. Отрыжка, а смерти нет. Тогда они стрелять в него стали. Лежит старец на полу, шкура там медвежья, так всю шкуру кровью запачкал. Нагнулся князь дыхание у старца послушать, а тот вдруг глаз открывает: «Все царице скажу, Феликс...» Схватил князя и давай трясти, погон оторвал.

— Откуда вы такие подробности знаете? — спрашивает Тихон Харитонович. — Будто сами там были. Прямо удивительно.

Городской повернул к нему голову, подмигнул:

— Да уж известно... Нам положено... Служба такая...

И опять к Ефиму Григорьевичу:

— Князь тогда старца гирей в висок. Весь в крови, завернули в занавеску. Пуришкевич там тоже был, Владимир Митрофанович. Тот ботинком старца, каблук. И все по голове, по голове. Ну а под конец на машину и с моста вниз. Да вот галошу обронили...

Ефим Григорьевич в угол дивана забился, слушает, дрожь унять не может.

— Князь собакой своей любимой пожертвовал, — продолжает городской. — Пристрелил. Чтобы, значит, кровь распутинскую прикрыть. Да только разве кровь прикроешь? Она теперь всю Россию зальет! С этого теперь в России все и начнется, с этой вот самой крови. Все беды и несчастья! Потому как всякое убийство есть преступление и грех.

Городской при этих словах поднялся, еще раз перекрестился на образ, но обратно садиться не стал, а напрямик к шкафу. Дверцу открыл, шагнул и исчез, даже не попрощался. Только лужа растаявшая от его сапог осталась. Ефим Григорьевич тут как вскочит с дивана:

— И меня тоже убьют! Ах ты батюшки! Распутина убили — и меня убьют! Ведь хотят извести, я знаю! Враги мои, враги! Кошку вон мою отравили. Ты не знал? Месяц назад отравили. И до меня доберутся! Я знаю! Только дудки! Не достать им меня!

Тихон Харитонович стоит, слушает его, а сам в одной рубашке — синий, окоченел весь. Вот после этого он и заболел. До обеда еще как-то на ногах держался, а к вечеру слег — температура, жар. На другой день врач пришла, Маруся Алексеевна. Долго выслушивала, выстукивала, потом сказала:

— Простуда. И где это вас угораздило? Ну, ничего, вот скоро топить начнут...

Дала какие-то порошки, не велела вставать, а когда уходила, в дверях уже, спрашивает:

— Слышали новость? Старец исчез.

— Как исчез?

— Да так, исчез — и все. Неизвестно куда. Искали его, искали — нет нигде.

Тихон Харитонович глаза закрыл, бормочет:

— Шкаф... В шкафу смотреть надо...

Маруся Алексеевна вернулась к нему, лоб потрогала, думала — может, жар, бредит человек. В шкаф-то, конечно, на всякий случай заглянули. Только там, разумеется, ничего не увидели. Шкаф как шкаф — одежда, нафталином пахнет.

Только вот с этого самого дня все и началось. Возвращается из города директор — лица на нем нет. Из машины вылез, щека у него дергается, только и сказал:

— Плохо все. Нет у нас никакой поддержки. Все против нас.

А тут новое дело: сообщают, что Ефим Григорьевич пропал. Ну, сам-то Николай Павлович еще ничего, а супруга его Елизавета Петровна очень, говорят, убивалась. Просто, говорят, места себе не находила, чуть не заболела. А через неделю, наверное, как Ефим Григорьевич пропал, явился в дом коммерсант какой-то, на машине иностранной приехал, с охраной. Лысоватый такой, с бородкой, на голове кепка из дорогой материи. Долго по комнатам ходил, по всем этажам, высматривал что-то. А говорит так, что не разберешь ничего, — картавит, шепелявит, присвистывает. А как уехал он, прибегает к Тихону Харитоновичу Лаврищев. С ним, как всегда, Гаврюша.

— Ты слышал? Кончился наш дом! Фирма какая-то купила! Требуется немедленно освободить!

— Как же так? — говорит Тихон Харитонович. — Ведь это же наш дом... И не просто дом... Это, можно сказать, жизнь наша здесь...

А Гаврюша на пол сел, руку, как за милостыней, протягивает:

— Подайте на пропитание! Нет у нас ничего... Ни дров, ни свечей — не истопить печей. В правом кармане сочельник, в левом — чистый понедельник! Так теперь и будем жить...

Лаврищев перед зеркалом встал.

— О, Шекспир, Шекспир! «Ну, если не отместится по заслугам злодейство, доживем мы до того, что люди станут пожирать друг друга...» Ну что, Лир? Все — не осуждай, не осуждай! Вот и дожили!

Снова Лаврищев прибегает:

— Все кончено! Он уже и бумагу подписал! Нет, но какое смирение! Прощу покорно! Да тут во все колокола надо! Телеграмму в Москву! В Кремль! Во все газеты! А этот — тряпка! Сосулька бесхарактерная! Слушай, а может, его купили? Сунули в лапу — и конец! Как же так? Неужто все прахом? Вся жизнь наша!

Тихон Харитонович слушает Лаврищеву, все никак поверить не может. А потом приходит Федякин и говорит:

— Елизавета Петровна по комнатам ходит, прощается в людях. Сейчас здесь будет.

Ну а как Тихон Харитонович супругу директорскую увидел, тут только он окончательно и поверил. Елизавета Петровна вошла, на глазах слезы.

— Сердце у меня разрывается, — говорит. — Какие-то люди чужие по дому ходят. Тяжело и больно. Коля тоже страдает. Только он ведь такой человек, что никогда на людях не покажет. Сегодня всю ночь не спал. Читал «Записки» Цезаря. Ему же не должность нужна. Он дом хотел сбечь...

— Прохлопали мы свою родину, свою Россию, — вздыхает Федякин. — Потеряли!

— Коля пробовал жаловаться! Все инстанции объездил! Кругом лихоимство, все куплено. Ничего нельзя сделать. Говорят, если мы дом не освободим, отключат свет, воду, отопление. Телефон уже отключили. Переправу, говорят, скоро закроют. Какой-то хозяин купил ее, деньги заплатил. Там уже парни здоровые хозяйничают, плату берут. Ах, если бы Ефим Григорьевич с нами был!

— Правду говорил старец, — вставляет Федякин. — Прав он был. Как сказал, так и вышло. Нет его — и дома нет.

Когда Елизавета Петровна ушла, Федякин сначала с ней вышел, потом вернулся.

— Горе-то у них какое! — говорит. — Алешка, сын, совсем плох. Опять запил. Без старца-то. Елизавета Петровна просто в отчаянии. Она тут в прачечной рубаху Ефима Григорьевича увидела, так себе забрала. Алешу заставляла надевать — не помогает. Что ни день — валяется пьяный в парке.

На другой день с самого рассвета в доме суета, голоса громкие, вещи по коридору носят, двери хлопают. Днем собрались все в столовой, обеда

ждут. Потом смотрят в окно — а там автобус стоит. Так обеда и не дождались. Поварихи-то Глаша и Нинель раньше всех в автобус погрузились, чтобы с первой партией ехать.

Перед отъездом к Тихону Харитоновичу зашли проститься Лаврищев, Федякин и Гаврюша.

— Ты смотри не задерживайся, — говорит Лаврищев. — Как автобус за второй партией вернется, так сразу и езжай.

Постояли они у постели Тихона Харитоновича, а когда уходили, Федякин сказал:

— А знаешь, отчего все рухнуло? От злости и ненависти к старцу! Так-то вот!

— Вот и нет, — говорит Гаврюша. — Ночью бес ко мне приходил с одним глазом, загадку загадывал. Стоит щит, на щите заяц. Сова прилетала, зайца забрала. Ворона прилетела, вместо зайца села. Что это такое?

— Откуда мне знать? — отвечает Федякин.

— Щит — это дом наш, заяц — правда. Взяли правду на небо, кривда вместо нее села. Вот потому и рухнуло все.

Тут Гаврюша за дверь вышел и снова возвращается, в руках тащит что-то платком накрытое.

— Что это у тебя? — спрашивает Тихон Харитонович.

— А ты угадай, дядя. Не грешна, а повешена — что это? Не знаешь?

Сдернул он платок, а там клетка небольшая с птицей.

— Вот это что. И жизнь наша теперь такая — в клетке...

Ушли они, и скоро автобус уехал. Куда их увезли — никто не знал. Говорили разное, будто в какой-то приемник-распределитель. Через день снова тот же автобус приехал, забрал оставшихся. А про Тихона Харитоновича вроде как и забыли. Лежит он в своей комнате и лежит. Хорошо ему, в доме тишина, только внизу где-то дверь от ветра хлопает. Он то задремлет, то проснется. А потом как-то открыл глаза — у кровати на стуле сидит кто-то. Смотрит — а это «Катя монастырская».

— Хорошо, я к тебе заглянула, — говорит. — Мне сказали — с первым автобусом уехал. А я думаю, дай загляну. Дочерей твоих вызвать надо, вот что...

— Что ты, что ты! — даже испугался Тихон Харитонович. — Ни в коем случае. Беспокоить только. У них своя жизнь, у меня своя.

Тихон Харитонович опять вроде задремал. Потом очнулся и говорит:

— Когда ехал сюда, думал, покой будет... Вот только теперь и есть покой. А то ведь раньше не было. А вот теперь хорошо...

— Ты лежи, не бойся, — говорит Катя. — Я за тебя молиться буду, за спасение твоей души. Ты не бойся.

— А я и не боюсь, — отвечает Тихон Харитонович.

— Как же — не боюсь? Ведь спросят с тебя за все, за всю жизнь твою. А жил-то ты беспечно, не молился, наверное, ни разу. Душа в праздности, не заботилась о спасении. Спросят теперь с тебя за грехи, а ты не бойся. Ты лежи. Я за тебя молиться буду. Я уж привыкла. Я и в монастырь пошла не ради себя. За чужой грех, за родительский. Отца спасти...

— Как это, ты Расскажи, — просит Тихон Харитонович. — Все равно лежать.

— Что ж здесь рассказывать? Ничего особенного. Матери я рано лишилась, а отец богатый... Я маленькой была и все думала: откуда у нас столько денег? Раньше-то мы в другом городе жили. А как переехали, сразу богатыми сделались. Про отца разное говорили. Будто он кассира ограбил, который в банк за деньгами ездит. Его даже в милицию вызывали. Ну, прямых-то улик не было. Подросла я и все пытала отца: скажи правду, поклянись. Он на Святом писании клялся. А потом вдруг Филька объявился, дружок отца старый. Он раньше рядом с нами жил. «Иди, — говорит, — за меня замуж! Не то пойду повинюсь и во всем откроюсь». Оказалось, они с отцом и вправду кассира ограбили. Испугалась я. Не того, что

он откроется, а что отец — клятвопреступник. Вот и ушла в монастырь, грех родительский отмаливать...

— Как же ты жила в монастыре? Что там делала?

— Что делала? Что и все. Косила, хлеб пекла, лес пилила, в котельной работала. Только молчала все время. На молитвах даже не молилась, а молчала. И на исповеди — стою и молчу. Отец Владимир так и принимал «немую» исповедь. И грехи отпускал так же, в молчанку... К причастию ходила, причащалась. Накину на голову рясу черную и к Святым Дарам... Игуменья все время: «Перемени наряд на монашеский. Ведь искушение и соблазн...» А я ей: «Не достойна, матушка...» Все постриг не принимала. А как сорок исполнилось, ушла. Записку оставила: «Прошу молиться обо мне, грешной, и о моем родителе Иване». Так что ты лежи, не бойся. Я за тебя помолюсь...

— А я и не боюсь, — снова, как и прежде, ответил Тихон Харитонович.

Катя сидела возле его постели и все думала: «Отчего же это он смерти не боится?» Вот ночью прикорнула она в своем углу, задремала, под утро слышит — шорох какой-то, будто куры или петухи крыльями хлопают. И еще кажется, будто перья белые по комнате летают. «Откуда бы курам здесь взяться?» — думает она сквозь сон. Открыла глаза, светает уже, у кровати двое стоят — врачи не врачи, халаты на них белые. В руках у одного бумага какая-то. «Может, хозяева новые прибыли? — мелькнуло в голове. — Неужто больного выставят?» Тут и Тихон Харитонович проснулся, глаза открыл. Увидел гостей, даже не удивился.

— Что это у вас за бумага? — спрашивает.

— А это, — говорят, — список прегрешений твоих...

Ну, тут Катя догадалась, что за гости у них. А Тихон Харитонович вздыхает:

— Грехов-то за мной, верно, много...

Только откуда ни возьмись еще один гость в белом. Да главное этих — сразу видно, лицо важное.

— Грехов за ним много, — говорит. — Это точно. Только здесь другое еще. Никогда он никого не осуждал. Вот что главное. Не гневался. Это перекрывает все грехи. На нем должны исполниться слова: «Да не судимы будете...»

Взял он и разорвал ту бумагу с грехами. «Так вот отчего Тихон Харитонович смерти не боялся, — подумала Катя. — Знал, наверное». Посмотрела она на него, а он снова глаза закрыл и лежит, светлый такой, чистый, будто из бани.

Когда наконец прибыли новые хозяева в дом, Тихон Харитонович уже второй день умерший лежал. Катя уж и не знала, как этих коммерсантов благодарить. Если бы не они, она с покойником совсем пропала. А они денег дали на похороны, за гроб, спасибо им, заплатили, за место на кладбище, за все услуги.

Одна и была только досада — картина Ермила Брюхина со стены пропала, желтая собака. «Катя монастырская» стала после похорон вещи Тихона Харитоновича собирать, все на месте — фотографии, кукла с оторванной ногой, клоун без глаз и без носа, даже клетка Гаврюшина с птицей, а картины нет. Катя хорошо помнит, что висела она над кроватью, а теперь только одно пятно на обоях.

— Может, коммерсанты стянули, — сказала она Броне и Клаве, когда вещи Тихона Харитоновича привезла. — Может, картина ценная, дорогая?

Сам Ермил Брюхин вовсе не сокрушался. Он сказал:

— Человек создан природой ради жизни. Время течет, как вода в реке. Кто нарождается-расцветает, а кто стареет-умирает. Смерть тоже необходима, если жизнь твоя изжита. Это как колесо. Главное, чтобы чувствовать все душой и сердцем. Это главное. Чтоб душой и сердцем...



ДМИТРИЙ СУХАРЕВ



ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
К БОЙКОМУ МЕСТУ

*(Из совместного с композитором Геннадием Гладковым
музыкального переложения
благородной комедии Александра Николаевича Островского
«На бойком месте»)*

Ворожба наговорная

Без тропинок, без дорог
бежит суслик и сурок,
соболь, куница,
красная лисица.

Ты бежи-бежи-бежи,
добычушка моя,
в петли, в тенета,
на мои болота.

А на море-окияне,
на реке-иордане —
бел-горюч камень,
бел-горюч Алатырь.

Тебе, камень, все едино,
ты добычу наведи на
ловчие ямы,
на мои капканы.

Ты гони-гони-гони
добычушку мою,
зайца, енота
на мои болота.

Полон лес добра,
ты гони бобра,
барина с барчуком,
генерала с денщиком,
а купчину первой гильдии
да с полным кошельком.

Никто камень не изложет —
никоторый человек,
ни век, ни вовек.

Наговор не превозможет
никоторый человек,
ни ввек, ни вовек.

Ты бежи-бежи, бежи-бежи,
бежи-бежи-бежи...

Аминь.

Бессудный и ямщик

- Б.: В дороге, что ли, растрясло?
Купца-то вон как развезло.
Я.: В дороге-то нетряско,
все хмель да бабья ласка.
Б.: А что?
Я.: А что! — вино рекой
да чтобы бабы под рукой.
Известно, балагуры.
А бабы и не дуры.
Б.: И где ж он так?
Я.: Известно где —
все там, в Покровской слободе.
Б.: Гульнул купец на воле?
Я.: Рублев на сто поболе.
Б.: Рублев на сто?!
Я.: Рублев на сто.
А может, и поболе.

Помолчали.

- Я.: Пойду до конного двора —
коней выкармливать пора.
Б.: А ты не больно-то спеши:
корми степенно, от души.
Я.: Да мы спешить не мастера —
коней выкармливать пора.
Б.: А ты не больно-то спеши...
Я.: Да мы спешить не мастера.
Б.: Ведь и у нас вино рекой
и бабы тоже под рукой.
Я.: Коней выкармливать пора!

Притворства Евгении

Я с гостями балагурить неспособная,
я охальничать
не согласная,
я ведь все-таки какая-то особая —
я покорная,
я подвластная.

Нам ухаживанье ихнее неможное,
нам неможное,

мне ненужное,
ведь не девка я гульливая, острожная,
я стыдливая,
я замужня.

То повесничай с гостями, то балясничай,
я для этого
непригодная.
Лишь любезному супругу я подвластна, чай,
уж такая я
несвободная.

Мужняя жена
век верна.
Мужняя жена
оченно честна!

Обиды Непутевого

Это кто же ты такая?
Кто такая, кто така?
Это кто ж тебе позволит
не уважить мужика?

Ежли ты у нас прынцесса,
говорю: мерси.
Мы в прынцессах на Руси
не разбира-ем-сиии!

Приезд Миловидова

Все: — Павлин Ипполитыч
приехали!
— Ах, батюшки!
Вот не ждали-то!
— Поди высаживай
да поспевай давай.
— Ах, батюшки!
Вот не ждали-то!

— Высаживай поди
да на порог веди!
Ах, Гос-поди,
да он продрог, поди.
Грехи тяжки —
Вино не налито.
Ах, ба-тюшки!
Вот не ждали-то!

— Вино-то есть ли, нет —
пойду взгляну.
— Для таких гостей
как не быть вину!
Как не быть вину
для дорогих гостей!
— Так доставай давай,
крутись-потей!

Входит Миловидов, сопровождаемый Пыжиковым.

- Все:** Пробка выбита,
вино налито!
Ах, батюшки!
Вот не ждали-то!
- М. (П-ву):** Не такие здесь дома,
где целуют задарма.
Здесь за каждое «люблю»
клади хозяйкам по рублю.
В губы чмокнула —
сердце екнуло.
Ек! ек! еще ек! —
ой, тощает кошелек!
- П. (М-ву):** Ой, братец мой,
а как же быть со мной?
У меня нет рубля —
конфуз сплошной!
- Евгения:** Не положено мужчине
целовать на дармовщину.
Здесь за каждое «люблю»
нам кладите по рублю!
- Все:** Еще вина
налей, налей!
Целуемся
на сто рублей!
Еще любовь
не вся, не вся!
Вот радость-то —
дождались!

Притча Бессудного

Едут с торгоа торгоаши,
обсуждают барыши.
Заезжайте к нам во двор
на чаек да разговор!

Вот заехали во двор
на приятный разговор.
Затворились ворота,
вся добыча заперта.

Позабыли торгоаши,
хороши ли барыши,
суетятся, гомонят,
а их режут, как ягнят.

Вот один в дыру пролез
и бежит деревней в лес.
А соседи тут как тут —
гостя под руки ведут.

Ой, пастух, не уберег!
Твой ягненок убег!
Тут кудлатого купца
и дорежут до конца.

Ох, грех, старина,
стародавни времена:
необразованность какая! —
перережут — и хана.

Романс Евгении

Зорька ранняя цвета алого,
жар полуденный цвета белого,
у вечерних зорь сразу все цвета,
у полуночи — чернота.
У меня ль кольцо янтарем горит,
у меня ль в серьгах самоцвет нефрит,
нитка жемчуга — сразу все цвета,
а глаза мои — чернота.

Тонок,
тонок на реке ледок,
ходок, ходок, ходок по ледку возок.
Поспешай, детина, пока ночь темна,
под твоим возком западня без дна.
Тонок,
тонок на реке ледок,
молод, молод, молод удалой ездок.
Нету, нету, нет пути, детинушка, —
все равно свисти, хворостинушка!

Погоняй! Погоняй!

Милования Ангушки и Миловидова

- А.:** Не мечтай, голенастая цапля, о лихом удалом журавле:
у него портупей и сабля, у него галуны на крыле.
Перед ним лебезят лебедицы — государыни вольной реки,
а тебе, нескладехе-девице, — лозняки, ивняки, тростники.
- М.:** Кабы выпал журавушке случай, он бы с цаплей пробыл до зари,
только ты его, цапля, не мучай, не кори ты его, не жури.
Знай, журьба ему скоро наскучит, не цапляйся, молю, к журавлю,
без журьбы он прилежней разучит сладкозвучное слово «люблю».
- Вместе:** Тайной страстью дрожит камышинка, томной слабостью тянет
с реки.
Поправима любая ошибка там, где жарко кипят родники.
Если смотрит журавушка нежно, если цапля нежна к журавлю,
значит, оба учили прилежно сладкозвучное слово «люблю».

Вожделения Евгении

Топила ведьма баню,
творила наговор —
заманивала Ваню
в сырой безлюдный бор.
Неистово просила
у дыма, у огня:
сюда, нечиста сила,
неси его коня!

Ко мне сюда, ко мне сюда, нечиста сила,
неси его коня!

Любви не знала сроду
нечистая душа.
Глотала ведьма воду
из медного ковша.
Крутую, ледяную
лила на белу грудь:
хочу его, ревную —
спасите кто-нибудь!

Хочу его, хочу его, хочу, ревную —
спасите кто-нибудь!

Вот конь уперся в баню,
ослабли удила.
Встречала ведьма Ваню,
за рученьку брала.
По стопочке пропустим,
по рыжику сглотнем,
тесемочки распустим —
гори, сыр-бор, огнем!

Тесемочки, бечевочки скорей распустим,
гори, сыр-бор, огнем!

Запрягай!

Полно, детина, насиделися,
напилися вволю да наелися,
языками, чай, начесалися,
наплясалися да напелися.
Ну-тка, детинушка, лихой ездок,
не гляди, что тонок молодой ледок.
Полынья черна, студена река,
все равно езжай, кони ждут ездока!
Все равно запрягай!
Запрягай, запрягай, запрягай!

Темень-то, темень-то, выколи глаз.
Свистит в ушах — свистит беда.
Эк понесло-то, родимые, нас.
Туда ли мчим? Летим куда?
Родина, логово, бор да село —
ни огонька на всей Руси.
Эх, понесло, понесло, понесло...
Господь, спаси!

Долго, детина, снаряжал коней,
а запряг коней, так и езжай по ней —
по родной Руси поезжай, не трусь,
поспешай, не трусь, хоть во мраке Русь.
Враз не добраться до могучих гор,
то все топь-трясина, то дремучий бор.
Где широк простор, там страшной гульба:
то великий пир, то погибель и мор.
Все равно погоняй!
Погоняй! погоняй! погоняй!

Темень-то, темень-то, выколи глаз.
Свистит в ушах — свистит беда.
Эк понесло-то, родимые, нас.
Туда ли мчим? Летим куда?
Родина, логово, бор да село —
ни огонька на всей Руси.
Эх, понесло, понесло, понесло...
Господь, спаси!



МИХАИЛ БУТОВ

*

АСТРОНОМИЯ НАСЕКОМЫХ

Рассказ

...место закрытое... оно лежит внизу невидимое, его вес неизмерим... и когда они были в недоумении от вопроса... на своем пути подошел к берегу реки, протянул свою правую руку и наполнил ее... и бросил... на... и тогда... вода... перед их глазами... принесли плоды... много...

Папирус Еджертона.

Мы залезли на крышу, чтобы сниматься. А не для того — уж во всяком случае, не для того только, — чтобы битый час промерзнуть на таком ветру, холодном, хотя и август. И виновата во всем, естественно, Элка. Незачем ей было приглашать накануне своего молодого поклонника. То есть в гостях-то мы сидели у нее, и тут, ясное дело, хозяин — барин. Но ведь и компания у нас тесная, годами проверенная, никто из нас потребности в новых людях вроде бы давным-давно уже не испытывает. К тому же оказался ухажер не просто так — с подковыркой. Мы с Макаровым тихо обсуждали книгу Шкловского «Звезды» — забавлялись, в сущности, поскольку ни я, ни он в звездах ровным счетом ничего не смыслим — так, заглянули интереса ради в ученый фолиант. А поклонник неожиданно возбудился. «Это же, — говорит, — просто космогонический диалог, настоящая платоновская традиция. Готовая передача — бери и снимай!» Так и выяснилось, что он не то репортером, не то журналистом на телевидении.

— А чего снимать-то? — спросил Макаров.

— Разговоры ваши снимать! — догадалась Элка. — Фиксировать для истории.

— Про звезды?!

— Да про что угодно, — размахивал руками репортер. — Не хотите о космосе — давайте о литературе. Можете?

— Эти все могут, — сказал Терентьев.

— Ради Бога, хоть о музыке! Музыку любите? Только в таком же духе. Суть-то не в предмете, не в предмете... Для программы «Авторское телевидение». Согласны?

— Еще бы не согласны! — Элка уже на месте подпрыгивала. — Мне реклама знаете как нужна! Позарез!

— Не понимаю, — сказал Терентьев, — чем мы вам можем быть интересны? Мы далеки от общественной жизни. Мы песен и то не поем. Ни хором, ни под гитару.

— Не понимает! — сказал репортер. — Вы что, не смотрите нашу программу?

— Да все как-то... — сказал Терентьев.

— Но телевизор вообще смотрите?

Терентьев совсем смешался.

— Это же в самом центре внимания сейчас. В противовес оголтелости политиков и бесстыжести торгашей. Простые люди, хранящие в наше безумное время внутреннее достоинство и искорку духа. Тихие подвижники. Нормальный человек в ненормальном мире.

— А, — сказал Терентьев.

— Да просто посидим поболтаем. Что-нибудь о жизни своей расскажете, о пристрастиях: эстетических там, философских... Потом я склею — пальчики оближешь!

Мы и согласились. Только вспомнили, что в Элкиной квартире (это, точнее, ее свекрови квартира) обстановочка завтра предполагается совсем неподходящая. Потому что за какой-то нуждой должны возвратиться с дачи сама свекровь и ее сын, безработный Элкин муж, спившийся на той почве, что не состоялся как некто высоколобый — не то лингвист, не то литературовед, и звереющий хотя и разнохарактерно, но в одинаковой степени и когда выпьет, и когда почему-либо воздержится, так что мамаша от греха подальше удаляется с ним в деревню с апреля по ноябрь.

Но Элка тут же придумала выход:

— А мы на крышу, на крышу! Лестница на чердак как раз в нашем подъезде. Там замок есть, но это только для виду. Очень, кстати, модно сейчас, если интеллигенция в телевизоре проповедует с крыши!

Я думал было возразить, что себя-то к интеллигентам не причисляю: мне, например, даже воровать доводилось, — так что предпочел бы скверик какой-нибудь, с фонтаном или, на худой конец, с клумбой. Но остальным вроде понравилось, и я не стал вступать, поскольку остался бы все равно в меньшинстве.

И что теперь? Уже и в уши надуло так, что до ночи будешь обеспечен головной болью. И даже лавочки тут нет, чтобы можно было прижаться друг к другу, обменяться животным теплом. А единственное, чего, судя по всему, мы еще можем дожидаться, — дождя. Когда он начнется, отсюда мы, конечно, слезем. Но и это только с одной стороны победа. С другой же — каждый изобрел какой-нибудь серьезный предлог, когда уходил из дома, и теперь придется убивать время, потому что, если вернешься раньше срока, достоверность легенды окажется под сомнением и в следующий раз, чего доброго, тебя уже отслеживать начнут.

Элка здесь, оказывается, не впервые. У нее тут даже что-то вроде сада. Ящики фанерные — наверное, из магазина внизу, — а в них задыхается в каменной земле несвежая трава, кое-где уже совсем пожелавшая. Нет ни цветов, ни растений, какие при благоприятных условиях могли бы ими стать. Элка утверждает, что в Европе у всех так. Мне почему-то кажется, что не совсем так, но неохота ее огорчать, поэтому в обсуждение этого вопроса мы не вступаем. Элка сидит и смотрит на свой газон. Сидит она на дощечке, а дощечка положена прямо на гудрон, которым крыша залита. Колени подтянула к подбородку. Терентьев чуть в стороне стоит и глядит вниз — все еще высматривает репортера. Вчера мы все ему объяснили и показали — он не мог заблудиться. Значит, попросту не поехал. Трепло. А говорил, что только за камерой забежит в обед на студию — и прямо сюда. Макаров сидит возле Элки на высоком, в треть человеческого роста, и довольно широко бетонном парапете, идущем по краю крыши, и тоже иногда вниз посматривает, при этом опасно перегибаясь, зависая над пропастью всей верхней половиной тела.

— Ты перестань сейчас же! — в который раз уже визжит Элка. — У меня мурашки по коже, когда ты так вывешиваешься!

Макаров поднимает вверх ноги и балансирует совсем уже на одной точке — правда, руки держит наготове, чтобы в случае чего за край удержаться. Тогда Элка валится набок, обхватывает его лодыжки и тянет обратно.

— Не смотри, — говорит Макаров.

— Все, прекрати. Стой нормально.

— Нормально — это как, по-твоему?

— А то тебе не ясно! Опершись жопой о гранит. А лучше вообще — сядь!

Макаров действительно сел, сильно подвинув Элку с дощечки на гудрон.

— У меня был приятель, — сказал он. — Упал однажды с пятого этажа. Пьяный был совершенно, не помнит, как падал. Причем не на кусты упал, даже не на травку — прямо на асфальт. И хоть бы что. Ну, синяков пара — ни сотрясений, ни переломов. Я так думаю, дело в том, что он легкий: худой, маленького роста. Когда летел, то за балконы, наверное, цеплялся, за подоконники — погасил скорость. Потому что легкий. Вот Терентьич бы, скажем, как бы ни хватался — было бы без толку.

— Это точно, — сказал Терентьев.

— А он, значит, ничего не помнит. Пьяный. Все думали, он умер или без сознания, а он, оказывается, как упал, так и заснул. А когда его в Склифосовского уже привезли, очухался, ничего не понял и решил, что родственники наконец-то сдали его в дурдом. Вскочил с каталки и дал деру — как был, в одних носках. Домой возвращаться не стал, попил где-то еще дня три, а потом знакомого встретил. У того аж челюсть отвисла: ты же, говорит, из окна выпал, убили насмерть! Только тогда и узнал все про себя. И сам уже испугался, пошел в больницу. Врачи его посмотрели, конечно, пощупали, но особенного никакого интереса не проявили. Он возмущается: как же так, я же уникальный, наверное, случай?! А ему: да что ты, батенька! Смертный, мол, предел — это седьмой этаж. Вот если б ты с седьмого — тогда другое дело. А так — детский, мол, лепет.

— Здесь четырнадцатый, — говорит Терентьев.

Я уже приготовился порассуждать на этот счет. Но Элка вдруг сообщила:

— А у меня брата посадили. Двоюродного. Позавчера суд был. За убийство, между прочим.

— Пугаешь? — сказал Макаров.

— Бандит? — спросил Терентьев.

— Не-а. Просто от него жена ушла, и он потом долго жил совсем один. Рехнулся, наверное, от одиночества. С кем-то поругался на работе, взял нож и зарезал. У всех на глазах — прям по Камю. А мы с ним в детстве в солдатиков вместе играли. На даче...

— Доиграете, — сказал Терентьев. — Лет через пятнадцать. А с ума от одиночества никто не сходит. Одинокая жизнь ведет к самоуглублению и вплотную приближает к истине. Как отец троих детей, могу это утверждать со всей ответственностью.

— А теперь родственники того, зарезанного, — говорит Элка, — требуют пересмотра дела. И суд, кажется, пошел им навстречу. Так что его, наверное, все-таки расстреляют.

И мы погружаемся в приличное случаю молчание.

С Элкиной крыши только и видно что другие такие же. Целый микрорайон. Еще всякие провода. И только далеко, в нескольких километрах, новый жилой комплекс: высокие белые дома с большими окнами — в таких, наверное, даже зимой не приходится днем зажигать свет. Сейчас пасмурно, и они видятся такими же грязными, как и все остальное. Но в хороший день, вечером, под низким солнцем, их стены кажутся нежно-розовыми — будто бы сам камень светится изнутри, как редкостный мрамор. Иногда я нарочно подгадываю час и забегаю к Элке, чтобы полюбоваться этим из окна у нее на кухне.

Зато с другой стороны дома — так близко, что различаешь фактуру поверхности, — высится здоровенная труба, раскрашенная белым и красным. То есть белым она не крашена — за белое собственный цвет бетона, а вот по нему наведены через равные промежутки широкие бордовые кольца. Еще в детстве я вычитал в журнале «Наука и жизнь», что означает подобная разметка: никакого особенного дерьма, значит, эта труба в воздух не выбрасывает, а только горячий водяной пар. Вот если бы была она,

скажем, желтая с синим — тогда да, тогда близко лучше не подходи. Хотя пар, по-моему, тоже гадость порядочная. Было время, я жил на окраине, а работал неподалеку от Киевского вокзала, на другой стороне реки, так что каждое утро шагал пешком через тот мост, где на обелисках фамилии героев восьмьюсот двенадцатого года. Это особенно зимой было заметно. Утром выходишь из дома: морозец, небо синее, снег сверкает! А доберешься до моста, посмотришь с него — и трубы кругом, и все, что из них валит, прямо на глазах сливается в сплошную хмурию, так что нет уже и помина о дне чудесном, а только серость обыкновенная и сажа.

Но все равно: я люблю трубы. Наверное, я только две вещи по-настоящему и люблю — трубы и железные дороги. Дороги-то еще в детстве меня заморозили, всем своим адовым красно-черным (успел, застал закат паровозной эры!) клублением дымов, разноцветными огнями на ночных станциях, бесконечным перетеканием линий друг в друга на больших узлах — на зависть Визарелли. Для меня и до сих пор нет большего наслаждения, чем простоять вечер и ночь в самом последнем тамбуре поезда, смотреть назад, где все это вьется, перемигивается, сплетается и расплетается, исчезает и возникает опять. Но главное — запах! Причем даже не тот, густой, что поднимается от шпал в знойный день, когда солнце плавит в них смолу, но ровный, вечерний, каким все пропитано вокруг любого пути — даже одинокого, заросшего, заброшенного где-нибудь в поле или в карьере.

А вот трубы — сам не знаю за что. Есть в них какая-то тайна. Например, мне никогда не удавалось подсмотреть, как их строят. Ведь не представишь себе подъемный кран такой высоты. И если предположить, что составляются они из больших бетонных колец, то понадобился бы по меньшей мере вертолет, чтобы поднимать такие кольца наверх и ставить их друг на друга. Но кто видел когда-нибудь грузовые вертолеты над Москвой? Другое дело, если их складывают из обычного кирпича, а потом штукатурят поверх. Тогда, по мере того как труба растет вверх, можно было бы устраивать специальные подъемники для материала. Но это на много недель работа. Я же ни разу в жизни не встречал недостроенной трубы. И вполне готов поверить поэтому, что их попросту привозят под покровом ночи уже готовыми на каких-то грандиозных машинах, а потом не менее грандиозными домкратами устанавливают за пару часов в нужном месте.

— Слушай, — спрашиваю я у Макарова, — это правда, что из глубокой шахты можно днем увидеть звезды?

— Само собой, — говорит Макаров.

— Почему — само собой? Это, по-моему, вовсе не само собой, а достаточно как раз удивительно.

— Удивительного тут ни на грош, — заявляет Макаров, а я в очередной раз крещу его мысленно позитивистом. — Если ты смотришь на небо с открытого места, то в глаза тебе светит весь купол целиком, да еще солнце, прямые лучи, — и все это блеск звезд, соответственно, застит. А в шахту свет попадает только от маленького участка неба, который над ней. И солнца нет. Вот и получается. Понял, Фофанов?

Моя фамилия не Фофанов, но это одна из макаровских поговорок.

— А из трубы? — спрашиваю я. — Вот из этой, скажем, трубы — тоже будет видно?

— Естественно. Какая разница?

— Ничего себе — какая разница! — смеется Элка. — Труба и шахта! Это, извините, вещи прямо противоположные. Просто как мальчик и девочка.

— Да ну тебя, — говорит Макаров, — я ему серьезно объясняю...

— Едет! — сказал Терентьев.

Мы бросаемся к парапету. Но Элка говорит: не он. Фары не те.

— Как это?

— Тут квадратные. А у него круглые и по две...

У Элкиного репортера голубые «Жигули». На них он катает Элку по Москве и за город. И при случае, конечно, откидывает назад сиденья. Репортеру года, наверное, двадцать четыре. А Элке тридцать. А мне, например, тридцать два — но это тут ни при чем. Но сохранилась Элка отлично. У нее, между прочим, совершенной формы грудь. К тому же и жизнь ее научила кое-чему. Так что юноша несколько не прогадал, выбирая.

— Ну я ему покажу, — говорит Элка.

— Скорее наоборот, — говорит Терентьев.

— Что — наоборот?

— Не покажешь.

— Может, обойдемся без хамства?

— А на кой хрен ты нам все это устроила? — спросил Терентьев.

— Ну, я же не знала... А потом, вы спокойно могли отказаться.

— Вообще-то я и сам об этом много думал, — сказал Макаров. — У меня даже проект имеется — для ООН или ЮНЕСКО. Рано или поздно шахтное расположение стратегических ракет все равно морально устареет. Тогда в эти шахты можно установить зеркала для телескопов. Получится всемирная наблюдательная система. Многоэлементная и с большим разрешением.

Я поинтересовался, как он собирается направлять такой телескоп в нужную точку.

— А где она, нужная точка? — сказал Макаров. — Будут сканировать небо — земля-то вертится. Пускай вселенная поделится кое-какими из своих тайн. Терентьевич, у тебя телескоп когда-нибудь был?

Терентьев ответил взглядом — совершенно затравленным.

— Вот и у меня не было. А ведь хотел купить пару лет назад. Школьный, но приличный. Рефлектор. Так денег пожалел. Чурка!

Как-то мне все это странно. Я знаю, что единственная книга, какую Макаров прочел по астрономическим делам, — все те же «Звезды», с которых все и начиналось вчера. И даже вторую, которую я дал ему уже давно — «Вселенная, жизнь, разум», — не открывал пока. И вряд ли откроет.

— Надоело, — сказала Элка. — Преклонение перед абстрактной бесконечностью, околдованность астрономическими масштабами и любовь к мертвой природе отдают, знаете ли, дешевым пижонством. Человек мыслящий вглядывается в малое и ищет неизреченное рядом. Над тайной жизни в первую очередь задумывается, над ее вездесущностью, постоянством, воспроизводством. Вы бы лучше в обыкновенном зачатии попробовали что-нибудь понять! Да-да, в зачатии — и нечего лыбиться! Что это, как это? Да ты на траве когда-нибудь лежал, человек асфальта?! А там, между прочим, в почве, любая крупинка вся кишит прямо: жучки, червячки, букашки, какая-то мелочь, вообще уже не различимая... Вот они, масштабы, вот тебе галактики, вот любые созвездия... Но им мало, видите ли! Им мертвый огонь подавай, да еще далекий настолько, что недостижим в принципе! Тем более, если не ошибаюсь, он и горел-то сотни миллионов лет назад, а теперь, может, и вовсе не существует. Пустое место!

— Кстати, — сказал Макаров, — микроскоп я тоже не купил. Сам не понимаю почему. Сказать смешно, какие он копейки стоил.

— Во-первых, — внес трезвую ноту Терентьев, — ничего этого в микроскоп не видно. Видны в него в лучшем случае амебы, клетки и срезы волос. Во-вторых, насчет того, что и когда светило, — это самый сложный философский вопрос, связанный с никем еще толком не осмысленными категориями пространства и времени. А потом, какое тебе, поэту, дело до букашек, которые где-то там кишат? Ты зреть обязана в суть человеческую!

— Дурак! — говорит Элка. — А в кого, по-твоему, мы все превратимся? Сперва — в землю. Потом — в них как раз, которые из земли происходят.

Терентьев задумался, отразил очками трубу. Потом кивнул головой:

— А что... Я, пожалуй, согласен. В жука. Пожарника. Или нет — в майского.

— В шмеля, — сказал я.

— Ну а я, наверное, — сказала Элка, — в муху. Дрозофилу. Идет?

— А почему не в бабочку? — спросил Терентьев.

— Действительно, — сказала Элка, — почему не в бабочку?

— У вас, ребята, — засмеялся Макаров, — нелады с семантикой. Жуки, между прочим, тоже бывают полу мужеского и женского. И мухи.

— Дудки, — говорит Элка, — они все гермафродиты.

На крыше соседнего дома двое мужиков в тусклой одежде вязали веревку к основанию телеантенны. Другой конец веревки сполз с крыши и свисал на чей-то балкон. Потом один достал неразличимый отсюда, но, видимо, режущий инструмент, попробовал его на жестяном колпаке над вентиляционным выходом, и до нас долетел душераздирающий скрежет.

— Бр-р, — поежился Макаров, — прямо мороз по спине.

— Домушники, — констатировал Терентьев тоном человека, выстрадавшего запанибратство со всеми вещами мира.

— Если они нас увидят, — сказала Элка, — они могут в нас выстрелить. Потому что мы для них представляем опасность. Как интересно! Я, наверное, впервые в жизни представляю для кого-то опасность.

— Ну да! — усомнился Терентьев. — А для многочисленных жен?

— Это не считается.

Но я к Элкиным словам все-таки прислушался и настоял на том, чтобы спрятаться за чердачную будочку. Тут мы и уселись, плечом к плечу, все четверо. Теплее не стало. Прямо перед нами оказалось теперь вытяжное отверстие, из которого устойчиво пахло позавчерашним супом.

— А вот с моим братом, — сказал Терентьев, — с родным братом, случилась такая история. Род его занятий состоял в том, чтобы обследовать только что выселенные дома и собирать там всякие интересные вещи, оставленные жильцами. Попадались антикварная мебель, картины — у нас, например, дома до сих пор подлинный Верещагин висит, — книги, даже медали и деньги старинные. Работал брат с приятелем, который был шофером на автобазе, так что удавалось использовать служебный грузовичок. Все у них было отлично налажено; брат даже роман крутил с дамочкой из Моссовета, секретаршей в том именно отделе, где отвечали за выселение, ремонт или снос старых домов в центре. Так что сроки и адреса им становились известны заранее. Основной же задачей было опередить дворника. Естественно, опередить его совсем — невозможно. Но дворник чаще всего в этих делах не специалист и по первому разу забирает только то, что самому приглянулось: пустые бутылки, пепельницу, может, какую, если найдет, мебель, которая поцелее. Но зато, если позволить ему прийти во второй раз и в третий, тогда он либо сам вынесет все без остатка на предмет хоть по дешевке — да продать, либо отыщет такую же, как у брата, конкурирующую частную фирму. Так что попасть в дом необходимо было точно между первой и второй дворничьими инспекциями. И вот однажды брат обнаружил в одном таком доме замечательный ампирный буфет. Эдакого мастодонта — больше двух метров высотой. В новой квартире, куда переехали хозяева, он, по-видимому, просто не мог бы уместиться. Буфет требовал некоторой реставрации, но даже в таком виде был шанс прилично на нем заработать. Брат прикинул и решил, что вдвоем, пожалуй, если поднатужиться, вытащить они его оттуда сумеют, тем более что парадная лестница по ширине была прямо-таки дворцовой. Сбегал в телефонную будку, вызвал поделщика с машиной — тот ставил ее не в гараже, а возле дома, так что и по ночам она оставалась в их распоряжении, — потом вернулся назад. И тут видит, как из дверей возникает дворник, а с ним интеллигентного вида мужик. Они стоят, о чем-то договариваются и наконец бьют по рукам. Дворник достает здоровенный замок и вешает его на дверь подъезда. Брат понимает, что дворник на этот раз попался не промах и успел уже буфет запродать; мужик же, надо думать, отправился за подмо-

гой и скоро придет забирать. Следовательно, требовалось спешить. Подъезжает напарник, и они вместе бросаются искать черный ход. Этого конкуренты действительно не предусмотрели — там только на щеколду было закрыто. Не буду описывать, с какими страшными трудностями спускают они негабаритный совершенно буфет по узенькой черной лестнице. А внизу выясняется, что дворник уже исправил ошибку: щеколда снова задвинута с той стороны. То ли не знал, что они внутри, то ли решил один с двоими не связываться, а предпочел дожидаться, пока явится с грузчиками покупатель. Что делать? Только дверь ломать. Они ведь набор инструментов брали с собой, и в нем был маленький топорик. А дверь массивная, старая — из дуба, наверное, сделана. Крушить ее — дело долгое и шумное. Поскольку происходит все, как я уже говорил, поздним вечером, соседи напротив вызывают на этот шум милицию. Но именно в это время и именно в доме напротив воры грабят квартиру на первом этаже. Дальше все происходит в таком порядке: брат наконец-то пробивает в двери дыру и отодвигает щеколду. В это же время ничего не подозревающие воры начинают вылезать из окна. А в следующую секунду во двор влетает милицмейская машина, и довольные милиционеры, забыв, естественно, о причине вызова, вяжут растерявшихся жуликов и ведут в воронок. Брат с приятелем подхватывают свой буфет и со всех ног — за угол, к машине. Все. Конец истории.

— Это ты все сочинил, — говорит Макаров после паузы.

— Почему — сочинил?

— Потому что ты не можешь знать в этой ситуации, кто, когда и зачем вызвал милицию. И потом, по ночам квартиры никто не грабит — это только внимание к себе привлекать.

— Да? — Терентьев почесал в затылке. — Ну да. Верно. Только сочинял не я. Так рассказали.

— Еще хуже, — сказал Макаров.

Элке мы опять надоели.

— Господи, — сказала она, — как же холодно все-таки! Я бы прямо шубу сейчас напялила.

Макаров сразу насторожился и буркнул:

— Натуральную?

— А то!

— Ну, раз «а то!» — значит, с бабочкой ничего не получится.

— С чем не получится?

— Даже с мухой не получится.

— А... Не вижу связи.

— И зря. Скажи, вот самый дешевый мех — какой?

— Кошкодавленный, — сказала Эллка.

— Ну, это ладно — не в счет. И кролик не в счет. Кроме.

— Еще белка.

— Белка подходит. Но у нее хотя бы хвост длинный. А вот помнишь, раньше был еще один — шиншилловый?

— Помню, помню, — вздохнула Эллка. — Я только не понимаю...

— Я тоже не понимал, — вздохнул Макаров, — пока однажды своими глазами эту самую шиншиллу не увидел. Она — во размер, с кулак. И на полупердик, который едва прикроет тебе задницу, таких зверушек нужно не меньше, наверное, полусотни. Не кажется тебе безнравственным такое соотношение?

Элка наконец взвыла:

— Ску-у-учно ка-а-ак! И обыкновенно. Скоро вообще никого не останется, одни моралисты. Ты лучше подумай, почему все эти благородные веяния происходят, как правило, из тех мест, где в декабре вовсю распускаются цветочки. Просто оттуда кажется, что прохаживаться зимой в маечке — это изысканное удовольствие.

— От холода, между прочим, искусственный мех спасает ничуть не хуже.

— А производство синтетики, — говорит Элка, — отравляет, между прочим, атмосферу. И океаны. Затрудняет произрастание леса. И почему это, кстати, кошек — можно, а крыс каких-то — нет. Кошки чем хуже?

— Любое производство отравляет атмосферу, — сказал Макаров. — Человечешко мерзопакостный вообще все отравляет, за что бы ни взялся и на что бы ни положил глаз. И я не говорил, что кошки — хуже... То есть я не говорил, что кошек — можно: все свидетели. Я только приводил более наглядный пример. А тебе, с твоими взглядами!.. Элементарная справедливость требует, чтобы оказалась ты в шкуре какой-нибудь выдры. А еще точнее — без шкуры. Вообще, на что ты надеешься?!

— Не знаю, — сказала Элка, — наверное, он уже не придет.

— На что вообще может надеяться человечество, — закричал Макаров, — когда оно по уши в крови и в дерьме?!!

— Да брось ты, — отмахнулась Элка. — Мы что — тоже?

Я посмотрел за угол. Люди на соседней крыше колдовали над поваленной антенной, орудуя карикатурно большим гаечным ключом, — ремонтировали.

— Гляньте, — сказал я.

Все по очереди поглядели.

— О-ох, пустота бытия, — сказал Терентьев.

И мы опять долго молчали. Пока Элка не попыталась сделать шаг к примирению.

— Ну ладно, ребята, — сказала она, — вы на меня не обижайтесь. Я все поняла: шубы от вас не дождешься. Время сколько?

— А сколько ты хочешь? — спросил Терентьев.

Но было ясно уже, что время — уходить.

— А чего мы, собственно, ждем? — спросил Макаров.

— Девяти часов, — говорит Элка. — Я сказала, что записалась на бухгалтерские курсы. И что занятия до полдевятого.

— Ты что, смеешься?! — сказал Терентьев. — Еще шести нет!

Элка покачала головой, горестно:

— Нету!

— Так, может, все-таки спустимся? По-моему, пора уже того — по ликерчику.

— Что выпивка на холоде согревает, — сказал Макаров, — чистойшей воды миф. Другое дело, если выпить в тепле, а потом выйти на мороз — тогда действительно. Или наоборот: сначала ходить по морозу, а потом выпить в тепле.

Я опять посмотрел за угол. Антенна стояла уже вертикально, мужики поднимали с насадом и навешивали на ее станину чугунные блины — для устойчивости.

— Не могу, — говорит Элка. — Вы же не знаете эту старую каргу! Она спит и видит, как бы освободить от меня своего сыночка, а заодно и жилплощадь. Часами у окна караулит, мечтает на чем-нибудь меня подловить. А тут — нате! Сразу с тремя. Подарок. Так что вы идите, пожалуйста. А я еще посижу.

— По одному ведь можно, — предложил Терентьев.

— Все равно. Как ей объяснишь потом, что я здесь делала?

— И никакого выхода?

Тогда мы дружно повернули головы в сторону пожарной лестницы.

Дом у Элки какой-то странный: лестница спускается до глухой торцевой стене. Интересно, кому предлагается ею воспользоваться, если действительно загорится, — котам?

— Ну и вперед, — говорит Терентьев. — Мы тебя внизу подождем.

— Да вы что? — испугалась Элка. — Я боюсь... Ну, одна — боюсь.

Терентьев распустил изуверскую улыбку.

— Ладно, шутка. Никто тебя одну и не заставляет.

И когда он первым направился туда, где полотно лестницы подымалось на полметра над крышей, изящной дугой заворачиваясь на конце,

когда и Макаров потянулся уже за ним, я слишком отчетливо почувствовал, что здесь что-то не так, что-то не сходится. Я сказал:

— Постой, Элка, погоди! У тебя ведь окна на другую сторону смотрят! Никто бы не заметил, как мы из подъезда выходим!

Но она только расхохоталась в ответ, она так увлечена была своими какими-то соображениями, что промахнулась сперва мимо ступеньки и поставила туфлю на темя не успевшему спуститься далеко Макарову. Какой тут выбор — я лезу следом. Вроде бы и раньше меня ничего не защищало — но тут ветер с особенной яростью набрасывается, бьет в лицо, не позволяет смотреть. Первую минуту я спускаюсь совсем вслепую. А когда наконец открываю глаза — вижу, что порядком уже от Элки отстал, вижу еще фигуры внизу: несколько человек уже выстроились на тротуаре, задрали головы, наблюдают. Мне понятен их интерес: ветер щедро, широко раздувает Элкину юбку. Потом глаз отмечает быстрый отблеск в окне напротив — там еще один, высунувшись из-за занавески, наводит на резкость монокуляр. А лестница раскачивается под нашим весом, и крючья ее подозрительно свободно ходят туда-сюда в панели, угрожая скорым отрывом — сверху вниз, как в американских кинокомедиях. Я спрашиваю себя, на что надеюсь больше: что это прямо сейчас и произойдет или что и на этот раз ничего не случится. Делается весело от таких мыслей. А в памяти всплывает неизвестно откуда: «О, ленивый Варламе, готовься к ранам, близ есть конец!» «Варламе! — кричу я, — эй, Элка, почему Варламе?!» Вряд ли она может различить слова. Она просто задирает голову на мой голос, находит меня глазами и хохочет еще залиvistее. И тогда я вижу всех нас как бы в объективе того маньяка за занавеской. И понимаю, что Элка добилась, чего хотела: сделала нас на несколько минут именно теми, кем до поры нам и предстоит быть. Просто четыре человека на фоне стены. Я машу Элке рукой и чувствую, как просыпается во мне Голос. Вообще-то это приятное ощущение, но жаль, что я знаю наперед все, о чем он способен сказать: «А что то царствие небесное? Что то второе пришествие? А что то воскресение мертвым? Ничего того несть! Умерл кто, ин то умер, по та места и был!» Уже очень давно я сочинил ему ответ. И столько потом мусолил эту фразу, так оттачивал ее, что превратил в настоящее закливание. Вроде бы только и дел теперь, что произнести с нужной уверенностью: мол, если, оглядывая небо над собой, обнаружишь его пусто, подумай, не призван ли ныне твой ангел в небесное воинство. Но я пытаюсь — в тысячный, наверное, раз — и опять не могу. И опять остается только твердить себе, что говорить о том — полно. Что в день века познано будет всеми.

Потерпим до тех мест.

Август — ноябрь 1994.



«СРЕДИ ПЛАМЕНИ СТОЮ, ПЕСНЬ ПЛАЧЕВНУЮ ПОЮ»

ИЗ СМОЛЕНСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Россия начала XX века потрясла мир не только Октябрьской революцией. Взрывчатое вещество духовных веяний в работах Вл. Соловьева и П. Флоренского, К. Станиславского и Вс. Мейерхольда, В. Кандинского и К. Малевича, В. Татлина и К. Мельникова изменило лицо мира в конечном счете гораздо существеннее.

Поистине это была эпоха гигантов — мгновенная, как вспышка звезды... Весь спектр русской культуры и жизни как бы заново открывал себя в этой ярчайшей и во многом загадочной концентрации творческих национальных сил. Помнится, еще Грибоедов писал когда-то с горечью о непреодолимой пропасти между высшими слоями российского общества и народом. Если бы, свидетельствовал Грибоедов, случайно оказался здесь чужестранец, ничего о нас не знающий, он никак не признал бы нас принадлежащими к одной нации. Я не уверен в точности цитаты, но суть ее меня глубоко волнует. Никогда, ни до, ни после Русского Авангарда, традиции ученой интеллигенции, средневекового православия и крестьянской культуры не сплавлялись так органично.

Эта связь «неба» культуры и ее «земли» в мире музыки наиболее ярко и сильно явилась в творчестве Игоря Стравинского. Известно, что Стравинский всерьез изучал работы современных ему фольклористов, он сам записывал и крестьянские песни, и музыку бродячих музыкантов. Но то, что сделало Стравинского Стравинским, — тот резкий сдвиг в его музыкальном языке, который, в сущности, и создал потом эстетический облик всего его последующего творчества, — приходится на время его приезда в имение княгини Тенишевой — Талашкино.

Стравинский приехал в Талашкино по приглашению Н. Рериха, облюбовавшего это место. Здесь Стравинский познакомился с древними языческими ритуалами, народными песнями и танцами — всем тем, что могло пригодиться для задуманного им балета «Весна священная».

Как и мамонтовское Абрамцево, Талашкино было тогда центром изучения традиционной крестьянской культуры. Здесь обитали и трудились художники объединения «Мир искусства» — здесь познавали они тайны народного искусства и по-своему экспериментировали с ними в своем творчестве.

В Талашкине были построены мастерские, где бок о бок работали и местные жители, и такие известные художники, как М. Врубель, С. Малютин, Н. Рерих. Была в Талашкине и школа искусств, и театр, и оркестр. Традиционную крестьянскую музыкальную культуру изучал и пропагандировал в Талашкине Сергей Павлович Колосов — фольклорист, педагог, гуслир, руководитель талашкинского оркестра. Гусли Колосова, его неподражаемая игра произвели на Стравинского огромное впечатление. Стравинский писал об этом в своих воспоминаниях и даже не раз имитировал ее в своих сочинениях. Но этим влияние Колосова на Стравинского не ограничилось. Только Колосов мог познакомить Стравинского с народной песней в ее первозданном, естественном звучании. От Колосова же узнал Стравинский пять секретов народного музыкального исполнительства, виртуозное владение которыми действительно выделяет Стравинского среди всех современных ему композиторов.

О, горе мне*(Псалма)*

Вчера с другом я сидел,
 Ныне смерти зрю предел.
 О, горе мне великое!
 Плоть во гроб мою кладут
 И душу на суд ведут.
 Милости не будет там.
 Верна друга нет со мной.
 Скрылся свет, хранитель мой.

Мимо царства прохожу,
 Горько плачу и гляжу.
 Ты прости, прекрасный рай,
 Во другой пойду я край.
 В царстве света долги святы,
 Грешных не примешь ты.
 Среди пламени стою,
 Песнь плачевную пою.

Уж я в горе зародилася

Уж я в горе зародилася,
 Уж я в горе зародилася —
 О, без счастья замуж выдана.
 Ох вы, братцы, вы мои товарищи,
 Вы срубите-ка мне кельюшку
 Без верху, без макушечки
 И без уголышек, без окошечек
 И поставьте дле² дороженьки,
 Где попы, дьяки съезжаются,
 На моей келейке подивуются.

Уж я от горя в ту келью —
 Горе за мной туда идет.
 Уж я от горя в темные лясы —
 За мной горе и с топориком.
 Уж я от горя во желты пески —
 За мной горе и с лопатою.
 Уж я от горя перяставлюся —
 Горе и туда со свечой идет.
 Вот я от горя закопалася
 И тогда горю досталася.

Коло саду, саду зеляного*(Свадьба)*

Коло саду, саду, саду зеляного,
 Там лежало три стеженьки, да три дороженьки.
 Ой, по первой по стеженьке,
 Ой, по первой по дороженьке,
 Там шла Пречистая Мать Богородица.
 Ой, по второй по стеженьке,
 Ой, по второй по дороженьке,
 Там шел святой Никола.
 Ой, по третьей по стеженьке,
 Ой, по третьей по дороженьке,
 Там шли Кузьма-Демьян.
 Ой, святые Кузьма-Демьян,
 Устройте нам свадьбу на четыре гранушки.
 На первую гранушку — на мирное согласие.
 На вторую гранушку — чтоб хлеб-соль водилися, животинка плодилася.
 На третью гранушку — на сынов на пахарьев.
 На четвертую гранушку — на дочек на швеечек.

² Подле.

Пивовар пиво варил*(Пивоваренная)*

Пивовар пиво варил,
Зелено вино курил.
Ай, жги, говори,
Красных девушек манил.

На моей же пивоварне
Много пива и вина.
Ай, жги, говори,
Много пива и вина.

Ах вы, девки, ах вы, красны,
Приходите вы ко мне.
Приходите вы ко мне,
На пивоварню на мою.

Много пива и вина,
Меду сыченого.
Меду сыченого,
Пива вареного.

Ай, рос ячмень да на кореню*(Пивоваренная)*

Ай, рос ячмень да на кореню,
Держала жена мужа да на ремню.
Ай, рос ячмень да на сололке,
Держала жена мужа да на веревке.
Ячмень с кореня звалился;
Муж с ремня сорвался.
Ячмень с сололки звалился,
Муж с веревки сорвался.
Ай, шли-прошли женки-маслевки (?),
Вели мужиков на веревке.
Они рядились, за что отдать.

Чи на денежки их продать,
Чи на коника променять?
Нам с деньгами не носиться
И с конями не возиться.
Ревнивый муж пригодится.
Ревнивый муж пригодится.
Ревнивый муж пригодится.
Столкет, смелет, воды принесет.
Воды принесет, пивушка наворит.
Пивушка наворит, пирогов напечет
И девушкам порасскажет.

По улице грамотай³

По улице грамотай.
Ох, ох, грамотай.
Поди, право, послушай.
Говори, что послушай, —
Жена мужа продала.
Недорого взяла —
Со полтиной три рубля.
Закупила три вола.
Она вспахала три поля.
Насеяла житушка.

Она нажала три воза.
Намолотила три меха.
Наростила солоду.
Наварила пивушка.
Звала трех панов,
Паны-то пива попили.
Хозяюшку увезли.
За темные лясы.
За шерые за боры.

Стих о Лазаре

Жили да были два братца родные.
Два братца родные, да два Лазаря.
Первый-от братец был беден человек.
Другой-от братец был богат человек.
Первый-от братец другого приглашат,
Просится к богатому брату своему.

³ Эта песня исполняется с припевом:

Ох, ох, грамотай.
Поди, право, послушай.
Говори, что послушай, —

который повторяется после каждой строки

«Братец ты мой, братец, напой меня, обуй.
 Обуй меня, одень, теплом обогрей».
 «Да что ж ты мне за брат,
 Да что ж ты за родня?
 Есть у меня братья получше тебя.
 Получше тебя, богаче тебя.
 Князя да бояре — вот братья мои.
 Люди торговые — вот приятели...»

Стих о Кривде и Правде

Единожды возговорил Владимир князь, Владимир князь:
 «Ох ты гой еси, наш премудрый царь Давид Евсеевич,
 Мне ночей, сударь, мало спалося да много виделось.
 Как бы с той страны со Восточныя да с другой стороны да с полуденныя,
 Как бы два зверя собиралися,
 Как бы два лютые соходилися,
 Промежду себя бились, грызлися.
 Один единого одолеть хочет».
 Тут возговорил наш премудрый царь Давид Евсеевич:
 «То не два зверя, князь, соезжались,
 То не два лютые соходилися.
 То Правда с Кривдою соходилися,
 Промежду себя бились, дралися.
 Кривда Правду одолеть хочет.
 Правда Кривду переспорила.
 Правда в небеса ушла к самому ко Господу, Царю Небесному.
 Кривда ж у нас вся пошла по всей земле.
 Кривдой земля восколебалася.
 От Кривды народ взбаламутился.
 От Кривды народ стал неправильный.
 Ой, неправильный да злопамятный.
 Они же друг друга обманьють.
 Кто не хочет Кривдой жить, тот сопричаен ко Господу, Царю Небесному,
 Да душа унаследует Царство Божие.
 Уже жизнь сия скончивается,
 День отрадный приближается.
 Ужаснись, душа, суда страшного
 И пришествия всеужасного».
 Славу мы поем Давиду Евсеевичу.
 Веки та славушка не иссякнется.
 И во веки веков. Аминь.

Солдатская жена-разрябинушка

(Рекрутская песня)

Як один то был сын, як один то был сын да у матушки.
 И он и тот пошев у солдатушки.
 Приказав жену родней матери:
 «Береги, моя мать, молодую жену,
 Молодую жену, дробных детушек».
 Ну и мать сына не послушалась.
 Прогнала невесточку у чисто поле.
 «Ты иди, невестка, во чисто полюшко.
 Ты стань, невестка, разрябинушкой,
 Ну и детки твои отуростками».
 Ну и шло там прошло три полка солдат.
 Ну, пяредний полк ня становивси.

Посеред что шли, становилися.
 «Ну и что ж это за рябинушка?
 Как возьму я, молодец, я й вострой топорок.
 Я й зрублю, молодец, разрябинушку.
 Я й раз секанул — кровь ручьем пошла.
 Я и два секнул — кровь ручьем пошла.
 Я и три отсекнул — кровь прогласила:
 «Не секи, мой муж, разрябинушку.
 Не рябину секешь — молоду жену.
 Молоду жену с дробными детками».
 Коль пришел я домой к своей матери.
 Меня мать сустрела серед улицы.
 Ну и родна сестра серед домика.
 «Ну и здравствуй, мой сын, любезный мой».
 «Ты скажи, моя мать, мать родная моя,
 Ну а что ж, моя мать, молодая жена?»
 «Ну, твоя жена пошла в гости.
 Ну и детки твои пошли к дедушке».
 «Ты не мать моя, ты злодейка была».

Совушка Ульяна Степановна

(Сказочка-приговорочка под гусли)

Сова ль моя, совушка,
 моя вдова ль, вдовушка,
 Залеская барыня
 Ульяна Степановна.
 Где же ты бывала?
 Где же ты живала?

Живала я, совушка,
 Живала я, вдовушка,
 В зеленых лесах,
 В сырых дуплищах.
 Знают меня, совушку,
 Знают меня, вдовушку,
 Два луна белых,
 Два друга милых.

Стали сову сватать,
 Сватов засылать,
 Сову убирать,
 В лапти обувать,
 В лапти, в осметки,
 В онучи-отрепки,

В платье рогожное,
 В ожерелье гороховое.
 Ворон был поваром.
 Сорока стряпухой.
 По дворам летала,
 Кур собирала:
 «Куры вы, дуры,
 Пожалуйте на свадьбу!
 У нас нынче праздник.
 Праздник Вознесенье,
 Большое веселье.
 Сову замуж отдаем
 За белого луна,
 За милого друга.
 У нашего луна,
 У нашего друга
 Сорок кадушек
 Соленых лягушек,
 Сорок амбаров
 Сухих тараканов,
 Пятьдесят поросят,
 Только ножки висят».

Воробей Карпович — простец и Совушка Савельевна из рода барского

(Сказка-приказка под гусли)

Воробей пиво варил,
 Карпович вино курил.
 Он всех гостей созывал,
 Всех мелких пташечек.
 Одну Сову не звал.
 Совушка сама пришла,
 Савельевна-незваная.

Она села серед полá,
 Серед полу на цыпочках,
 Заиграла во скрипочку.
 Воробей плясать пошел,
 Карпович скакать пошел.
 Совушке на ножку стал,
 Савельевне на правую.
 Совушка осердилась,
 Савельевна прогневалась.
 Она дверью хлопнула,
 Воротами скрипнула.
 Воробей в погонь за ней,
 Карпович догонять пошел.
 «Воротися, Совушка,
 Воротися, Савельевна».

«Не того я отчества,
 Чтоб назад ворочаться.
 А я роду барского,
 Я лица дворянского!»

Скупые сваты, скупые

(Девки дразнят на свадьбе)

Скупые сваты, скупые,
 А у них пироги сухие.
 Приехал сваток на кошке,
 Привез горелки три ложки.
 Подайте свату козочку,
 Обмакните свату корочку.

У первого свата сива борода.
 А в другога свата лыса голова.
 А в третьего свата кривая нога.
 Сивой бородой печь выметать.
 Лысой головой верх закладывать.
 Кривой ногой жар загребать.

Девки свата били

(Девки дразнят на свадьбе)

Девки свата били,
 Девки свата били,
 Под печь посадили.
 Сиди, сваток, тишее,
 Не гоняй наших мышей.
 Наши мыши жошки (?),
 Отъедят свату ножки.
 Наши мыши прытки,
 Отъедят свату лытки.

Я по жердочке шла

Я по жердочке шла я по тоненькой,
 Я по жердочке шла я по тоненькой,
 Я по тоненькой, по еловенькой.
 Тонка жердочка гнется, да не ломится.
 Без милого без дружка жизнь нерадостна.
 Хоть нерадостна, да разгуляется.
 Пойду-выйду молода за новые ворота.
 Стану-стану молода зле точеного столба.

Гляну-гляну молода вдоль по улице в конец.
 Вдоль по улице в конец на почтовый на дворец.
 На почтовом на дворцу, там ребята хороши.
 Хороши, пригожи, яны ласковые.
 Яны ласковые, все приветливые.
 А учера⁴ с вечера ко мне милый приходил.
 Целовал, миловал, надежею называл.
 «Ты надежа моя, лебедушка белая.
 Белей снегу белого, красней маку красного».

Ты крапивошка зеленая

Ты крапивошка зеленая,
 Ты крапивошка зеленая,
 Ах, зеленая, качурявая.
 Зеленая, качурявая,
 Да все полюшко привзеленила.
 Да все полюшко привзеленила.
 Да устежечки да дороженьки.
 Нету к милому проходушки
 Ни пешему, ни на лошади.
 Гонить милый табун лошадей.
 А все коники вороные.

Наперед идет буланный конь,
 Буйну голову повесивши,
 Ясны оченки приплакавши.
 «Что ты, коня, скушен-невесел?
 Ти я тебе тяжек, важек стал?
 Ти тяжелы переезды мои?»
 «Мне не тяжки переезды твои.
 Нийде на ночь не допросишься,
 Хозяина не добудишься,
 А в соседа не докупишься».

Посеяли девки лен

Посеяли девки лен.
 Кум Иван, кум Иван, кума Марья моя.
 Посеявши, пололи, белы руки кололи.
 Как увадился в тот ленок мальчишечка-щеголек.
 Весь ленок притолок,
 Со льну цветы посорвав,
 В Дунай-речку побросав.
 «Дунай-речка, не примай,
 Ко бережку прибивай,
 К беленькому камушку.
 У моего батюшки на дворе
 Вороной конь во стойле.
 Копытом землю высекал
 До беленького камушка.
 А в том камне огня нет,
 У моего мужа правды нет.
 Чужим женам башмачки,
 Своей жене лаптей нет».
 «Сплету, жена, каверзни.
 Носи, жена, наблюдай,
 По праздничкам обувай,
 А в будний день носи так».
 «А я мужу согрожу.
 Сшию мужу рубашку
 С крапивного листочку.
 Носи, мой муж, наблюдай,
 По праздничкам надевай,
 А в будний день ходи так».

⁴ Вчера.

Черный баран

(Святочная)

Зазову милого я к сабе у гости.
 Ох, люлюшки-люли, я к сабе у гости.
 Поставлю милому напитокков, напитокков.
 Ох, люлюшки-люли, напитокков, напитокков.
 Ты пей, миленький, напивайся.
 Ох, люлюшки-люли, напивайся.
 Ты пей-напивайся, в окно наглядайся.
 Ти далеко муж идет, ти скоро спужает.
 Недалеко муж идет, к двору подъезжает.
 А что ж мне милого, а где ж мне сподети⁵?
 Я свово милого в большое лукошко.
 В лукошко всадила, войлочком накрыла.
 Войлочком накрыла, лытичком зашила.
 Муж на пороге стоять, у жены пытается:
 «Женка ты милая, что в тябе в лукошке?»
 «Муж мой, муженечек, глупый разумочек,
 Черная овечка барашка козила.
 Барана в лукошко вот я и посадила.
 В лукошко посадила, войлочком накрыла».
 «Жена моя милая, покажи барана».
 «А я того барана в поле прогнала.
 Пастушка лихая барана втеряла.
 Барана втеряла, серы волки съели.
 Муж мой, муженечек, глупый разумочек,
 Иди ты к обедне, отслужи молебен
 Обо мне, об себе и об черном баране».

ПОЯСНЕНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ

На театральном занавесе в Талашкине, украшенном росписью С. Малютина, был изображен легендарный певец Боян. И был у него свой прообраз, живой Боян — Сергей Павлович Колосов, который, вот так же перебирая струны гуслей, пел в Талашкине старинные песни.

С. Колосов родился в Смоленской губернии — теперь это поселок Каспля (название, по-видимому, не менялось), — в семье священника. Дата его рождения точно не установлена, она приходится на 60-е годы XIX века.

Выступая с концертами — сольными и совместно с певицей Надеждой Николаевной Лавровой, — Колосов играл на так называемых «поповских» гусях⁶ — гусли, скорее всего, были семейными.

Умер С. Колосов, по некоторым сведениям, в Рославльском уезде, Смоленской губернии.

Почему же эти безусловно прекрасные тексты народной поэзии публикуются в п е р в ы е? Не странно ли это?

Вот не менее «странный» отзыв специалистов — сотрудников Государственного научно-исследовательского института театра и музыки о фольклорных материалах Н. Лавровой, собранных в 1915 — 1916 годах: «...материалы... состоящие в основном из духовных стихов, обрядовых песен и некоторого количества песен хороводных, лирических и шуточных, *не отвечают* требованиям научной достоверности, но... на *достаточной* высоте...» (24 ноября 1950 года, за подписью Г. Келдыша и Н. Жемчужиной). Несомненно, такой фольклор не отвечал требованиям марксистско-ленинской эстетики.

⁵ Куда деть.

⁶ «Поповские» гусли, или «столовые» — то есть ставились на стол, на ножки.

Судя по всему, Н. Лаврова пыталась передать в институт именно эту тетрадь С. Колосова (совпадают даты). После безуспешной ее попытки тетрадь, видимо, и оказалась спустя некоторое время в Смоленском музее-заповеднике.

«Стих о Страшном суде» — один из вариантов духовных стихов с широко распространенным сюжетом о Страшном суде. В них народные сочинители основное внимание, как правило, уделяли моменту разделения воскресших людей на души грешные и праведные.

Духовными стихами в русской народной словесности называются песни, чаще всего эпические, на религиозные сюжеты, исполняемые обыкновенно бродячими певцами (преимущественно слепцами) на ярмарках, базарных площадях или у ворот церквей.

«О, горе мне» — «псалмы» (от греч. хвалебная песнь, псалом) — бытовые духовные песни, получившие распространение в России, на Украине и в Белоруссии с середины XVII века.

«Уж я в горе зародилася» — текст принадлежит к так называемой «семейной» лирике, необрядовой, исполнявшейся в любое время года.

При исполнении такого рода протяжных песен музыкальная фраза развивается так, что пропадает четкость деления текста на строки. Поэтому для протяжной лирики не характерно куплетное (строфическое) строение стиха. Довольно редко встречается здесь рифма. Отсутствие рифмы часто как бы компенсируется сходными звуко сочетаниями и повторами.

«Коло саду, саду зеленого» — свадебная песня.

Эту песню поют во время благословения. С. Колосов описывает этот обряд так: «Собравшиеся в доме жениха или невесты прежде всего садятся за стол и едят-ужинают. После еды начинают «Богу молиться». Затем все усаживаются. Среди общей тишины встает ближе к красному углу и столу начинатель. Помолясь на иконы, он говорит, обращаясь к отцу жениха или невесты: «Батюшка родной, Иван Петрович, благослови своему сыну (или дочери) свадьбу сыграти. Раз благослови, два благослови, третий раз, как Мать Пречиста народила, так и благословила». Отец встает и отвечает: «Бог благословляет»... Потом начинает «выкликать» по порядку благословения от матери родной и всех родственников, близких и дальних. Перечень этих родных занимает иногда около часу и более времени...

Обращаясь к гостям в заключение, начинальщик выкрикивает: «Гости приезжие, суседи приближенные, благословите молодому князю (или княгине) свадьбу заиграти. Раз благослови, два благослови, третий раз, как Мать Пречиста народила, так и благословила». Гости с поклоном отвечают: «Бог благословляй!»

Помолчав, начинатель затягивает дрожащим от волнения голосом: «Коло саду, саду зеленого»...

Начинатель, зачинальщик или дружка — распорядитель, увеселитель на свадьбе.

Кузьма-Демьян — святые бессребреники Косма и Дамиан. Народ с именем этих угодников связывает немало особенных верований: верование в их лечебную помощь от разных недугов, в их помощь в книжном учении. Называют св. Косму и Дамиана еще и Божиими кузнецами. От них ставят в зависимость заключение брачных союзов — они покровители свадеб. Наконец, св. Косма и Дамиан известны еще в простонародье как хранители кур. Не случайно, видимо, эти домашние птицы составляли и составляют непременную принадлежность свадебных церемоний и необходимое свадебное кушанье.

«Стих о Лазаре» — один из вариантов духовного стиха, сюжет которого взят из евангельской притчи о богаче и нищем Лазаре. В народной традиции богач и бедняк превращены в братьев.

«Стих о Кривде и Правде» — сюжет взят из «Голубиной книги». Он занимает особое место среди древнейших духовных стихов, так как не содержит обычного для них сюжетного повествования и посвящен вопросам устройства мира: о небесных телах и стихиях (солнце, месяц, звезды, ветер, дождь), о происхождении человека, о матери-земле...

Притча о Кривде и Правде в основе своей заключает мотив борьбы Христа с дьяволом.

«Солдатская жена-разрябинушка» — баллада, один из вариантов издававшейся ранее рекрутской лирической песни.

«Совушка Ульяна Степановна» и «Воробей Карпович» — эти сказочки можно отнести к так называемому «детскому фольклору», очень разнооб-

разному по своей жанровой структуре. В него входят потешки, жеребьевки, считалки, приговорки, припевки, колыбельные песни, заклички, прибаутки, сжороговки, дразнилки и др.

Сказочки под гусли, записанные С. Колосовым, можно отнести скорее к жанру небылиц (хотя такая классификация достаточно условна).

«Скупые сваты, скупые» и «Девки свата били» — свадебные «дразнилки», или корильные песни, очень характерны были для Смоленщины. Сегодня такие тексты в смоленских деревнях встретить практически невозможно.

Следует отметить, что с обычаем величать на свадьбах существовал и другой обычай — унижать кого-либо из участников свадьбы в присутствии достаточно большого числа свидетелей. Древний смысл этого угадывается с трудом.

В наше время «дразнилки» стали шуточными песнями.

«Я по жердочке шла» — плясовая, шуточная любовная, исполнялась в любое время года на игрищах, гуляньях, в хороводах.

«Черный баран» — относится к святочным плясовым, часто с юмористическим оттенком.

Особую группу составляют юмористические и сатирические песни, посвященные быту и нравам крестьянской семьи. Тематика их близка к веселой бытовой сказке, анекдоту.

Подготовка текстов и пояснения ОЛЬГИ ЮКЕЧЕВОЙ.



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР

*

16-Й ДЕНЬ ХЭПВОРТА 1924 ГОДА

Это — последнее произведение, которое напечатал поныне здравствующий Джером Дэвид Сэлинджер, кумир 60-х годов, ветеран второй мировой войны, один из самых ярких писателей Америки второй половины века. Напечатал в еженедельнике «Нью-Йоркер» в 1965 году. «Нью-Йоркер», достигая наших библиотек, сразу уходил в спецхран, и «Хэпворт» оставался у нас для чтения практически недоступен. А тех немногих, кто сумел его прочитать, он тогда оттолкнул неструктурированной формой и «странными» идеями. Сам же автор на этом поставил точку и избрал для себя дальнейшим молчание.

Несколько предварительных замечаний — сухо и по существу, в меру моих возможностей.

Первое. Меня зовут Бадди Гласс, и я много лет своей жизни, может быть, даже все сорок шесть, ощущаю себя чем-то вроде прибора, специально установленного, подсоединенного и временами приводимого в действие ради единственной цели — пролить немного света на короткую переменичивую жизнь моего покойного старшего брата Сеймура Гласса, который умер, покончил с собой, предпочел прекратить существование еще в 1948 году, тридцати одного года от роду.

Я намерен прямо вот сейчас, возможно, даже на этом же листе, начать дословно перепечатывать одно письмо Сеймура, которое я сам впервые прочел только четыре часа назад. Моя мать Бесси Гласс прислала мне его заказной почтой.

Сегодня пятница. В минувшую среду поздно вечером я сказал ей вскользь по телефону, что уже несколько месяцев пишу большой рассказ про некий вечер в 1926 году, на котором мы присутствовали четвером — она и наш отец и мы с Сеймуром — и который имел для нас довольно важные последствия. Между этим эпизодом и письмом Сеймура существует, мне кажется, некая чудесная связь. «Чудесная» — плохое слово, не спорю, но здесь оно как будто подходит.

И больше никаких комментариев, повторюсь только, что намерен воспроизвести письмо Сеймура совершенно точно, слово в слово, до последней буквы, до запятой. Начиная прямо отсюда.

28 мая 1965 г.

Лагерь Саймона Хэпворта.
Хэпворт-Лейк,
Хэпворт, шт. Мэн.
Хэпворта 16-го дня 1924 г.
или вообще Бог весть когда.

Дорогие Бесси, Лес, Беатриса, Уолтер и Уэйкер!

Я буду писать за нас обоих, поскольку Бадди в настоящее время занят делами в другом месте и неизвестно когда освободится. Этот неуловимый, потешный, замечательный парнишка, как мне это ни забавно и ни печально, чуть не шестьдесят или даже восемьдесят процентов времени бывает

занят делами где-нибудь в другом месте! Как вы, конечно, и сами знаете в глубине души и тела, мы по всем вам скучаем просто жутко. Мне очень стыдно, но не могу не желать и вам того же. Это до смешного приводит меня в отчаяние, и даже не очень-то до смешного. Ужасное безобразие, если все время чего-то добиваешься в себе, а потом начинаешь поглядывать, как на это реагируют другие. По моему убеждению, если с А. во время прогулки сорвало ветром шляпу, приятный долг Б. — поднять ее и вернуть А., не заглядывая ему в лицо и не ища на нем выражения благодарности. Боже мой, неужели я не могу научиться скучать по своим родным, не желая, чтобы и они скучали по мне в ответ? Для этого нужен характер потверже, чем у меня. Но Боже мой, с другой стороны грессбуха, вы ведь все такие ужасно обаятельные, разве таких забудешь. Как нам не хватает всех ваших живых, выразительных лиц! Я родился безо всякой защиты на случай длительного отсутствия тех, кого я люблю. Простой, упрямый, смехотворный факт состоит в том, что моя независимость — только на поверхности, не то что у моего неуловимого младшего брата и соллагерника. При том что мне сегодня без вас особенно горько, даже, если разобраться, почти невыносимо, я еще использую предоставившуюся мне редкую возможность, чтобы поупражняться во вновь освоенных простых приемах письменного сочинения и конструкции фраз, приведенных и слегка развитых в той книжице, местами бесценной, а местами — вздор собачий, которую, как вы видели, я изучал не отрываясь в трудные дни перед нашим отъездом сюда. Хотя для вас, дороге Бесси и Лес, это все ужасная тощища, но превосходное — или хотя бы сносное — построение фразы представляет кое-какой курьезный интерес для глупого юнца вроде меня. Я был бы рад за предстоящий год избавиться от напыщенности, которая грозит погубить мое будущее как юного поэта, домашнего ученого и скромного человека. Очень прошу вас обоих и, может быть, мисс Овермен тоже, если вам случится заглянуть к ней в библиотеку или повстречаться с ней где-нибудь, пожалуйста, пройдитеесь холодным, непредвзятым взглядом по нижеследующим страницам и немедленно дайте мне знать, если обнаружите вопиющие или просто неряшливые ошибки в композиции, грамматике, пунктуации, а также погрешности против безупречного вкуса. Доведись вам случайно или намеренно увидеться с мисс Овермен, пожалуйста, попросите ее быть в этом отношении ко мне убийственно беспощадной и объясните ей дружески, что меня просто убивает пропасть, существующая между моим письменным и разговорным голосом! Очень неприятно и подло иметь два голоса. А также передайте этой милейшей невоспитанной и женщине мой неизменно теплый и почтительный привет. Как бы мне хотелось, чтобы вы, мои любимые, перестали раз и навсегда считать ее про себя старой грымзой. Никакая она не грымза. На свой обезоруживающий и скромный лад эта маленькая женщина обладает простотой и отвагой не хуже какой-нибудь безымянной героини Гражданской или Крымской войны — двух, по-моему, самых трогательных войн за последние несколько столетий. Бог мой, вы только попытайтесь представить себе, ведь для этой достойной незамужней женщины нет в этом столетии даже подходящего уголка! Текущее столетие для нее — одна сплошная вульгарная неловкость. В глубине души она была бы рада прожить остаток своих лет подружкой и доброй соседкой Элизабет и Джейн, двух в разной мере очаровательных героинь «Гордости и предубеждения», а они бы обращались к ней за разумными и практическими советами. На самом-то деле она ведь даже и не библиотекарь в душе, к сожалению. Как бы там ни было, предложите ей, пожалуйста, какой-нибудь кусок этого письма, на ваш взгляд наименее личный или пошлый. И попросите не судить мои писания так уж строго. Честно сказать, они не стоят того, чтобы тратить на них ее терпение, убывающие физические силы и очень приблизительное чувство реальности. К тому же, честно сказать, хотя с годами я и научусь писать немного лучше и мои сочинения станут меньше походить на записки сумасшедшего, все-таки на самом деле они совершенно безнадежны. Каждый штрих пера

всегда так и будет нести на себе знак моей неуравновешенности и избытка чувств. Ничего не поделаешь!

Бесси! Лес! Дети! Боже всемогущий, как мне вас не хватает в это славное досужее утро! Бледный солнечный свет сочится сквозь приятно подслеповатое грязное окно, а я лежу тут поневоле, и ваши смешные, живые, красивые лица, поверьте, всплывают у меня перед глазами, словно подвешенные к потолку на чудесных ниточках. Бесси, голубка! Мы оба живы-здоровы. Бадди ест великолепно, если только то, что подают, бывает съедобно. Сама по себе пища здесь не так уж плоха, но приготовлена без капли любви и вдохновения, любой стручок, любая самая простая морковь попадают к нам на тарелки лишенными своей крошечной растительной души. Конечно, положение могло бы в одночасье исправиться, если бы мистер и миссис Нельсон, повара, чей брак, как можно догадаться по отдельным признакам, — чистая пытка, попробовали бы вообразить, что каждый мальчик, которого они кормят в столовой, — их родной и любимый ребенок, кто бы его в этот раз ни произвел в действительности на свет. Однако если бы вам представилась хоть малейшая возможность потолковать пару минут с этой четой, вы бы убедились, что требовать от них этого — все равно что просить луну с неба. Они живут в атмосфере какого-то тупого равнодушия, перемежающегося припадками бессмысленной ярости, и это лишает их всякого желания убедительно и любовно готовить еду или хотя бы просто содержать гнутые вилки и ложки на столах в достаточной чистоте. Один вид их вилок часто приводит Бадди в бешенство. Он работает над этим своим недостатком, но возмутительная вилка есть возмутительная вилка. И я тоже не чувствую себя особенно вправе мешать проявлениям его крутого нрава, учитывая его возраст и предстоящую необыкновенную роль в жизни.

Я передумал: не заступайтесь перед мисс Овермен за мои писания. Пускай ругает и чихвостит меня за то, что я плохо пишу, сколько ее душевнее угодно, это ей полезно и укрепляет ее жизненные позиции. Я перед этой доброй женщиной в несказанном долгу! Департамент просвещения учил ее не за страх, а за совесть. Но, к великому сожалению, единственное, о чем она способна рассуждать свободно и со вкусом, — это как я плохо пишу и как безобразно поздно ложусь спать. До сих пор не понял, почему это ее так огорчает. Боюсь, я по нечаянности ввел ее в заблуждение, когда был маленький: она приняла меня за очень серьезного мальчика, а я просто читаю подряд все, что подвернется. По моей вине она даже не подозревает, что на девяносто восемь процентов моя жизнь, слава Богу, совершенно не связана с таким сомнительным занятием, как погоня за знаниями. Мы с ней, бывает, перебрасываемся шуточками, когда я останавливаюсь возле ее стола или когда мы вместе отходим к каталожным ящикам, но это шуточки не настоящие, у них нет внутренностей. Очень утомительно поддерживать отношения, в которых нет внутренностей, обыкновенной человеческой глупости и общего знания (очень нужного и живительного, по-моему), что под кожей у каждого читателя есть мочевого пузырь и разные другие трогательные органы. Конечно, тут много чего еще можно сказать, но мне сегодня слегка не до этого. Сегодня я, кажется, слишком взволнован. И потом, вы, пятеро моих бесценных, так далеко, а на расстоянии слишком легко забыть, что я просто не выношу бесполезных разлук. Конечно, здесь бывает очень хорошо и интересно, но мне лично кажется, что на свете есть такие дети — например, ваш замечательный сын Бадди и я, — которых в лагерь лучше все-таки отправлять только в случае самой безвыходной необходимости или раздоров в семейной жизни. Но позвольте мне поскорее перейти к более общим вопросам. Бог мой, с какой радостью я предвкушаю наше неспешное общение!

Большинство детей в лагере, могу вас обрадовать, такие славные и симпатичные мальчики, лучше просто не придумаешь, особенно когда они не разбиваются так азартно на группировки ради популярности и сомнительного престижа. Почти все они, слава Богу, — истинная соль земли,

надо только изловчиться поговорить с каждым из них поодиночке, в отсутствие их чертовых дружков. К сожалению, здесь, как и всюду на этой трогательной планете, пароль: подражание и престиж — предел мечты. Конечно, не мне беспокоиться об общем положении дел, но ведь я же не железный. Из этих чудесных крепких, во многих случаях очень красивых мальчиков мало кто достигнет зрелости. Большинство, по моему скорбному мнению, перейдет от молодости прямо в дряхлость. Ну можно ли на это спокойно смотреть? Сердце кровью обливается. И воспитатели тоже — только одно название что воспитатели. Почти всем им предназначено пройти по жизни, от рождения до смертного праха, сохраняя самые мелочные, жалкие взгляды на все, что происходит во вселенной и вне ее. Согласен, что это сказано сурово и жестоко. Но, по-моему, еще недостаточно сурово! Вы ведь считаете, что у меня доброе сердце? Но это неправда, да побейте меня в наказание Господь камнями и градом! Не проходит дня, чтобы я, слыша разные бессердечные благоглупости, слетающие с уст воспитателей, не пожелал бы втайне поправить положение, проломив виновнику голову какой-нибудь лопаткой или бейсбольной битой! Наверно, я не судил бы так беспощадно, если бы здешние ребята не были в глубине души такими трогательными и милыми. А самый пронзительно трогательный мальчик из всех, с кем мне доводится беседовать, это Гриффит Хэммерсмит. Ах, как сжимается у меня по нем сердце! Одно его имя сразу наполняет влагой мои глаза, стоит мне зазеваться и ослабить контроль над эмоциями; я здесь ежедневно работаю над своей эмоциональностью, но пока без особого успеха. Ей-богу, хорошо бы любящие родители подождали, пока их дети подрастут и повзрослеют, прежде чем давать им такие имена, как Гриффит, и тому подобные, которые только утяжеляют малышу бремя жизни. Мое имя Сеймур тоже было огромной неумышленной ошибкой, ведь взрослым и учителям было бы гораздо удобнее называть меня в неофициальной беседе каким-нибудь симпатичным уменьшительным вроде Чак, или даже Пип, или Конни. Так что эта маленькая трудность мне близко знакома. Ему, Гриффиту Хэммерсмицу, тоже семь, хотя я его старше на каких-то пустяковых пару недель. Ростом он самый маленький мальчик на весь лагерь, даже меньше, как это ни странно и ни печально, вашего замечательного сына Бадди, несмотря на солидную разницу в возрасте — целых два года. Бремя, доставшееся ему в этой жизни, поистине тяжело. Только поглядите, какие кресты приходится нести этому превосходному, славному, трогательному, умному парнишке. Приготовьтесь в порыве сострадания вырвать с корнем сердце из своей груди!

А. Он ужасно заикается. Это вам не то что какая-нибудь умилительная шепелявость — все его маленькое тело спотыкается на пороге разговора, воспитателей и остальных взрослых такая речь раздражает.

Б. Этому маленькому мальчику приходится спать на клеенке по тем же понятным причинам, что и нашему дорогому Уэйкеру, — тем же, да не совсем, если уж до конца разобраться. Мочевой пузырь юного Хэммерсмита потерял всякую надежду на любовь и снисхождение.

В. Он со дня открытия лагеря переменял девять (9!) зубных щеток, он их прячет или зарывает в лесу, как трех-четырёхлетний малыш, или засовывает в мусор под фундаментом коттеджа. И поступает так не для смеха или из мести и не ради удовольствия. Примесь мести тут, конечно, есть, но его она даже не радует, так подавлен и угнетен в семье его дух. Положение с ним очень сложное и неприятное, уверяю вас.

Он, юный Гриффит Хэммерсмит, немножко ходит за вашими старшими сыновьями хвостом, преследуя нас по всем углам и закоулкам. С ним очень интересно, мило и приятно водиться, когда он не скован своим прошлым и настоящим. Будущее же его — мне до слез горько признать — представляется совершенно ужасным. Я бы не глядя привез его после лагеря к нам, будь он сирота. Но у него есть мать, молодая разведенная дама с шикарным красивым лицом, слегка подпорченным суетой, эгоизмом и разными мелкими неудачами в жизни, хотя для нее, можно думать, не та-

кими уж и мелкими. Сердце и чистая чувственность преисполняются к ней при знакомстве состраданием, даже несмотря на то, что она как женщина и мать просто ну куда не годится. В прошлое воскресенье, отличный день без единого облачка, она вдруг объявилась и пригласила нас прокатиться с ней и Гриффитом в их шикарном «пирс-эрроу» с заездом в «Вязы» — немного перекусить. Мы ее приглашение с прискорбием отклонили. Слишком оно было кислое. Мне приходилось в жизни слышать разные неискренние, кислые приглашения, но это было всем кислятинам кислятина. Может быть, тебя, Бесси, позабавил бы такой насквозь фальшивый неискренний дружественный жест, но только я сомневаюсь: ты еще слишком молода, голубка! В глубине своей вполне прозрачной смешной души, и даже совсем не так глубоко, а более или менее на поверхности, миссис Хэммерсмит была раздосадована, что самые близкие друзья Гриффита в лагере — это мы; ее потрясающе острый глаз мгновенно выделил и предпочел нам Ричарда Мейса и Дональда Уигмаллера, которые живут с Гриффитом в одном коттедже и ей гораздо больше нравятся. А почему — на то есть вполне понятные причины, только я не собираюсь их анализировать в обычном дружеском семейном письме. С течением времени я привыкаю к таким вещам, да и ваш сын Бадди, как вы, конечно, давно убедились, не дурак, несмотря на свой с виду совсем еще нежный юный возраст. Но все равно, когда молодая, привлекательная, обиженная судьбой одинокая мать, пользующаяся всеми социальными благами шикарной аристократической внешности, финансового достатка, кормежки навалом и пальцев в бриллиантах, выказывает такое нездоровое отношение прямо на глазах у сына, совсем еще несмышленища, и без того страдающего от своего нервного и одинокого мочевого пузыря, — это совершенно непростительно и безнадежно. Безнадежно — это, конечно, слишком общо сказано, но я не вижу на горизонте никакого решения для прискорбных и деликатных проблем такого рода. Я, разумеется, работаю над ними, но, к сожалению, приходится учитывать мой возраст и очень ограниченный опыт в этой жизни.

Сперва, как вы знаете, нас по глупости поместили в разные коттеджи на том основании, что разлучать братьев и прочих членов одной семьи якобы очень полезно и расширяет кругозор. Но после одного довольно остроумного замечания, отпущенного вскользь вашим несравненным сыном Бадди, с которым я полностью солидаризировался, на третий или четвертый день у нас состоялось очень милое объяснение с миссис Хэппи, и я указал ей, как легко упустить из виду его совсем еще смехотворно юный возраст и трогательную потребность в человеческом разговоре и в находчивых ответах, и в результате было получено разрешение для Бадди после субботней проверки перебраться сюда своей собственной трогательной маленькой персоной, со всеми пожитками. Такому приятному обороту дела мы оба не перестаем радоваться и видим в нем простое торжество справедливости. Я ужасно мечтаю, что вы близко познакомитесь с миссис Хэппи, когда — или если — у вас образуется просвет или вы сами его подстроите, чтобы сюда приехать. Вообразите себе роскошную брюнетку, бойкую, музыкальную, с тонким, милым чувством юмора! Приходится напрягать все силы самоконтроля, а то бы так, кажется, и обнял ее — ходит такая по траве в нарядном модном платье! То, что она вдруг — раз! — и полюбила вашего сына Бадди, для меня настоящий подарок, и на глаза наворачиваются слезы, когда их совсем не ожидаешь. Одно из захватывающих удовольствий в жизни для меня — видеть, как молодая ослепительная красавица после непродолжительной легкой беседы над живописным пересыхающим ручьем вдруг ни с того ни с сего начинает понимать истинную цену этому замечательному парнишке. Господи, в жизни довольно подобных высоких удовольствий, надо только не хлопать глазами! Она, я имею в виду миссис Хэппи, и ваша большая поклонница, Бесси и Лес, она много раз видела вас на подмостках нашего современного Вавилона, главным образом на Риверсайд, где они живут. Ей, как и тебе, Бесси, достались в на-

следство от природы безупречно стройные ноги с тонкими лодыжками, аппетитный бюст, свежий, аккуратный задик и две очень маленькие ступни с хорошенькими крохотными пальчиками. Вы ведь знаете сами, какая это редкая радость — встретить совершенно взрослого человека, у которого были бы при ближайшем рассмотрении по-настоящему красивые или хотя бы недурные пальцы на ногах; обычно, когда они перестают принадлежать детскому телу, с ними происходят ужасные вещи, вы согласны? Благослови ее Бог, прелестное дитя! Просто невозможно поверить, что эта пикантная милашка на пятнадцать (15) лет старше меня! Предоставляю на ваше, Бесси и Лес, собственное тактичное рассмотрение, доводить ли это до сведения младших детей, но если сохранять полную откровенность между детьми и родителями не только при личном теплом общении, но также и по почте — а я именно к таким отношениям стремлюсь всю жизнь с возрастающе малым успехом, — так вот, тогда я должен признаться не без юмора, что бывают моменты, когда эта умопомрачительная красотка миссис Хэппи, сама того не подозревая, возбуждает во мне всю мою беспредельную чувственность. Конечно, учитывая мой смехотворный возраст, это может показаться забавным, но, увы, только задним числом. Раз или два, принимая ее любезное приглашение зайти после занятий плаванием в главный корпус выпить чашку какао или чего-нибудь прохладительного, я с удовольствием воображал, хоть и понимая, как это маловероятно, что я постучусь, а она откроет мне дверь совсем без всего. И это смятение чувств, повторяюсь, кажется смешным, только когда оглядываешься назад. Я еще не обсуждал эту неделикатную тему с Бадди, чья чувственность пробуждается в таком же раннем нежном возрасте, как в свое время и моя, но он и сам успел заметить, что я попал в чувственный плен к этому прелестному существу, и отпустил на сей счет несколько иронических замечаний. Бог мой, как я горжусь и дорожу своей близостью с этим скрытым гением и замечательным парнишкой, которому так просто зубы не заговоришь! С миссис Хэппи к осени будет покончено и забыто, но хорошо бы все-таки, дорогой Лес, ты признал, что чувственность мы с Бадди унаследовали от тебя вместе с предательской Венериной кромкой по краю твоей полной и чувственной нижней губы — как, впрочем, и наш несравненный младший брат Уолтер Ф. Гласс, в то время как юные Беатриса и Уэйкер Гласс, в высшей степени достойные личности, этой кромки не унаследовали. Обычно, как ты знаешь, я на разоблачительные признаки в человеческом лице просто плюю, так как они совершенно ненадежны и притом могут быть удалены или стерты Безжалостным Временем, но на выпуклую кромку по краю нижней губы, обычно чуть более темную, чем остальная часть губ, я совсем даже не плюю. Не буду говорить о карме, поскольку знаю и понимаю твою неприязнь к моему страстному случайному увлечению данной темой, но, честное слово, вышеупомянутая кромка — это почти то же, что кармическая ответственность; человек осознает ее и превозмогает — или же не превозмогает — и тогда вступает в честный бой, не ища и не давая пощады. Лично я безо всякого восторга предвижу, как милые телесные желания начнут день за днем отвлекать меня от дел на протяжении тех немногих счастливых лет, что отведены мне в этой жизни. Мне надо будет выполнить в этой жизни грандиозную работу, отчасти еще не вполне ясную, и я тысячу раз предпочту сдохнуть собачьей смертью, чем отвлекаться в решающую минуту на соблазнительные округлости и плоскости роскошной плоти. У меня, как это ни грустно и ни смешно, слишком мало времени. Я, конечно, буду неустанно работать над проблемой чувственности, но хорошо бы, дорогой Лес, ты, наш любящий отец и задушевный друг, был для нас как открытая книга и без стеснений и утайки описал свои чувственные переживания в нашем возрасте. Мне довелось читать две-три книжки на эту тему, но они либо действуют возбуждающе, либо совсем не по-людски написаны, и от них никакого проку. Я не спрашиваю, на какие поступки толкала тебя чувственность, когда

ты был таким, как мы теперь; гораздо хуже: я хотел бы знать, каким чувственным фантазиям ты втайне предавался, потому что иного органа, чем фантазия, у чувственности ведь нет. Убедительно прошу тебя ничего не стесняться. Мы земные мальчики и не будем любить и уважать тебя меньше — даже наоборот! — если ты раскроешь перед нами свои самые ранние и самые чувственные грезы; я уверен, что они покажутся нам очень трогательными и милыми. Обязательно наступают такие минуты, когда младшим нужны совершенно откровенные и честные критерии. К тому же ни твой сын Бадди, ни я, ни твой сын Уолтер совсем не из таких, у кого могут вызвать испуг и отвращение милые земные свойства человеческой природы. Наоборот, человеческая глупость и скотство задевают в нашей груди струны самого нежного сочувствия!

О, боги и малые рыбешки! Как радостно и приятно посреди суетливой лагерной жизни заполучить чуточку досуга для общения со своими родными! Вы, конечно, даже и не подозреваете, сколько у меня сейчас образовалось совершенно свободного времени, которое я могу употребить на нужды ума и сердца! Полное объяснение см. ниже.

Возвращаюсь к моему доверительному и довольно самоуверенному описанию миссис Хэппи, которую вы, я знаю, смогли бы полюбить или пожалеть, — она сейчас изо всех сил тайно старается, чтобы ее малоудачный брак не испортил ей счастья и радостного труда вынашивания ребенка. В настоящее время она беременна, хотя минует добрых месяцев шесть или семь, пока произойдет событие, которого она еще совсем не понимает. Для нее это все, от начала и до конца, ох какая нелегкая работа. Так ее жалко, бедняжку, с этим растянутым маленьким животиком и с головой, набитой разным умилительным вздором, почерпнутым из дурацких медицинских книжек, чьи авторы всегда рассуждают одинаково плоско и доступно, вперемешку со сведениями, полученными от Вирджинии, подруги по колледжу, которая жила с ней вместе в общежитии и, как я понял, превосходно играла в бридж. Здесь, в лагере, должен с огорчением сказать, душераздирающе несчастных семейных пар полно, но беременной ходит, по моим сведениям, одна только миссис Хэппи. Вот почему, за неимением под рукой вышеназванной Вирджинии, она привлекла в качестве собеседника — меня. То есть воспользовалась ушами семилетнего ребенка! На меня это наваливает гору забот, но по временам немного развлекает. Стыдно признаться, но она совершенно не отдает себе отчета в том, что слушатель ее излияний — ребенок. Она потрясающая застенчивая болтунья и, не попадись ей я, выбалтывала бы свои печальные секреты кому угодно еще, кто первый подвернется. Все, что она говорит, необходимо принимать с большой поправкой. Как она ни мила, честность и искренность ей совершенно не свойственны. Себя она считает очень любящей натурой, а мистер Хэппи, по ее мнению, человек бесчувственный — версия очень удобная в разговоре, но, к сожалению, это полнейший вздор. Видит Бог, мистер Хэппи далеко не сахар, но у него безусловно любящее сердце. С другой стороны, миссис Хэппи хотя и чувствительная особа, но сердце у нее, увы, холоднее ледышки. Так обманываться насчет себя самой! Даже зло берет — и в то же время нельзя тайно не вожделеть к ее красоте. Ну неужели она не понимает, что иногда надо взять на руки такого малыша, как ваш сын Бадди, который оказался здесь без мамы и остальных любимых, крепко обнять и чмокнуть, чтобы отдалось по всему лесу? Ей, похоже, неизвестно, как отчаянно бывает нужен в этом огромном, бездушном мире обыкновенный нормальный поцелуй. Одной только обворожительной улыбки тут мало. И чашка ароматного какао с заботливыми пастилками тоже не может служить достойным заменителем, когда речь идет о том, чтобы прижать к груди и поцеловать пятилетнего малыша. Ей-богу, я подозреваю, что ее ждут в будущем серьезные опасности. К исходу лета я уже не смогу быть ей полезен как собеседник, и тогда этой милой красавице грозит моральная беда — нетрудно предвидеть неболь-

шое падение, *dégringolade*¹, от простого кокетства и девчоночьей болтовни вниз. При таком, как у нее, недоборе любви и душевного тепла вполне может кончиться тем, что она безоглядно бросится на шею какому-нибудь привлекательному незнакомцу и не сумеет, из гордости и самовлюбленности, одарить своими прелестями действительно близкого человека. Меня это очень беспокоит. К несчастью, я в острые моменты разговора оказываюсь в ложном положении — разрываюсь между добрым, разумным, беспощадным советом и нехорошим желанием, чтобы она открыла дверь безо всего. Если у вас найдется минутка, дорогие Лес и Бесси, — и вы, малыши, тоже, — пожалуйста, помолитесь о том, чтобы мне достойно выбраться из этой дурацкой и досадной сумятицы. Помолитесь, когда будет с руки, но только своими словами, и непременно подчеркните, что я не могу добиться душевного равновесия, поскольку разрываюсь между разумным бесспорным советом и простыми вожделениями тела и гениталий, несмотря на их детские размеры. И будьте совершенно уверены, что ваши молитвы, я убежден, даром не пропадут, — вы просто выразите их словами, и они будут приняты, как я вам объяснял один раз зимой за обедом. Если Бог захочет воспользоваться в этом деле мной, я могу принести милой, трогательной красавице необозримую пользу. Причина разлада между миссис и мистером Хэппи в том, что им не удалось стать до конца единой плотью. Если они проявят отвагу и получают толковые инструкции, как правильно себя вести, этого можно добиться запросто и сравнительно в два счета. Я бы сам показал, будь здесь Дезирэ Грин, очень смелая и открытая девочка для своих восьми лет, хотя я бы управился и без демонстрации. Не стесняйтесь молиться за меня по этому деликатному поводу! Уэйкер, старина, я в особенности рассчитываю на силу твоей замечательной невинной молитвы! Помни, что я не вправе уклониться от ответственности под предлогом, что мне всего лишь семь лет. Если бы я стал уклоняться от ответственности на таких несерьезных, никудышных основаниях, то я был бы вун и жалкий притворщик, пользующийся дешевыми, плоскими отговорками. К сожалению, я не могу говорить на эти темы с мистером Хэппи. С ним вообще не очень-то поговоришь, а на такие темы особенно, да и на другие тоже. Если бы даже и подвернулся подходящий случай для разговора, мне пришлось бы привязать мистера Хэппи к ближайшему стулу, чтобы он уделил мне все свое внимание. Он в прошлой жизни вил веревки не самого высокого качества где-то не то в Турции, не то в Греции, не знаю точно. И был казнен за гнилую веревку, из-за которой погибли какие-то высокопоставленные восходители; хотя на самом деле виновато тут было невероятное упрямство и зазнайство в сочетании с небрежностью. Как я обещал вам перед отъездом сюда, я прилагаю усилия, чтобы у меня пореже бывали эти прозрения, пока мы приятно и нормально проводим здесь лето. Так и так в девяти случаях из десяти если и позволишь им промелькнуть в голове, все равно оказывается пустая трата времени, как бы ни отнесся тот, про кого смотришь, — захочет ли обсудить по душам, или содрогнется от жути, или почувствует отвращение.

Ну и длинное же письмо у меня получается! Крепись, Лес! Я даю тебе разрешение прочесть только четверть. Причина такой длины письма в том, что на меня неожиданно свалилась уйма свободного времени, о чем я вам расскажу ниже. А пока в двух словах: я вчера сильно поранил ногу и лежу для разнообразия в постели — вот уж повезло так повезло! Догадайтесь, кто исхитрился получить разрешение находиться при мне для ухода? Ваш возлюбленный сын Бадди! Он должен возвратиться с минуты на минуту!

Мы получили еще несколько замечаний после того, как вы звонили из отеля «Ла Салль», чем нас безмерно обрадовали, хотя слышимость была паршивая. Кроме того, я куда-то задевал свои красивые новые часы, когда

¹ Скатывание по ступеням (*франц.*).

у нас прошлый раз было плавание; впрочем, завтра или сегодня после обеда все собираются нырять и искать их на дне, так что не беспокойтесь, если, конечно, они не пропитались безнадежно водой. Возвращаясь к замечаниям, почти все они — за постоянную неопрятность в содержании коттеджа, да еще целый букет за то, что мы не пели у костра и ушли со сбора без разрешения. Так и живем. Господи, надеюсь, вы чувствуете на расстоянии, как мы по вас скучаем, дорогие Бесси и Лес и три моих любимых карапуза! Мне бы так хотелось написать вам простое письмо, не отягченное бременем великолепных стилистических оборотов! Боюсь, если полностью выполнять высокие требования безупречного письменного стиля, я совсем перестану узнавать в написанном самого себя, вашего сына и брата. Здесь, кажется, проглядывает будущее проклятие моей жизни, но я приложу все старания и буду надеяться на почетное доброе перемирие.

Тысяча благодарностей за ваше забавное и чудесное письмо и несколько открыток! Лес, мы с облегчением и огромной радостью узнали, что Детройт и Чикаго оказались не очень утомительны. И также рады были узнать, что молодой мистер Фей был с вами в Чикаго в одной программе. То-то для тебя, Бесси, была радость, если ты все еще питаешь безобидную дружескую страсть к этому замечательному парню. Я целый год после того, как мы с ним так приятно и весело болтали, оказавшись в одном такси под роскошным проливным дождем, собирався вдруг, ни с того ни с сего, написать ему письмо. Он очень умный и счастливо оригинальный артист, у него еще будет, пока он работает, много подражателей и просто плагиаторов, попомните мое слово. После доброты оригинальность — одно из самых потрясающих явлений природы, и такое редкое! Сообщайте нам, пожалуйста, в будущих письмах все ваши дальнейшие милые новости, чем мельче и незначительнее — тем интереснее. Новость насчет «Бамбалины» — превосходная и более чем просто важная! Вы уж постарайтесь хорошенько, умоляю вас! У нее такая прелестная мелодия. Если вы закончите запись, пока мы еще в лагере, сразу же пришлите сюда одну из первых пластинок, у миссис Хэппи на квартире есть граммофон в неважном состоянии, и я не постесняюсь воспользоваться нашей своеобразной дружбой ради такого дела. Не переставайте трудиться! Ей-богу, вы — замечательная, талантливая, великолепная пара! Я бы безгранично восхищался вами, даже если бы мы не были родными, можете мне поверить. Бесси, голубка, мы надеемся, черт подери, что ты снова в отличном настроении и не особенно злишься, что опять надо отправляться на гастроли. Если ты до сих пор не собралась сделать то, что клялась и божилась обязательно сделать для моего дурацкого спокойствия, пожалуйста, поторопись и выполни свое обещание. Это определенно киста, по моему нешутливому мнению, и квалифицированный хирург запросто прижжет ее или срежет — оглянуться не успеешь. В поезде по дороге сюда я разговаривал с одним симпатичным врачом, и он сказал, что их удаляют совершенно безболезненно: чик — и готово. Боже мой, человеческое тело такое трогательное, со всякими недостатками, опухольями и прыщиками, которые неизвестно почему вдруг выскакивают и проходят у взрослых. Вот еще один повод почтительно снять шляпу перед Господом Богом в трудный день; я лично не могу и не хочу думать, что Бог сам сводит всякие прыщи и нарывчики с человеческих лиц вплоть до какого-нибудь пятнышка. Я никогда не видел, чтобы Он занимался пустяками. Оставляю эту деликатную тему и просто шлю вам всем пятерым пятьдесят тысяч поцелуев. И Бадди бы тоже непременно ко мне присоединился, если бы был здесь. Это подводит, боюсь, к другой деликатной теме. Бесси и Лес, обращаюсь к вам вполне серьезно. Не обижайтесь, но вы совершенно, абсолютно и очень опасно заблуждаетесь, полагая, что он ни по ком никогда не скучает, кроме меня. Бадди, я имею в виду. Честно говоря, мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты, дорогой Лес, больше не повторял мне по телефону эту обидную и совершенно ошибочную чепуху. Прямо ноги подкашиваются, когда твой родной, любимый, талантливый отец в телефонном разгово-

ре высказывает такие несправедливые, неправильные и крайне неумные мысли. Замечательная личность, о которой идет речь, просто не носит свою душу нараспашку, как большинство других людей, включая тебя и меня. Первое и главное, что вам следует помнить об этом маленьком миллом парнишке, — это что он будет всю свою жизнь стремиться поскорее плотно закрыть за собой двери, как только очутится в помещении, где имеется достаточный запас отточенных карандашей и вдоволь писчей бумаги. Я совершенно бессилён, да и не хотел бы, пожалуй, ничего тут изменить. Дело это давнее, и тут многократно затронута честь, уверяю вас! Вам, его нежным родителям, так или иначе не под силу облегчить его ношу, но, заклинаю, хотя бы не наваливайте на детские плечи дополнительный груз вашей укоризны. А во всем остальном он — самое сообразительное Божье создание изо всех, кого я встречал, берет жизнь из первых рук, а не по рекомендации каждого встречного-поперечного. Он будет легко и деликатно направлять всех детей в нашей семье еще долго после того, как я совсем перегорю и стану бесполезен или просто сойду со сцены. Мальчику моих лет нехорошо так неуважительно говорить с любимым отцом, но в Бадди вы с Бесси совершенно ничего не смыслите. И давай-ка поскорее перейдем к менее щекотливым материям.

В субботу на прошлой неделе наш лагерь посетил некий столичный конгрессмен, однополчанин мистера Хэппи. Просто не на что смотреть, я давно не встречал такого неинтересного человека, лучше было бы вообще не упоминать о нем в личном письме. По всему лагерю распространился дух неискренности и порчи в благовидном облике; до сих пор воняет — не продохнуть. А как перед ним лебезил и притворно подхихкивал мистер Хэппи — просто нет слов! Я сумел столкнуться с миссис Хэппи у них на крыльце и убедительно просил ее по мере сил и возможностей, пока длится эта малоприятная бодяга, не допускать, чтобы тошнотворный конгрессмен и заискивания мистера Хэппи вредно влияли на нее и ее чудесного крошечного зародыша. Она согласилась. Позднее, исключительно ради нее, я скрепя сердце подчинился просьбе и повелению мистера Хэппи прийти с Бадди после ужина к ним в коттедж кое-что спеть и показать для развлечения их гостя, вышеупомянутого конгрессмена. Вообще-то у меня нет ни малейшего права принимать непристойные приглашения за моего любимого младшего брата, я надеюсь втайне, что Всевышний сурово спросит с меня за преступный произвол; меня никто не уполномочил выносить скоропалительные решения, не посоветовавшись с этим умным парнишкой. Но так уж получилось, что мы с ним посоветовались уже после того, как приглашение было принято, и уговорились не надевать чечеточных ботинок с подковками, когда пойдем туда, но это дало нам только обманчивое и ложное облегчение. В разгар вечера мы согласились станцевать в мягкой обуви! И как на грех, мы оказались в превосходной форме, потому что аккомпанировала на аккордеоне миссис Хэппи, а трудно не быть в превосходной форме, если тебе из рук вон плохо аккомпанирует на аккордеоне великолепная красавица, — это и трогает, и смешит. При всей нашей крайней молодости, мы беспомощно пасуем перед великолепными бездарными красавицами. Я над этим работаю, но проблема крайне сложная.

Пожалуйста, умоляю вас, умоляю, не теряйте терпения и нежного внимания к этому письму за то, что оно так разрослось! Если почувствуете, что близки к ледяному пределу, сразу вспомните, сколько у меня сегодня оказалось свободного времени и как я нуждаюсь в общении с пятью отсутствующими членами моего родного семейства! Я не создан для долгих отсутствий, я никогда не притворялся, что силен в них. И потом, многие мои сообщения и вести обещают оказаться очень интересными, прекрасными и благами.

Как вы отлично знаете сами, в душе мы никогда не меняемся. Однако снаружи мы немножко загорели и стали выглядеть вполне как здоровые лагерные дети. Конечно, все это чертово здоровье нам очень даже понадо-

бится. Недавно произошел такой малоприятный эпизод. Здесь всем давным-давно известно, что мы — дети знаменитых Галахер и Гласса и что мы сами, следуя вашему замечательному примеру, уже стали вполне умелыми и опытными эстрадными артистами; но теперь еще по всему лагерю распространились слухи, что мы оба, ваш маленький сын Бадди и я, с самого юного возраста беспребудно много читаем, а вдобавок обладаем разными способностями, умениями и приемами, не представляющими особой ценности, но связанными с серьезной ответственностью, принесенной нами из предыдущих существований, особенно из последних двух, нелегких. Ваш юный сын Бадди справляется со всем этим в целом отлично, а ведь тут требуется широкая грудь, можете мне поверить. Только представьте себе, если выберете минутку, какой смачный интерес, какую пищу для сплетен и злопыхательства дает парнишка пяти лет, если он — превосходный читатель и писатель, совершенствующийся день ото дня семимильными шагами, и к тому же еще, хоть и смехотворно маленький на первый взгляд, он потрясающе разбирается в человеческих лицах, масках и выражениях — видит тщеславие, всплески отваги, безобразное вранье! Вот сколько всего ему досталось на долю, малышу. Теперь представьте дальше, какой пышный цвет дадут эти слухи, даже частично просочившись и распространившись среди ребят и воспитателей. Так вот, именно это и произошло. К сожалению, как Бадди прекрасно понимает, во многом тут он сам по неосмотрительности виноват. Боже мой, до чего же веселый и славный спутник мне достался на ухабистом жизненном пути! Вот в двух словах весь этот дурацкий эпизод. Мистер Нельсон, болезненный обожатель сенсаций и нащептыватель слухов, единолично распоряжается, как вы уже знаете, в столовой на пару со своей женой миссис Нельсон, несчастной, сварливой и злобной особой. Столовая, когда там никого нет, — единственное на весь лагерь благословенное место, где можно хоть немного побыть одному. Бадди с самого начала присмотрел для себя этот укромный уголок. И во вторник на исходе знойного дня предложил мистеру Нельсону пари, что за двадцать минут, максимум за полчаса, запомнит наизусть книжку, которую тот читает. Если он это сделает, тогда мистер Нельсон, со своей стороны, в знак признания его заслуги позволит нам, братьям Гласс, пользоваться в свободное время этим пустым уютным сараем для чтения, письма, изучения языков и других очень насущных личных нужд, как, например, проветривание своих мозгов от чужих, бывших в употреблении мыслей, которые жужжат по всему лагерю, как назойливые мухи. Господи, до чего же я не выношу и не одобряю сделки со взрослыми — не важно, способны ли они отвечать за свои слова или же они люди нечестные! Этот замечательный, независимый мальчишка, не посвятив меня в свой ужасный план, взял и заключил сделку с мистером Нельсоном, хотя мы с ним не раз перед побудкой говорили о том, что желательно держать язык за зубами насчет некоторых наших свойств и способностей. Еще хорошо, что дело не окончилось полным провалом и проигрышем. Книга оказалась «Твердые древесные породы Северной Америки», авторы — Фоли и Чемберлин, очень скромные и непритязательные люди, я ими давно восхищаюсь, мне нравится их заразительная любовь к деревьям, особенно к буку и благородному дубу, они почему-то трогательно страстны к буку. Так что разговор у нас с Бадди получился не такой уж резкий и обидный — до слез, слава Богу, не дошло. Однако старший воспитатель Уайти Питмен из Балтимора, штат Мэриленд, закадычный другок мистера Нельсона и большой зубоскал, кое-что пронюхал про демонстрацию Бадди и стал без зазрения совести спекулировать этим ради красного словца. Надо ему отдать должное, он потрясающе умеет набирать очки за счет кого-нибудь маленького — эдакий умный стервятник и разговорный паразит. И этот Питмен, тип двадцати шести лет от роду, не младенец, кажется, умудрился сказать вашему сыну Бадди при чужих людях, столпившихся вокруг: «Это ты ведь вроде у нас известный умник?» Ну можно такое говорить пятилетнему ребенку? Хорошо хоть Бог упас всю

нашу семью от позора и неловкости: у меня не оказалось под рукой пристойного оружия в ту минуту, когда было сделано это возмутительное вздорное замечание. Однако позже, когда представился случай, я предупредил Роджера Питмена (таково полное имя, данное ему несчастными родителями), что не успеет спугнуться ночная мгла, как я убью его или себя, если он еще раз осмелится при мне так разговаривать с этим парнишкой — или с любым другим пятилетним малышом. Я бы, надеюсь, в решающий момент все-таки справился с этим преступным порывом, но следует, увы, помнить, что струйка опасной неуравновешенности бежит по моим жилам, точно маленький бурный поток, и нельзя на это закрывать глаза; я не успел, по неразумию и к большой досаде, излечиться от нее за две предыдущие жизни. Простой дружеской молитве она не поддается. Тут от меня требуется упорная, неотступная работа, и слава Богу, а то бы я стал молиться какому-нибудь святому слабачку; чтобы он вмешался и навел за меня порядок там, где я набезобразничал. Тошно даже подумать. Однако язык человеческий легко может послужить в этой жизни причиной моего падения, если я вовремя не соберусь в дорогу. Я тут с самого первого дня пробую, как могу, многое списывать на счет вредного влияния людской злобы, страхов, вражды и нутряной неприязни ко всему незаурядному. Пожалуйста, не читайте мое чересчур поспешное признание вслух близнецам и позаботьтесь, чтобы оно не достигло прежде срока ушей Бу-Бу, но скажу вам честно сквозь потоки слез, бегущих по моему неуравновешенному лицу, что в глубине души не возлагаю чрезмерных надежд на человеческий язык, каким он известен нам сейчас.

Если предыдущая страница получилась очень уж досадно неразборчивой, вспомните, что я пишу со страшной, головокружительной сверхскоростью, тут уж не до красот почерка. Не успеешь дух перевести, как настанет время ужина, так что я пишу наперегонки со временем. Как ни возмутительно, но в малышовой коттедже полагается каждую ночь спать по десять часов, ровно в девять вечера вырубается свет и воцаряется тьма. Я несколько раз обращался по этому вопросу к мистеру Хэппи, но без толку. Господи, ну что за человек! Он если не доводит до бешенства, то вызывает истерический смех — одинаково пустая трата времени. Может быть, ты, милый Лес, позволишь себе обратиться к тебе лично, напишешь ему короткое любезное твердое письмецо, что, мол, для всякого, кто владеет хотя бы самыми элементарными навыками разумного дыхания, десять часов сна — это полнейшая чушь и насилие. У нас, конечно, есть фонарики, но пользоваться ими в постели страшно неудобно, освещение слабое и действует на нервы.

Ото всей души презираю себя за то, что описал вам только темную и унылую сторону лагерной жизни. При таком неправильном подходе осталось обойдено молчанием много чудесных вещей, с которыми все гладко и прекрасно. Вопреки моим вышеприведенным мрачным замечаниям каждый день щедро усыпан счастьем, телесными радостями, весельем и даже раскатами звонкого смеха. Показываются разные симпатичные звери, когда совсем не ждешь, как, например, бурундучки, неядовитые змеи, а вот оленей нет. Я позволяю себе сомнительную вольность послать тебе, Лес, несколько игл от мертвого (но не больного) дикобраза — может быть, они помогут тебе решить застарелую проблему с гнущимися и ломкими зубочистками. Природа — и вокруг, и прямо под ногами — ошеломительная. К моей радости и полному изумлению, ваш сын Бадди оказался настоящим натурофилом! Вот уж чего я от него никак не ожидал. Мне самому тоже нравится жизнь на лоне природы, но только до определенных пределов, в глубине души я на расстоянии от холотных, бесчеловечных нелепо-громадных городов типа Нью-Йорка или Лондона чувствую себя не в своей стихии. А Бадди, наоборот, в будущем непременно вырвется из большого города, это совершенно очевидно; пройдет всего несколько лет, и нам его ничем не удержать. Видели бы вы его здесь пробирающимся через густые заросли, когда начальство хоть ненадолго предоставляет нас самим

себе: как он ступает — легко, целеустремленно, неслышно, ну настоящий краснокожий лазутчик! Каждый вечер я смеюсь и плача извожу на этого упрямого ведра йода, смазывая с ног до головы все его бедное тельце, изувеченное шипами ежевики и другими зловредными колючками. Книжки про съедобные и несъедобные растения, некоторые отличные, а некоторые так себе, с удовольствием прочитанные нами перед отъездом сюда, пришлось очень даже кстати: благодаря им мы можем под покровом тайны готовить себе отличные кушанья из распаренной лебеды, молодой крапивы, дикого портулака и поздних нежных побегов коричневого папоротника, используя в качестве кастрюли кружку из столовой, и к нам нередко присоединяется трогательный карапуз Гриффит Хэммерсмит, у которого в благоприятной обстановке проявляется потрясающий, волчий аппетит. Да, чтобы не забыть по рассеянности. Бесси, голубка, Бадди просит прислать ему еще блокнотов, гладких, без линеек, а также яблочного пюре и кукурузной засыпки, он, можно сказать, ею одной и питается, когда есть возможность в тишине поесть в свое удовольствие. Заверяю вас, что кукурузная засыпка ему очень полезна, его детское тело, если хотите знать, вообще предрасположено к кукурузе и ячменю. Он сам вам скоро напишет, если будет удобная обстановка и подходящее настроение. Знали бы вы, как он сейчас занят! Сколько я его помню, он никогда еще так много не работал: написал шесть новых рассказов, местами смешных от первого до последнего слова, про одного англичанина, который возвратился из заморских стран, где с ним происходили удивительные приключения. Не могу вам передать, до чего отрадно глядеть на человека пяти лет от роду, который садится на свой милый, смешной тощий задик — и в два счета у него уже готов занимательный рассказ, написанный вдохновенно и с немалым искусством! Даю вам слово чести, вы еще о нем услышите; не проходит вечера, чтобы я мысленно не снимал перед вами шляпу в благодарность за то, что вы произвели его на свет; ваша роль в его рождении меня очень трогает и радует, тем более что тогда, после рождественских каникул, — помните? — на меня нашло отвратительное прозрение и открытие, что в прошлом существовании наша близость с тобой, Лес, если ты еще читаешь, была довольно поверхностной и омрачалась раздорами. Продолжаю не спеша. Теперь о моих писаниях. Я закончил двадцать пять (25) приличных стихотворений, о которых держусь довольно низкого мнения, потом еще шестнадцать, имеющих некоторые достоинства, при недостатке свободного дыхания, и еще десять, которые оказались бессознательными безнадежными подражаниями Уильяму Блейку, Уильяму Вордсворту и двум-трем другим умершим гениям, чьи внезапные кончины не перестают ранить меня как ножом. Общая картина моей поэзии довольно бедная и гнетущая. Глубоко убежден, что из всего написанного мною за лето единственное стихотворение, представляющее серьезный личный интерес, я так и не написал. Помните, когда вы, не думая о деньгах, звонили из отеля «Ла Салль», я рассказывал, как мы и остальные обитатели лагеря провели целый день в Уэл-Фишерис? По пути туда нас кормили отличными сытными сэндвичами в «Колборне», благопристойном широко известном отеле, где обычно с удовольствием останавливаются молодежны во время медового месяца. Прогуливаясь с Бадди и Хэммерсмитом по берегу озера, я заметил одну такую пару, они весело и самозабвенно резвились у воды. Я сразу сообразил, что к чему, и вдруг всем существом ощутил потребность в гармонии с этими чужими мне, любящими людьми. Мне захотелось сочинить стихотворение про то, как опять, в какой-нибудь стотысячный раз, новобрачный из отеля «Колборн» плеснул водой в свою молодую жену. Я не раз видел собственными глазами, как брызгаются друг на друга парочки на Лонг-Бич и других общественных пляжах. Ты бы, Бесси, голубка, тоже наблюдала бы за ними с удовольствием, некоторым сочувствием и легкой полуулыбкой; однако ни в одном бессмертном поэтическом творении я не встречал этого мотива. Вот и приходится возмещать упущенные мне. Давайте, однако, оставим эту колкую тему. Сообщаю исключи-

тельно для вашего сведения, и, может быть, еще передайте мисс Овермен, но только при твердом условии, чтобы дальше не пошло, потому что она, к сожалению, не обладает талантом помалкивать о том, что ей сказано по секрету, — так вот, мы продолжаем овладевать итальянским и повторяем понемногу после отбоя испанский. Это нахальный недвусмысленный намек, что нам очень кстати пришлось бы свежие батарейки.

Лес, я так упиваюсь возможностью писать, не прислушиваясь к этим чертовым звукам горна, что совсем теряю от восторга чувство меры. Если ты устал читать или просто тебе дальше неинтересно — не надо, не читай больше, я разрешаю ото всей души. Я сознаю, что и так злоупотребил твоим доброжелательством, отцовскими чувствами и прославленным веселым терпением. Бесси, конечно, не почтет за труд передать тебе вкратце содержание того, что еще будет написано ниже. А ты закури с наслаждением сигарету, брось мое дурацкое письмо, как горячую картофелину, и спустись в фойе той гостиницы, где вы сейчас живете, чтобы с чистой совестью и моим сердечным благословением развлечься хорошенько; партия в бильярд или в карточки будет, по-моему, самое оно, а?

Продолжаю с упоением, как Бог на душу положит. Мы пока еще не пользуемся особой любовью других ребят, живущих с нами в одном коттедже, а это Дуглас Фолсом, Барри Шарфмен, Дерек Смит мл., Том Лантэрн, Мидж Иммингтон и Рэд Силвермен. Том Лантэрн²! Ну разве не замечательно прожить жизнь с таким именем? К сожалению, однако, этот юноша, кажется, решил никогда не возжигать своего светильника, так что его восхитительному имени грозит опасность пропасть зазря. Это слишком резкое суждение, я знаю. Мои суждения вообще недопустимо часто бывают чересчур резкими, это факт. И я над этим работаю. Но нынешним летом я, к сожалению, явно слишком часто даю волю резкости. Дай Бог тебе удачи, Том Лантэрн, зажжешь ты там в своем фонаре свет или нет! На верхнем этаже нашего довольно безобразного коттеджа живет один мальчик, настоящая соль земли! Его как ни хвали, ни превозноси, все будет справедливо, уверяю вас. Он часто в свободные минуты скатывается кубарем по здешним хлипким лестницам поболтать на досуге с вашими недостойными сыновьями и рассказать нам весело и открыто о своих друзьях, знакомых и врагах, которые остались у него дома в Трое, штат Нью-Йорк, — на самом деле это такая большая деревня под Олбани — и вообще о жизни и человечестве, которыми он, несмотря на обманчивую видимость, ото всей души восхищается. Его доблесть, я думаю, вполне способна разбить вам сердце — или, по крайней мере, оставить на нем болезненную щербинку; ведь просто чтобы сказать нам «привет», сколько этой доблести требуется! Мы же, я забыл упомянуть, в настоящее время подвергнуты остракизму. Этого паренька зовут Джон Колб, возраст — 8 1/2 лет, по праву он должен быть в средней группе, но там для него не нашлось места, вот как вышло, что нам выпала честь оказаться его соседями в нашем переполненном коттедже. Заклинаю вас: занесите это благородное, доброе имя на скрижали вашей памяти на теперешнее и будущие времена! Жаль только, стоит разговору затянуться больше чем на пять минут, и этот неустрашимый, деятельный мальчик готов просто заплакать от скуки: поднимаешь глаза — и, к своему недоумению, видишь, что его обаятельного, доброго лица уже перед тобою нет, вот смех-то! Я бы не знаю сколько лет жизни отдал, чтобы как-то помочь в будущем этому парнишке. Он любезно дал мне слово, даже не подозревая, почему я его прошу об этом, что, когда вырастет, не возьмет в рот ни капли виски и вообще спиртного, но, увы, у меня имеются неприятные основания сомневаться, что он его сдержит. В нем дремлет предрасположенность к утешительному алкогольному оглушению; ее, правда, можно преодолеть, если он сосредоточит на этом все душевные силы, подключив некоторые особые таланты; но он, боюсь, слишком добрый и нетерпеливый мальчик, чтобы все свои душевные силы

² Lantern — фонарь (англ.).

направить на одно. У нас есть его адрес в Трое, штат Нью-Йорк. Если буду жив, когда подойдет решающее время, я без минуты колебаний ринусь в эту маленькую Трою, чтобы в случае нужды выступить на его защиту; для этого, возможно, потребуется и мне испить чашу, которая меня оглушит, но поймайте: мы полюбили этого мальчику, не знающего преубеждений. Господи, доблестный мальчик восьми с половиной лет — с ума можно сойти! Здесь заключена горькая ирония, но уверяю вас: доблестные люди гораздо больше нуждаются в защите, чем кажется. Целую твои невоспетые благородные стопы, Джон Колб из Трои, родной брат нежестокго Гектора!

В остальном же мы прекрасно со всеми ладим, когда представляется возможность, принимаем участие в бесконечных спортивных играх и занятиях, порой даже с полнейшим удовольствием. Очень удачно сложилось, что мы на свой лад превосходные атлеты и отлично играем в бейсбол — пожалуй, самую упоительную и чудесную игру во всем Западном полушарии; даже злейшие враги не могут отрицать нашего скромного совершенства. Нам тут не из-за чего особенно заноситься, это не наша заслуга, а веселый дар из предыдущей жизни: в любой игре с мячом мы легко достигаем совершенства, почти даже не стараясь, а в играх без мяча, увы, никуда не годимся. Помимо спорта и коллективных игр у нас вообще тут чисто случайно набралось немало верных друзей до гроба. Но вы, в трудной роли наших любимых родителей, Бесси, пожалуйста, постарайтесь смотреть некоторым фактам в лицо и не прятать голову перед кое-какими просматривающимися истинами. Говорю вам вот сейчас прямо и определенно, а вы запомните и безо всяких ахов и охов сохраните в глубинах памяти впрок на будущее, что, пока не наступит конечный час наших жизней, уйма народу будет приходить в бешенство и кипеть злобой при одном появлении наших лиц на горизонте. При одном только виде наших лиц, заметьте, я уж не говорю о своеобразных и часто несносных наших личностях! Это было бы даже немного смешно, если бы за мою короткую жизнь мне не приходилось уже многие сотни раз наблюдать такую ситуацию с тоской и душевной мукой. Остается только надеяться, что, продолжая день за днем улучшать и совершенствовать свои характеры, успешно искореняя всякую подлость, кажущуюся заносчивость и избыточную эмоциональность, черт бы ее драл, а также и ряд других свойств, в корне никуда не годных, мы в конце концов перестанем с первого взгляда и даже просто понаслышке возбуждать в других людях столько ненависти и смертельной вражды. Я рассчитываю добиться хороших результатов — хороших, но не потрясающих: потрясающих результатов я, честно сказать, не предвижу. Только ни в коем случае не позволяйте из-за этого мраку затмить ваши души. Сколько зато на свете всевозможных радостей и утешений! Ну видели ли вы когда-нибудь других таких неустрашимых крепышей, как ваши два отсутствующих сына? Разве среди яростных вихрей и собирающихся бурь наши молодые жизни не остаются чудесным незабываемым вальсом? Может быть, даже, если вы на минутку постараетесь дать волю воображению, тем единственным вальсом, который сочинил Людвиг ван Бетховен на смертном одре! На этой заносчивой мысли я стою без стыда. Бог мой, чего только не напридумываешь, каких потрясающих вольностей не позволишь себе с простым недопонятым вальсом, если хватит отваги! За всю мою жизнь, клянусь, не было утра, когда бы я не слышал, пробуждаясь, двух чудесных ударов дирижерской палочки в отдалении! И мало музыки вдали, нас еще со всех сторон окружают приключения и романтика, заботливо насаждают интересы и увлечения; и никогда я не видел, благодарение Богу, чтобы мы оказались беззащитны перед равнодушием. Разве можно пренебрегать такими дарами? А что еще поверх этой груды сокровищ? Талант обзаводиться множеством считанных дорогих друзей, которых мы будем горячо любить и оберегать от бессодержательного зла до конца наших жизней, а они, со своей стороны, будут в ответ любить нас и никогда не предадут без горькой душевной муки, что, уверяю вас, гораздо лучше, по-

четней и отрадней, чем предательство вообще безо всякой муки. Надо ли говорить, что я упоминаю здесь об этих огорчительных пустяках, чтобы вы могли при надобности извлечь их из своей нежной памяти до или после нашего безвременного ухода; а пока пусть они вас не печалят. Еще на светлой, бодрящей стороне грессбуха — не забудьте и посмейтесь — наша неуклонная обязанность, а часто и сомнительная привилегия — приносить с собой из предыдущих существований наш творческий гений. Трудно сказать, на что мы его употребим, но он неотступно с нами, хотя и дьявольски медленно созревает. В лагере, как я убедился, он обретает особенную непреодолимую силу после отбоя, когда дурацкие наши мозги послушно укладываются спать и в голове наконец-то воцаряется покой и полностью прекращаются бешеные хороводы; и вот тогда, в эти недолгие переходные минуты, можно видеть его сверкание в ослепительном свете, о котором я по секрету тебе рассказывал, Бесси, минувшей весной, когда мы сидели и болтали с тобой на кухне. То же самое сияние я наблюдаю и в душе замечательного малыша, которого вы дали мне в спутники и младшие братья. А когда оно становится невыносимо ярким, я засыпаю, твердо веря, что мы, ваш сын Бадди и я, точно такие же славные, глупые и земные люди, как и все остальные ребята и воспитатели в этом лагере, и так же заботливо одарены симпатичной, глупенькой, трогательной слепотой. Бог мой, представляешь, какие перспективы и возможности лежат перед человеком, твердо и непоколебимо знающим, что он в своей основе такой же заурядный и нормальный, как все! Немного неотступного преклонения перед выдающейся красотой и внутренней порядочности, и если еще твердо верить, что мы такие же нормальные и обыкновенные, как все люди, и что дело тут не в том, чтобы, как другие мальчишки, обязательно высовывать язык, когда пойдет прекрасный первый снег, — что нам тогда помешает сделать немного добра в этой жизни? В самом деле, что? — при условии, что мы употребим в дело все свои способности и будем по возможности соблюдать тишину? «Молчи! Иди вперед, но никому ничего не говори!» — как сказал несравненный Цзян-Самдуп. Совершенно справедливо, хотя очень трудно и никому не хочется.

Я не стесняюсь пропускаю то, что записано в грессбухе на темной стороне, замечу только, что, к сожалению, подавляющее большинство ваших детей, Бесси и ты, Лес, если ты еще не удалился вниз поразвлекься, отличаются довольно мучительной способностью страдать от боли, которая, в сущности, вовсе даже не их боль. Бывает, что от нее как раз отделался совершенно чужой человек, какой-нибудь лежебока в Калифорнии или Луизиане, с которым мы даже не имели удовольствия ни разу встретиться и обменяться хотя бы двумя-тремя словами. Говоря не только о себя, но также и за вашего отсутствующего сына Бадди, я не вижу, как можно вообще не испытывать по временам некоторой боли, пока мы еще не осуществили всего, что нам дано и предназначено осуществить в теперешнем увлекательном воплощении. Жаль, добрая половина боли вокруг принадлежит другим людям, которые прячутся от нее либо же не умеют за нее твердо взяться! Зато могу вам обещать, дорогие Бесси и Лес, когда мы выполним все, что нам предназначено и дано осуществить, мы удалимся, на этот раз бодро и с чистой совестью, чего нам до сих пор никогда толком не удавалось. Опять же, говоря за вашего возлюбленного сына Бадди, который должен вот-вот возвратиться, еще обещаю вам, что один из нас обязательно, по тем или иным причинам, будет присутствовать при уходе другого; это вполне предрешено, насколько я знаю. Я не мажу картину будущего черной краской. Это произойдет не завтра и вообще еще не скоро! Я лично проживу, уж во всяком случае, не меньше, чем хороший телеграфный столб, то есть добрых тридцать (30) лет, если не дольше, — нешуточный срок. У вашего сына Бадди еще больше лет впереди, могу вас обрадовать. А пока в запасе столько времени, пожалуйста, Бесси, попроси Леса прочесть следующие замечания, когда — и если — он возвратится с нижнего этажа гостиницы или из другого веселого местечка, куда он, возмож-

но, предпочел удалиться. Лес, очень прошу тебя, будь с нами терпеливее в свободные дни. Старайся по возможности не особенно огорчаться и не впадать в мрачность, когда мы оказываемся не очень похожи на других, обыкновенных мальчиков, может быть, на мальчиков из твоего детства. В частые минуты печали спешу вспомнить, что вообще-то мы самые что ни на есть обыкновенные и только становимся немного менее обыкновенными, когда происходит что-то важное и ответственное. Бог мой, я решительно отказываюсь ранить вас дальнейшими рассуждениями такого рода, но, по честности, не стираю ни одного из вышеприведенных общих малоприятных замечаний. Боюсь, что они остаются в силе. Да и вам мало было бы пользы, если бы я их и стер. В большой мере из-за моего малодушия и мягкотелости вы дважды в предыдущих жизнях уклонялись от того, чтобы заранее взглянуть аналогичной правде в глаза; боюсь, что в третий раз я такого вашего страдания не вынесу. Отложенная боль — самая мучительная на свете.

Переменим тему, и я сообщу вам приятную и радостную новость. У меня лично от нее просто дух захватывает! Либо этой зимой, либо следующей, которая наступит оглянуться не успеешь, ты, Бесси, Лес, Бадди и нижеподписавшийся — мы все вместе отправимся на крайне важный и ответственный прием, равного которому по важности и ответственности нам с Бадди никогда больше не доведется посетить ни в обществе друг друга, ни поодиночке. На этом приеме, уже за полночь, мы познакомимся с одним очень толстым человеком, который сделает нам просто за разговором несколько прямолинейное деловое профессиональное предложение, связанное с нашими превосходными певческими и танцевальными талантами, и это еще далеко не все. Предложение полного господина нельзя сказать, что серьезно изменит нормальное, обычное течение нашего детства и ранней забавной юности, но поверхностный переворот, могу вас заверить, будет грандиозным. Однако это еще только половина. Лично мне, скажу от всей души, вторая половина гораздо больше по сердцу. Второе, что я видел, — это Бадди через много-много лет, окончательно лишенный моего сомнительного любящего присутствия: он сидит за громоздкой блестящей черной шикарной машинкой и пишет как раз об этом вечере! Он курит, а по временам сцепляет пальцы и устало, задумчиво закидывает руки за голову. Он седой; Лес, он старше, чем ты сейчас! Вены у него на руках заметно выступают, и я ему об этом видении вообще ни словом не обмолвился, учитывая его детское отвращение к выступающим венам на руках у взрослых. Так что вот. Вы можете подумать, что эта картина до боли пронзила сердце случайного наблюдателя и он, лишившись слов, не в состоянии обсуждать ее со своей горячей любимой просвещенной родней. Так вот — ничего подобного! Мне надо только сделать один как можно более глубокий вдох — сразу помогает от головокружения. Больше всего пронзил мне сердце вид его комнаты. Это воплощение всего, о чем он мечтал маленьким! С чудесным окном прямо в потолке, которым он, я точно знаю, всегда любовался из прекрасного читательского далека. Да еще со всех сторон — великолепные полки, на которых размещаются книги, радиола, блокноты, наточенные карандаши, угольно-черная дорогая пишущая машинка и другие милые личные вещицы. Боже мой, он будет вне себя от счастья, когда увидит эту комнату, помните мое слово! Это мое самое радостное и светлое прозрение в жизни и, кажется, верное безо всяких оговорок. Скажу не задумываясь, что вовсе не против, если бы оно оказалось в моей жизни последним. Однако те два крохотных манящих оконца, о которых я вам рассказывал в прошлом году, пока еще далеко не закрыты; наверно, еще годик или около того — и положение начнет меняться. Будь моя воля, я бы их без колебаний сам закрыл, ведь за все время только в трех или четырех случаях довелось увидеть что-то такое, ради чего стоило рисковать потерей нормального рассудка и благодатного душевного покоя и ставить в неловкое положение родителей. Но вы только попытайтесь представить себе, какая это радость — увидеть вашего сына

Бадди, вдруг из пятилетнего парнишки, уже сейчас не способного равнодушно пройти мимо карандаша, в одночасье превратившегося в зрелого смуглолицего писателя! Вот бы мне когда-нибудь в отдаленном будущем возлечь на пуховом облаке, может быть, с крепким сочным яблоком в руке и прочесть от слова до слова все, что он напишет о том важном, решающем вечере, который нам предстоит! Первое, надеюсь, что этот одаренный малыш опишет, став зрелым смуглолицым писателем, — это кто где располагается в комнате в тот ответственный вечер перед самым нашим уходом из дому. Когда большая семья отправляется в гости или просто в ресторан, самое прекрасное — это нетерпеливые непринужденные позы всех в ожидании последнего копуши. Мысленно я умоляю милого поседевшего будущего писателя начать именно с прекрасной сцены расположения людей в комнате; по-моему, это будет самое удачное начало! И вообще, я вас уверяю, увидеть картину этого вечера было для меня очень вдохновляющей радостью. Потрясающе, как свободные концы находят друг друга в мире, надо только упрямо ждать, набравшись порядочно терпения, гибкости и слепой силы. Лес (если ты уже возвратился из фойе), я знаю, ты честно развлекаешься неверием в Бога или в Провидение — или какое там слово тебя меньше раздражает и смущает, — но даю тебе слово в этот знойный и очень памятный для меня день, что даже случайную сигарету невозможно прикурить без щедрого художественного согласия вселенной! Ну, может быть, «согласие» — слишком общо сказано, но чья-то голова должна кивнуть, прежде чем огонек спички коснется кончика сигареты. Это, конечно, тоже слишком общо, о чем я всем существом сожалею. Я убежден, что Бог вполне согласится носить человеческую голову, которая способна кивать, если это очень нужно какому-нибудь Его почитателю, так Его себе представляющему; но лично мне не нравится, чтобы у Него была человеческая голова, я, пожалуй, повернусь на каблуке и уйду, если Он наденет на плечи голову для моего сомнительного удовольствия. Это, разумеется, преувеличение; уж от Него-то я уйти бессилён, даже под страхом смерти.

Забавно, но я лежу один в пустом коттедже и, оказывается, плачу — или проливаю слезы, как вам больше понравится. Сейчас это пройдет, конечно, но все-таки печально и досадно, вдруг расслабившись, спохватиться и увидеть, каким ужасным занудой я был до сих пор семьдесят пять, а то и восемьдесят процентов своей жизни! Без стыда и совести вешаю на шею вам всем, и родителям и детям, такое ужасно длинное, скучное письмо, полное через край высокопарных слов и мыслей. Правда, в свою защиту могу сказать, что я не так уж сильно виноват, как кажется мельком с первого взгляда: среди множества всяких затруднений мальчику моего сомнительного возраста и жизненного опыта так легко впасть в соблазн выспренности, дурновкусия и неуместного позерства. Видит Бог, я с этим борюсь, но мне очень трудно, не хватает отличного учителя, к которому можно было бы обратиться с абсолютным доверием и самозабвением. А раз нет учителя, приходится его себе придумывать, что достаточно опасно, если родился малодушным, как я. Еще откровенно в свою защиту сообщаю, что лежу тут и целый день представляю себе ваши лица, Бесси и Лес, вместе с румяными незабываемыми рожцами детей, так что потребность быть вблизи вас становится самой настоятельной. «К черту ограничения, да здравствует освобождение!» — писал несравненный Уильям Блейк. Верно, но какво приходится хорошим семьям и добрым людям, которые принуждены слегка нервничать и не находить себе места оттого, что их любящий старший сын и брат бессовестно шлет к черту ограничения?

Причина, по которой я лежу в постели, довольно забавна, и я слишком долго тянул и не открывал ее, но, на мой личный взгляд, она не так уж интересна. Вчерашний день вообще изобиловал разными мелкими неприятностями. После завтрака все младшие и средние ребята в обязательном порядке отправлялись по ягоды — последняя (и то сомнительная) возможность в этом сезоне. И я там умудрился поранить ногу. К землянич-

ным местам нас везли чертову пропасть миль в дурацкой расхлябанной, как бы старинной телеге, запряженной двумя лошадьми, хотя нужно было не меньше четырех. Из середины одного деревянного колеса торчал какой-то идиотский железный штырь, и он вонзился мне в ляжку — или бедро — на один с тремя четвертями или даже на два дюйма, когда мы толкали ее, бедолагу, застрявшую в грязи; накануне лило как из ведра, и дорога вся расквасилась — самое подходящее время ехать по ягоды. Ну и началась мелодрама: мистер Хэппи повез меня обратно в лагерь — это мили, наверное, три — на заднем сиденье своего не менее дурацкого мотоцикла. С этим связано несколько мимолетных забавных моментов. Ну, во-первых, должен честно признаться, мне очень не просто относиться к личности мистера Хэппи без язвительности и презрения. Я над этим работаю, но он вскрывает во мне целые залежи злых чувств, которые я-то считал, что давным-давно в себе изжил. В качестве слабого самооправдания замечу, что взрослый тридцатилетний мужчина не должен заставлять маленьких, слабосильных мальчиков толкать завязшую в грязи дурацкую бутафорскую телегу, для чего на самом деле нужна четверка или шестерка здоровенных коней-тяжеловозов. Моя злоба тут же подняла голову и нанесла удар, как ядовитая змея. Сидя на мотоцикле, прежде чем мы отъехали, я заявил ему, что мы с Бадди, как ему известно, хотя и любители пока что, но уже хорошо обученные певцы и танцоры, подобно нашим родителям, и что ты, Лес, наверняка выщещь с него все убытки до цента, если от заражения, потери крови или гангрены я лишусь своей дурацкой ноги. Он сделал вид, что нисколько не беспокоится и даже не интересуется таким ужасным вздором, и, конечно, это и был вздор; однако присутствия духа у него не прибавилось, и он так нервно вел мотоцикл, что мы, пока доехали, два раза были на волосок от гибели. Хотя мое личное мнение — что все это просто смешно, да и только. Я, кстати, заметил, что в достаточно смешной или комичной ситуации у меня немного унимается кровотечение. С другой стороны, хотя я сам приписываю остановку кровотечения юмору, может быть, все дело было в том, что седло мотоцикла давило мне как раз на нужную точку: у меня эти точки очень упругие и приятно пульсируют. Но одно не подлежит сомнению: мистеру Хэппи было далеко не приятно видеть, что кровь постороннего лагерника, связанного с ним только фамилией в списке и деньгами, перемазала весь его новенький мотоцикл: заднее сиденье, спинку, колесо, щиток и шины с боков. Своей он ее считать не мог, для него даже кровь миссис Хэппи — не своя, как же ему ощутить родным чужое дитя с таким дурацким угловатым, некрасивым лицом?

Пока мисс Калджерри промывала и перевязывала мне рану, весь медпункт залило кровью; смех, да и только, хотя вообще-то там, если разобраться, стерильная чистота. Это молодая девушка неизвестного мне возраста, дипломированная медсестра, лицо у нее красотой не блещет, но имеется ладное выпуклое тело, которого спешно, пока еще лето, наперебой домогаются для физической любви почти все воспитатели и некоторые ребята из старшей группы. Вечная история, увы. Тихое существо, не имеющее своей воли и не способное принимать самостоятельные разумные решения, она под наружными наслоениями, в душе, растеряна и опасно возбуждена выпавшей ей ролью единственной имеющейся в лагере привлекательной женщины (поскольку миссис Хэппи — вне игры). Так она с виду вроде рассудительная, сдержанная девушка, распоряжается в медпункте как начальство и, кажется, не должна терять голову в самых острых ситуациях, но все это только жалкая поза. На самом деле, если сказать абсолютно честно, голову она потеряла, может, еще до того, как родилась, — по крайней мере, сейчас у нее головы на плечах нет. И если бы не мнимоначальственный голос, которым она строго распоряжается в медпункте и столовой, она бы уже угодила в лапы вышеупомянутых вожаков и старших ребят; все они — народ молодой, здоровый и очень грубый в небольших скоплениях и беспардонно лезут со знаками внимания к чув-

ствительным девушкам, особенно которые не отличаются классической красотой. Положение очень тревожное и неприятное, но у меня руки связаны. По ней сразу видно, что она никогда в жизни не обсуждала откровенно такие темы ни со взрослыми, ни с маленькими, и тут к ней никак не подойдешь. Между тем остался еще целый месяц лагеря, и я бы лично, будь она моей дочерью, не поручился за ее безопасность. Конечно, проблема девственности очень деликатная, о критериях, которые я вычитал в соответствующей литературе, можно еще спорить и спорить, но речь сейчас не об этом. Сейчас речь идет о том, что эта девчонка, мисс Калджерри, лет, наверное, двадцати пяти от роду, не имеющая своей, независимой головы на плечах, а имеющая только мнимоначальственный и как будто рассудительный голос, — так вот, она поставлена в такие условия, когда для нее невозможно самой, предусмотрительно и с достоинством, решить такой важный вопрос, как ее собственная девственность. Таково мое просвещенное мнение; оно, конечно, не лучше и не бесспорнее, увы, чем просвещенное мнение любого другого человека. Приходится постоянно, день и ночь, быть начеку, не то разнообразие мнений на этом свете легко может свести с ума; я не преувеличиваю: в конце концов, сколько можно придерживаться дурацких неосновательных критериев, вроде они такие трогательные и человечные, если посмотреть внимательно и с уважением, — и вдруг рассыпаются при резкой смене обстановки и действующих лиц! Ты много раз за мою жизнь спрашивала меня, Бесси, голубка, зачем я так тружусь, не давая себе роздыха, — вот затем и тружусь, в каком-то частичном смысле. Прежде всего, я у нас в семье самый старший мальчик. Подумай только, как было бы приятно, полезно и замечательно, если бы можно было иногда, открыв рот, произнести что-нибудь дельное, а не только изречь свое дурацкое неосновательное «просвещенное» мнение! К сожалению, я как последний осел понемножку плачу, когда пишу это. Хорошо еще, что для моих слез есть и кое-какие реальные причины. Если вы поняли меня так, что одни вещи, например сохранение или утрата девичьей невинности, — это личное мнение, а другие — это твердые, неоспоримые факты, то вы просто делаете хотя и напрашивающийся, но слишком произвольный вывод и на самом деле горько заблуждаетесь. Горько — пожалуй, слишком сильно сказано, но, уверяю вас, все это далеко, далеко не так. Я никогда не встречал твердых, неоспоримых фактов, которые не состояли бы в самом близком родстве с личными мнениями. Представьте себе, например, если вы не против попутного объяснения, что ты, дорогая Бесси, приходишь домой после дневного спектакля и спрашиваешь у того, кто открыл тебе дверь, а именно у меня, твоего дурного сына Сеймура Гласса, выкупаны ли перед сном близнецы? Я от всей души отвечаю утвердительно. Мое четкое личное мнение, что я сам засунул этих резвых вертлявых голышей в ванну и проследил, чтобы они мылились, а не просто бултыхались в воде и заливали весь пол. У меня даже руки еще мокрые! Казалось бы, то, что близнецы выкупаны перед сном, — твердый, неоспоримый факт. Но ничего подобного! Не факт даже, что они дома. И вообще, если разобраться, имеются основания серьезно сомневаться, что к нашей семье в один прекрасный прошедший день присоединились двое славных близнецов с острыми язычками и забавными ушками! Ради сомнительного удовольствия считать что-либо в этом прекрасном, неуловимом мире твердым, неоспоримым фактом мы вынуждены, как покорные узники за решеткой, пользоваться сведениями, которые нам простодушно поставляют наши глаза, руки, уши и бедные трогательные мозги. По-вашему, это достоверные сведения? По-моему, нет. Они, конечно, очень умильные, но далеко, далеко не достоверные. Мы совершенно слепо полагаемся на свидетельства личных ощущений. Знакомо вам такое понятие — посредническая инстанция? Так вот, и человеческий мозг любезно служит для нас посреднической инстанцией. К сожалению, я от роду не способен чрезмерно доверять каким бы то ни было посредникам, и это, согласен, нехорошо с моей стороны, но я обязан, не пожалев

минуты, вам в этом признаться. Здесь, однако, мы уже почти касаемся самой сердцевины моей дурацкой душевной сумятицы. Дело в том, что я хотя и не доверяю посредникам, личным мнениями и твердым, неоспоримым фактам, но при этом отношусь к ним с большой нежностью. Меня умиляет до слез храбрость людей, всю жизнь принимающих на веру эту милую несерьезную информацию. Господи, до чего отважны люди! Самый последний трус на земле и тот поразительно храбр! Представляете себе? Доверять всем этим несерьезным личным ощущениям! Но, с другой стороны, конечно, тут порочный круг. Я убежден, увы, что всем была бы большая непреходящая польза, если его разорвать. Только лучше бы не сию минуту. Без лишней спешки. Ведь даже от одной мысли об этом начинаешь чувствовать себя необозримо далеко от своих милых и родных. Но, к сожалению, в моем случае спешка неизбежна — ввиду краткости этого существования. За оставшийся срок, вполне щедрый, бесспорно, но в некоторых отношениях и довольно сжатый, я хочу решить задачу, но честно и притом не безжалостно. Тут я, однако, эту тему со всей поспешностью оставляю; я всего лишь дотронулся до одной из ее бесчисленных граней.

Мисс Калджерри наложила мне повязку — довольно плоховато, — ни на минуту не переставая при этом рассуждать своим мнимоавторитетным тоном, от которого, кажется, запил бы, если бы не умел немножко держать себя в руках, и отослала меня на таком смешном костылике в наш коттедж — дожидаться, когда приедет врач из города Хэпворта, где он живет и практикует. Он, то есть врач, приехал уже после полдника, транспортировал меня обратно в медпункт и наложил на мою ногу одиннадцать (11) швов. Попутно возникла, к моей досаде, одна малоприятная проблема. Мне предложили обезболивающий укол, а я вежливо отказался. Начать с того, что я еще на мотоцикле у мистера Хэппи разорвал передачу боли от ноги к мозгу — исключительно в целях собственного удобства. Этим средством я не пользовался после прошлогоднего маленького происшествия, когда разбил губы и скулу. Бывает, научишься чему-нибудь интересному и совсем уже потеряешь надежду, что это хоть раз в жизни пригодится, а два — и подавно; но все-таки оно рано или поздно пригодится обязательно, надо только набраться терпения; я здесь даже два раза воспользовался морским беседочным узлом, а уж он-то, я был уверен, что пропадет зазря. Я вежливо отказался от обезболивания, а врач решил, что я рисуюсь и мистер Хэппи у него под боком поддакивает. Тут я как последний дурак, какой я, конечно, и есть, вздумал им демонстрировать, что я действительно полностью разорвал болевую связь. Еще глупее и для них обиднее было бы, если б я прямо им в лицо сказал, что никогда не позволю себе и никому из детей в нашей семье покуситься своим сознанием ради каких-то пустяковых преимуществ; до тех пор пока не получу других данных, сознание для меня представляет все-таки большую ценность. После непродолжительного, но неприятного горячего спора с мистером Хэппи я получил согласие доктора зашить рану, при том что я буду все понимать и сознавать. Знаю из прежнего опыта, что для тебя, дорогая Бесси, это до странности болезненная тема, но поверь: для меня нередко оказывается большим удобством иметь такое, шуточно говоря, непривлекательное лицо, которое может любить только родная мать, — с бесформенным носом и безвольным подбородком. Будь я мальчиком более или менее милостивым, с более или менее приятными чертами лица, они бы, я убежден, заставили меня сделать обезболивание. Тут нет ничьей злой воли, спешу тебя уверить: мы, люди, обладающие своим умом и собственными мнениями, реагируем на всякую встречающуюся кроху красоты; я первый к ней неравнодушен.

Когда операция по наложению швов — Бадди, ввиду его юного возраста, остаться со мной рядом и наблюдать за ней не позволили — была закончена, меня быстро отнесли обратно в наш коттедж и уложили в постель. Мне повезло: в изоляторе все кровати оказались заняты, несколькими мальчишкам с высокой температурой и мне разрешено, пока там не

освободятся места, лежать в своих коттеджах. Для меня это просто дар небес. Сегодня у меня первый абсолютно свободный, спокойный и во многих отношениях благоприятный день с тех пор, как мы сюда приехали, и для Бадди тоже, поскольку он получил у мистера Хэппи освобождение от всех линеек, чтобы ухаживать за мной. С этим освобождением чуть было дело не сорвалось, но мистер Хэппи все же предпочел его лучше освободить, чем вступать с ним напрямую в споры и разговоры, так как он, мистер Хэппи, чувствует себя при нем далеко не в своей тарелке. Между ними, смех сказать, очень даже неважные отношения — отчасти из-за проверки в прошлый понедельник. Во время проверки, которые я лично вообще считаю незаконными и недопустимо оскорбительными для каждого мальчика в лагере, мистер Хэппи явился к нам в коттедж и, пока мы стояли по стойке «смирно», принялся ругать Бадди за то, что у него не так заправлена кровать, как заправлял сам мистер Хэппи, когда служил в пехоте и каким-то чудом не проиграл для нас всю чертову войну. Он в моем присутствии позволил себе по адресу Бадди несколько совершенно безобразных оскорблений. Но я не спускал глаз с лица вашего сына, который, я знал, прекрасно может постоять за себя, и поэтому я не стал вмешиваться и заступаться. Этот парнишка, я знаю наверняка, способен за себя постоять в любой ситуации, и та проверка не была исключением. Мистер Хэппи стоит и бессовестно распекает нашего Бадди при товарищах по коттеджу и лагерю, и вдруг этот замечательный малыш показывает свой знаменитый номер: преспокойно закрывает свои чудесные, выразительные глаза прямо под темные красивые брови — бледный-бледный, ну просто неживой, жуткое, должно быть, зрелище для того, кто впервые это видит. А мистер Хэппи, я думаю, ничего подобного не видел за всю свою жизнь. Испуганный и смущенный (это мягко говоря), он сразу же повернулся, отошел и принялся инспектировать кровать малолетнего Иммингтона, а вашему самостоятельному сыну даже забыл записать очередное замечание!

Господи! Какой же он изобретательный и забавный парнишка для своих пяти лет! Говорю вам: соберите всю свою гордость и радуйтесь, что у вас такой малыш! Он сейчас уже с минуты на минуту должен вернуться, и, я думаю, ему непременно захочется приписать несколько строк, а пока очень прошу вас: не велите мне уговаривать его, чтобы он был добрее к мистеру Хэппи и осторожнее с ним обращался — тут не в осторожности дело, а в том, чтобы уметь, когда потребуется, пустить в ход свой талант и защитить себя и дело всей своей жизни от мимохожего врага, не причинив ему особого урона.

Сейчас я на короткое время с вами прошусь — может, на несколько дней или несколько часов. Я это письмо непременно еще допишу, хотя бы из сострадания и простого приличия; вы все, и родители и дети, необыкновенно хорошие и достойные люди, вы не заслужили иметь такого ненасытного сына, но что я могу поделать? Мы так скучаем по вас, просто нет слов. Но сейчас выдался редкий случай применить на практике малые возможности человеческого языка. Бесси, пожалуйста, позаботься о том деле, про которое я писал выше. А также, прошу тебя, расслабляйся хорошенько между выступлениями во время турне. У тебя, когда ты усталая и неотдохнувшая, портится настроение и появляются горькие мысли бросить сцену. Не спеши с этим, заклиная тебя. Куй железо, о котором мы с тобой раньше толковали, только когда оно уж совсем горячо. А если ты оборвешь выдающуюся артистическую карьеру в молодом двадцативосьмилетнем возрасте, не важно, сколько бы лет ты до этого уже ни выступала, это будет несвоевременное вмешательство в судьбу. Если бы своевременно, то судьбе, конечно, можно нанести сокрушительный удар, а вот если не ко времени, получают главным образом ошибки, прискорбные и дорого стоящие. Вспомни, как мы с тобой говорили с глазу на глаз в тот день, когда в кухне устанавливали новую красивую плиту. А именно: в определенные часы, когда ты не на сцене и не занята тяжелой работой, старайся дышать исключительно одной левой ноздрей, а в прочих случаях

быстро переходи на одну правую. Поначалу для того, чтобы дыхание пошло через правильную ноздрю, напомню тебе, надо зажать кулак под противоположной подмышкой и мягко, сильно сдавить или просто полежать несколько минут на противоположном боку. Можно все это проделывать и без удовольствия, запрета тут нет, но все-таки попробуй, если тебя разбирает злость, мысленно снять шляпу перед Богом за великолепную сложность человеческого организма. Разве трудно отдать дружеский благодарственный поклон такому несравненному художнику? Неужели не подмывает обнажить голову перед Тем, Чьи пути могут быть и неисповедимы, и совершенно понятны — смотря как Он пожелает? О Господи, ну и Бог же у нас! Как я тебе уже объяснял, когда мы с тобой любовались новым кухонным оборудованием, от этого приема с одной ноздрей можно запросто в одну минуту отказаться, как только научишься полностью и до конца доверяться Богу в том, что касается дыхания, слуха и других функций организма; однако мы всего лишь люди, и по части такого доверия в обычных, не отчаянных обстоятельствах у нас слабовато. Это свое прискорбное неумение безоглядно полагаться на Бога нам приходится возмещать собственными сомнительными измышлениями, только они вовсе и не наши, эти измышления, — вот что забавно; эти сомнительные измышления тоже — Его! Таково мое личное просвещенное мнение, но оно взято совсем не с потолка.

Если остальная часть моего письма покажется вам чересчур торопливой и сухой, прошу меня за это простить. Я намерен посвятить ее экономии слов и выражений; их избыток — самая слабая сторона моих письменных работ. Холодность и торопливость, не забывайте, — это только упражнение; на самом деле в моем отношении к вам, и родителям и детям, нет ни холодности, ни торопливости — какое там!

Да, чтобы не забыть, в оставшейся части моего письма умоляю тебя, Бесси, — ну просто коленопреклоненно! — петь с Лесом дуэт «Бамбалина» своим натуральным голосом! Не переходи ты на эту беспроегрешную распространенную манеру напевать, как будто качаешься посреди эстрады на качелях, держа над головой хорошенький пестрый зонтик; может быть, у какой-нибудь симпатичной певички вроде Джулии Сандерсон это получается приятно и мило, но ты человек с довольно бешеным, взрывным темпераментом, у тебя милая хрипотца в глубоком грудном голосе и бездна страсти. Лес, если ты уже вернулся, к тебе у меня тоже просьба. Пожалуйста, когда в следующий раз будешь записывать пластинку, постарайся изо всех сил проследить за тем, о чем я тебе говорил. Главную опасность и трудность представляют протянутые слоги, рифмующиеся со словом «май». Тут подстерегают опасные рифы! В обычной обстановке, когда ты не поешь перед публикой и не споришь о чем-нибудь горячо или в сердцах у семейного очага, акцент у тебя уже совершенно не слышен, пожалуй, ни для кого, кроме меня, Бадди, Бу-Бу и разве что попадетсЯ кто-нибудь еще, несущий проклятие бескомпромиссного слуха. Пойми меня, пожалуйста, правильно. Лично я очень люблю твой акцент и нахожу его совершенно обаятельным. Однако речь не обо мне, а об огромных массах людей, которые не имеют ни времени, ни охоты вслушиваться в твой акцент без предубеждения; публика, как правило, находит французский, ирландский, шотландский, негритянский, шведский или еврейский акценты вполне приятными и забавными, но чистый и откровенный австралийский акцент как-то не особенно к себе располагает. Он даже, наоборот, производит гарантированно неблагоприятное впечатление. Это печальный факт, в основе его — глупость и зазнайство, но надо не откладывая посмотреть правде в глаза. Если только можешь, не расстраиваясь, не напрягаясь сверх меры и не считая, что наносишь обиду и оскорбление милым, славным австралийцам, окружавшим тебя в детстве, пожалуйста, не допускай акцента в свои записи, хотя нам, твоим родным, он очень даже нравится. Ты на меня не сердись? Пожалуйста, не сердись! Единственный мой личный интерес в этом важном деле — это чтобы сбылась твоя тайная, неотступ-

ная мечта добиться наконец потрясающего, оглушительного успеха. С искренними извинениями спешу оставить эту дерзкую тему — я ведь тебя люблю, старина!

Следующие краткие обращения — к близнецам и Бу-Бу. Но только, будьте так добры, попросите Бу-Бу, чтобы она сама их прочитала, без какой-либо помощи со стороны родителей, что ей вполне по силам. Эта славная черноглазая девчонка может преспокойно все прочесть, если постарается!

Бу-Бу, упражняйся писать целые слова! Алфавит сам по себе меня не устраивает. И, пожалуйста, не отнекивайся, как всегда. Не прячься опять за хитрыми отговорками насчет своего возраста. Ну что ты мне приводишь в пример Мартину Брэйди и Лотту Давилья или еще какую-нибудь знакомую девочку четырех лет, от которых не требуется вполне свободно читать и писать? Я же не их придира брат, а твой. И я тебе уже тысячу раз объяснял, честное слово, что у тебя есть все задатки настоящего ненасытного читателя, как Бадди и я; если бы не это, я со всем моим удовольствием махнул бы рукой и не стал к тебе приставать. Но для ненасытного читателя раннее овладение пером не менее важно, чем книгой. Среди прочих преимуществ вообрази, сколько нечаянной радости доставит твоему замечательному брату и мне в нашей временной ссылке написанная тобою открытка-другая! Если бы ты только знала, как мы восхищаемся твоим почерком и оригинальным словарем! Выведи на открытке два-три слова, по своему обыкновению печатными буквами, и беги с нею со всех ног к почтовому ящику в вестибюле или поручи одной из горничных на этаже — по своему выбору. А также, моя дорогая, милая, незабываемая мисс Беатриса Гласс, прошу тебя, старательнее работай над своими манерами и привычками как на людях, так и в одиночестве. Меня гораздо меньше беспокоят твои манеры на людях, чем твое поведение, когда ты совершенно одна в абсолютно пустой комнате; когда ты случайно заглянешь в одинокое зеркало, пусть в нем отразится девочка не только ослепительно черноглазая, но и очень хорошо воспитанная!

Оулт, мы получили от тебя весточку через Бесси. И были ей чрезвычайно рады, хотя, честно сказать, это от начала и до конца полнейшая чушь. Мы все норовим при случае прикрыться своим младенческим возрастом. На самом деле три года — не так уж мало и вовсе не причина, чтобы не выполнять те простые вещи, о которых мы с тобой говорили в такси по дороге на вокзал; мне просто смешно вспомнить, оглядываясь назад, какие примитивные речи и поступки приписывают трехлетнему возрасту! В глубине-то души ты сам, я думаю, больше кого-либо способен к здоровому смеху над этими выдумками. Если тебе, как мне передали, «слишком жарко, черт побери», упражняйся, то почаще по крайней мере носи чечеточные ботинки — например, когда сидишь за столом или когда прохаживаешься по номеру или по фойе той гостиницы, где вы в данное время живете; одним словом, пусть они будут на твоих замечательных летучих ножках не меньше двух часов в день!

Уэйкер, та же придирчивая злодейская просьба и к тебе по поводу жонглирования в жару. Если и тебе «слишком жарко, черт побери», жонглировать, хотя бы носи с собой в знойный день в карманах те предметы подходящих размеров, которые тебе наиболее сподручно подбрасывать и ловить. Я знаю, Бадди от души согласится со мной, что, если вы, наши несравненные малыши, вдруг возьмете оба и передумаете насчет своей будущей профессии, ничего плохого не будет. Однако, пока вы еще не пришли к такому решению, страшно важно, чтобы вы не отрывались от выбранных вами профессий дольше чем на два — два с половиной часа кряду! Чечеточные ботинки и предметы для жонглирования — это как капризные ревнивые дамы сердца, которые не вынесут и дня разлуки с вами. Мы здесь тоже, видит Бог, не теряем форму, несмотря на многочисленные препятствия и неудобства. Если это хвастовство, пусть Бог в изначальной милости Своей меня жестоко накажет; но если я и хвастаюсь, то не по-

черному, а просто говорю вам: что ваши старшие братья могут, то и вам, малышам, под силу; мы оба такие неуравновешенные, поверьте, что хуже ну просто некуда!

Бу-Бу, я страшно зол на себя за то, что написал тебе только об одном, да еще в таком тоне, что получилось неласково и нехорошо. А пристрастная правда такова: твои привычки и манеры с каждым днем становятся все лучше и лучше. Если я придираюсь к кое-каким мелочам, то лишь потому, что ты сама любишь, чтобы все было приятно и изысканно; ты же всегда просишь Бесси или меня читать тебе такие книжки, где и дети и взрослые — обязательно утонченные аристократы, обычно английские, и манеры у них — снаружи — безупречные, и одежда со вкусом, и обстановка вокруг красивая, и вообще все по виду — недостижимый высший класс. Господи, ну что за смешная, забавная девочка! Сердца старших братьев принадлежат тебе безраздельно! Ты — одна из горстки избранных, кому, видимо, Богом позволено ничего не додумывать до конца. Это прекрасный и бесценный дар, у меня и в мыслях нет презирать его, но что же поделать, если у тебя есть такой брат, как я. И мне ничего иного не остается, как предостеречь тебя. Если ты вырастешь, зная про себя, что твои прекрасные, изысканные манеры — это только внешнее, а когда рядом никого нет и никто не смотрит, ты можешь вести себя по-свински, тебе самой это будет крайне неприятно и понемногу разест тебе душу.

Все, прекращаю дальнейшее тиранство! До скорого свидания, все! Шлем вам свои обнаженные сердца!

К большому моему облегчению и удовольствию, у меня оказалась еще одна стопка бумаги, о которой я даже не подозревал, а также я с радостью обнаружил, что будильник, который Бадди заботливо взял для меня на время у Гриффита Хэммерсмита, стоит незаведенный и показывает время за вчерашний или даже за позавчерашний жаркий день! Буду, однако, очень краток. Не только вас я замучил, но и у меня самого уже рука отнимается из-за такой непомерной длины письма, начатого почти на рассвете, с двумя краткими перерывами на еду. То-то здорово! До чего же я люблю, когда есть вдоволь свободного времени! Не так часто это в жизни бывает.

Лес, пока еще есть возможность и пока чертов горн не протрубил ужин, после чего подыметесь суматоха, позволь мне от лица твоих двух старших сыновей обратиться к тебе с последней просьбой. Выскажу ее в двух словах. Если дальше мой стиль окажется слишком сжатым, скупым и холодным или вообще неприветливым, учти, что я и так уже занял чересчур много твоего времени и теперь лезу из кожи вон, чтобы больше не изматывать твою нервную систему.

Расписание твоих турне, дружище, касается меня лично с тех самых первых дней, как ты мне его доверил. Сейчас я положил его перед собой на одеяло и внимательно рассматриваю. Итак, читаем, что 19-го числа текущего месяца ты и восхитительная миссис Гласс, покорительница стадионов и первый тост всех непьющих, как заслуженно именуется она, этот истинный черт в юбке, покидает театр «Корт», да процветает он долгие годы, и отправляетесь в Нью-Йорк, в соответствии, как тут написано, с ангажементом в бруклинском театре «Олби». Эх, хорошо бы нам, вашему сыну Бадди и мне, поехать вместе с вами, а какие-нибудь другие, неизвестные мальчики пусть бы воспользовались завидной возможностью на все лето избавиться от грохота и грязи городских улиц и от пыльной духоты вагонов, гостиничных номеров и других тесных помещений! Но оставим шуточки, и вот в двух словах моя просьба. Когда приедете, устройтесь, отдохнете, пожалуйста, загляни в городскую библиотеку, в наше районное отделение, и передай поклон и наилучшие пожелания несравненной мисс Овермен. И при удобном случае попроси ее любезно связаться с мистером Уилфредом Дж. Л. Фрейзером из дирекции, чтобы мы могли поймать его на слове и воспользоваться его дружеским, сердечным и, быть может, скоропалительным предложением, которое он нам сделал в том смысле, чтобы прислать нам в лагерь любые книги, какие нам понадобятся

ся. Конечно, не хотелось бы затруднять этой просьбой такого загруженного работой человека, как мисс Овермен, но ей одной только известен его летний адрес, нам он его, когда мы собирались уезжать, не сообщил, может, даже и нарочно, ха-ха! Если бы была возможность обойтись без спасительной услуги мисс Овермен, я бы с радостью ее пощадил — не очень-то приятно злоупотреблять ее свободным временем; в этом мире дружбу ну обязательно должны портить разные оглядки и корыстные интересы — порочная квадратура круга, хотя и не без смешной стороны. Словом, ты мог бы коротко напомнить ей, что мистер Фрейзер предложил нам эту необычную услугу сам, собственной персоной, как гром среди ясного неба, мы даже обалдели, честное слово. Сказал, что любые книги, какие мы попросим, вышлет нам либо собственноручно, либо через свой библиотечный абонемент — то есть намекнул, что кому-нибудь из родных или знакомых поручить нельзя: прикарманят деньги, выданные на почтовые расходы. И чтобы больше не ходить вокруг да около, вот тебе и мисс Овермен приблизительный список книг, которые желательно отправить на наш теперешний сомнительный адрес. Мистер Фрейзер не упомянул, сколько именно книг он готов нам выслать, и я позволил себе слишком размахнуться по части количества, так что попроси, пожалуйста, мисс Овермен вмешаться и урезать его по своему любезному усмотрению. Список в сжатом виде выглядит так:

«Разговорный итальянский», автор — Р. Дж. Абрахам, симпатичный такой, строгий учитель, наш добрый знакомец со старых времен по испанскому языку.

Любые неузколобые — и узколобые — книги о Боге и вообще о религии, написанные авторами, чьи фамилии начинаются с любой буквы после «И»; на всякий случай и те, что на «И», тоже, хотя их, кажется, я уже все перебрал.

Любые замечательные, хорошие, просто интересные или даже прискорбно посредственные стихи, только бы не слишком знакомые и навязшие в зубах, а какой национальности поэт — безразлично. В Нью-Йорке у меня в ящике с неправильной наклейкой «спортивное оборудование» лежит довольно полный список уже изученных стихотворений — если только вы в последнюю минуту все же не отказались от нью-йоркской квартиры и не отдали всю мебель на хранение — вы забыли упомянуть об этом в письмах, а я от радости забыл спросить во время нашего чудесного телефонного разговора.

Еще раз — полное собрание сочинений графа Льва Толстого. Мистеру Фрейзеру это не составит лишнего труда — трудиться придется добрейшей сестре мисс Овермен, тоже замечательно независимой старой деве, которую мисс Овермен называет «моя маленькая сестричка», хотя она давно уже миновала расцвет своей юности. Она, младшая мисс Овермен, является владелицей собрания сочинений графа и, наверно, согласится опять нам его одолжить, зная теперь по опыту, что мы изо всех сил страстно стараемся беречь книги, которые нам доверили друзья. Пожалуйста, оговори, но так, чтобы не обидеть этих чувствительных добрых женщин, чтобы не присылали «Воскресение» и «Крейцерову сонату» и, может быть, даже «Казаков» — нам перечитывать сейчас эти шедевры нет ни нужды, ни охоты. Не передавай им, потому что тут наши вкусы слегка расходятся, но нам особенно хочется возобновить знакомство со Степаном и Долли Облонскими, которые при прошлой встрече нас совершенно покорили, такие они живые и забавные, — это персонажи из «Анны Карениной», муж и жена, ну просто великолепные! Конечно, молодой думающий главный герой тоже очень интересный, как и его возлюбленная и будущая жена — прелестная девушка, если разобраться; но они еще совсем незрелые, а нам здесь гораздо нужнее общество очаровательного повесы, душой и печенкой — просто доброго человека.

Молитва Гайатри неизвестного автора, желательно с ритмичными словами оригинала, приложенными к английскому переводу; она такая

поразительно красивая, возвышенная и успокоительная! Кстати, тут я хочу кое-что добавить для Бу-Бу, чтобы не забыть. Бу-Бу, моя чудесная малышка! Выкинь ту временную молитву, которую ты просила меня тебе составить для чтения перед сном. А вместо нее предлагаю другую, если тебе понравится, она как раз обходит трудности со словом «Бог», которое в настоящее время служит для тебя камнем преткновения. Не существует такого закона, чтобы обязательно пользоваться этим словом, если оно временно служит камнем преткновения. Вот, попробуй новую: «Я, маленькая девочка, легла спать и сейчас засну. Слово Бог мне в настоящее время поперек горла, потому что им постоянно, хотя, возможно, что и от чистого сердца, пользуются мои подружки Лотта Давилья и Марджори Херзберг, а я их считаю довольно подлыми и врушками от начала и до конца. Я молюсь безымянному знаку совершенства, пусть лучше вообще не имеющему формы и всяких несуразных признаков, — совершенства, которое всегда с нежностью и любовью управляло моей судьбой и в те времена, когда мне было дано чудесное, трогательное человеческое тело, и в промежутках. Милый знак совершенства, подари мне, пока я буду спать, разумные, правильные наставления на завтра. Я могу даже не знать, в чем они состоят, пока еще не развилось мое понимание, но все равно я была бы очень рада и благодарна иметь их уже теперь, впрок. А пока я просто поверю, что эти наставления окажутся действенными, вдохновляющими и правильными, мне надо только научиться делать так, чтобы в душе у меня устанавливались полный мир и пустота, как объяснял мой самонадеянный старший брат». А в заключение произнеси «аминь» или просто «покойной ночи», что тебе больше нравится или что прозвучит искренне и естественнее. Это — все, что мне удалось для тебя придумать еще в поезде по дороге сюда, и я заучил слова, чтобы при первом удобном случае передать тебе. Но пользуйся ими, только если они тебе ни капельки не противны. И можешь свободно исправлять и улучшать эту молитву по своему вкусу. Но если она вызывает у тебя неприязнь и смущение, откажись от нее безо всяких сожалений и подожди, пока я вернусь домой и на досуге еще раз все обдумаю. Не считай меня непогрешимым! Я очень даже погрешимый!

Возвращаюсь к списку для мистера Фрейзера, в произвольном порядке.

«Дон Кихот» Сервантеса, опять оба тома, если можно. Этот человек — гений, которому просто так равных даже не подыскать! Я надеюсь, что эту книгу отправит лично мисс Овермен, а не лично мистер Фрейзер, так как он, боюсь, не способен послать гениальную книгу без своих личных замечаний и досадных высокомерных оценок. Из уважения к Сервантесу я предпочел бы получить его книгу свободной от лишних рассуждений и прочего никому не нужного вздора.

«Раджа-йога» и «Бхакти-йога», два крохотных умильных томика как раз подходящих размеров, чтобы носить в кармане обычным подвижным мальчикам вроде нас; автор — Вивекананда, индеец, один из самых увлекательных, оригинальных и образованных гигантов пера изо всех, кого я знаю в XX веке; сколько буду жить, никогда не перестану питать к нему неисчерпаемую симпатию, вот увидите. Я бы запросто отдал десять лет жизни, может, и больше, за то, чтобы пожать ему руку или хотя бы обратиться к нему с коротким уважительным приветствием при встрече где-нибудь на улицах Калькутты или в любом другом месте. Он был прекрасно знаком с сочинениями гениев, упомянутых выше, гораздо лучше, чем я! Хочется надеяться, что он не счел бы меня слишком земным и чувственным! Это неприятное опасение постоянно преследует меня, когда в памяти всплывает его великое имя. Непонятно и очень грустно! Хотелось бы, чтобы между чувственными и не чувственными людьми в этом мире были более добрые отношения. Меня просто из себя выводят такие пропасти! Что само по себе уже знак моей неуравновешенности.

Для первого или возобновляемого знакомства в изданиях как можно более мелкого формата следующие книги таких гениальных — или талантливых — писателей, как:

Чарльз Диккенс, можно благословенно полное собрание, а можно и в любом другом трогательном виде. Бог мой, я приветствую тебя, Чарльз Диккенс!

Джордж Элиот, но только не полную; предоставьте, пожалуйста, отбор мисс Овермен или мистеру Фрейзеру. Мисс Элиот, если как следует разобраться, не особенно близка моему сердцу и уму. Предоставляя отбор мисс Овермен и мистеру Фрейзеру, я заодно получаю ценную возможность проявить признательность и уважение, как полагается человеку моего смехотворного возраста, и при этом ничем важным не поступиться. Отвратительная, конечно, мысль, почти расчетливость, но ничего не могу поделать. Стыдно признаться, но моя бесчеловечная нетерпимость по отношению к сомнительным советам меня самого очень беспокоит, я изо всех сил ишу такой подход, который был бы и человеческим, и приемлемым.

Уильям Мейкпис Теккерей, тоже не полный. Попроси мисс Овермен, чтобы она любезно предоставила в этом всю свободу действия мистеру Фрейзеру. Вреда не будет, если судить по двум книгам У. М. Теккерей, которые я уже читал. Как и в случае с мисс Элиот, он превосходно пишет, но я все же, пожалуй, не смогу с бесконечной благодарностью снять перед ним шляпу, поэтому вот еще один подходящий бессовестный случай положиться на личные вкусы мистера Фрейзера. Я сознаю, что обнажаю свои недостатки и бессердечную расчетливость перед горячо любимыми родителями, маленькими братьями и сестричкой, но у меня связаны руки, и потом, у меня нет никакого уважительного права представляться человеком более сильным, чем я есть, ведь я далеко не сильный по человеческим меркам.

Джейн Остен, всю целиком или в любом виде и подборе, исключая «Гордость и предубеждение» — это у меня тут уже есть. Не потревожу ее несравненный гений своими сомнительными замечаниями; я уже один раз непростительно оскорбил чувства мисс Овермен, отказавшись обсуждать с нею эту потрясающую писательницу, в чем у меня не хватает простой порядочности раскаяться. Скажу только, что очень рад был бы повидаться с кем-нибудь из обитателей Розингса, но решительно не могу давать оценки ее женственному таланту, такому забавному и великолепному и мне очень близкому; сделал несколько жалких попыток, но ничего стоящего.

Джон Беньян. Простите меня, если я становлюсь слишком краток и немногословен, просто я подхожу к скорому завершению своего письма. Честно признаться, я отчасти с предубеждением отнесся к этому автору, когда был моложе: мне показалось, что он слишком уж беспощаден к таким человеческим слабостям, как лень, жадность, и многим другим и не испытывает ни малейших мук сострадания и сомнения. А я лично встречал сколько угодно превосходных, милых людей на жизненном пути, всю предающихся лени, и, однако же, к ним всегда обратись за помощью в беде, не говоря уж о том, как они умеют дружить с детьми, например, очаровательный бездельник Херб Каули, рабочий сцены, которого постоянно выгоняют из одного театра за другим! Разве он когда-нибудь подводил друга в беде? И разве его веселые шутки не помогают жить людям, даже случайным прохожим? Или Джон Беньян считает, что Бог не склонен принимать в расчет такие трогательные свойства на Страшном Суде, который, по моему просвещенному мнению, совершается постоянно при переходе из одного существования в другое? Перечитывая Джона Беньяна на этот раз, я намерен ближе и любовнее присмотреться к его неподдельному, славному таланту, но взгляды его, боюсь, так и останутся мне поперек горла. Слишком он суров, на мой вкус. Вот где полезно и пристойно перечесть в одиночку чудесную Святую Библию, чтобы сохранить про черный день собственный бесценный здравый ум. Иисус Хрис-

тос говорит так: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Все правильно, я не вижу ничего, против чего можно было бы возразить, наоборот! Однако Джон Беньян, хоть и крещеный христианский воин, по-видимому, полагает, будто Иисус Христос сказал другое, а именно: «Будьте безупречны, как безупречен Отец ваш Небесный!» Вот неточность так уж неточность! Разве о безупречности идет тут речь? Совершенство — совсем другое слово, оно отдано на благо рода человеческого во все века. Тут предусматриваются небольшие разумные отклонения. Господи, ну конечно же, я всей душой за допустимые отклонения, а иначе, считай, всей чертовой музыке конец! К счастью, по моему просвещенному мнению, основанному на сомнительной информации, которую составляет ненадежный мозг, музыка никогда не чертова и конца у нее нет. А если покажется с досады, что конец, значит, просто пора собрать все силы и произвести переоценку — даже если ты по горло в крови или среди обманчивого, нежесточного горя, все равно надо только остановиться и вспомнить, что совершенство нашего замечательного Бога все же допускает некоторые огорчительные отклонения, как, например, голод, преждевременные, на поверхностный взгляд, смерти, когда умирают дети, прелестные женщины и дамы, отважные упрямые мужчины и многие-многие другие, — абсурдные нелепости, если судить человеческим умом. Однако если я на этом не остановлюсь, то вообще не захожу честно перечитывать этим летом бессмертного писателя Джона Беньяна. Спешу перейти к следующему автору в моем беспорядочном списке.

Уорик Дипинг; вряд ли что-то интересное, но его горячо рекомендовал очень приятный случайный знакомый в библиотеке. Несмотря на то что часто напарываешься на ужасную гадость, я всегда был и буду против пренебрежения книгами, которые от души рекомендуют симпатичные незнакомые люди, — это и бесчеловечно, и рискованно, к тому же в ужасной гадости часто бывает своя прелесть.

Еще раз сестры Бронте — вот потрясающие барышни! Имейте в виду, что Бадди перед самым отъездом сюда как раз читал «Городок», книгу сдержанную, но захватывающую; а этот пламенный читатель, как вы знаете, совершенно не терпит, когда его отрывают в середине книги без совсем уж настоятельной необходимости! Полезно также вспомнить о весьма раннем пробуждении его чувственности, а эти обреченные барышни подчас до того соблазнительны, прямо не знаешь, как устоять. Меня лично плотские соблазны Шарлотты раньше совсем не трогали, но теперь, оглядываясь назад, я ими очень даже приятно удивлен.

Китайская «Materia Medica», автор — Портер Смит; это старинная книга, которая теперь нигде не продается и, возможно, маловразумительная и бестолковая; однако я хотел бы по секрету перелистать ее и, если она ничего, дать вашему замечательному сыну Бадди в качестве приятного сюрприза. Вы не можете даже представить себе, сколько затаенных знаний о травах и разной растительности принес с собой, главным образом в квадратных подушечках пальцев, этот парнишка из предыдущих существований; такие знания не должны попусту пропасть, если, конечно, они не будут мешать делу его жизни. Я, который на два года его старше, в этих вопросах его невежественный старательный ученик! Мало того что он угощает Гриффита Хэммерсмита и меня чудесными кушаньями, но он вообще не способен просто так сорвать даже самый невинный цветок, а непременно должен рассмотреть его со всех сторон, понюхать корешки, поплюнуть и обтереть от земли; они словно бы что-то говорят этому мальчику и, надеясь на его чудесный слух, ждут от него отклика. К сожалению, немногочисленные книги на эту тему, обычно английские, изобилуют неточностями, глупыми выдумками, прискорбными суевериями и непременными вопиющими преувеличениями — это уж обязательно! Так что давайте мы, любящие его родные, обратимся с надеждой и верой к неподражаемому китаюцам, которые, как и благородные индусы, отличаются широтой и открытостью взглядов по таким вопросам, как человеческое тело, дыхание,

принципиальное отличие правой стороны от левой. Это обнадеживает, если, конечно, автор, Портер Смит, вложил в свою необъятную работу всю душу и тело, а не просто, как многие другие, побаловался с ученым видом, чтобы только захватить место в этой престижной области; но не будем его загода поносить, а прежде подвергнем честной, беспристрастной проверке.

В объемах, подходящих для малоудобной лагерной обстановки, пришлите, пожалуйста, следующих французов для упражнения в языке или просто для удовольствия, смотря каковы у данного француза притягательные свойства. Пожалуйста, побольше Виктора Гюго, Гюстава Флобера, Оноре де Бальзака, вернее, просто Оноре Бальзака, так как он сам, совершенно необоснованно, прибавил себе аристократическую приставку «де» из смешных и трогательных побуждений. В этом мире так широко распространена забавная страсть к аристократизму! И не очень-то она даже и забавна, если приглядеться, — таково мое просвещенное мнение. Как-нибудь в уютный дождливый денек, если будет охота, поразмыслите о том, что лежало в основе всех значительных революций от начала истории; и если в душе у каждого выдающегося реформатора рядом с желанием, чтобы было больше хлеба и меньше бедности, вы не найдете существующие едва ли не на равных, под разными хитрыми личинами, зависть, корысть и мечту пробиться в аристократы, тогда я с радостью готов держать ответ перед Богом за свой цинизм. К сожалению, простого решения я тут не вижу.

В меньших количествах и тоже по-французски, для практики или удовольствия, — избранные сочинения Ги де Мопассана, Анатоля Франса, Мартена Леппера, Эжена Сю. Пожалуйста, попросите мисс Овермен, чтобы она попросила мистера Фрейзера не вкладывать, ни намеренно, ни по ошибке, биографий Ги де Мопассана, особенно написанных Элизой Сюшар, Робертом Курцем и Леонардом Беландом Уокером; эти книги я уже прочел с горечью и болью сердца и не хочу, чтобы их с горечью и болью сердца читал в таком нежном возрасте Бадди. Как полностью чувственные натуры, боюсь, мы нуждаемся во всяком разумном, тщательном предостережении по поводу чувственности, но погибнуть от фаллоса, как от меча, ни ваш сын Бадди, ни я не имеем ни малейшего намерения, мы собираемся разобраться с этим вопросом, даю вам слово; однако я решительно не согласен рассматривать Ги де Мопассана в качестве примера злоупотребления чувственностью, как это ни соблазнительно. Не наделай он бед со своим мужским органом, он бы еще что-нибудь скверное натворил. Не доверяю я вам, месье де Мопассан! Ни вам; ни любому другому видному писателю, процветающему за счет постоянной низкой иронии! И это непростительное осуждение распространяется также и на вас, Анатолий Франс, великий мастер иронии! Мой брат и я, как и тьма других обыкновенных читателей, обращаемся к вам с величайшим доверием, а вы отвечаете нам щелчком в нос! Если это все, на что вы способны, будьте хотя бы любезны застрелиться или сожгите, сделайте милость, свое великолепное перо!

Прошу мне простить эту ненужную вспышку, она совершенно ничем не оправдана и достойна сожаления; я вообще чересчур резко осуждаю мировую иронию и щелчки в нос; я над этим своим недостатком, конечно, работаю, поверьте, но только не очень успешно. Оставим лучше эту огорчительную тему и перейдем снова к списку. Последний француз — Марсель Пруст, попросите мисс Овермен прислать его целиком. Бадди еще не имел случая схватиться с этим беспощадным гением нашего времени, но быстро набирает форму для такой встречи, несмотря на свой нежный возраст; я уже начал в недрах Центральной библиотеки понемножку готовить его с помощью прекрасных фраз вроде следующей из упоительного романа «*À l'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs*»³, которую этот поразительный читатель предпочел запомнить дословно наизусть: «*On ne trouve*

³ «Под сенью девушек в цвету» (франц.).

jamais aussi hauts qu'on avait espérés, une cathédrale, une vague dans la tempête, le bond d'un danseur»⁴. Он в два счета все совершенно точно моментально перевел, до единого слова, кроме «vague», что просто означает океанскую волну, и был вполне пленен ее красотой! А раз он уже достиг возраста, когда может плениться красотой этого несравненного упадочного гения, значит, ему теперь нипочем всякие извращения и гомосексуализмы; они здесь, кстати, довольно широко распространены, особенно в средней группе. Я совершенно не вижу надобности подходить к этим вещам со слепым, лицемерным чистоплюйством. Но смотрите только, чтобы у мистера Фрейзера ни в коем случае не создалось впечатления, будто я прошу книгу Пруста для Бадди. Осторожно: опасные мели! С мистера Фрейзера вполне станется, учитывая юный возраст Бадди, воспользоваться этим, чтобы развлечь или заинтересовать гостей в светской застольной беседе, он ведь очень любит быть центром всеобщего внимания! А если это случится, поверьте мне, пострадавшей стороной в результате окажемся мы, так как будут сведены на нет все наши тайные старания держаться в опасных, бессердечных общественных местах как обыкновенные скромные мальчишки. Мистер Фрейзер — человек очень добрый, и всегда готов помочь, и широко образован, но при этом совершенно не умеет держать язык за зубами, можете мне поверить. И тут дело даже не столько в тщеславии, сколько в раннем отказе от индивидуальности. Этот мыслящий, широко образованный человек способен безо всякого стеснения использовать в своих интересах, для занимательного разговора, независимую детскую личность! К глубокому прискорбию, хорошие люди подчас не прилагают особых стараний, чтобы осуществить свое предназначение и понять, за что они несут в жизни ответственность, а довольствуются тем, что паразитируют на других и высасывают из них соки. Мистер Фрейзер часто бывает ужасно приятным в обращении и неизменно внушает мне симпатию, но я решительно не согласен, чтобы он использовал моего младшего брата — или какого-нибудь еще скрытого юного гения, — чтобы на нем паразитировать! Ничего, кроме огромного вреда, из этой похабухи выйти не может! Любой ценой изо всех сил старайтесь, чтобы ваш мальчик как можно дольше пользовался божественным правом человека оставаться никем!

Продолжаю список в произвольном порядке.

Все-все, полностью, сочинения сэра Артура Конан Дойла, кроме книг, не связанных напрямую с Шерлоком Холмсом, как, например, «Белый отряд». Ох и повеселитесь же вы и мысленно обхохочетесь, когда узнаете, что со мной приключилось недавно в этой связи! У нас был час водных процедур, и вот я спокойно плаваю в озере, у меня в голове — ни одной мысли, только воспоминанье с сочувствием о том, что мисс Констэбл в Центральной библиотеке безумно любит все написанное великим Гёте. И вдруг, в эту мирную минуту, меня как громом поразила одна мысль, прямо брови на лоб полезли. Я, определенно, понял, что люблю сэра Артура Конан Дойла и не люблю великого Гёте! Плаваю себе, ныряю, а сам ясно сознаю, что даже вроде бы вообще не испытываю к великому Гёте никаких теплых чувств, между тем как моя любовь к сэру Артуру Конан Дойлу через его сочинения — неоспоримый факт! Никогда еще ни в какой воде мне не доводилось совершать более важного открытия. Я чуть было даже вообще не утонул от радости, что передо мной мелькнул краешек правды. Вы только представьте себе на мгновение, что это значит! Это значит, что каждый человек — мужчина, женщина или ребенок, — допустим, после двадцати одного года, ну самое большее после тридцати, решаясь на ответственный шаг в своей жизни, должен сначала посоветоваться с определенными людьми, живыми или умершими, которых он любит. В список таких

⁴ «Никогда не увидишь такого собора, такой волны в океане, такого антраша на балетной сцене, высота которых отвечала бы твоим предвкушениям» (франц.).

людей, запомните ради Бога, ни в коем случае не следует включать тех, кем просто восхищаешься до безумия. Если это лицо или творения этого лица не внушили вам любви, неизъяснимой радости и негасимого сердечного тепла, его следует безжалостно вычеркнуть из списка! Существуют, надо думать, еще и разные другие списки, где ему найдется вполне почетное место, но этот список — исключительно по любви. Господи, какой он сможет служить надежной и грозной личной защитой от обмана и лжи себе и близким или просто знакомым в легкой беседе или горячем споре с самим собой! Я уже составил на досуге несколько вариантов такого списка личных советчиков, включая самых разных людей. В качестве характерного примера, который, я уверен, вам очень понравится, кто, по-вашему, в моем списке единственный певец изо всех, кого можно услышать на граммофонной пластинке или лично? Энрико Карузо? Боюсь, что нет. За исключением членов моего родного семейства, чьи голоса неизменно чаруют меня, единственный певец, голос которого я положу руку на сердце могу назвать моим любимым без боязни солгать или вполне сознательно обмануть самого себя, — это мой несравненный друг мистер Баблз из танцевального дуэта «Бак и Баблз», когда он негромко напевает себе под нос в гримборной рядом с вашей. Этим я вовсе не хочу обидеть Энрико Карузо или Эла Джолсона, но факт остается безжалостным фактом! Я ничего не могу тут поделать! Стоит обзавестись таким авторитетным списком, и он тебя свяжет по рукам и ногам. Лично я, честное слово, когда вернусь в Нью-Йорк, кроме как в гостиную или ванную не выйду из своей комнаты, не прихватив его с собой в нескольких экземплярах. К чему это может привести, по совести сказать, не знаю, но если не умножится ложь в мире — и то уже неплохо. В худшем случае выяснится, что я тупица и дурак, лишенный, если разобраться, хорошего тонкого вкуса, но, может быть, все-таки это, слава Богу, не так.

Двигаясь быстренько дальше — пожалуйста, пришлите мне какую-нибудь честную книгу про мировую войну во всем ее бесстыдстве и корысти, только чтобы автор по возможности не был похваляющийся или ностальгирующий ветеран или предприимчивый газетчик без особых способностей и без совести. И хорошо бы в ней не было никаких превосходных фотографий. Чем взрослее становишься, тем больше с души воротит от превосходных фотографий.

Пожалуйста, пришлите мне следующие исключительно гадкие книги, может быть, обе в одном пакете для удобства упаковки, а также для того, чтобы не замарать ими произведения гениальных, талантливых и просто увлекательно-ученых авторов. Это — «Александр» Алфреда Эрдонны и «Начала и рассуждения» Тео Эктонна Баума. Постарайтесь, если это не будет стоить слишком больших усилий ни вам самим, ни моим добрым друзьям-библиотекарям, выслать их как можно скорее. Это бесценно глупые сочинения, с которыми я хочу, чтобы Бадди хорошенько познакомился перед тем, как на будущий год идти в школу — первый раз в этой жизни. Не спешите презирать глупые книжки! Один из самых быстрых и надежных способов, правда довольно кружной и малоприятный, научить такого толкового маленького мальчика, как Бадди, чтобы он не закрывал глаза на глупость и гадость в мире, — это дать ему почитать стопроцентно глупую и гадкую книгу. Можно будет поднести ему ее на серебряной тарелочке, как бы говоря без слов, без сердечной печали и бешеного гнева: «Вот тебе, юноша, две ловко сочиненные, исключительно бесстрастные и скрытно порочные книги. Обе написаны выдающимися лжеучеными, людьми высокомерными, корыстными и втайне тщеславными. Лично я дочитывал их книги со слезами стыда и досады на глазах. Коротко говоря, даю тебе в руки ценные образчики того, что представляет собой зловонная чума интеллектуализма и лощеной образованности в отсутствие таланта и сострадательной человечности». Больше бы я упомянул юноше не добавил ни полслова. Вы, возможно, найдете, что я опять сужу слишком резко. Было бы глупо и смешно отрицать это. Хотя, с другой стороны, вы,

возможно, не вполне сознаете, как опасны такие писатели. Давайте немного проветрим в доме, подвергнув их по очереди простому и краткому рассмотрению. Начнем с Алфреда Эрдонны. Профессор одного из главнейших университетов Англии, он написал эту биографию Александра Македонского в легкой, непринужденной манере, занимательно, несмотря на большой объем, то и дело поминая на ее страницах свою жену, тоже видного профессора в одном из главнейших университетов, и своего милого песика по кличке Александр, и своего учителя, старого профессора Хидера, также немало лет кормившегося за счет Александра Македонского. И старый и молодой специалисты неплохо прожили за счет Александра Македонского, крупно зарабатывая в свободные от преподавания часы пусть не деньги, но, уж во всяком случае, славу и престиж. И тем не менее Алфред Эрдонна пишет об Александре Македонском так, словно это еще один милый песик, лично ему принадлежащий, видите ли! Сам я вообще-то не в восторге от Александра Македонского, как и от любого другого неизлечимого милитариста, но как смеет Алфред Эрдонна заканчивать свою книгу в таком нагло-снисходительном тоне, будто бы он, Алфред Эрдонна, если разобраться, выше Александра Македонского просто потому, что и он, и его жена, и, может быть, даже песик имеют возможность паразитировать на нем и относиться к нему свысока! Он и благодарности-то к Александру Македонскому ни малейшей не испытывает за то, что тот когда-то жил и дал ему, Эрдонне, приятную возможность жить-поживать в свое удовольствие за его, Александров, счет. И не за то я ругаю этого лжеученого автора, что он вообще не любит героев и героизм и даже посвятил отдельную главу Александру и Наполеону как героям, показывая, сколько вреда и идиотского кровопролития причинили людям герои. Подобный взгляд в зародыше мне, признаться откровенно, очень близок, но необходимо соблюдать два условия, чтобы выступить с такими смелыми, неоригинальными мыслями. Думаю, стоит немного остановиться на этом вопросе; а вас прошу, пока я рассуждаю, хранить терпение и вашу слепую любовь! Еще потребуется и нечто третье.

1. Гораздо убедительнее осуждать героев и героизм, если сам способен на героические поступки. Если ты сам к героизму не способен, все равно можешь с честью высказаться на эту тему, надо только рассуждать крайне аккуратно и вразумительно и постараться употребить в дело все свои таланты и способности и, может быть, с удвоенным рвением молиться Богу, чтобы не сбиться на какую-нибудь пошлость.

2. Вообще желательно из общих соображений иметь перед глазами модель человеческого мозга; если нет настоящего муляжа, вполне подойдет половинка очищенного грецкого ореха. Но в таком деле, как героизм и герои, важно своими глазами видеть, что человеческий мозг — всего лишь несложное трогательное приспособление, совершенно не дающее возможности понять человеческую историю и подсказать, когда какую роль, героическую или наоборот, подошло время играть со всем пылом своего сердца.

3. Он, я имею в виду Алфреда Эрдонну, не отрицает, что учителем великого Александра Македонского в отрочестве был Аристотель. И ни разу нигде не винит и не упрекает Аристотеля за то, что тот не научил Александра не быть великим! Вообще ни в одной книжке, которые я читал на эту интересную тему, нигде ни слова о том, чтобы Аристотель просил Александра накидывать на плечи мантию величия лишь иногда, а от величия в любой иной форме с омерзением отворачиваться, точно от экскрементов, если вы простите мне такое сравнение.

Здесь я с удовольствием оставляю эту малоприятную тему. Я совсем разнервничался и к тому же потратил все время, которое собирался посвятить сомнительному и очень вредному, бездарному, бездушному сочинению Тео Эктонна Баума. Но только повторяю: я не гарантирую своего душевного покоя, если Бадди пойдет в школу и вступит на долгий, трудный путь формального образования, не ознакомившись с этими зловредными, самодовольными и совершенно заурядными произведениями.

Продолжаю, так сказать, вприпрыжку. Пожалуйста, пришлите какую-нибудь умную книгу о человеческом вращении или кружении. Если вы вспомните (а заодно и я, как всегда с любовью), по меньшей мере трое из ваших детей, совершенно независимо друг от друга и никем не наученные, имеют привычку раскручиваться на месте с пугающей скоростью, а после такого поразительного занятия тот, кто кружился, часто, хотя и далеко не всегда, получает решение или ответ на какой-нибудь не очень важный вопрос. Я тоже не раз с успехом по разным пустяковым поводам прибегал к этому приему в библиотеке, надо было только найти уголок, скрытый от постороннего невооруженного глаза. Теперь-то я знаю, что по всему миру есть люди, которые так делают, даже отчасти и милые шейкеры. Также имеются основательные сведения, что святой Франциск Ассизский, совершенно потрясающий человек, однажды попросил другого монаха немного покружиться, когда они очутились на важном перекрестке и не знали, куда свернуть. Тут, конечно, сказалось византийское влияние на лирику трубадуров, но, во всяком случае, я не убежден, что таким средством пользуются только в одном месте на земном шаре. Сам я, правда, в ближайшее время собираюсь от него отказаться и переложить ответственность за решения на другую часть моего духа, но сведения на эту тему все равно будут очень полезны, так как другие наши дети могут по каким-то личным соображениям сохранить эту привычку и в зрелом возрасте, хотя я сомневаюсь.

И наконец, в заключение списка (слава Тебе, Господи!) буду благодарен за любую книгу на английском языке двух вполне дельных писателей — братьев Чэн, а можно и каких-нибудь других достаточно одаренных и высоко замахнувшихся трогательных авторов, которым выпало сомнительное счастье писать на религиозные темы после таких величайших, ни с кем не сравнимых гениев, как Лао-цзы и Чжуан-цзы, уж не говоря про Гаутаму Будду! По этому делу к мисс Овермен и мистеру Фрейзеру можно обращаться без особой опаски, я уже их подготовил неоднократными разговорами, но, конечно, деликатность не может быть лишней! Ни мисс Овермен, ни мистера Фрейзера сроду не мучили вопросы о Божестве и извечном хаосе во Вселенной, так что оба они на мой страстный интерес к подобным вещам бросают каменно-неодобрительные взоры. Хорошо еще, что, несмотря на эту неприязнь, они относятся ко мне тепло и без раздражения, так как достоуважаемый Эдгар Семпл сказал мистеру Фрейзеру, что якобы у меня есть задатки будущего первоклассного американского поэта, что в конечном счете совершенно верно. И они все ужасно боятся, как бы мое страстное преклонение перед Божеством, близким и не имеющим образа, не опрокинуло милую тележку с яблоками — мою поэзию, а это не так-то глупо; существует определенный небольшой, вполне оправданный риск, что я окажусь совершеннейшим неудачником и разочарую всех родных и знакомых — очень серьезная и неприятная вероятность, у меня даже влага опять выступила на глаза, как только я об этом открыто подумаю. Было бы, конечно, замечательно и весело, если бы можно было точно знать в каждый день данного чудесного воплощения, в чем конкретно и очевидно состоит сейчас твой постоянный долг! Но, к глубокому моему сожалению и тайной радости, мои краткие прозрения до смешного мало способны мне в этом помочь. Правда, всегда сохраняется крохотная возможность, что возлюбленный Бог твой, не имеющий образа, вдруг нежданно-негаданно подарит тебе бесценное повеление: «Сеймур Гласс, сделай то-то!» — или: «Сеймур Гласс, мой юный, неразумный сын, поступи так-то!»; но такая возможность меня лично совсем не вдохновляет. То есть это, разумеется, неправильно сказано. Она меня очень даже вдохновляет, когда я с упоением свободно обдумываю ее; но в то же время я ужасно, бесконечно страшусь ее всеми глубинами моей сомневающейся души! Грубо говоря, получать чудесные личные повеления непосредственно от Бога, не имеющего образа или же украшенного внушительной чудесной бородой, — все равно это же почти то же самое, что пользоваться положением любимчика! Пусть только Бог возвысит одного человека над другими и

одарит его щедрыми преимуществами — значит, пробил час оставить навеки Его службу и — приветик! Это звучит очень резко, но я эмоциональный и откровенно земной мальчик, переживший немало столкновений с теми, кто заводит любимчиков, и я этого просто не выношу. Пусть Бог дарит чудесные личные повеления нам всем — или никому! Если ты, Господи, набрался терпения и читаешь это письмо, имей в виду, что я совершенно не шучу! И нечего подслащивать мой жребий! Не делай мне никаких поблажек, не давай чудесных личных повелений, не подсказывай кратчайших путей. Не жди, что я буду вступать в какие-то там элитарные сообщества, если вход в них не открыт настезь для всех и каждого! Ты же помнишь, правда, что я оказался способен полюбить Твоего поразительного, благородного Сына Иисуса Христа только на том приемлемом основании, что Ты не сделал из Него любимчика и не одарил Его полной свободой выбора на всю Его земную жизнь. Появись у меня хотя бы самое слабое подозрение, что Ты дал Ему свободу выбора, и я тут же с великим прискорбием вычеркну Его имя из короткого списка людей, которых безоговорочно уважаю, даже при всех Его многочисленных и разнообразных чудесах, которые, наверно, в тех условиях были необходимы, но все-таки, на мой просвещенный взгляд, остаются очень сомнительным средством, а также серьезным камнем преткновения для порядочных, милых атеистов вроде Леона Сандхейма или Микки Уотерса: первый — это лифтер в гостинице «Аламак», а второй — симпатичный бродяга без определенных занятий. Глупые слезы, понятное дело, уже бегут по моим щекам — ведь ничего нельзя поделаться! Очень любезно и славно с Твоей стороны, Господи, что мне позволено придерживаться своих ненадежных методов, как, например, твердо ограничиваться одним только человеческим умом и сердцем. Бог мой, Тебя не разберешь, слава Богу! Я люблю Тебя еще больше! Мои сомнительные услуги всегда в Твоем распоряжении!

Сейчас я капельку отдохну, милые Лес и Бесси и остальные любящие жертвы моего натиска. В коттедже пусто. Через дальнее окно над кроватью счастливого Тома Лантэрна льется трогательное солнечное сияние, если, конечно, оно не у меня в мозгу, это трогательное сияние. Пусть окончательного ответа нет, все равно иногда просто глупо отворачиваться от света, из какого бы окна он ни лился.

Последние краткие штрихи в заключение прерванного книжного списка для мисс Овермен и мистера Фрейзера:

Пришлите, пожалуйста, что-нибудь про колоритных, алчных Медичи, а также и про милых наших трансценденталистов. Еще пришлите два экземпляра сочинений Монтеня, по возможности без нескромных карандашных помет на полях, — во французском издании и в Коттоновом английском переводе. Вот симпатичный, неглубокий, обаятельный француз! Шляпы долой перед каждым одаренным и обаятельным человеком, Господи, ведь их так мало!

Пожалуйста, пришлите, что найдется интересного про человеческую цивилизацию догреческих времен, воспользуйтесь моим списком древних цивилизаций, я его оставил в кармане бывшего моего плаща, который разорвался на плече и смешной Уолт еще отказался выходить в нем на улицу.

Да, вот что несказанно важно. Пожалуйста, пришлите любые книги о строении человеческого сердца, которые я еще не читал; довольно полный их список последний раз лежал в верхнем ящике моего комода не то под носовыми платками, не то рядом с револьверами Бадди. Очень полезны будут оригинальные точные рисунки сердца, хотя и на грубые подобию этого несравненного органа, самого тонко устроенного в человеческом теле, тоже всегда интересно смотреть; но вообще, если разобраться, рисунки не особенно важны, ведь они только отражают одни физические свойства, а самых важных не нанесенных на карту участков вообще не затрагивают! К великому сожалению, увы, самые важные участки можно неожиданно увидеть лишь в те редкие, мимолетные, потрясающие мгновенья,

когда оживают все твои силы и тебе вдруг столько всего открывается... Но если нет таланта к рисованию, как, например, у меня, то совершенно непонятно, как поделиться увиденным с близкими и интересующимися. Довольно малоприятное положение, это еще мягко говоря! Надо бы, чтобы о том, как выглядит со всех сторон этот замечательный, ни с чем не сравнимый орган человеческого тела, стало известно всем, а не только сомнительным юнцам вроде нижеподписавшегося.

Кстати о теле, видимом или не видимом невооруженным глазом, — пришлите, пожалуйста, что-нибудь о том, как образуются роговые ткани. Найти такую книгу будет трудно, а то и вовсе невозможно, так что пусть ни мисс Овермен, ни мистер Фрейзер особых усилий не прилагают. Но если все-таки книга на эту животрепещущую тему обнаружится, не сомневайтесь, здесь ее проглотят с неослабным интересом, особенно про то, как образуется костная мозоль, соединяющая две части сломанной человеческой кости, пока она срастается; как мозоль это все понимает — просто удивительно и достойно глубокого восхищения! Знает, когда начать, когда остановиться, безо всякой сознательной подсказки от мозга пострадавшего. Вот вам еще одно потрясающее приспособление, которое приписывается почему-то «Матери Природе». При всем моем глубоком почтении я уже много лет слышать не могу, как ее незаслуженно превозносят.

В феврале этого незабываемого года я имел огромное удовольствие поболтать в течение чудесных пятнадцати минут с одной очень милой женщиной из Чехословакии. Такая дама в дорогом строгом туалете, но с трогательной грязью под ногтями. Дело было в главном корпусе библиотеки примерно через месяц после того, как достопочтенный Луис Бенфорд в ответ на мою письменную просьбу быстро и любезно сделал мое скромное присутствие там возможным. Дама сказала, что она мать молодого дипломата, это очень похоже на правду. В разговоре она упомянула своего любимого поэта Отокара Брезину, чеха, и настоятельно посоветовала мне его почитать. Может быть, у мистера Фрейзера найдется какая-нибудь его книга — увы, в английском переводе. Очень возможно, что это хороший поэт, его хвалила прекрасная женщина, правда, при ближайшем рассмотрении очень нервная и издерганная, но у нее в душе светится чудесная одинокая искорка! Мистер Брезина имеет в ее лице горячую обаятельную поклонницу! Благослови Бог прекрасных дам в дорогах, строгих туалетах и с трогательно грязными ногтями, поклоняющихся талантливым чужестранным поэтам и украшающих библиотеки своим изящным, печальным присутствием! Бог мой, наша вселенная совсем не такая пустяковая вещь, как кажется!

В заключение, уже решительно под самый конец, я был бы чрезвычайно признателен, если вы обратитесь с просьбой к мисс Овермен, чтобы она попросила миссис Хантер, можно по телефону, если это удобно, разыскать для меня «Журнал Дублинского университета» за январь 1842 года, «Джентльменский журнал» за январь 1866 года и «Северо-британское обозрение» за сентябрь 1866 года, так как в указанных номерах всех трех довольно старых журналов имеются статьи о моем, честно говоря, самом дорогом в прошлой жизни друге, правда только по переписке, сэре Уильяме Роуане Гамильтоне! Мне теперь не часто это дается, и, надо признать, слава Богу, но все-таки я иногда, через долгие промежутки времени, еще вижу перед собой его дружелюбное, одинокое, приветливое лицо! Но только, заклиная, ничего не говорите об этом мисс Овермен! Ее автоматически враждебная реакция на такие вещи вполне естественна; в тех редких случаях, когда я сдуру, не подумав, что-нибудь брякну о перевоплощении, она так и шарахается в досаде и тревоге. Есть еще и другая причина, почему с ней лучше не вдаваться в подробности, а именно: прошлая жизнь — к несчастью — отличная тема для бессознательной светской болтовни. Хотя мисс Овермен, как правило, не использует нас с Бадди на потеху знакомым и сослуживцам (она — женщина достойная, привыкшая шадить чужие чувства и считаться с людьми), но при этом, стоит ей узнать что-ни-

будь интересное или чуточку необычное, она обязательно проболтается мистеру Фрейзеру или любому другому хорошо одетому образованному господину с прекрасной седой шевелюрой; она к таким мужчинам слегка равнодушна и сразу немного влюбляется, если они с ней любезны и внимательны и говорят шутливые комплименты — не важно, искренние или нет. Конечно, это довольно безобидная маленькая слабость, но, если ей потакать, может стоить дорого. Так что просто попросите мисс Овермен, чтобы она позвонила миссис Хантер и узнала у нее, можно ли без особых сложностей разыскать названные журналы, а зачем — не говорите и, может быть, заодно еще попросите, как бы между прочим, прислать нам какое-нибудь легкое чтение, из того, что за последнее время ей самой особенно понравилось. От этого попахивает бессовестным заискиванием, но ее вкус в легком чтении действительно превосходит, поэтому я скрепя сердце все-таки предлагаю вам такую уловку. Нет нужды говорить, что я всецело доверяюсь в этом и во всем остальном твоей деликатности и такту, Бесси, голубка. Кроме того, мы были бы признательны, если бы вы вложили в большой конверт веселые картинки «Мистер и миссис» и «Мун Маллинс» и, пожалуй, пару номеров «Варайети», которые уже прочли. Господи Иисусе, каким жерновом на шее и обузой я для вас становлюсь и сколько со мной забот! Дня не проходит, чтобы я не сокрушался из-за своего отвратительного требовательного характера. Да, кстати, пожалуй, вам стоит предостеречь мисс Овермен, что мистер Фрейзер вполне может разозлиться и схватиться за голову из-за такого количества книг, которые мы просим, хотя он ни разу не оговорил, сколько самое большее книг он готов нам прислать за время нашего отсутствия. Пожалуйста, попросите мисс Овермен объяснить мистеру Фрейзеру, что мы оба день ото дня читаем со все возрастающей невероятной скоростью и готовы в два счета отослать обратно любую ценную книгу, если ее нужно срочно вернуть, — были бы деньги на марки. Трудностей, боюсь, возникнет уйма. Мистер Фрейзер несомненно очень щедрый, добрый человек и с удивительной терпимостью относится к дурным чертам моего характера, но в его щедрости есть одна маленькая загвоздка: он любит созерцать признательность на лицах тех, кого он персонально облагодетельствовал. Это вполне человеческая черта, не приходится ожидать и бесполезно желать, чтобы она в одночасье исчезла с лица земли, но вы все-таки попомните мои слова. Я лично считаю, что мистер Фрейзер хорошо если пришлет хотя бы две или три книги из всего списка! Господи, вот смеху-то, с ума сойти!

Догадаетесь, кто сейчас вошел в коттедж, улыбаясь от уха до уха? Ваш сын Бадди! Он же У. Дж. Гласс, выдающийся писатель! Поразительно, как он всегда тут как тут, этот парнишка! Вижу, он хорошо сегодня поработал. До чего бы мне хотелось, чтобы вы все сейчас были здесь, прямо живьем, и могли бы видеть его прекрасную, трогательную, слегка загорелую рожицу; во многих отношениях, дорогие Бесси и Лес, вы платите слишком огромную цену за наше здешнее счастливое лето на лоне природы. *Au revoir!* Бадди вместе со мной шлет вам самые искренние пожелания дальнейшего крепкого здоровья и приятного существования во время нашего затянувшегося отсутствия.

Остаемся
ваши любящие сыновья и братья
Сеймур и У. Дж. Глассы,
связанные навеки духом и кровью
и неисследованными глубинами и
камерами сердца.

В спешке, поскольку я тороплюсь поскорее дописать это письмо, а также от радости, что после семи с половиной часов отсутствия в коттедже вдруг снова появился ваш потрясающий сын Бадди, я чуть было не

упустил некоторое количество последних просьб, совсем пустячное, будем надеяться. Как уже было сказано, есть довольно большой неблагоприятный шанс, что мистер Фрейзер, когда получит весь мой список, погрузится в бездну отчаяния и раскается в своем дружеском предложении, которое он тогда неожиданно для себя самого мне сделал; однако вполне может быть, что я по отношению к нему грубо несправедлив; на тот радостный случай, если я действительно допустил несправедливость, хотя очень сомневаюсь, пожалуйста, попросите мисс Овермен напомнить ему, что эта наша окончательно последняя просьба на предстоящие шесть месяцев — по самой меньшей мере! После того как кончится это счастливое лето, остаток текущего незабываемого года мы посвятим исключительно работе со словарями, не отвлекаясь в этот ответственный период времени даже на поэзию; откуда следует, что мистер Фрейзер не будет иметь удовольствия — или, вернее, беспокойства — еще целых шесть блаженных месяцев видеть в публичных библиотеках американского Вавилона наши юные надоедливые лица. Кто не обрадуется такой перспективе, за исключением разве что — кого? В связи с вышепомянутыми шестью месяцами очень прошу вас, как наших любимых родителей, братьев и сестру, прочесть за нас несколько сжатых убедительных молитв. Я лично очень надеюсь, что за то решающее время, которое нам предстоит пережить, с меня сойдет несколько слоев неестественного, напыщенного фразерства и неживые, лишние слова отлетят от моего молодого тела, как мухи! Ради этого стоит постараться, весь мой будущий синтаксис поставлен на карту!

Пожалуйста, не сердись на меня, Бесси, но вот тебе мое окончательно последнее слово о том, надо ли так рано бросать сцену. Еще раз прошу ничего не делать раньше срока. Наберись терпения и спокойно подожди хотя бы до октября, а тогда оглядись хорошенько, какие есть возможности: октябрь — месяц благоприятный. Кроме того, пока я не забыл, Бадди просит, чтобы вы обязательно выслали ему несколько таких больших блокнотов — знаете, безо всяких линеек. Он будет писать в них свои неотразимые рассказы. Только смотрите ни в коем случае не присылайте в линейку, как эта бумага, на которой я сегодня целый день с удовольствием пишу вам послание, — он такие презирает. Кроме того, хотя я не рискнул говорить с ним откровенно на эту тему, но, по-моему, он будет очень рад, если вы пришлете ему среднего зайку, так как большой у него потерялся, когда проводник утром собирал постельное белье; но, пожалуйста, ни слова об этом в ваших письмах, просто запакуйте среднего зайку, например, в коробку из-под обуви или в какой-нибудь пакет и отправьте по почте. Я знаю, что могу в этом отношении, как и во всем, вполне положиться на тебя, Бесси, — ей-богу, ты замечательная женщина, и я тебя люблю! Кроме блокнотов в линейку еще не присылайте ему для рассказов блокнотов на очень тонкой, чуть не папиросной бумаге, как луковая шелуха, он такие блокноты выбрасывает в мусорный контейнер у крыльца нашего коттеджа. Это, конечно, расточительство, но, пожалуйста, не поручайте мне вмешиваться, дело слишком деликатное. Должен признаться, что и мне не всякое расточительство чуждо, есть виды расточительства, которые даже, наоборот, возбуждают в моей душе восторг. И потом, имейте в виду, что львиная преданность орудиям своего литературного труда, поверьте, послужит в конце концов его достойному и счастливому вызволению из этой пленительной долины слез, смеха, искупительной человеческой любви, тепла и учтивости.

Еще пятьдесят тысяч раз вас целуют две язвы и чумы Седьмого коттеджа, которые вас любят.

Сердечно ваш

С. Г.

Перевела с английского И. Бернштейн.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ



ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Казачью донскую песню при известной сноровке «играть», как у нас говорят, можно до бесконечности. Есть побаска о том, как казак едет с ярмарки на быках, возвращаясь на хутор. Чтобы не скучать в дороге, он еще на станичной околице песню завел простецкую:

Гво-о-о-о-о... Гво-о-о-о-о...
Ой-ды гво-о-о-о...

Тянется за верстою верста. Час проходит, другой. Песня не кончается. Порой казак мурлычет, задремывая: «О-о-о-ой... Ой-ды... гво-о-о-о...» И лишь когда въедет на свое подворье, тут песне конец:

Ой-ды гво-о-здик!

Когда писал я свои заметки «В дороге»¹, казалось мне, что впереди еще долгий путь, а тянуть монотонное: «Ой-ды гво-о-о-о...» мне надоело. Поставил точку. Но, пройдя осенними дорогами по знакомым местам, не в одночасье, не озареньем я понял, что конец пути — рядом. Но вначале — дорога.

Ранним сентябрьским утром шел я из хутора Клейменовский на Вихляевку. День разгорался теплый, погожий. Одна и другая машины прогудели, обгоняя меня по асфальту. Мне спешить было не с руки. Пешочком, неторопливо шел я и шел, а потом и вовсе асфальт оставил, поднимаясь на Вихляевскую гору дорогой полевой.

Нежное курлыканье слышалось впереди. Это журавли кормились на горе, на поле. Милые птицы меня не боялись, подпустили близко. Поднявшись на вершину горы, я стоял и глядел. Внизу, в утренней дреме, лежала тонущая в садах Вихляевка, на озере плавала пара ослепительно белых лебедей. Далеко-далеко уходила земля с ее полями, лугами, лесами. Вихляевский луг, Ярыженский луг, Дурновский луг, Мартыновский луг, Мартыновский лес, Озера, быстрый Бузулук, светлые воды его. А надо мной — просторное чистое небо, свежий ветер, курлыканье журавлей.

На следующий день в станице Дурновской, в тамошней школе, сказал мне кто-то из учителей: «Спасибо, что приходите в наш Богом забытый край...» — «Не забытый, а обласканный, — возразил я. — Богом ли, природой, но обласканный...» А в дне вчерашнем в Мартыновской станице, тоже в школе, говорил я ребятам, ничуть не кривя душой: «Вы — счастливые, потому что родились и живете в одном из самых красивых мест на земле. Поверьте, что это именно так. Бывал я в дальних краях. И в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке. В памяти моей — многое. Но одна из самых светлых страниц — эти края: округа Мартыновская, Вихляевская, их земли и воды».

Так говорил я, а теперь добавлю, что эти края забыты не Богом, не природой, а властями высокими.

Каждый год я бываю здесь. Стою на горе Вихляевской. Спускаюсь в хутор, брожу по его улочкам. И помню еще хутор живой: Дом культуры с кинозалом, библиотеку, школу, почту, фельдшерский пункт, три магазина. А ныне все гуще вскипает зелень садов, полоня хутор. Спелые груши висят и падают, устилая землю. А людей нет. Одного-другого старика встретишь, поговоришь — и все. Закрылись магазины, заброшена школа, разбит Дом куль-

¹ См. «Новый мир», 1994, № 1, 3, 6, 9

туры. И даже асфальтовая дорога не помогла. На всю Вихляевку три работника осталось. Зеленая пустыня.

Старый учитель Павел Михайлович Соснин который уже год мне жалуется:

— Баню не хотят открывать. Сколько лет бьюсь, пишу, говорю... Должны же мы хоть под конец жизни в бане помыться...

Милый Павел Михайлович, не будет бани. В райцентре баню никак не наладят, а у вас теперь уж точно не будет.

В станице Мартыновской тамошняя школа в прошлом году отметила свое девяностолетие. Многих и многих она учила и выучила. И теперь идут дети по утрам в то самое деревянное здание, которое было построено девяносто лет назад.

— Место для новой школы уже выбрали, — говорили мне учителя. — Проект был, колышки забили. А теперь...

Не будет новой школы в Мартыновской. Столетие будут отмечать в том же здании, коли не рухнет оно.

О каких новых бане ли, школе мечтать, когда гуляет над этим зеленым миром смерч разорения.

В хуторе Клейменовском разломаны клуб и бывшая школа; и медпункт, еще вчера живой, уже пустыми глазницами зияет, развалена печка — конец медпункту.

В этом хуторе я ночевал, вел горькие разговоры.

— Людям деньги за работу не платят. Они вовсе не хотят работать. Раньше мы как-то воздействовали, — говорит бригадир Виталий Иванович. — А ныне... Иди, говорят, да сам делай. Вот и все.

— Все дорого. А денег нет, — объяснил мне кто-то. — Ничего у людей нет: ни шифера, ни стекла. Вот и норовят украсть.

— Сено нынче не заготовили. Коров будем соломой кормить.

Зарплату не дают. А дитя надо в школу собирать. Продали платок, купили ботинки. Продали еще два платка, куртку купили.

И длинный монолог старого моего знакомого Ивана Бочкова:

— К чему идем? К чему нас ведут? Получаю зарплату пятьдесят тысяч и тех не вижу. А уголь для топки одна тонна стоит сто пятьдесят тысяч. Мне нужно три тонны. Где брать? Опять, как в старые годы, пеньки в лесу вырубать? Было такое.

И как не поймут, что хоть тяжело, но без угля мы проживем. А вот без хлеба как? В тридцатые годы и после войны, когда не было хлеба, враз стали пухнуть и помирать. А теперь говорят: хлеб ничего не стоит, самое дорогое — это горючее и газ. Неправда.

«Не пойму... Не знаю... К чему нас ведут?» — вот главные вопросы не только Ивана Бочкова, но всех, с кем встречался я.

После Клейменовского да Вихляевского ушел я через луга и займищный лес к Дурновской станице, оттуда выбрался к Павловской. А жизнь, разговоры, вопросы — одни и те же. Названия у колхозов хорошие — «Возрождение» да «Восход», но дела везде быстро спешат к закату.

Возле Павловской станицы помню я поля: здесь был эспарцет, здесь — подсолнечник, здесь — пшеница. Сейчас — пусто. Нечем пахать, нечем сеять. Нет лемехов, нет горючего, нет масла. Не на что купить. В прошлые годы мы говорили об упадке животноводства, об уничтожении свиноводства как отрасли. В хуторе Ольховском были свинофермы, в Павловской — все это день вчерашний, а в нынешнем и зерноводство дышит на ладан. Нечем работать, да и некому. Зарплату в «Восходе» не получают с сентября 1993 года. Целый год! И о чем говорить, о каких таких стимулах к труду. Зарплаты нет. Цена буханки хлеба в два раза выше, чем в городе. Магазин практически закрылся. Да и торговать нечем. И покупатели с худым карманом.

Опять про ту же топку, про уголь. Пятьсот тысяч рублей — за три тонны. Где, у кого такие деньги? С одним я поговорил, с другим. Уголь не смогут взять, будут обходить дровишками.

Но чем все-таки жить, когда нет колхозной зарплаты? Обычно отвечают: усадьбой, подворьем, всем, что есть там. Держать скотины побольше, мясо продавать.

Но чтобы купить те же три тонны угля, нужно продать двух хороших бычков, прокормив каждого из них по два года. 700 рублей платят сейчас скупщики за 1 кг живого веса. 400 кг по 700 рублей — получается 280 тысяч. Удвоим — и получается лишь на уголь для одной зимы. А на все остальное?.. Да еще попробуй продай это мясо. Не сразу получится. По 1200 рублей за килограмм убоины предлагали раньше перекупщики. А теперь и этого не дают.

Что же делать? Как жить?!

Еще одно хозяйство, бывший совхоз, ныне производственный сельскохозяйственный кооператив «Голубинский». Вновь к нему возвращаюсь, потому что это малая частица, модель всего нашего села. Путь его, к возрождению или к гибели, должны пройти все, одни раньше, другие позже, потому что одна у нас страна, а значит, порядки, законы и беззакония одни. И производственные отношения одинаковы: земля, а на ней — люди.

В позапрошлом, 1993-м году, тоже осенью, подводил «Голубинский» итоги, повторю их: «Долгов к 1 января 1994 будет 250 миллионов рублей... Долги будут расти... К уборке 1994 года долги увеличатся до одного миллиарда рублей... Впереди просвета не видно».

Прошел год. Убрали новый урожай, получив по 4 центнера с гектара. Всего — около трех тысяч тонн. (Прежде бывали годы, когда лишь государству сдавали до двадцати тысяч тонн.) Одних кредитов — более 800 миллионов рублей. Если посчитать все иные долги и проценты по кредитам, то к 1 января 1995 года отдавать надо около 2,5 миллиардов рублей. А что впереди? Никакого просвета. Заготовили только пятую часть сена, потребного для скота, силоса нет, соломы и той не будет.

Нынче — конец сентября. Зарплату людям отдали лишь за апрель. Теперь отдают за май, но не деньгами, которых нет, а овцами. За июнь — июль тоже будут платить скотом, крупным рогатым. Правда, не все на это согласны, ждут денег.

«Идем ко дну и всплывать уже не будем», — заявил корреспонденту районной газеты Ю. Ю. Барабанов, председатель «Голубинского». А заканчивалась эта заметка явным намеком: «По всему видать, в ближайшее время предстоят «Голубинскому» большие перемены. Откладывать их уже нельзя».

Но перед моим приездом прошло правление хозяйства, на котором решили: жить и работать по-прежнему вместе. Как работать?

— Поехал я на днях на вспашку зяби, — говорит Ю. Ю. Барабанов, — а механизаторы — пьяные в стельку. Коллектив большой, пятьсот человек, за всеми не уследишь. да и нет с этими пьяницами никакого сладу...

Планы на будущее у руководителя хозяйства простые: поголовье скота резко снизить, чтобы хоть впроголодь, но продержат оставшуюся скотину до весны. И по-прежнему брать кредиты: на зарплату, на покупку горючего, запчастей — словом, на жизнь. Снежный ком долгов растет и растет.

В прошлом году, в такую вот пору, надеялись на будущую уборку. Помню, как без запинки читал свою бумажку главный агроном: «Должны повыситься... расширить... ожидаемый доход — один миллиард сто миллионов рублей...» Два миллиарда получили. Убытков. А нынче и вовсе надеяться не на что: лето и осень — без единой капли дождя, озимые не взошли, скотина зимовать будет без кормов. Кто виноват? Худые работники, «пьяницы» и «воры», которые тянут все подряд? Корма, скотину, запчасти, а то и целые трактора; разбирают постройки до самого фундамента: брошенные кошары, помещения полевых станков.

А как жить, если полгода, а то и год не получаешь зарплаты?

Нынешним летом услышал я от колхозного механизатора точные слова:

— У меня две коровы, три головы гуляка, десять свиней. Я обязан их обеспечить, чтобы с голоду не помереть. Это моя зарплата, доплата за «классность», за стаж, доплата по результатам года и мои дивиденды на паи — словом, жизнь. Другой платы я не дождусь...

Теперь уже в давние годы, в тогда еще социалистической Венгрии, мне в тамошнем Министерстве сельского хозяйства внушали: «Управлять производством надо не криком, не угрозами, а форинтом (по-нашему рублем). Мало в стране молока — накинь на закупочную цену форинт, оно потечет живее. Много молока — сбрось форинт».

В нашей стране в прежние времена такая мудрость не приживалась. А теперь?

Еще в прошлом году, осенью, председатель «Голубинского» Ю. Ю. Барабанов говорил: «Не надо мне ваших кредитов. Они нас задушат. Отдайте деньги за шерсть, за мясо, за хлеб, и мы вывернемся». Не отдали. Тянули целый год, пока рубль не превратился в копейку. И даже теперь нищему, утонувшему в долгах «Голубинскому» снова не отдают денег за сданное мясо. И потому платить зарплату нечем. А значит, надейся мужик на «ловкость» свою, когда не день, а ночь кормит.

Еще один колхоз. У него лишь 3 тысячи гектаров пашни, на которых трудятся 43 механизатора. Из 1000 га зерновых половину они не убрали. А вспахать сумели лишь 1500 га. А рядом 4 работника звена С. И. Гавры из «Верхнебузиновского» тоже обрабатывают 3000 га земли и получают по 30 центнеров зерна с гектара.

В том колхозе, где 43 механизатора, шло собрание, четвертое за полгода. Разбирались:

- Механизаторы в разгар уборки пьянствуют...
- Послали луг косить, а они исчезли на несколько дней.
- Воруют все...

После собрания, которое в очередной раз постановило: «Будем работать вместе», прозвучали слова: «Колхоз у нас плохой, а мы живем хорошо. Скотины хватает, сена полно, с дровами не бедствуем...»

Это горькая, но правда. Не хуже других живут. Не хуже Станислава Ивановича Гавры из Верхней Бузиновки. И не хуже работников из «Волго-Дона».

О «Волго-Доне» я уже писал. Прикидывал прошлой осенью, что 1993 год хозяйство закончит с прибылью в три четверти миллиарда. Но этих денег ему не отдадут. И потому придется влезать в долги. Так оно и случилось.

Прежде «Волго-Дон» заслуженно величали всесоюзным лидером, маяком. И ныне поголовье мясного и молочного скота не снижено. Средний удой — четыре с лишним тысячи литров на корову, среднесуточный привес мясного скота 600 граммов, урожайность овощей — 400 — 500 центнеров с гектара. Из месяца в месяц «Волго-Дон» дает по 800 тонн молока, 100 тонн мяса, полностью обеспечивая себя кормами. 10 тысяч тонн томатов, 20 тысяч тонн капусты, лук, кабачки, морковь, огурцы.

По интенсивности производства, по производительности «Волго-Дон» остался лидером области и страны. Но все нынешние беды села его не минули.

Летом «Волго-Дон» был должен 1,5 миллиарда рублей. Хотя ему должны были больше: 790 миллионов — покупатели, 550 миллионов — государство, 570 миллионов — переработчики. Арифметика говорит: все в порядке. Но какой прок от денег, которых не отдают годами? И не отдадут.

Но жизнь продолжается. А жизнь — это люди: 2300 работников хозяйства, 700 пенсионеров, их семьи. Всю огромную социальную сферу «Волго-Дон» содержит сам. Жилье, школы, детские учреждения, отопление, газификация, связь, дом быта с парикмахерской, швейной мастерской, ремонтом техники — все содержит хозяйство. Открыли новую баню с сауной. Только на ремонт школы истратили 300 миллионов рублей. Из государственного бюджета «Волго-Дон» ничего не получает, потому что он — сильный, сам справится.

Вот и выходит, что в нынешнее время экономически и чисто житейски быть «Волго-Доном» невыгодно.

Вот она, горькая для страны правда. Если поставить селянина из «Волго-Дона», чьими трудами получен урожай пшеницы в 40 центнеров с гектара, удой на корову почти 5000 литров, а рядом с ним — его собрата, который урожаем отправил под снег, из 140 телят погубил 120, то по внешнему виду никто этих людей не различит: одеты одинаково, и золотых перстней не видно. И домашний достаток у них одинаков: подворье, жилье, мебель. Машинешка одна и та же — побитые «Жигули». И может быть, у хорошего труженика зарплата будет меньше.

Если «Волго-Дон» из своих доходов примерно треть тратит на социальные нужды, то бедолажные хозяйства ничего не тратят. Детские сады они давно закрыли и даже окна-двери повыдергивали. Про баню забыли. О школе да мед-

пункте «нехай государство горится». Оно и «горится», направляя бюджетные средства «бедолагам», а «Волго-Дону» не достанется ничего.

«Волго-Дон» ежедневно поставяет продукцию, а значит, платит немалый НДС и налог на прибыль с тех самых сотен миллионов рублей, которые ему неизвестно когда отдадут. И отчисления в пенсионный фонд. Деньги для этого приходится брать в кредит под знаменитые банковские проценты. А значит, платить за все вдвое и втрое дороже.

Хозяйства же «бедные» почти ничего не производят, а значит, с них и взятки гладки. Они порою зарплату своим людям не платят по полгода и более. И никто от голода не умер, принцип тот же: «Колхоз у нас плохой, а мы живем хорошо». Но, кроме разорительности для страны, для земли, такие хозяйства — еще и дурной, разлагающий пример соседям. Зачем нужны свиноводство, молочное животноводство и мясное, какие-то пары, севообороты, племенное дело — словом, труд и труд? Ведь можно по-другому: «Надеемся, что что-то украдем».

Надеемся... Но на одном из колхозных собраний все же прозвучало горькое:

— А когда воровать уже нечего будет? Как тогда жить?

Как жить?.. «Голубинскому» ли, который потерял всякую надежду, 800 миллионов долгов, миллиард ли... Все равно нет зарплаты, и нет урожая, и дохнет скотина — словом, все наперекосяк. Как жить «Волго-Дону», который уже в сентябре имел 2 или 3 миллиарда долгов? Хотя по бумажным расчетам он вроде бы процветает.

Как жить тем сотням и тысячам хозяйств, которые в «голубинскую» нищету еще не влезли и до «волго-донских» богатств им далеко? Как дальше жить миллионам и миллионам селян-колхозников?

«В 1993 году хозяйствами всех форм собственности было получено только централизованных кредитных ресурсов на сумму 62,7 млрд. руб. Из этого кредита они могут вернуть не более 8,5 млрд. руб.» — цитирую документ областного комитета по сельскому хозяйству — «Состояние сельскохозяйственного производства в области».

Значит, вернули чуть более десятой части. И это в 1993 году, когда погодные условия позволили получить урожай поистине небывалый.

«Потребность же области, — продолжу цитату, — в централизованных капитальных вложениях на 1994 год... составляет 126 млрд. руб. ...» А сколько из них вернут?

Этот документ читал я внимательно, понимая его как программу выхода сельского хозяйства области из нынешнего кризиса, но ничего нового для себя не вычитал, кроме обычного: «Обратиться к президенту РФ... с требованием о необходимости корректировки и изменения курса реформ... изыскать... выделить льготный кредит... установить ставку в размере 25% годовых...»

А вот что делать тем хозяйствам области, которые уже не в состоянии ни вспахать, ни посеять, из программного документа не видно. Что делать «Волго-Дону»?

Строки из письма: «Ассоциация крестьянских хозяйств (бывший колхоз им. ...) просит оказать помощь в реорганизации хозяйства по нижегородскому методу... большинство работников пока не осознали себя настоящими собственниками... в итоге: невысокая производительность труда, низкая рентабельность... правление ассоциации не видит другого пути, кроме глубокого реформирования. Специалисты хозяйства самостоятельно не могут провести эту работу... просим помощи...»

Не называю адресанта. Таких хозяйств нынче немало. И дело не в нижегородском методе. Про опыт нижегородцев авторы письма слышали в «Вестях» по телевидению. Письмо это просто крик отчаяния: «Помогите! Гибнем!» И еще одно немаловажное: «Самостоятельно — не можем... просим помощи».

Какую же помощь им предлагают?

На уровне района: «На базе АО «Советское» провели семинар руководителей хозяйств района и главных зоотехников».

— О чем речь? — спросил я.

— Привесы плохие. По сто граммов в сутки. Это в летнюю пору. Надо поднимать.

— После семинара привесы поднимутся?

— Да, может, совесть проснется.

На уровне области: «Совещание по вопросам животноводства в Елани».

На уровне России: Вице-премьер Заверюха «совершил облет полей области. Посетил одно из лучших хозяйств».

Такие «семинары», «облеты», и даже «лично за штурвалом комбайна», — до боли знакомые картины прошлого. Все учим и учим. «Ученого учить — только портить», «Его учить — вдвое кнут ссучить» — разные пословицы, но верные.

Недавно прочитал я воспоминания старого человека о том, как на хуторе Ильевка в годы коллективизации пытались сделать доброго хозяина. Бедняцкой семье, состоящей из семи душ, людей уже взрослых и живущих в землянке, выделили «кулацкий» просторный дом и корову. Но доброе житье продолжалось недолго, лишь до осени. Не смогли хозяева сена заготовить и дров запастись. Горевать не думали. Корову зарезали и съели. Дом продали, так как его топить «дров не настатишься». Вернулись в прежнюю свою мазанку. Там — теплее.

Сейчас время иное. Но политика очень похожая. Время кнута кончилось. Но всех сделать хорошими хозяевами не удастся, даже если выделить им по хате и по корове. И не помогут 120 миллиардов и даже триллионов рублей, если отдать их нынешним «беднякам», которые сумели из 140 телят сохранить лишь 20, а из 1000 га зерновых всем миром убрали лишь половину. Там самая зрелая идея: «Кому бы землю отдать в аренду?» Чтобы лежать на боку и получать «дивиденд».

Куда же идет нынче наше российское колхозное крестьянство, богатое и бедное, «Волго-Дон» и «Голубинский», «Восход» и «Возрождение»? На мой взгляд, все они идут прямым ходом к государственному капитализму или, если попроще, к прежним совхозам.

В 1993 году в нашей области они из 63 миллиардов кредита вернули лишь десятую часть. В нынешнем 1994 году долги многократно возросли, а возврат будет еще меньше. В 1995 году положение ухудшится, так как летом и осенью 1994-го не было дождей, а значит, озимых хлебов не будет, предстоит пересев, огромная весновспашка.

А если говорить прямо, то возврата кредитов, как прошлых, так и нынешних, *не будет никогда*. Уже в нынешнем, 1994 году государство отсрочит долги, видимо, до двухтысячного года. Другого выхода просто нет. Но долги не отдадут и к трехтысячному году!

Так что лучше списать все уже сейчас, чтобы не морочить голову.

А то, что нынешние кредиты даются под залог колхозного имущества: построек, техники, скота — все это несерьезно. Положим, через год-два «Голубинский» ли, «Восход» объявят банкротом, и государство заберет в свои руки трактора, сеялки, машиноремонтную мастерскую, коровник со стадом. Значит, надо все это содержать, то есть нанимать тех же самых хуторских людей. Словом, на колу мочало, начинай сначала. Это произойдет в том случае, если государство по-прежнему не будет иметь четкой, экономически выверенной программы реорганизации сельского хозяйства.

Но нужны не лозунги. Лозунгов хватает. Один из них — Указ от 27 декабря 1991 года и Постановление правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов». Вот строки из них: «Земли передаются или продаются... на аукционах гражданам и юридическим лицам...»

Предоставить крестьянским хозяйствам право залога земли в банках.

Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженности по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) и подлежат ликвидации и реорганизации в течение первого квартала 1992 года».

И разъяснение правительства: «Мы твердо поддерживаем фермерское движение, рассматриваем его как... будущее сельского хозяйства».

В станице Павловской самым первым и удачливым фермером стал Валентин Степанович Соловьев. Еще в прошлом году он был полон надежд, брал землю у пенсионеров, расширяя свое дело. Но нынче настроение у него иное.

— От пенсионерских паев мне дохода нет, — говорит он. — Я с людьми за этот год рассчитался зерном, сеном, соломой. Они довольны. Но, видимо, придется от них отказаться. Ценовая политика такая, что землей заниматься

невыгодно. Продал я в прошлом году двадцать тонн подсолнечника. На эти деньги купил лишь дизельного топлива, один бензовоз и две бочки масла. Нынешней осенью озимую пшеницу я не стал сеять. Погожу, посмотрю, землю отдавать не буду, в колхоз не вернусь, потому колхозу явная гибель пришла. Но и мне расширять хозяйство, жилы рвать нет резона. Сейчас я со своим зерном, подсолнухом никому не нужен. Привожу зерно на элеватор, а там на меня и не глядят. Так что прошлый мой оптимизм кончился.

На страницах журнала рассказывал я о Шаханове, Чичерове и Ляпине.

Нынче осень 1994 года. У Шаханова в день моего приезда кобель сбежал. «Не выдержал фермерской жизни», — смеется Шаханов. А если всерьез, то проблемы, заботы все те же, что и в первый год: вода, электричество, техника, деньги. Впору бросить все.

Если у Шаханова земли лишь два гектара и навыков крестьянских негусто, то Ляпин — прирожденный механизатор, бывший бригадир полеводства, а Чичеров — бывший совхозный экономист. Работать и считать они умеют. Земля есть. Желания — не занимать. Потому и писал я раньше: мол, скоро вот здесь, на своей земле, у Ванюковой балки поднимутся дома... Три года прошло. Как жили в вагончиках, при керосиновой лампе, так и живут. Электролиния — в далеком проекте. Собирались заняться семеноводством. Тоже деньги нужны. Своих не хватает. А брать кредит под такие высокие проценты не рискуют. Тем более государство расплачивается неаккуратно. И в прошлые годы, и сейчас. Нынче продали 160 тонн пшеницы, получили за нее лишь треть положенного. Остальное неизвестно когда.

В. И. Штепо — бывший директор «Волго-Дона», дважды Герой Труда, нынче — хозяин самостоятельный. Не побоюсь сказать: лучший хозяин в районе. Не я, а главный агроном сельхозуправления, отвечая мне, говорит: «Пары у него лучшие в районе... Всходы лучшие в районе...»

Нынешним летом, 1994 года, В. И. Штепо с сыном и зятем получили 860 тонн пшеницы, 100 тонн ячменя. Как посчитал Виктор Иванович, продав эту пшеницу, можно купить один комбайн «Дон». При условии, что они не будут брать денег на зарплату, на горючее, на все остальные расходы. Словом, живи святым духом, им же кутайся. Тогда на доход от 500 га купишь один комбайн. Можно ли так работать на земле? При такой вот невыносимой экономике? Но В. И. Штепо пока отступить не собирается, не тот человек. И остановиться он не может: ведь трактора и машины не должны зимовать под снегом. Пришлось взять кредит для строительства крытой стоянки, мастерских. Но хватит ли этого кредита? Вряд ли... А проценты? И это у самого Виктора Ивановича Штепо. А что до остальных, скажу: если еще в прошлом, 1993 году, весной, в земельном комитете Калачевского района на мой вопрос: «Кто из фермеров просит еще земли?» — ответили: «Все», то нынче сказали: «Никто. Наоборот. Сдают землю».

Значит, находившались. На собственной шкуре поняли, что все обещания правительства — пустые слова. А на деле — стремление задавить: налогом, прямым обманом в расчете за хлеб, когда задержка платежа на полгода и более сводит на нет все заработанное. Инфляция... Это слово теперь колхозник ли, фермер ли ощутил на собственном опыте.

И еще одно, одинаково страшное для колхозов и для фермеров, — день завтрашний: что завтра в Москве придумают, куда повернут?..

«Колхозы и совхозы... подлежат ликвидации».

«К весне решить вопрос о роспуске...»

«Фермеры страну не накормят!»

«20 процентов хозяйств-банкротов ликвидировать».

То строгие слова указа, то «записка из канцелярии», то вскользь, но отчетливо сказанное перед телевизионным экраном.

А чтобы поверили, год за годом грабеж среди бела дня: зерно, мясо, молоко берем, но деньги заплатим через год, когда кровавым потом заработанный рубль станет копеечкой.

Такие методы — это «китайская пытка», когда раз за разом капля воды бьет по голому темечку.

Последняя многозначительная новость, которая птицей пронеслась по области, «радуя» фермеров: представитель президента попросил составить список лучших коллективных хозяйств области, якобы для того, чтобы распро-

странять их опыт. Всем понятно, что это не его собственная инициатива, в Москве что-то опять придумали...

Так и живем. Хорошо еще, что время от времени нас подбадривают: «положение стабилизировалось», «падение производства прекратилось...». Как тут не почувствовать себя счастливыми?..

Каждый год в пору июльскую, когда поспевают хлеба, еду в Задонье: через мост, недолго — по асфальту на Голубинку, а потом — влево, дорогами полевыми на Липологовский, Фомин-колодец, Осиновский, Большую Голубую и дальше вдоль речки Голубой до самого Дона.

Так было и нынче. Спозаранку выехал, не торопился, останавливаясь там и здесь: на убранном поле озимки, возле низкого ячменя, у ослепительно желтых подсолнухов, глядящих на встающее солнце. На стану уже опытных фермеров Горячева и Железнякова послушал привычное: «Обрубают руки по самые плечи... Зерно, говорят, не нужно... А на технику какие цены!..» Вместе повздыхали. Поехал дальше.

Где-то в девятом часу утра приехал на Фомин-колодец, когда-то хутор Зоричев, он же Лукьянкин. Походил-побродил и стал подниматься на курган, с вершины которого бьет мощная родниковая струя. Еще издали слышен рокот трехметрового водопада. Вот и он: щедро льет сияющую на солнце воду в просторную за годы и века выбитую каменную чашу. Поднялся я выше, вдоль бурливого ручья. Задонская степь. Сухое лето. Выгоревшие травы. И земное чудо: три бормочущих, голосистых ключа, серебряных, чистых, невладанных, как у нас говорят, а значит, врачующих тело и душу.

Стоял я на вершине холма. Просторный Калинов лог огромным распахом лежал предо мной. Внизу зеленели брошенные дикie сады давно умершего хутора. Насколько хватало глаз — поля и степь. Бронзовела озимая пшеница, серебрился ячмень, желтело убранное поле напротив — картина будто красивая, а на душе было горько. И в прошлом году бывал я на этих полях, и ныне их объехал, знал хозяев. Издали, сверху, картина красивая, а вот рядом...

Тоший ячменишко, сорные поля, порой и не поймешь, что сеяли; или все стоит прошлогодняя трава-старник, ее сухие будылья; или как в Липологовской балке, где новый землевладелец, вчерашний овцевод, осенью на непыханные бахчи кинул семена, на укору ответив: «Никуда не денется, вырастет!» Выросло... Только вот что? А много ли лучше поля Бударина, Найденова?.. А ведь вот она — Россось, которая испокон веку была кормилицей всей голубинской округи. Вот она, живая вода, которую где-то ищут, скважины бурят, роют каналы, строят водоводы. А здесь, как говорится, Бог дал, только бери!

В Калаче-на-Дону живет рядом со мною уроженка Фоминколдовского, женщина уже пожилая. Старая мать ее за несколько лет до смерти стала просить:

— Давай вернемся на хутор.

— Куда возвращаться? — ответила ей дочь. — Там нет ничего.

— Все там есть: вода и земля родная, золотая. Они нас прокормят.

Земля родная... Стирается ли твоя позолота?.. Скудеет щедрость твоя?.. А может, хозяина да работника нет? Не о том ли бормочут, спешат рассказать серебряные ключи Фомин-колодца... Но кто их услышит? На многие километры — пустая степь.

Потом я проехал через Осиновку и Осинов лог, где постоянный житель один — большая старая женщина.

В полях — тишина. Редко-редко увидишь комбайн. Встречных машин нет. А ведь хлеба поспели, уборочная страда. Не суeta мне нужна. Но горько глядеть на хлеб, который скоро начнет осыпаться. Горько глядеть на поля, где и осыпаться нечему: сплошной осот.

А потом был хутор Большая Голубая. Этот хутор — единственный в своем крае еще живой и жилой. Табунок детишек резвится на улице. Можно сказать, что Большая Голубая — это последний рубеж. Падет он — безлюдье ляжет на многие десятки верст. Лишь бедолаги фермеры будут по лету копошиться возле вагончиков. «Разбогатевшие», вроде Горячева, начнут саманные дома ставить.

— Здесь родилась, с тринадцати лет пошла трудиться, всю жизнь на колхозной работе. Теперь пришла старость... А что у меня есть? Что за жизнь заработала? — вопрошает моя собеседница. — Нынче печурку во дворе слепила,

как в старые годы. Киззяками топлю. Старик ругается: «Кружишься весь утр, а завтрак никак не сготовишь». Киззяки плохо горят. Дров где найдешь? Газ раньше был, плита, привыкли. На нем — все скоро. Теперь никому не нужны. Лишь хлеб привозят три раза в неделю, с тележки продают; а макарон захочешь, или крупы, или чего из одежды, тогда на тележку просись. Посадят — трясина старые кости пятьдесят верст, до станицы. Трактор тележку тянет. А уж отель — как знаешь. Захвораешь — опять на тележку просись. Тот же трактор, те же пятьдесят верст. Ни фельдшерницы, ни магазина у нас не стало.

Хутор Большая Голубая, Калачевский район. Анна Георгиевна и Виталий Федорович Дьяконовы говорят о жизни:

— На нашем отделении было 4000 га пашни. Хлеба получали по 3 — 4 тысячи тонн. Держали до двенадцати отар овец. Сено заготовливали с естественных угодий и сеяли люцерну, житняк, овес. При новых порядках, когда нас продали «Сельхозводстрою», в первый год собрали 400 тонн зерна, на другой — меньше, а нынче и убирать нечего. 209 га ячменя весной посеяли, его потравил скот соседнего хозяйства. Уборки нет.

Еще один собеседник — Рудольф Генрихович Мокк, беженец из Киргизии, перебравшийся в Большую Голубую в мае 1992 года.

— Мы приехали сюда не наобум, — говорит он. — Сначала жена приезжала, чтобы разузнать о жилье и работе. Нам все было обещано здешним руководством. Сказали, что здесь будут молочное, мясное животноводство, переработка. Нужны люди. Обеспечим жильем. Нас приехало пятнадцать семей. С жильем вроде устроились, хотя пришлось восстанавливать из разбитого. Но сделали, стали работать, жить. Зарботки были очень плохие. А теперь нам сказали: работы совсем нет. И не будет. Получили последнюю получку за май. И все. Я — шофер, сын — тракторист и жена остались без работы. Живем на пенсию тещи. Что я буду делать? Откровенно сказать, не знаю. Я не ожидал, что нас обманут. Почему мы уехали из Киргизии и как уезжали, все бросаю и отдавая за бесенок нажитое, теперь всем известно, не надо и объяснять. Сюда я приехал, потому что мне твердо пообещали главное — работу. Нас обманули. А куда-то еще ехать мы уже не можем. Не на что. Не знаю, как жить...

Хутор Большая Голубая лежит в просторной долине речки с красивым названием — Голубая, которая течет к Дону. До станицы Голубинской, тамошней школы, больницы, сельской администрации, а главное, до асфальта — 50 километров. В дожди, осенью да весеннюю распутицу, в снежные метельные зимы здешняя дорога трудна. До Калача-на-Дону, районного центра, — 80 километров.

Округа Большой Голубой: на многие версты — степь да степь, холмы да балки. Места диковатые, притягивающие своей красотой. Издавна жили здесь люди, занимаясь мясным скотоводством, овцеводством, сеяли хлеб. В прежние годы хутор славился водяными мельницами. Их было пять. Но это — давняя память.

Нынешняя беда к Большой Голубой подкрадывалась давно. Умирали хутора близкие: Осиновский, Зоричев, Тепленький, Евлампиевский. Большая Голубая держалась, но была самым трудным отделением бывшего совхоза «Голубинский», последний же всю жизнь был бельмом на глазу района. Задонье, бездорожье, безлюдье, земля скуповатая.

И потому, когда появилась возможность, здешние земли начали раздавать с облегчением налево и направо: железнодорожникам, корабелам, строителям, летчикам — всем подряд.

Земли Большой Голубой понравились в ту пору мощной организации — волгоградскому тресту «Сельхозводстрой». Ему и передал район большую часть земель, вместе с жильем и работниками. Тогда плохо ли, хорошо, но работали хуторской магазин, фельдшерский пункт, транспортная связь с центральной усадьбой, обеспечивая хуторян необходимыми для жизни услугами, а все это потому, что работали земля и люди. Пусть не с должной эффективностью, но работали, получая хлеб, мясо, шерсть.

Некомпетентные в сельском хозяйстве и в экономике люди задумали создать в Большой Голубой агрофирму со свиноводством, мясным и молочным животноводством, переработкой сельхозпродукции. Они обещали построить дорогу с асфальтом, жилье, производственную базу. Пригласили пятнадцать

семей из Киргизии, обещали им пусть не златые горы, но работу и нормальную жизнь. Люди поверили и приехали. Кое-как их расселили.

Началась новая жизнь у старожилов и у приезжих, с новыми хозяевами. В зерноводстве в первый год получили 400 тонн, во второй — меньше, а нынче убирать нечего. И на будущий год, видимо, также. Пары заросли. Есть трактора, но нет горючего, масла. Вся техника давно стоит.

С животноводством тоже не ладится. Помещений для крупного рогатого скота не было, но приобрели 150 голов симменталок и 150 абердинов. Телят практически не получили.

— Я говорил: не надо спешить, — вспоминает В. Ф. Дьяконов. — Полсотни голов взять, помещения оборудовать, корма заготовить. Тогда видно будет... Симменталок забрали, к осени заберут остальной скот. Животноводство кончится.

— Ремонтной базы нет, техника разваливается, три месяца не получали ни одного литра бензина. Денег не дают, людям платить нечем, — сказал М. И. Чернов, управляющий подсобным хозяйством. — Когда организовывались, обещали все. А получилось...

А получилось горькое. «Сельхозводстрой», в прошлом трест, а ныне, как и все вокруг, предприятие реформированное и акционированное, понял, что Большая Голубая ему не по силам. Часть земли взяли «городские фермеры», работники «Сельхозводстроя». Пахать да сеять, живя в Волгограде, куда как сподручно.

Работникам же в Большой Голубой платили жалкие гроши: по 5 и по 10 тысяч рублей в месяц. Так было в 1993 году, так продолжалось и в 1994-м. Сельскохозяйственное производство практически остановилось. В начале лета из Волгограда пришел приказ о переводе большинства работников в долгосрочный неоплачиваемый отпуск.

Как сказал М. И. Чернов, без работы и без надежды на нее на хуторе остаются около тридцати работоспособных тружеников. Чем сейчас живут? Пенсиями своих стариков. И в семье Мокка, и в семье Сердюка, и у всех других надежда теперь лишь на пенсии дедов да бабок, но не на руки свои. Ну еще — огород, корова, десяток кур.

Когда я спросил у районной администрации, что думают они о судьбе хуторян далекого селения, мне ответили: «Пусть берут землю и работают».

Что ж, как говорится, в духе времени. Волгоградские хозяева Большой Голубой в нынешнем году объявили своим работникам, что каждый может взять землю и хозяйствовать на ней. Если бы этот ход удался, то «Сельхозводстрой» разом решил бы все проблемы. Они себя землей уже обеспечили. Осталось — избавиться от людей, от поселка, от плохих земель.

Агитацию провели, в райцентре объявили, заявления были написаны, представитель земельного комитета приезжал, и даже все бумаги готовы. Словом, берите и владейте. Но не едут, не берут. Как сказал один из них: «Мы реалисты, предлагают мне на семью 170 га плохой земли, мела. От хутора далеко. Техники у меня — лопата да мотыга».

— Будем обрабатывать вашу землю своей техникой, — сказали в «Сельхозводстрое». — Плата по льготному тарифу.

— Это сказки... — вздохнули люди. — Видим мы эту технику. Она возле наших дворов стоит. Чтобы хлеб привезти, горючего нет. Какая уж обработка земли.

Избавиться от работников путем перевода их в фермеры не удалось. Стали их практически увольнять: долгосрочный неоплачиваемый отпуск. 50 километров до станицы, 80 — до райцентра, 140 до Волгограда. Куда подаваться?

Фельдшерница уехала, похоронена хуторская медицина. Закрыли магазин. Теперь людей лишили работы. Что будет дальше, совершенно ясно: люди должны покинуть хутор. Уже начали покидать. А хутор разделит судьбу тех горьких селений, которые когда-то были рядом: Тепленький, Зоричев, Осиновский, Евлампиевский. Их не счесть. А умер хутор — значит, умирает земля. Никакими десантами с центральной усадьбы, никакими фермерами из Волгограда ее не оживишь. Вон они — и все хорошие люди — в Осиновском и Фомин-колodge, в Евлампиевском, в Большом Набатове. Юристы, летчики, рыбаки... Порою честные, старательные, только жалко на них глядеть. А на

землю, которая уже забывает шелест хлебных колосьев и снова превращается в Дикую степь, смотреть и горько и страшно...

Окрестные хутора уже погибли. И восстанут ли? Большая Голубая выжила в самые трудные годы, хотя, конечно, должна была умереть. Но выжила. Честь ей!

— Я жене сто раз говорил: уедем, пока в силах. А она твердит: родная земля, здесь родилась, здесь могилки... — жалуется В. Ф. Дьяконов.

Он жалуется, а я низко кланяюсь Анне Георгиевне и готов целовать ее тяжелые черные руки, которые спасли эту землю, этот хутор.

— С тринадцати лет работаю... Теперь нас кинули. Пенсию получаем. Но деньги не будешь грызть. А сил уже нет...

Хутору Большая Голубая помогло наше общее большое несчастье: развал страны и горе миллионов беженцев. Пятнадцать семей приехало на хутор. Не какие-нибудь «перелетные», не условно освобожденные, за какими милиционера нужно приставлять, а рабочие, трудовые семьи, которым цены нет. К их беде, к их нелегкой судьбе отнестись бы сочувственно, тем более что они приехали сюда, поверив обещаниям руководителей «Сельхозводстроя».

Теперь они без работы.

Из разговора в районной службе занятости:

— Если они принесут нам трудовые книжки со статьей об увольнении, мы будем платить им по четырнадцать тысяч. Но два раза в месяц они должны приезжать и отмечаться.

(Пояснение от автора. Этим четырнадцать тысяч рублей хватит как раз для двух поездок в райцентр.)

— А может быть, мы организуем там новое производство с рабочими местами...

(Снова мои комментарии. Очень трудно будет «организовать новое», лучше не рушить старое.)

Из разговора в районной администрации:

— Там — сплошные убытки. Там — растащили скот. Там — запустили земли.

(И снова мои комментарии. Кто запустил землю? Кто развалил производство? «Плохой» народ или «хорошие» руководители?)

Ведь на той же земле получали самые высокие в совхозе «Голубинский» урожай ячменя. С тем же «народом».

За погубленную человеческую жизнь судят высшей мерой. Как же надо судить за погубленный хутор?!

Каждый погибший хутор, селение — это наш шаг отступления с родной земли. Мы давно отступаем, сдавая за рубежом рубеж. Похоронным звоном звучат имена ушедших: Зоричев, Липологовский, Липолебедевский, Тепленький, Вороновский, Соловьи. Края калачевские, голубинские, филоновские, урюпинские, нехаевские — донская, русская земля.

Не провели семь ли, двадцать километров дороги... Закрыли магазин. Не захотели возить детей в школу. Пожалели копейку для фельдшера, а для учителя — литр молока. Обидели невниманием старых. «Реформировали».

И вот уже разошелся хутор. Умирает земля: на Россоши, на Саранском, в Зимовниках, на Козинке — на щедром, дорогом сердцу поле — вместо пшеницы поднялся седой осот да желтеет сурепка; и говорливую речку, Быстрицу ли, Панику, Ворчунку, полонит камыш, а пруд зарастает тиной и ряской. Так умирает Вихляевский ли, Помалин или милый Кузнечиков. Так постепенно умирает родина, у каждого она малая, своя, но для всех одна.

Уходим. Бросаем за хутором хутор, оставляя на поруганье могилы отцов и дедов.

Сколько будет длиться этот позорный марш отступления? Ведь уже вслух говорят и кричат, что не мы, а иные народы — хозяева донской степи, нашей матери.

Не ведают, что говорят. А мы ведаем, что творим?!

Хутор Большая Голубая.
Осень 1994 г.

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ КЛЯМКИН

*

НОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ НОВАЯ ДИКТАТУРА?

Эта работа подготовлена на основе газетных статей, опубликованных мной в июне — ноябре 1994 года (значительная часть материала в них не вошла). Почти все они написаны по горячим следам событий и потому, собранные вместе, могут рассматриваться скорее как политический дневник, а не как единый, цельный текст. Эти заметки связывает лишь одно: поиск демократической альтернативы тому варианту общественного развития, что осуществлялся в последние годы и под которым была подведена историческая черта войной в Чечне. В работе использованы данные социологических опросов, проведенных в 1994 году фондом «Общественное мнение».

Реформа — это модернизация элит

В начале перестройки были популярны два мнения о природе собственности при «развитом социализме». Первое сводилось к тому, что собственность ничья, хозяина у нее нет: она не частная (что не требовало доказательств), но и не государственная, поскольку государство не выступает полноценным и рачительным распорядителем. Надо, чтобы собственность обрела хозяина, — и все будет в порядке. Теперь эту слабую версию (так не бывает, чтобы собственника не было вообще) все, кажется, благополучно забыли.

Зато вторая, согласно которой собственником при социализме выступает номенклатура, в последнее время получила популярность и дальнейшее развитие применительно к реалиям постсоветского общества. В данном случае предполагается, что отношения собственности за последние три года не изменились или почти не изменились: номенклатура, бюрократия как была, так и осталась коллективным хозяином. Приватизация же — не что иное, как узаконение, легализация этого права собственника: отсюда термин «номенклатурная приватизация». Многие авторы подчеркивают теневой, криминальный характер такой собственности, тесную связь ее владельцев с мафией, их неспособность к хозяйствованию в условиях свободной и открытой рыночной экономики.

Мне, однако, такое объяснение происходящего кажется явно недостаточным. Во-первых, здесь нет ответа на вопрос, почему этот коллективный собственник оказался таким плохим собственником. Слова типа «номенклатура» и «бюрократия», как бы к ним ни относиться и каким бы «антинародным» смыслом их ни наполнять, сами по себе ничего не объясняют: любой собственник прежде всего заботится о сохранении и приумножении своего богатства. Во-вторых (и это главное), сторонники такой позиции упускают из виду, что даже при Брежнев отнюдь не вся экономическая система функционировала по законам криминального черного рынка. Как раз военно-промышленный комплекс — основа экономики — подчинялся совершенно иным принципам. Советская военная промышленность должна была выдерживать конкуренцию с Западом, так что она-то как раз работала, если угодно, в своего рода конкурентном режиме. К предприятиям ВПК государство относилось как к настоящей собственности, о ней заботились, ее приумножали. Все же остальное рассматривалось как периферия, призванная всего лишь к тому, чтобы создавать условия для существования и развития ВПК. Поэтому на периферии к

концу коммунистической эпохи царил полуразвал, ее действительно разграбляла, растаскивала, бездарно проматывала тогдашняя партийно-государственная номенклатура.

Когда экономический потенциал этой периферии (сначала деревня, а потом и нефтедоллары) стал иссякать, когда обнаружилось, что в самый ответственный период, отмеченный новым военно-технологическим вызовом Запада, перекачивать в ВПК средства становится просто не из чего и нужно положить предел растаскиванию «ничейного», — вот тут-то и началась перестройка. Содержанием последней, независимо от того, насколько сознавали это ее инициаторы, были перемены в экономике за пределами «оборонки», чтобы сохранить то главное, что оставалось становым хребтом государственности. Отсюда такая сравнительно легкая и быстрая деидеологизация: когда генералы от ВПК увидели, что коммунистическая идея их целям больше не служит, они спокойно и безболезненно от нее отказались. Они готовы были принять любую идеологию во имя спасения настоящей собственности. Социологи времен начала перестройки подтверждали: работники «оборонки» были в числе самых активных сторонников новых идей. А по нашим данным, даже в начале гайдаровской реформы у «оборонщиков» были некоторые романтические иллюзии насчет того, что быстрые перемены экономической периферии дадут им средства для укрепления и развития своих предприятий. Во всяком случае, именно в этом слое примерно до мая 1992-го удерживался самый высокий рейтинг фермера как человека, который призван спасти Россию.

Однако очень быстро обнаружилось, что система социалистической экономики была достаточно цельной, и потому трансформация гражданских отраслей оказалась не трансформацией, а разрушением. Думается, объективно задача гайдаровской реформы как раз и сводилась к разрушению прежней хозяйственной периферии. Хотя внешне это выглядело разрушением ВПК (но он-то как раз разрушен не был) и попыткой оживить то, что находилось за его пределами, передав в руки другого собственника. На самом же деле 1992 год продолжил то, что было начато в 1987-м законом «О государственном предприятии», то есть изъятие предприятий гражданских отраслей из рук бюрократии.

Повторяю, этот процесс до некоторой степени затронул и ВПК¹, но все же главное здесь — попытка сменить собственника на периферии, сохранив ядро. К кому же переместилась собственность? Неверно, что она осталась у госноменклатуры. Сегодня реальными собственниками все больше оказываются директора. В первую очередь это касается приватизированных предприятий: директора скупают ваучеры через подставных лиц, умело навязывают «свой» вариант приватизации, успешно используют многие другие приемы. Но и на предприятиях, номинально остающихся государственными, директор фактически стал полновластным собственником. Бывает, правда, и так, что значительная часть акций предприятий (прежде всего это касается предприятий крупных) принадлежит частным компаниям, но они лишены возможности подбирать кандидатуры на должности управляющих, то есть все тех же директоров. В данном случае отношения собственности выглядят более сложными и запутанными, но суть их примерно та же. Директор здесь выступает представителем одного из держателей акций (государства), но реальной ответственности за эффективность работы предприятия не несет, а возможности распоряжения собственностью имеет практически неограниченные. Так что даже в этом случае говорить о том, что в отношениях собственности ничего не изменилось, на мой взгляд, было бы неправильно: произошло частичное перемещение собственности от одного слоя к другому, появился новый собственник.

Другое дело, что и он оказался не успешнее прежнего. Главная проблема — проблема эффективного управления экономикой — осталась нерешенной. Не появилось, соответственно, и дополнительных ресурсов для прокорма «оборонки». И дело не только в том, что директора плохи или неопытны. Вся

¹ Это проявилось и в том, что «оборонка», тщательно оберегаемая до того от криминализации, постепенно начала осваивать правила игры на черном рынке. Первым симптомом здесь стало появление еще при Рыжкове знаменитого кооператива «АНТ», деятельность которого вызвала один из самых громких политических скандалов того времени. (Здесь и далее примечания автора.)

система, с ее отраслевой структурой, с генетическим монополизмом, просто не могла функционировать как рыночная.

Следовательно, проблема эффективного собственника по-прежнему остается проблемой. Предполагается, что новый собственник должен появиться на новом этапе приватизации. Кто же заявит свои претензии на эту роль? В данном отношении мне представляется очень характерным и глубоко не случайным конфликт Лужкова с Чубайсом.

Местные власти чувствуют себя несправедливо обойденными на первом этапе приватизации. Несостоятельность директоров, неспособность обеспечить занятость и нормальные доходы своим работникам приходится волевым решением расхлебывать местной администрации. Она должна обеспечивать помощь социально незащищенным, ей приходится справляться со стихийными протестами и забастовками, наконец, службы занятости тоже в ее ведении. А региональные бюджеты маломощны, налоги те самые предприятия, как могут, зажимают, федеральные власти изымают то небольшое, что удается собрать...

В начале 1992 года, когда мы начинали наш мониторинг общественного мнения, среди представителей региональных управленческих элит ориентации были вполне традиционными: директоров предприятий они рассматривали как «своих», а предпринимателей, «новых русских», как чуждых. Но по мере осуществления ваучерной приватизации наметился сдвиг: в последние месяцы предприниматель в глазах многих представителей местной бюрократии стал выглядеть предпочтительней директора; «номенклатура» начала усматривать в последнем своего конкурента. На вопрос о том, кто выиграл в ходе приватизации, все большая часть региональной чиновничьей элиты отвечает: директорский корпус. В то же время складываются союзы местных властей с банковскими, коммерческими структурами — теми, кто жаждет потеснить нового крупного собственника-директора и кто успел накопить капитал, в котором так нуждаются местные власти.

Претензии на право устанавливать у себя свой порядок приватизации заявлялись с мест систематически. Однако подобного рода инициативы принимаются только от национальных республик — им дозволяется и налоги не платить, и проводить собственную экономическую политику. Это считается как бы платой за стабильность. А когда русские регионы вроде Урала предпринимают что-то подобное, центр поднимает шум о «сепаратизме».

Но жажду самостоятельности и расширения прав, исходящую от московского мэра, сепаратизмом назвать трудно. Не заподозришь же Москву в желании отделиться от России! Поэтому Лужков как борец за права региональной элиты наименее уязвим. Требования его все те же: дайте нам возможность «учесть местные особенности», дайте право распоряжаться собственностью — у нас получится, во всяком случае, не хуже, чем у нынешних хозяев.

То, что Ельцин принял сторону Лужкова в этом вопросе, думается, симптоматично. Речь идет о признании новой роли местной номенклатуры на новом этапе приватизации и новом этапе общественного развития. Именно региональная бюрократия со своими потребностями и возможностями выходит теперь на первый план.

Опорой для нее, во всяком случае на первых порах, послужит и недовольство населения ваучерной приватизацией. По нашим опросам, прослеживается неактивное, но бесспорное ее отторжение. Сегодня всем ясно, что сама провозглашенная цель — сделать всех собственниками (я имею в виду не замыслы реформаторов, а пропагандистское оформление ваучера) — была утопией. Причем, добавлю, утопией явно устаревшей, утопией, которая работала (все равно как утопия, но как конструктивная, мобилизующая) в XVIII веке, в доиндустриальную эпоху, когда крестьяне, составлявшие большинство населения, могли усматривать в этой утопии конкретный и совсем не утопический смысл.

Многие изначально отнеслись к ваучерам скептически. У тех же, кто связывал с ними известные надежды, завершение ваучерной приватизации ничего, кроме разочарования, породить не могло.

К тому же по-прежнему остается нерешенным вопрос о финансировании оборонного комплекса. Отмахнуться от этой задачи в России не сможет ни одна власть. ВПК, безусловно, был огромной паразитической корпорацией. Расходы на него по сей день превышают пределы разумной достаточности. Но

до сих пор так и не ясно, какая его часть должна быть ликвидирована, какую надо оставить и обеспечить ее модернизацию, а главное — какие для этого требуются средства и где их взять: разваленная хозяйственная периферия источником их поступления не стала, а пришедшие на смену нефтедолларам доллары, получаемые от продажи газа, нужны всем, а не одной лишь «оборонке». Между тем ее полный развал может вообще поставить под сомнение российскую государственность. Россия как ядерная держава вынуждена постоянно модернизировать свой военно-технологический потенциал. Это требует соответствующих инвестиций и в науку, и в военное производство, и в поддержание высокого статуса работников ВПК. В противном случае Россия утратит свое место и роль в мире и, возможно, сама окажется на грани развала.

Так вот, готовность Совета Федерации (являющего собой в значительной степени собрание глав местных администраций) удовлетворить запросы «оборонщиков» как раз и говорит о том, что региональные элиты хотели бы не просто урвать свой кусок при дележке собственности, но и принять ответственность за решение общенациональных задач. Областная и региональная номенклатура, потребовав утвердить военный бюджет в объеме требований лоббистов армии и ВПК, тем самым заявила, что у нее есть серьезная претензия определять военную стратегию государственного развития. Насколько основательна подобная претензия — вопрос другой, но то, что она проявляется, — это факт. Впрочем, проявляется она пока достаточно своеобразно: деньги на поддержку ВПК просятся до того, как решен вопрос о том, какую его часть надо демонтировать, а какую — развивать; региональные элиты оказываются тем самым рупором федеральных ведомств, интерес которых заключается в том, чтобы сохранить все, что можно сохранить. Но — не только рупором. ВПК — это рабочие места, и потому региональная бюрократия тоже заинтересована в деньгах для оборонных предприятий независимо от того, что те производят. И это совпадение интересов в сохранении паразитической корпорации, отчетливо обозначившееся в Совете Федерации, не может не тревожить. Особенно с учетом усиливающегося влияния местных элит на принятие решений в центре.

Надо сказать, что само возникновение Совета Федерации весьма выгодно региональной бюрократии. Не исключено, что в дальнейшем этот орган будет играть большую роль, чем Дума, разочарование в которой стало очевидно буквально через два-три месяца после выборов. В российской традиции вообще игнорировать представительную власть, не считать властью тех, кто «болтает», а не «распоряжается». Не то Совет Федерации. Здесь собрались распорядители. Через Совет Федерации как раз и восстанавливается утраченное в последние годы влияние местной бюрократии на принятие решений в центре, осуществлявшееся ранее через такой институт партийного представительства, как ЦК КПСС.

Как оценивать этот процесс? Окрестить все происходящее «номенклатурными играми»? Призывать к новой, на сей раз «подлинно народной», приватизации? Прежде всего, наверное, надо исходить из того, что любая реформа, в отличие от революции, — это в первую очередь модернизация элит. Правящий слой обновился, как говорят, на 20 — 25 процентов. Это много или мало? Это примерно столько, сколько и могло быть при эволюционных переменах на протяжении минувших лет. Если старая система принципиально исключала существование каких-либо контрэлит, то откуда же за два-три года появится новый управленческий слой?

Разумеется, описывать происходящее в понятиях демократического общества было бы нелепо: у нас еще, строго говоря, не было демократии, а на политической сцене не было демократов. Но даже самая беспощадная критика «номенклатуры» и «бюрократии» сама по себе демократии нам не прибавит. Критиковать то, что происходит, с позиций либерализма и демократии не только можно, но и необходимо. Но честная критика должна ответить при этом на два вопроса. Во-первых, кто и что должен сделать, чтобы реформа развивалась не по номенклатурному, а по демократическому сценарию. Во-вторых, возможно ли это сделать сегодня. Если же ответов на эти вопросы нет (а их, к сожалению, нет), то какой смысл в такого рода критике?

Демократия в России — третья волна кризиса

Возможно, не всеми до конца осознано: после событий 4 октября 1993 года прежнее деление на «демократов» и «недемократов» потеряло смысл. Эта терминология до сих пор по инерции иногда употребляется, но она уже лишена политического содержания. Подобное размежевание отражало прежние представления о демократах как об антикоммунистах. Идея демократии в тот момент выступала как консолидирующая антикоммунистическая. Коммунизм действительно несовместим с демократией, и в этом смысле борьба против первого была борьбой за утверждение второй.

Но демократия не сводится к противостоянию коммунизму. И вообще не сводится к «отрицательным» характеристикам. Реальная демократия — это представительство интересов, всеобщее и равное избирательное право, разделение властей и многое другое, о чем сегодня хорошо известно в России.

В период между 4 октября и декабрьскими выборами была предпринята отчаянная попытка искусственно удержать в общественном сознании прежнее представление о демократии. В ход пошел до того несколько раз безотказно сработавший прием: избирателям пытались объяснить, что тот, кто не за «демократов», тот за коммунистов. В результате же, как известно, больше всех голосов собрала партия, выступавшая одновременно и против коммунистов, и против «демократов» (как бывших коммунистов), что стало убедительным доказательством того, что времена изменились.

Развитие российской демократии до сих пор представляло собой развитие... кризиса демократии. Сейчас можно говорить о третьем этапе становления демократии и — соответственно — о третьей волне кризиса. Первая была вызвана тем, что идея демократии пришла к нам необычным путем. Лидеры КПСС пытались ввести некоторые ее атрибуты, в частности, элементы парламентаризма, «не поступаясь» при этом прежней ролью коммунистической партии и не покушаясь на основы государственной командной экономики, которая с демократией несовместима. Горбачева за это много критиковали, продолжают критиковать и теперь. Его попрекали тем, что, не в пример иным социалистическим государствам, где компартия, не теряя рычагов управления, вводила элементы рыночной экономики, а затем уже, если условия позволяли, поэтапно переходила (а если не позволяли, то и не переходила) к демократии, он начал сразу с политической либерализации. Ссылались, в частности, на Венгрию, на Китай.

Я считал и считаю эту критику легковесной и неосновательной. Российская экономика — в отличие от большинства восточноевропейских стран, а тем более Китая — не имела внутренних ресурсов реформирования. Единственное, что можно было сделать и что попытался сделать Горбачев, — привлечь к процессу преобразований внешние по отношению к правящему слою силы, силы общества. Вот для чего понадобились некоторые элементы демократии. А платой за их введение оказался распад страны, распад СССР. Если рассуждать здраво и не тенденциозно, ликвидация Союза стала следствием не Беловежской пуши, не августа 1991-го, не интриг и козней прибалтийских, украинских и прочих националистов, а следствием демократизации советского общества. В этом суть кризиса первого этапа — в несовместимости коммунизма и демократии. Хронологически он охватывает период с весны 1989-го (время первых относительно свободных выборов) до августа 1991-го.

Вторая волна кризиса — с августа 1991-го по октябрь 1993-го — связана с тем, что парламентаризм на данном этапе развивался в советской форме. Всевластие КПСС было уже ликвидировано, но всевластие советов сохранялось. Отсюда ставшее роковым противоречие двух статей Конституции, одна из которых утверждала разделение властей, а другая — всевластие одного из институтов власти (съезда народных депутатов). В октябре 1993-го в результате роспуска советов под советской формой парламентаризма была подведена историческая черта.

Значит ли это, что тогда же, в октябре 1993 года, началась эра демократии? Нет, мы и сегодня к ней не ближе, чем были два года назад. И дело не только в том, что новая Конституция отодвинула парламент на второй план, лишив его возможности существенно влиять на принятие политических реше-

ний. Главное в том, что президентская и правительственная вертикали не работают; очень быстро выяснилось, что даже колоссальные полномочия, предоставленные им Конституцией, сами по себе ничего не решают или решают очень мало. Не получается, строго говоря, ни демократии, ни — вопреки многочисленным утверждениям — авторитарного режима: достаточно напомнить, что многочисленные (больше тысячи с начала года) президентские указы, как правило, не выполняются, их воздействие на общество очень невелико. Если к сказанному добавить, что сами эти указы порой тяготеют к выходу за границу конституционного поля (указ, касающийся борьбы с бандитизмом, — самый яркий, но не единственный пример такого рода), то вывод о продолжающемся кризисе нашей демократии вряд ли можно будет поставить под сомнение.

Наконец (и это едва ли не главное), не функционирует и третья ветвь власти: судебная-правовая система. Более чем показательное, что никак не получается доизбрать и сформировать Конституционный суд. Не получается, потому что на всех уровнях политические соображения преобладают над правовыми и профессиональными. Каждая из сторон стремится протолкнуть «своего», все уверены, что свои решения Конституционный суд будет принимать исходя из партийно-политической, а не юридической логики. Но если даже представить, что состав этого суда наконец утвержден и он начал работать, то мы сразу можем получить его раскол в оценке того же указа «О борьбе с бандитизмом». Или — другой вариант развития событий — в случае признания его неконституционным возникнет конфликт между президентом (и стоящими за ним силовыми структурами) и другими ветвями власти.

Почему же так случилось, что наша демократия, едва успев родиться и не успев утвердиться, оказалась в перманентном кризисе? Потому, что мы начали свой путь так, как никто никогда и нигде не начинал. Никто до нас не пытался войти в цивилизованное сообщество, начав движение с практического воплощения идеи демократии. Последняя была обычно не предпосылкой, а следствием, ответом на вызовы времени, поиском гармонии в обществе, состоящем из свободных собственников и наемных работников. Причем демократия (я имею в виду в данном случае всеобщее избирательное право) призвана была обслуживать как раз *не*-собственников, гарантировать их права. В этом смысле современная демократия возникает много позже, чем капиталистическая частная собственность. Известно, что в Европе, скажем, она утвердилась в конце XIX столетия.

У нас же демократия возникла как воля большинства, направленная не на отстаивание прав несобственников против собственников, а на отстаивание прав всех против государства. Мы попробовали соединить в одной исторической точке идею индивидуальной свободы и идею представительства интересов большинства, не имея ни свободных собственников, ни граждан. Это позволило избавиться от коммунизма, но дальше демократия оказалась без дела: она продолжала существовать, в то время как ее функция становилась все менее понятной. Поэтому люди теряют к ней интерес и перестают ходить на выборы. Поэтому «демократов» воспринимают как новый правящий слой, который занял место прежнего и от которого ждут того же самого, что ждали от прежнего. Свободные выборы сами по себе ничего не изменили и изменить не могли; отношения между обществом и властью остались такими же (или почти такими же), как были. И пока государство, собственность и наемный труд не отделились друг от друга, принципиально ничего не изменится: наша демократия будет находиться в состоянии хронического кризиса.

Разумеется, некоторое перераспределение собственности на предыдущем этапе уже произошло — это очевидно. Но не решена едва ли не главная задача — задача формирования собственника-управляющего. А раз она не решена, раз общество не знает ответственного и компетентного собственника, способного работать в конкурентной среде, нет и не может быть ни гражданского общества, ни демократии. Не может быть и оформленных трудовых отношений. Нынешние профсоюзы, в том числе и свободные, при всей их позитивной роли не выполняют собственно профсоюзных функций — расширения прав наемного работника за счет собственника; они вынуждены заниматься несвойственным им выяснением экономических отношений с государством. Пока нет ответственного собственника, нет и объекта борьбы. И людям очень

трудно объяснить, зачем им нужны демократия, избирательное право, свободные выборы и другие вещи, о которых еще совсем недавно можно было только мечтать.

Ни одна власть не сможет уйти сегодня в России от вопроса о собственнике. Но какой может быть идеология этой власти? И каковы здесь шансы идеи демократии? С одной стороны, по нашим данным, облик «демократов» и «демократии» как политической ценности в глазах общества потускнел. С другой — никакой другой консолидирующей идеи в России сегодня нет. Русская этническая идея на это место пока реально не претендует. Пик ее популярности пришелся на конец 1993 года, и с тех пор число ее сторонников больше не увеличивается (по крайней мере пока).

Самым популярным словом из политического словаря, как это ни покажется странным, по-прежнему остается «демократия». Все дело, однако, в том, что людей, находящихся у власти, большинство населения с этим словом уже не ассоциирует. Даже Ельцина считают демократом меньше трети опрошенных; больше половины уже не признают за ним право называться таковым. И едва ли не главную роль сыграло здесь неприятие обществом использования армии при штурме «Белого дома»: даже среди нынешних сторонников президента осуждают эту акцию свыше половины (одобряет лишь четвертая часть). Кстати, именно после 4 октября число тех, кто желает отставки Ельцина, впервые превысило долю тех, кто ее не желает. Если в начале сентября 1993 года за отставку выступил 31 процент опрошенных, а 39 — против, то после 4 октября стало соответственно 40 и 29 процентов.

Таким образом, нельзя исключать, что любовь к демократии при нелюбви к «демократам» приведет к новому размежеванию: не просто «демократы» и «антидемократы», а демократы «подлинные» и «неподлинные». Если оно возникнет, то сыграет не последнюю роль на предстоящих выборах. Правда, для этого сами выборы должны еще состояться. Разумеется, новая политическая элита, укрепившая свои позиции, очень не хотела бы их допустить. Зачем ей позволять «толпе» ставить над собой того, кого та сочтет нужным? Тем более что в нынешней обстановке (и декабрьские выборы тому подтверждение) могут поставить кого угодно. Поэтому и инициативы депутата Исакова, и заявления спикера Шумейко — не случайные обмолвки, а серьезные пробные камушки. Но избиратель, не успевший окончательно разувериться в демократии, своими правами поступаться не хочет (наши опросы показывают, что идею переноса сроков выборов поддерживает явное меньшинство). Вопрос, следовательно, сводится к тому, будет ли политическое развитие в ближайшие годы происходить при участии общества или бюрократии удастся его отстранить. Но в любом случае до решения проблемы собственника кризис демократии и — шире — кризис власти не будет преодолен.

Июль 1994 г.

Власть формирует потребитель

Исход президентской гонки на Украине удивил многих. Но даже для нашего богатого политическими сюрпризами времени результаты президентских выборов в Белоруссии — событие, прямо скажем, незаурядное.

Нельзя сказать, что мы ничего похожего не наблюдали раньше. Уже не раз бывало (скажем, в Грузии, Азербайджане), что в борьбу за голоса избирателей включается человек пусть не совсем извне большой политики (это Жириновский совсем извне, а Лукашенко все же депутат), но явно не из первого ряда, — и всех побеждает. Причем побеждает опять-таки не как Жириновский, за которого проголосовало лишь около 13 процентов списочного состава избирателей, а почти абсолютно. Но еще не было такого случая, чтобы на президентских выборах избиратели отдали предпочтение политическому деятелю, сочетающему откровенный популизм времен борьбы с коммунизмом (у Лукашенко это обещание разом разделаться с мафией и коррупцией) и столь откровенную реставраторскую идеологию.

Происшедшее в Белоруссии может интересовать с двух точек зрения. Во-первых, предстоит разобраться, почему так получилось, в чем причина этого: в

специфических условиях Белоруссии или тут впервые проявились какие-то общие особенности постсоветского развития. Во-вторых, есть ли основания ожидать, что такой ход событий может повториться в России и других государствах, образовавшихся на месте бывшего СССР?

Думаю, спрос на деятелей типа Лукашенко не случаен, у него достаточно глубокие корни в природе того особого человека, который успел сформироваться за семьдесят с лишним лет советской власти.

В глазах этого человека к концу брежневского правления преобладающими стали ценности частной жизни, благополучия семьи. Разумеется, коммунистический режим ни к чему такому не стремился. Наоборот, это произошло вопреки установкам режима, который требовал личное подчинять общественному или, на худой конец, считать последнее более важным, чем первое. Но это произошло. Причудливая логика истории проявилась в том, что Сталин, расправившись в конце 20-х годов с сельской общиной (она, как известно, продержалась до 1927 года), на свой манер довершил то дело, которое начал в свое время Столыпин ради совершенно иных исторических целей. Но итогом этого стало не утверждение независимого земельного (и не только земельного) собственника, а замыкание каждого человека непосредственно на государство, без каких-либо промежуточных инстанций. Это была предельная атомизация людей с одновременной попыткой их предельного огосударствления. Но попытка не удалась. Государство не сумело (и не могло суметь) довести огосударствление до конца, и ему ничего не оставалось, как начать этого человека отпускать, предоставлять самому себе.

К моменту перестройки советский человек успел сложиться как явление в своем роде уникальное. Худо-бедно ему были созданы более или менее сносные условия для автономного существования: пусть плохонькие, но отдельные квартиры с минимумом необходимых удобств; он успел обзавестись холодильником, телевизором, бытовой техникой. То есть это был нормальный обыватель с установкой на индивидуальное потребление, на частную жизнь. Но... живущий в обществе без частной собственности. Поэтому весь его индивидуализм, вся готовность к конкуренции исчерпывались сферой потребления. Все, что связано с производством и его совершенствованием, вопреки официальной идеологии, ориентировавшей на «героический труд во имя...», оказалось достаточно далеко от его личных интересов.

Вместе с тем зависимость советских людей от государства по-прежнему была очень велика. Наш «частный человек» именно от государства привык получать определенный набор благ: ту же квартиру практически бесплатно, медицинское обслуживание, образование, не говоря уж о зарплате. По нашим данным, две трети россиян и сегодня считают, что даже в том случае, если гражданин не платит налоги, государство обязано о нем заботиться. Западный индивидуалист полагает, что государство перед ним в долгу потому и постольку, поскольку он его содержит. Наш же человек воспринимает государство как некую внешнюю силу, обладающую по отношению к нему определенными фиксированными обязательствами.

И вот такому человеку, не традиционно общинному, но и не западному, такому анархически-потребительскому индивидуалисту, государство вдруг заявляет, что отныне он должен заботиться о себе прежде всего сам. Ему предоставили относительную свободу (а он не очень-то и ощущал, что ему ее не хватает), но — вместе с ответственностью. Естественно, он начинает бунтовать. Бунтует же он так, как только и может бунтовать частный потребитель, лишенный и собственности, и организаций, стоящих на защите его интересов. Он бунтует, уединившись в избирательной кабине. Именно такое голосование оказалось удивительно созвучным психологии частного человека, обособившегося от государства политически и идеологически, не желающего ради него чем-то жертвовать и — одновременно — зависимого от него социально и экономически. Этот человек по-прежнему боится «начальства», не любит и не уважает его. И по-прежнему не мыслит себя без опеки с его стороны. Поэтому он ищет в эшелонах власти (больше ему искать негде) такого деятеля, которого он мог бы считать «своим», ищет, иными словами, такого же, как он сам, бунтаря-индивидуалиста в среде самого «начальства». Такого, который

был бы «из них», но одновременно «против них». В России Ельцин стал президентом именно на этой волне.

Вскоре, однако, наступает разочарование. Оказывается, что этот «свой» обещания выполнить не может. Наоборот, государство все больше самоустраняется от опеки частного человека. Вот тогда-то и возникает спрос на «со всем своего», который тем привлекательней, чем меньше похож на политика. Так поднимается Жириновский. Однако пережитое разочарование чаще проявляется все же иначе: невыполненные обещания научили наших сограждан осторожнее относиться к обещаниям вообще, особенно — к обещаниям легко и быстро решить все их проблемы. Поэтому все больше людей предпочитают не искать очередного спасителя, а вообще самоустраниться от участия в формировании власти. По нашим данным, среди не принявших участия в декабрьских выборах треть — это те, кто в 1991-м голосовал за Ельцина. Если учесть, что половина не голосовавших в декабре 1993 года не голосовала и в июне 1991-го, то нетрудно понять, за счет кого сокращается численность активных избирателей. Она сокращается за счет тех, кто несколько лет назад поверил в «демократов».

Но раз так, то не того, быть может, надо опасаться, что наш частный человек приведет к власти Жириновского или кого-то на него похожего, а того, что он добровольно откажется от демократии (то есть от участия в формировании власти) вообще?

Что касается Белоруссии, то она переживает сегодня совсем другие времена; это больше напоминает Россию 1989 — 1991 годов, чем нынешнюю. Нашим Лукашенко был Ельцин. Да и активность избирателей, и почти всенародная поддержка Лукашенко — это не столько российское настоящее, сколько прошлое.

Правда, в чем-то достаточно существенном Белоруссия никого не повторяет. Ельцин пришел к власти на волне антикоммунизма, Кравчук и многие другие лидеры в бывших союзных республиках — на волне ожиданий, связанных с обретением национально-государственной независимости. Белоруссия же как бы проскочила эти этапы. Ко времени своих первых президентских выборов она успела разочароваться и в идее государственной независимости, к которой не очень-то и стремилась, и в антикоммунизме, который пришел к ней извне, и в нынешних наследниках старой номенклатуры. Поэтому она проголосовала и против ставленника прежней номенклатуры Кебича, и против антикоммуниста Шушкевича, и против национал-демократа Поздняка. Она проголосовала против всего, что могла наблюдать за последние три года на политической сцене; она проголосовала за будущее, которое напоминает ей о не забытом и покинутом не по своей воле прошлом. Таков был выбор белорусского частного человека, сформировавшегося в обществе без частной собственности и продолжающего надеяться не столько на себя, сколько на государство.

Победа Лукашенко у многих вызвала тревогу. Думаю, что серьезных оснований для нее нет. Во всяком случае, особых неожиданностей я не жду. Скорее всего события будут развиваться по уже известным сценариям. Опыт того же Ельцина показывает, что сформировавшийся номенклатурный аппарат довольно быстро прибирает подобных людей к рукам и превращает их в обычных функционеров. Это получается тем успешнее, чем меньше развито в стране демократическое движение. А оно в Белоруссии в зачаточном состоянии. Если говорить об общем направлении политики, то Лукашенко неизбежно должен быть в не меньшей мере, чем Кебич, считаться с Ельциным, Черномырдиным и Москвой вообще. Придется и «держаться лицом» перед Западом. Кроме того, в Белоруссии (как, кстати, и на Украине, и в большинстве других бывших советских республик) власть может консолидироваться только на основе формальной законности. Пренебрежение ею для белорусских властей смертельно — вся государственность держится только на ней.

Россия — дело иное. Здесь есть иной источник власти, куда более значимый, чем формальная законность. Это армия. Как показали сентябрьско-октябрьские события 1993 года, у нас разрыв с конституционностью вовсе не обязательно губит государственность; более того, до некоторой степени

он может ее даже укрепить. Представление об армии как основном источнике власти сохраняется и в массовом сознании, что тоже не может не сказываться на поведении властей. Вспомним: Ельцин на следующий день после роспуска Верховного Совета считает необходимым появиться на улице рядом с Грачевым — именно этим он продемонстрировал стране и миру, что полнота власти принадлежит ему, а не распущенному им съезду народных депутатов.

И вот здесь-то я вижу главную опасность. В этом (и только в этом) смысле успех откровенного популизма в Белоруссии — серьезное предупреждение России. Одно дело — его успех в стране, где источник власти — закон. Другое дело — его возможный успех там, где главный источник власти — армия, органы насилия.

Да, в России есть еще возможность избежать значительного — до белорусских масштабов — расширения слоя людей, восприимчивых к политической демагогии и готовых принять на веру слова очередного спасителя. Повторю еще раз: несмотря на то, что и здесь многие чувствуют себя брошенными государством и проявляют склонность к мифологизации и демонизации мафии, коррупции и тому подобных вещей, за победителя декабрьских выборов в России проголосовал лишь каждый восьмой избиратель. Но по крайней мере в одном случае эта величина может стать неизмеримо большей: в том случае, если кризис затронет первичные потребности людей, если цены на элементарные бытовые услуги станут несоизмеримыми с зарплатой, если станет недоступной система здравоохранения, если человеку будут предлагать нечто дотоле невиданное и неслыханное — работу без зарплаты (что намного унижительнее, чем отсутствие работы с компенсацией в виде пособия).

Сегодняшний российский обыватель вовсе не безнадежен. Он, конечно, не очень готов к восприятию либеральных ценностей, но уже в силу своего индивидуализма готов к этому больше, чем его предшественник — человек общинный. К тому же годы ельцинского правления сделали его осмотрительнее и мудрее. Во всяком случае, лишь меньшинство наших респондентов изъявляют желание проголосовать за того, кто предложит им быстрое и простое решение всех проблем. Но если наш частный человек начнет вытесняться из обретенных при советском режиме жизненных ниш, если ему, как говорили когда-то, станет нечего терять, то он, получив в руки избирательный бюллетень, вполне может привести к власти политика популистско-демагогического толка, который пообещает ему «работу и зарплату» и который от первого белорусского президента будет отличаться по крайней мере еще одной особенностью — пониманием того, что источник власти у него в стране — это не только человек с бюллетенем в руках и даже не он в первую очередь, а прежде всего — армия.

Июль 1994 г.

Шансы либералов в России

Вскоре после апрельского референдума 1993 года, когда в печати шла дискуссия о «центре» и «центризме», мне довелось высказать мысль о том, что центр нам желательно иметь двухполюсный: правый (либерально-консервативный) и левый (социал-демократический). Тогда это не было, да и вряд ли могло быть услышано. Зато оказалось чрезвычайно актуальным после декабрьских выборов, когда прежнее общественное деление на «коммунистов» и «демократов» утратило содержательный смысл. Силы, относящие себя к либерал-консерваторам, уже оформились в парламентские фракции и даже партии. Что же до социал-демократии, то эту нишу сегодня кто только не пытается занять — от Горбачева до Зюганова.

И все же в том своем пожелании я вижу не столько удачный прогноз, сколько повод для самокритики. Когда стали формироваться соответствующие группы и партии, пришла пора всерьез задуматься о том, насколько переносимы западные политические течения и даже соответствующая терминология на нашу российскую политическую почву.

Не выглядит ли, например, в наших условиях странным такой термин, как «либерально-консервативный»? Консерватор — хранитель традиции. Применительно к Западу речь идет, помимо прочего, о традиции частной собственности. Применительно к современной России консерватор — тот, кто хочет перенести в настоящее и будущее нечто для него значимое из советского (или дореволюционного) прошлого. Вряд ли наши либералы, взоры которых устремлены на Запад, так уж озабочены сохранением и приумножением советских и более давних отечественных традиций. В чем же тогда их консерватизм?

Это только один пример того, что происходит при механическом перенесении западных понятий на наши нынешние отечественные обстоятельства. Но раз уж либеральные и социал-демократические идеи получают организационное оформление и становятся политической практикой, то каковы сегодня их шансы в России?

Начнем с либерализма.

Слово «либерал» вошло в наш политический обиход, даже в элитной среде, сравнительно поздно, где-то начиная с 1991 года. Однако у российских политиков за прошедшее с тех пор время это слово прижилось, а вот в массовом сознании пока не закрепились. По нашим данным, наиболее популярными политическими фигурами остаются — в силу политической и психологической инерции — «коммунист» и «демократ»: 20 процентов опрошенных связывают будущее России с «демократами», 12 процентов — с «коммунистами». Для сравнения: с либералами — не больше 4 процентов. То есть понятие «либерал» находится где-то на дальней периферии массового сознания. Это явно не то слово, которое находит сочувственный отклик в обществе. Даже среди избирателей «Выбора России», идеологи которого проповедуют либеральные ценности, доверять судьбу страны «либералам» готовы всего 2 процента, а 46 процентов воспринимают своих лидеров как «демократов». Не может похвалиться очень уж большими успехами по части приучения наших сограждан к слову «либерал» (и производным от него) и Жириновский: лишь 28 процентов его декабрьских избирателей отдают предпочтение «либерал-демократам» перед представителями других политических течений.

Но дело не только в отношении к слову, хотя и это показательно. Дело еще и в том, как воспринимается слово теми, кому оно уже сейчас импонирует. Действительно, что представляют собой те немногие, кому политическое имя «либерал» нравится больше любого другого? По нашим данным, эти люди несравнимо благосклоннее, чем население в целом, относятся к реформам, ко всему, что связано с Западом, они хотят быстрых перемен и решительных действий, эти перемены обеспечивающих, но горячее стремление к изменению обстоятельств не сопровождается у них столь же ярко выраженным стремлением к самоизменению, всплеском собственной производительной энергии (явление, с грустью отмеченное в свое время еще авторами «Вех»). Будучи радикалами-западниками, они, очевидно, чувствуют в то же время неукорененность своих идеологических представлений в окружающей их среде. Отсюда — едва ли не самая парадоксальная особенность поклонников либералов и либерализма: среди них больше, чем среди сторонников любого другого течения (демократов, коммунистов, социал-демократов и др.), выступающих за такое положение вещей, когда русские в России пользовались бы особым вниманием и расположением со стороны властей.

После этого задумаешься: так ли уж случайно, что первым, кто официально заявил в России о своем «либерализме», оказался Жириновский? Симптоматично и то, что не рискнули вставить прилагательное «либеральная» в название своей организации политики, создавшие партию «Демократический выбор России». Впрочем, если вспомнить, что они объявили себя партией «предпринимателей и интеллигенции», то это прилагательное им бы не помешало: «предпринимателей и интеллигенцию» оно бы не отпугнуло. А вот что касается более широких кругов российского общества, то вопрос о их взаимоотношениях с либерально-западной элитой действительно большой. И он не решается не только в том случае, когда либералы остерегаются произносить слово «либерал», но и тогда, когда приверженцы этой идеологии, подобно ли-

дерам фракции «Союз 12 декабря», проявляют политическое мужество и не боятся назвать себя так же, как «жириновцы», либерал-демократами.

Уместно вспомнить, что взаимоотношения либерализма и демократии были для России едва ли не основным политико-идеологическим вопросом еще до 1917 года. Как примирить права свободной независимой личности (либеральный идеал) и права большинства (демократический идеал)? Запад решал эту проблему поэтапно. Вначале — через утопию, бывшую в аграрном обществе XVIII века социально продуктивной: утопию, согласно которой каждый индивид может и должен стать собственником и потому в качестве собственника обладает равными с другим правами и возможностями². Этим оправдывались и нарушения демократии, в частности, ограничения прав несобственников: такие ограничения объявлялись временными, действующими лишь до тех пор, пока собственниками не сделаются все. Затем, по мере индустриализации и урбанизации, когда стало очевидно, что каждый и даже большинство собственниками стать не могут, соединение либерализма и демократии стало осуществляться через социальную демократию, через институты согласования интересов собственников и наемных работников.

В России же либерализм и демократию по целому ряду причин соединить не удалось. Мало того: большевики пришли к власти, выступая как беспощадные критики либерализма с позиций демократии, то есть несоответствия либерализма интересам большинства. Не удается это сделать и сегодня: ваучерная приватизация не стала и не могла стать в посткоммунистическом индустриальном обществе той продуктивной утопией, которая объединила бы широкие слои населения подобно тому, как сделала это либеральная утопия превращения всех людей в собственников в обществе постфеодальном на Западе. По нашим данным, разочарование населения в ваучерной приватизации последовательно возрастало по мере ее осуществления.

Меньше всего я хотел бы сейчас заниматься критикой начавшихся в 1992 году реформ и обвинять наших реформаторов в том, что они делали не то и не так. Жизнь заставила их искать способы соединения либерализма и демократии, частного интереса и интересов большинства, что проявилось не только в выпуске ваучеров, но и в попытках соединить либерализацию и приватизацию с государственной поддержкой неконкурентоспособных предприятий и с налогами, размеры которых не снились самым ярым социалистам. Я готов допустить, что Солженицын и его единомышленники не правы, утверждая, что все это можно было делать принципиально иначе. Но зачем было называть это либерализмом? Мой упрек реформаторской политической элите в том-то и состоит, что она, выступая от имени либеральной идеологии, умудрилась даже не поставить вопрос о том, что же такое эта идеология применительно к условиям посткоммунистической России, чем она отличается (и отличается ли?) от западного либерализма, который со временем существенно изменился, равно как и от либерализма японского, скажем, образца. В результате общество до сих пор находится на сей счет в полном неведении. Не потому ли, помимо прочего, от имени либерализма, ничем не рискуя, получил возможность выступать и побеждать такой человек, как Жириновский?

Едва ли не основной урок наших, а в какой-то степени и всех посткоммунистических реформ заключается в том, что неизбежная либерализация коммунистической экономики не требует для своего осуществления последовательно либеральной политики (и политиков), равно как и либеральной идеологии. Она требует другого — политического и идеологического прагматизма. Ельцин — не либерал, не социалист и не националист, а политик, проводящий определенный экономический курс, используя для этого то одну, то другую идеологическую риторику в зависимости от перемен в общественных настроениях. За это он подвергается критике, и я охотно к ней присоединяюсь, но истоки идеологического прагматизма надо искать все же не в Ельцине, а в идеологизированности общества, из которого все мы вышли, и в ритуально-идеологизированных взаимоотношениях коммунистических политических

² Подробнее см. об этом: Капустин Б., Клямкин И. Либеральные ценности в сознании россиян. — «Полис», 1994, № 2.

«верхов»: там тоже был свой прагматизм, было постоянное приспособление официальной доктрины к меняющейся обстановке, хотя на букву доктрины никто покушаться не смел. Но ведь и Ельцин, при всех своих зигзагах, не покушается на букву «демократической» доктрины! Еще меньше можно заподозрить в либерализме Черномырдина, который тем не менее вынужден проводить примерно ту же политику, что и Гайдар, причем примерно с той же степенью прагматической непоследовательности.

Политикам же, считающим себя либералами, надо на ближайшие годы определиться. Или они будут претендовать на исполнительную власть, которая потребует от них слишком серьезных сделок с либеральной совестью, или займутся созданием отсутствующих пока интеллектуальных, политических и юридических предпосылок либерализма. Если учесть, что в основе либерализма — идея права, а в основе нашей отечественной государственности — по-прежнему произвол чиновника, если вспомнить, что законодательная узда, сдерживающая этот произвол, до сих пор отсутствует, то отсюда и лозунг последовательно либеральной политики, где бы она ни проводилась — в парламенте, в газетных статьях, партийных декларациях или на митингах. Этот лозунг, который так и звучит: «Законность против произвола чиновника», противостоит, помимо прочего, и входящему в моду лозунгу «Произвол против произвола», то есть «либерализму» в духе военно-политических судов Жириновского.

Август 1994 г.

Социал-демократы: политика и риторика

В отличие от либерализма социал-демократическая идеология кажется многим очень понятной, а главное — привлекательной для населения; кажется, говоря иначе, «народной». Недаром за нее так ухватились политики самых разных ориентаций — от Зюганова до Гдяна и некоторых рабочих лидеров. А еще на социал-демократическую нишу претендуют Руцкой, Липицкий, Горбачев, к ней примеряют себя и некоторые другие лидеры. Словом, есть отчетливо выраженное представление, что социал-демократическая идеология выигрышна и может принести солидные политические дивиденды.

Нынешняя мода на эту идеологию совершенно иного происхождения, чем ранний «социал-демократизм» времен перестройки. Тогда его пытались использовать умеренные реформаторы-постепеновцы, искавшие политическую альтернативу системе, основанной на монопольной власти КПСС. Теперь же на социал-демократию делают ставку критики того варианта реформ, который связан прежде всего с именем Ельцина. Это реакция не на коммунизм, а на антикоммунизм, на «антисоциальную», как выражаются такого рода критики, политику нынешних властей, это стремление найти и предложить «демократическую альтернативу» курсу «либерал-радикалов» (которых, правда, у власти уже почти не осталось), для чего и используются идеи и принципы социал-демократии.

Как известно, «социал-демократам» первого, «перестроечного» призыва успех не сопутствовал. Он не сопутствовал им ни тогда, когда они действовали «сверху» (вспомним Горбачева, намеревавшегося превратить КПСС в партию социал-демократического толка), ни в том случае, когда импульсы шли «снизу», из среды неформалов (Олег Румянцев и другие). И понятно почему: то было время радикалов, а не постепеновцев.

Ну а нынешние претенденты на эту политическую нишу — каковы их шансы?

Исследования нашего Фонда показывают, что настоящий запрос на какой-то иной курс реформ в обществе действительно присутствует. Однако он почти никем не воспринимается как «социал-демократический». Число опрошенных, связывающих судьбу России с социал-демократами, такое же, как и доля тех, кто предпочитает либералов, — всего 4 процента. Еще 3 процента — сторонники социалистов. Причем такая же картина и среди избирателей тех партий, которые явно примериваются к социал-демократической нише. Например, среди голосовавших в декабре за партию аграриев ориенти-

руются на социал-демократов те же 4 процента; это столько же, сколько среди отдавших предпочтение «Выбору России».

Несколько больше процент таких людей в среде тех, кто отдал в декабре свой голос партии Шахрая (16 процентов) и блоку Явлинского (9 процентов). Но это вовсе не значит, что их электорат — социал-демократический. Ведь даже 16 процентов — это далеко не большинство. К тому же такая «приверженность» социал-демократии среди шахраевцев и явлинцев — это всего лишь приверженность слову, названию, за которой почти не просматривается какого-либо особого политического содержания. По своим экономическим и политическим ориентациям и жизненным ценностям сторонники Шахрая, а особенно Явлинского, сегодня как никто близки к тем, кто продолжает связывать свои надежды с Ельциным. А у этих последних, кстати, даже к самому термину «социал-демократия» отношение более отчужденное, чем в среднем по населению.

Но раз так, то именно нынешние ельцинцы составляют главный резерв и Явлинского, и Шахрая. Именно за их голоса прежде всего придется вести борьбу «демократическим» политикам на предстоящих президентских выборах, если они состоятся, и тот, кто назовет себя «социал-демократом», вряд ли сможет рассчитывать на серьезный успех в этой среде. И если даже Явлинский, который, в отличие от Шахрая, принадлежит к числу последовательных критиков нынешнего курса, не прислушивается к советам тех, кто толкает его в социал-демократическую нишу, то это говорит лишь о его политическом чутье и умении воздерживаться от неосторожных шагов. Впрочем, то же самое можно сказать в данном случае и о Шахрае.

А что представляют собой избиратели тех политиков, которые, наоборот, если открыто и не рвутся в социал-демократы, то социал-демократическую риторику используют очень целеустремленно?

Оказывается, ни у Руцкого, ни у Зюганова тоже нет никаких шансов занять это место. Их туда не пустят их же нынешние сторонники. Среди избирателей Зюганова приверженцев социал-демократии еще меньше, чем в электорате аграриев, — всего 2 процента. С коммунистами же связывают судьбы России 82 процента зюгановцев. Среди сторонников Руцкого ставящих на коммунистов, естественно, меньше — 30 процентов, но все равно многократно больше, чем делающих ставку на кого-либо еще. Социал-демократам у руцкистов симпатизируют все те же 2 процента. Избиратели (по крайней мере их ядро) Руцкого и Зюганова по своим ценностям, по всем своим экономическим, политическим и идеологическим ориентациям — коммунистические традиционалисты.

Что же получается? Казалось бы, вот она, незанятая ниша, — приходи и занимай. Но выходит так, что занять ее некому: одни не хотят, другие не могут (хотя им и кажется, что могут), причем в обоих случаях все так или иначе опирается в современное состояние общества, в настроения избирателей. Одна их часть воспринимает социал-демократию как слишком близкую к коммунизму и коммунистам, другая — как слишком далекую от привычной по прежним десятилетиям политической и идеологической практики³. В этом отличие России от Восточной Европы, где коммунистический традиционализм был намного слабее, чем у нас, и где бывшие коммунисты, ставшие социал-демократами, нашли в обществе поддержку и даже — в некоторых странах — выиграли выборы.

Возможна ли в России в ближайшее время «социал-демократизация» коммунистической или близкой к ней части общества? Я в этом совсем не уверен. Более вероятен сдвиг в этом направлении антикоммунистических («демократических») избирателей. Но если так, то тогда «социал-демократами», при по-

³ Именно этим объясняются разногласия в рядах «Непрезидентских» социал-демократов, наметившиеся еще до того, как они успели сплотиться на единой идеологической и политической платформе и обрели хотя бы минимальный политический вес: одна из группировок, как известно, выступает за тесные контакты с радикальной оппозицией, а другая против этого категорически возражает. Последняя, не имея собственной политической базы, в лучшем случае обречена на самоизоляцию.

явлении на них спроса, у нас могут скорее стать политики типа Явлинского, Шахрая, может быть, Травкина, но никак не Руцкого, Зюганова или лидеров Аграрной партии. Что касается людей вроде Липицкого, то у них для успеха просто не хватит личной известности.

И все же самое важное и интересное в другом. Что смогут сделать те, кто займет эту политическую нишу? Сумеют ли они, придя к власти, проводить действительно социал-демократическую политику? Это-то как раз и сомнительно, потому что такая политика, строго говоря, в обозримом будущем невозможна не только в России, но и во всем посткоммунистическом мире.

Другое дело, что подобные иллюзии могут быть использованы для прихода к власти. В ряде стран это, как известно, уже произошло. Но на поверку оказалось, что социал-демократы продолжают делать примерно то же, что делали их предшественники. Говоря иначе, социал-демократическая риторика сработала как способ прихода к власти, но дальше никакой социал-демократической политики нет, потому что ее просто не может быть.

Вовсе не исключаю, что и у нас политики типа Явлинского или Шахрая сумеют — разумеется, не сейчас, а в будущем — добиться успеха, объявив себя социал-демократами. Возможно, это не помешает им даже сейчас (хотя не поможет — точно). Но я уверен, что лучше все же им ничего такого не делать.

В Восточной Европе, где общественная почва для политического радикализма гораздо менее благоприятна, чем в России, разочарование в социал-демократах и «левых» вообще (а оно скорее всего произойдет) может создать предпосылки для возвращения «правых». Если так случится (что, разумеется, не гарантировано), то это будет означать, что в Восточной Европе современная двухполюсная политическая система складывается уже на стадии реформ, когда группировки с разной политической идеологией должны проводить примерно одинаковую практическую политику.

В России же, где радикализм достаточно силен, а общественного спроса на социал-демократию пока не существует, преждевременно разменивать социал-демократическую карту было бы несравнимо опаснее: разочарование в «левых» усилит здесь не «правых», не «либералов», а радикальные группировки неоконмунистического и националистического толка. Так что людям, выступающим сегодня под флагом «демократической альтернативы», социал-демократами лучше себя не называть. Лозунг «демократической альтернативы» вполне достаточен и сам по себе: в нем есть сочетание политической определенности, учитывающей сохраняющуюся в массовом сознании инерцию прежнего деления на «демократов» и «коммунистов», и идеологической неопределенности, учитывающей неукорененность в российском обществе ни одной из ведущих современных мировых политических идеологий. В нем есть, наконец, главное — заявка на корректировку и углубление нынешнего политического курса без революционного разрыва с ним.

Август 1994 г.

Общество и власть: осень 1994-го

Несмотря на все попытки убедить общество в том, что наконец-то намечалась долгожданная стабилизация, ощущения прочности, устойчивости своего положения у высшего руководства не появилось. Еще летом на поверхность просачивалась некоторая неуверенность и просматривалось желание так или иначе подстраховаться. Мы скорее всего снова станем свидетелями очередного обострения противоречий в «верхах»: определенного снижения жизненного уровня, по мнению многих экспертов, избежать не удастся, а это неизменно скажется на настроениях населения и, соответственно, на позициях различных политических группировок.

Нарастает и, по-видимому, будет нарастать и дальше отчуждение между властью и обществом. Судя по нашим данным, население остается безразличным к вершущимся играм, на которые нередко столь бурно реагируют средства массовой информации. Мы спрашивали наших респондентов, изменилось ли после президентских выборов 1991 года их отношение к Ельцину, и если

да, то почему. Как нетрудно было предположить, у подавляющего большинства это отношение ухудшилось. Но вот что характерно: согласие на уход Гайдара, на приход вместо него Черномырдина, «сдача» президентом ближайших соратников вроде Бурбулиса, Старовойтовой или Юрия Болдырева были замечены буквально несколькими процентами опрошенных. А такие демонстрационные жесты, как посещение выставки Глазунова, угрожающие декларации в адрес Эстонии и другие упражнения в державно-патриотической риторике, вообще прошли мимо внимания наших сограждан.

Понятно, что к этой риторике президент и его окружение прибегают для увеличения своего рейтинга, но как раз она-то на рейтинг и не влияет, как и верхушечные кадровые перемещения и интриги. Население реагирует на иное: на реформы и ваучерную приватизацию (поэтому из всех «демократических» политиков Гайдар наименее популярен), на распад СССР, на факты, не укладывающиеся в сложившиеся представления о демократической власти (вроде ельцинского указа о роспуске Верховного Совета и — особенно — использования армии при штурме «Белого дома»).

Конечно, такой разрыв и такое отчуждение, когда у властей свои заботы, а у общества — свои, для «верхов» в чем-то благоприятен, поскольку позволяет им чувствовать себя достаточно свободными от общественного контроля, не опасаться резких и неблагоприятных реакций на свои политические решения. Однако они лишаются тем самым и обратной связи с «низами», которые отучаются (или, точнее, не получают стимулов для учебы) транслировать свои настроения наверх через своих представителей и могут постепенно сжиться с мыслью, что иных способов разговора с начальством, кроме митингов и забастовок, в их распоряжении нет.

О серьезных намерениях радикальной оппозиции, о ее ставке на «уличные» действия можно было судить, наблюдая ее прошлогодние попытки использовать любой протест, любое антиправительственное выступление, в том числе и историю с АО «МММ». В защиту акционеров выступили не только некоторые лидеры «демократов». О поддержке Мавроди заявлял Жириновский, бурную активность проявили здесь «руцкисты». Данные о настроениях акционеров этого и других аналогичных обществ, полученные в ходе наших опросов, достаточно симптоматичны. С одной стороны, самим своим существованием эти общества целиком обязаны политике реформаторов. С другой — среди акционеров «МММ» (пока, правда, только среди них) наблюдается не очень отчетливо выраженное, но несомненное предпочтение оппозиционных лидеров. И это скорее всего не случайно.

Постсоветский человек, с его развитым потребительским эгоизмом и потребительно-перераспределительной активностью, о чем мне не раз приходилось писать, вполне способен проявить эти свои качества и в «рыночных» условиях. Но его и без того слабая производительная мотивация не только не усиливается, но и слабеет еще больше. Отсюда понятно, почему он склонен поддерживать не столько тех, кто создал для него это игровое поле (и кто теперь неуклюже отстывает, ущемляя его интересы), сколько людей, использующих более привычный по прошлым десятилетиям политический язык, первое слово в котором — «народ», а второе — «враг». Думать же о том, что эти люди, окажись они у власти, первым делом объявили бы «врагами народа» Мавроди и ему подобных, наш постсоветский потребитель не может и не хочет.

Я вовсе не то хочу сказать, что в ближайшее время надо ждать каких-то массовых беспорядков. Речь идет лишь о том, что недовольство различных слоев населения может возрасти, а это вынудит правительство так или иначе реагировать. Правда, по нашим данным, лишь 7 процентов опрошенных заявили о своей готовности к непосредственным массовым действиям. Но, во-первых, учитывая российские масштабы, это не так уж и мало. А во-вторых, в случае потери работы и при невозможности трудоустроиться к ним готовы присоединиться еще 18 процентов. Разумеется, не все, кто говорит, что готов, в самом деле выйдут на улицу — уровень организации и самоорганизации российского общества остается очень низким. И все же психологическая (пока еще не политическая) основа для низового протеста налицо.

Наверное, в высших кругах российского руководства это хорошо понимают и готовятся ко всяким неожиданностям. Обращает на себя внимание повышенный интерес президента к силовым структурам. Я имею в виду и знаменитый указ о борьбе с преступностью, столь настороженно встреченный интеллигенцией и столь горячо одобренный в МВД, и новую попытку сплотить генералитет вокруг обреченного на лояльность президенту министру обороны Грачева. Здесь и назначение заместителем министра, вопреки протестам общественности, генерала Бурлакова, и публичная теледемонстрация нерушимой дружбы Грачева с генералом Лебедем (не забудем, что Грачев в армии крайне непопулярен, а желание видеть Лебеда министром обороны, по данным некоторых опросов, высказывают около 70 процентов офицеров). В то же время президент не исключает, очевидно, такого поворота событий, когда ему придется выбирать между нынешним министром и армией, и полушутливая реплика Грачева, что Лебедь может стать его преемником на этом посту, тоже, наверное, возникла не на пустом месте.

Президентской команде предстоит решить непростой вопрос: попробовать ли, как советуют некоторые, добиться продления срока полномочий или в 1996 году идти на новое испытание избирательной урной? В последнем случае Ельцину важно выжить почву из-под ног своего возможного соперника из «демократического» лагеря, а для этого целесообразно не уменьшать, а, наоборот, умножить число таких соперников, чтобы всем стало ясно: выдвигать кого-либо, помимо самого Ельцина, не имеет никакого смысла, так как это ни к чему, кроме дробления сил и политического поражения, привести не может. Вот и как бы шутка про Немцова появилась во время поездки по Волге (еще один претендент!).

В «демократических» кругах, не входящих в президентское окружение, тем временем тоже прикидывают, как себя вести, если выборы все же состоятся. Главный вопрос, естественно, о кандидате. О том, что «демократам» нужно объединить силы и выступить на предстоящих выборах единым фронтом, говорят и пишут многие.

Целесообразны ли, однако, такие призывы — не вообще, а именно сейчас? Ведь если даже забыть о том, что они сегодня явно беспочвенны (лидеры «демократов» не собираются добровольно уступать друг другу своих избирателей), то все равно единый кандидат, будь он сейчас выдвинут, не сможет собрать под свое знамя и тех, кто готов еще раз отдать свой голос Ельцину, если он будет баллотироваться, и сторонников Явлинского, и «гайдаровцев», и голосовавших в декабре за партию Шахрая или РДДР во главе с Собчаком, и, наконец, тех, кто раньше поддерживал Ельцина, а потом, разочаровавшись в нем и «демократах» вообще, перестал ходить на выборы. Полученные нами данные свидетельствуют об этом со всей очевидностью.

Прежде всего отмечу, что ельцинский электорат 1991 года, несмотря на разочарование в нынешнем президенте и других «демократах», оказавшихся у власти, в массе своей сохранил симпатии к слову «демократия». Те 35 — 40 процентов взрослого населения, что пошли за антикоммунистическими лозунгами три года назад, те, кто сказал Ельцину «да» на референдуме в апреле 1993-го, готовы и сегодня поддержать одного из «демократических» кандидатов. Отток из их числа в лагерь оппозиции относительно невелик, к тому же частично он уравновешивается притоком из этого лагеря.

Мы спрашивали наших респондентов: если объединительный конгресс демократов состоится и на нем будет назван единый кандидат в президенты, готовы ли вы за него проголосовать? «Да» ответили 20 процентов опрошенных. Это наиболее последовательная и дисциплинированная часть электората «демократов». 30 процентов сказали «нет». Это — явные или потенциальные сторонники оппозиции. И есть еще (помимо затруднившихся ответить) 31 процент заявивших: все будет зависеть от того, кто именно станет единым кандидатом. Но 31 плюс 20 процентов — это больше, чем реально голосовало за «демократов» даже в их лучшие времена. Проблема же в том, что среди них нет ни одного политика, который мог бы объединить весь этот электорат или хотя бы его большинство. По сравнению с летом 1991-го и даже с весной 1993-го произошли серьезные изменения. Если тогда фигура «демократическо-

го» лидера была очевидной и сплочение вокруг него перед лицом угрозы коммунистического реванша происходило каждый раз, когда предстояло сделать решающий выбор, то сегодня такого бесспорного вождя уже не существует. Да и сама опасность реставрации советского режима после 4 октября 1993 года уже не тяготееет над сознанием демократически ориентированного избирателя. Каким же политикам он отдает сегодня предпочтение?

Если Ельцин не будет выдвигать свою кандидатуру, его сторонники более или менее равномерно распределятся между разными кандидатами, и, по нашим данным, больше 15 процентов голосов ни один из них не соберет.

Тогда, может быть, все-таки ставить на Ельцина в расчете, что получится консолидация демократического электората, подобно тому как это произошло на апрельском референдуме? Но и он, как выясняется, больше 5 — 7 процентов у других претендентов отобрать сегодня не может. Что же изменилось в отношении к нему избирателей после апреля 1993-го? Мы пытались выяснить, почему люди поддержали президента на том референдуме. Оказалось, что главный мотив — боязнь нестабильности при смене первого лица государства. Но после того как война двух правящих группировок осталась в прошлом и была подведена черта под советским периодом отечественной истории, после того как выяснилось, что принципиального улучшения жизни такое устранение политических «помех» за собой не повлекло, этот мотив начал ослабевать. Зато умами людей стала быстро овладевать другая идея — идея обновления власти. Поэтому после сентябрьско-октябрьских событий, как мне уже приходилось писать, численность людей, выступающих за отставку президента, впервые превысила число возражающих против нее. Поэтому же, наверное, в ответ на вопрос, как долго должен находиться у власти российский президент, чтобы принести стране наибольшую пользу, свыше двух третей наших респондентов назвали небольшие сроки: 2 — 3 года или 5 лет. Очень немногие (11 процентов) предпочитают десятилетний срок, и совсем уж единицы — более длительный. Хотя, казалось бы, боязнь нестабильности при смене лидера должна вызывать совсем иной настрой (пусть, мол, правит как можно дольше — ведь другой может быть еще хуже). Так что рассчитывать на повторение апрельского успеха 1993 года Ельцину не приходится.

Если перевести сказанное на политический язык, то можно сказать, что после штурма «Белого дома» легитимность ельцинского режима в значительной степени себя исчерпала. Президент уже почти не воспринимается как лидер харизматического типа. Традиционной легитимностью (ею наделяется обычно монарх) он, как нетрудно догадаться, не обладал изначально, нормальная же, собственно законная легитимность была отчасти подорвана и Беловежскими соглашениями, и сентябрьско-октябрьской революцией против советской власти. При таком положении вещей связывать себя ставкой на Ельцина уже стало по меньшей мере неосмотрительно.

Что же из всего этого следует? Из этого следует, что демократический электорат к выборам сегодня не готов: даже если ему будет предложен единый кандидат, он его в массе своей не примет. А поэтому и предлагать нет смысла. Очевидно, все возможные кандидаты от «демократов» (разумеется, не только от них) должны в ближайшее время получить возможность широкого контакта с массовой аудиторией, чтобы популярно объяснить, что они будут и чего не будут делать, придя к власти. Избиратель сумеет остановить на ком-то свой выбор лишь тогда, когда ему чуть лучше, чем это происходит сейчас, покажут, между кем и чем ему предстоит выбирать. Искусственным же объединением сил нельзя создать реального общепризнанного (или признанного большинством) лидера, которого, повторяю, на этом фланге пока не видно. А о том, что происходит на другом фланге, поговорим ниже.

Сентябрь 1994 г

Власть и оппозиция: собрание сил

Итак, каковы же шансы радикальной оппозиции на предстоящих выборах? Мы помним, что ее лидеры собрались в Калининграде и приняли ряд решений о согласованных действиях. Имя общего кандидата пока, правда, не

обнародовали, но заявили о своем намерении не откладывать дела в долгий ящик, определиться и в этом отношении.

Но прежде чем рассуждать о политических перспективах оппозиции, хотелось бы высказать несколько соображений о политическом фоне, на котором разворачивается предвыборная конкуренция и который в значительной степени создается силами, стоящими у власти. Правящая группировка пока не решила окончательно основной для себя вопрос: готовиться ли ей к выборам или попытаться тем или иным способом отложить их. Судя по некоторым признакам, идет проигрывание двух вариантов, один из которых я назвал бы авторитарным, а другой, условно говоря, демократическим (в том смысле, что он предполагает проведение выборов в сроки, предусмотренные Конституцией).

Начну с первого варианта, хотя в ближайшее время шансов на его осуществление не очень много. Говоря об авторитаризме, я не имею в виду тот явный сдвиг полномочий в сторону исполнительной власти, который определен нынешней Конституцией. Я имею в виду именно перенос выборов, что означало бы отказ от них на неопределенный период вообще, то есть отстранение общества от участия в формировании власти. В этом смысле движение в сторону авторитаризма в последнее время заметно, хотя экономические и политические предпосылки для него не сложились. Ведь авторитаризм — это не только сильная личная власть, ограничивающая политические свободы и в значительной степени опирающаяся непосредственно на силу. Это еще и договоренность достаточно широкого слоя влиятельных политических и хозяйственных элит о способах распределения власти, конкретных целях ее деятельности и о том, как поступать, если в обществе возникает сопротивление. В нашем случае на перенос выборов не согласится Дума в ее нынешнем составе. Но раз так, то тем более важна договоренность между влиятельными группировками о том, как преодолеть думский барьер, избежав при этом повторения потрясений осени 1993 года.

Какие-то симптомы, свидетельствующие о желании президента найти себе свою собственную, персональную опору в российских элитах, причем реальную, а не символическую, которая была создана Договором об общественном согласии, можно было заметить еще с весны 1994 года. Так, на летней встрече с директорами-промышленниками Ельцин выступил совершенно не в лад с Чернобыриным, оценив положение в экономике чуть ли не как катастрофическое. Вполне возможно, уже там прощупывались настроения и возможные реакции в случае неординарных действий высшего должностного лица.

Симптоматично и заявление Грачева о формировании особых военных группировок на базе выведенных из Германии частей. В прессе промелькнули даже предположения о создании вокруг столицы кольца преданных президенту подразделений (правда, опровергнутые заявлениями о том, что речь идет всего лишь об одном таком подразделении, расположенном в Московской области). Если вычленение элитных воинских частей действительно имеет место, то его можно рассматривать как попытку президента обрести опору в армии (через преданного ему, но непопулярного в офицерских кругах министра обороны) и нейтрализовать оппозиционные настроения в ней. Размежевание внутри армии, во-первых, облегчило бы ее дальнейшее сокращение, а во-вторых, обеспечило бы реальный президентский контроль над ней. Не надо, думается, доказывать, что авторитарный вариант, рассчитанный на сколько-нибудь энергичную реформаторскую политику, без поддержки его значительной частью военной элиты принципиально невозможен.

Просачивается и информация о переговорах с влиятельными предпринимательскими кругами относительно создания соответствующей структуры при президенте или близкой президенту. И это тоже можно понять: в условиях, когда в стране накоплены уже немалые частные капиталы, вопрос о том, на какие политические силы и структуры они будут работать, — один из важнейших. Допускаю, что и дело Вайнберга в этом отношении не случайно: предпринимателей пугают, им показывают, что они по-прежнему бесправны, уязвимы и что им следует искать защиты у власти. А если они ее найдут, то за чем им такая роскошь, как выборы с непредсказуемым исходом?

Наконец, хочу напомнить о явной незаинтересованности в выборах, которую проявили на своем ярославском собрании российские губернаторы.

И все же, повторю, я не рассматривал бы авторитарный вариант как осуществимый в ближайшее время. Во-первых, российские региональные руководители вряд ли согласятся платить за перенос выборов чрезмерным усилением центральной власти. Во-вторых, в президентской команде, насколько можно судить, до сих пор не решен едва ли не важнейший в наших условиях вопрос: какой части хозяйственников предстоит стать опорой режима? На кого ставить: на «сырьевиков», на нефтегазовый комплекс (еще точнее — на Газпром) или на обрабатывающую промышленность, где по-прежнему доминирует ВПК?

Советская экономика в последние десятилетия своего существования была, как известно, «двугорбой»: ради сохранения и развития «оборонки» приходилось вкладывать огромные средства в сырьевые отрасли, приносящие валютные доходы, и тем самым усиливать их. Но при этом лидирующие позиции ВПК никем под сомнение не ставились. Теперь приходится выбирать заново. Ослабленный военно-промышленный комплекс, утративший идеологическое (и — в значительной степени — политическое) оправдание своих претензий на сверхмонопольное положение в хозяйственной системе, не может быть прочной опорой режима. Оказавшись в зависимости от прибыльных отраслей, то есть от все тех же «сырьевиков», он уже не в состоянии диктовать им свои условия — тем более в обстановке общей экономической и политической нестабильности. Отсюда резко усилившиеся позиции Газпрома и лично Черномырдина, что уже само по себе блокирует движение к реальному, а не символическому («конституционному») авторитаризму — по крайней мере в ельцинском исполнении. Политическое солирование тут невозможно, тут в лучшем случае возможен лишь дуэт, к чему президент, исчерпав очередную попытку ослабить премьера, так или иначе постоянно вынужден склоняться⁴. Ведь не только «оборонка» оказалась сегодня пленником Газпрома. Доходы от экспорта сырья идут и на потребление населения, что хоть в какой-то степени смягчает социальную напряженность в условиях экономической депрессии.

В то же время Россия не может быть «страной Газпрома»: это означало бы превращение ее в тот самый «сырьевой придаток», чем не устает запугивать радикальная оппозиция. Противовесом же этому в сегодняшней России опять-таки способен стать лишь ВПК, претензии которого могут быть оправданы, однако, не экономически (доходы от продажи оружия сравнительно невелики), а политически (сохранение государственности и традиционного государственного статуса), технологически (сохранение научно-технического потенциала) и социально (рабочие места). В свою очередь увеличение веса и влияния ВПК могло бы привести к появлению отсутствующей сегодня опоры для сильной авторитарной власти с реформаторской окраской (тем более что сама «оборонка» нуждается в сильной рыночной хозяйственной периферии). Я имею в виду вовсе не тот тип власти, который мы помним по советскому прошлому, когда «оборонка» безраздельно господствовала в экономике. Я имею в виду определенное *равновесие* между сырьевыми и оборонными отраслями; такое равновесие между ведущими хозяйственными (и, соответственно, политическими) группировками, взаимосослабляющими друг друга, и поддерживается очень часто авторитарными режимами.

Но пока до такого равновесия далеко. Кроме того, ставка на усиление ВПК требует ясного представления о том, какую часть «оборонки» надо сохранить, исходя из долговременных интересов России, а какую ликвидировать как паразитическую; куда вкладывать средства, а куда — нет. А все это вместе взятое как раз и означает, что устойчивый авторитарный режим, проводящий целенаправленную реформаторскую политику, сегодня немислим.

⁴ В декабре 1994 года стало достоянием гласности письмо генерала Коржакова премьеру Черномырдину, из которого следует, что президентское окружение предпринимает все новые попытки установить контроль над ресурсами, без чего невозможно превратить символический конституционный авторитаризм Ельцина в авторитаризм реальный.

Поэтому, может быть, президентское окружение прорабатывает и вариант, предполагающий проведение выборов в установленные Конституцией сроки. Причем есть все основания утверждать, что президентская администрация придает парламентским выборам не меньшее значение, чем президентским. Пытается извлечь уроки из декабрьской неудачи, чтобы избежать повторения провала. Для этого, насколько можно судить, создается как бы второй президентский пояс: рядом с президентскими «либералами» формируется отряд президентской «социал-демократии». Так как Гайдар открыто провозглашает, что ставит прежде всего на тех, кто от реформы выигрывает, то Ельцину важно собрать голоса людей, которые когда-то его поддерживали, а теперь испытывают разочарование. Новая партия выдвигает лозунг защиты рядового человека. Во главе ее — Александр Яковлев и другие деятели периода перестройки.

Насколько перспективен такой замысел (если я, конечно, правильно его понимаю)? Если он рассчитан на то, чтобы отнять голоса у оппозиции, то его надо признать заведомо обреченным на неуспех. Результаты всех выборов и референдумов последних трех лет, а также наши собственные данные свидетельствуют о том, что существует довольно жесткий водораздел между избирателями, отдающими предпочтение оппозиции, и теми, кто ориентирован на «демократов» или, во всяком случае, голосовать за оппозицию не готов. Расклад таков: примерно 25 процентов — у оппозиции, 35 — 40 процентов — у «демократов». Переход с одного поля на другое если и имеет место, то на соотношение сил существенно не влияет. Оппозиция может работать лишь на своем поле, со своей четвертью электората, «демократы» — на своем⁵.

А вот получают ли «демократы» свои 35 — 40 процентов голосов или получают меньше, будет зависеть от того, сколько избирателей придет на выборы. Потому что «демократический» электорат отходит не к оппозиции, а к негосподствующим, в то время как среди сторонников оппозиции процент негосподствующих сравнительно невелик. Такие деятели, как Яковлев и его товарищи по новой партии, чаще всего не воспринимаются общественным мнением как альтернатива режиму, от них не ждут ничего принципиально нового. Они не заберут голоса даже у Явлинского или Шахрая (вспомним хотя бы декабрьский опыт РДДР). Уязвимость замысла и в том, что логика авторитарного варианта (договоренность элит при игнорировании общества) переносится на ситуацию, предполагающую как раз решающую роль общества в формировании власти — на ситуацию выборов. Поэтому единственно разумная тактика «демократов» предполагает не поспешное создание социал-демократической группировки, дабы опередить оппозицию, не «перехват» ее лозунгов (отобрать у нее голоса, повторяю, все равно не удастся), а выдвижение демократической реформистской альтернативы нынешнему курсу. Можно сказать, что для успеха на выборах «демократы» должны предстать в глазах избирателей «новыми демократами».

И вопрос об оппозиции «демократам» целесообразно рассматривать именно с этой точки зрения: как не растерять своих избирателей, как сделать, чтобы они не остались дома, как предоставить им возможность выразить свое недовольство через демократических же кандидатов⁶. В декабре 1993 года многие такой возможности не увидели. Есть основания предполагать, что могут не увидеть и впредь.

⁵ В последнее время стало очевидным, что иллюзия насчет возможностей отобрать голоса у оппозиции получила довольно широкое распространение среди лидеров «демократов». Об этом можно судить, в частности, по публичным выступлениям Бориса Федорова.

⁶ Результаты выборов в Мытищинском округе, где «демократы» проиграли Мавроди, поддержанному партией Жириновского, в этом отношении более чем симптоматичны. Дело вовсе не в том, как многие считают, что полностью исчерпала себя идея демократии. Дело в том, что «демократические» избиратели в массе своей будут теперь участвовать в парламентских и местных выборах лишь в том случае, если за «демократическим» кандидатом стоит фигура популярного общенационального лидера, не несущего ответственности за политику последних лет. Такой фигурой, не несущей ответственности за политику Горбачева, когда-то был Ельцин, поэтому поддержка им тех или иных кандидатов уже сама по себе оказывалась достаточной для победы. Сегодня этого нет; более того, восприятие «демократических» кандидатов как «ельцинистов» ведет нередко не к победе, а к поражению.

На парламентских выборах оппозиция будет очень серьезным соперником: с ее 25 процентами списочного состава избирателей она имеет хорошие шансы выиграть, если «демократы» не сумеют повысить электоральную активность своих потенциальных избирателей.

Ну а каковы шансы оппозиции на президентских выборах? Если исходить из нынешнего расклада сил, она не победит, даже если сумеет выдвинуть единого кандидата. Оппозиция может рассчитывать на успех только при резком обострении экономического и политического кризиса. Тогда не исключено, что количество голосов, поданных за ее лидера, перейдет ту критическую точку, которая отделяет возможность стать президентом от невозможности. Говоря иначе, представитель нынешней оппозиции может стать главой государства лишь в том случае, если нынешняя власть ей поможет. Впрочем, при утрате последней контроля над ситуацией на политическую поверхность выплывут скорее всего совсем другие деятели, а именно — фигуры вроде генерала Лебеда.

Поэтому президентскому окружению предстоит определиться: исходить ли из того, что к середине 1996 года произойдет перелом и наберет скорость переход, по выражению одного из ельцинских советников, «от выживания к развитию», или из того, что положение будет ухудшаться. В первом случае надо готовиться к выборам в тот срок, который определен Конституцией, а во втором — с благодарностью принять требование оппозиции о досрочных президентских выборах, высказанное в Калининграде, и провести их как можно скорее. Ибо сама эта оппозиция, повторю еще раз, сегодня их выиграть не сможет.

Сентябрь 1994 г.

Фашизм вырастает из демократии, если демократия загнивает

Я уже говорил выше о том, что демократия (и «демократы») имеет шансы получить преимущество на предстоящих выборах только в том случае, если приобретет в глазах избирателей облик «новой демократии». События последнего времени еще больше укрепили меня в мысли о правомерности этого понятия.

Инцидент в ирландском аэропорту показал, что берлинская импровизация Ельцина, продемонстрировавшая всему миру многогранность талантов нашего президента и его способность дирижировать оркестром не только политическим, была первой, но не последней. А если так, то отсюда вроде бы должно следовать, что всем, кому не безразличен облик нашей начинающей демократии и нашей страны, пришло время публично (подчеркиваю — публично!) высказать свое отношение к этим импровизациям. Но пока высказались немногие.

Лидеры политических группировок, считающихся демократическими, позволили себе лишь невнятные заявления насчет того, что их поддержка Ельцина становится «все более условной». Государственные деятели, занимающие высшие посты и по должности несущие ответственность за страну, глубоко-мысленно намекают, что любителей позлословить хватало и раньше, однако они уже давно не у дел, а «президент продолжает работать». Люди из окружения Ельцина, болезненно отреагировавшие на берлинскую импровизацию и даже позволившие себе обнародовать свои соображения о том, что ее причиной стала «утрата спортивной формы», после ирландского происшествия решили замолчать. Более того, некоторые из них начали заверять себя и других, что, где бы они ни работали — в Кремле или в здании не столь престижном, — они навсегда сохранят уважение к «политическим и человеческим качествам Бориса Николаевича».

Московская пресс-конференция президента показала, что все это не случайно. Уловка иностранного корреспондента, задавшего «незапланированный» вопрос (все вопросы были распределены между журналистами заранее), и раздраженная реакция пресс-секретаря, оказавшегося, по его словам, в неловком положении, выявили симптом болезни более серьезной, чем та, о которой го-

ворят в Государственной думе некоторые не очень серьезные депутаты. Это симптом гниения российской демократии, которое при замалчивании может незаметно для всех превратиться в распад.

Совершенно удручающим выглядит молчание «радикальной» интеллигенции, которая ставит себя в двусмысленное положение людей, предпочитающих нагромождение видимого всем сора в собственной избе выносу его на улицу. Боятся сделать хуже, боятся ослабить «свою» власть, а эта боязнь — хуже любого худа, потому что способствует превращению кризиса в необратимый⁷. Объясняют свое молчание опасностями более серьезными, говорят об угрозе фашизма; но ведь фашизм как раз и вырастает из гниющей демократии, она — его естественная питательная среда. И если президент, откликаясь на призывы «своей» интеллигенции, изъявляет готовность возглавить объединенные демократические силы, то на какой, интересно, основе он хочет их возглавить и на какой основе они должны объединяться?

Основой такого объединения могла бы стать, допустим, консолидация против радикалов из другого, коммунистическо-националистического лагеря. Но гниение, похоже, зашло уже настолько далеко, что боязнь объективной информации о реальной силе этого лагеря перевешивает стремление использовать его как политический фон для консолидации. Иначе трудно объяснить, почему президента вооружили данными, согласно которым Руцкой не получит на выборах больше 2 — 3 процентов голосов. Как возможный кандидат от всей оппозиции Руцкой может получить по крайней мере не меньше, чем сам Ельцин. Неужели опыт декабрьских выборов 1993 года так и не пошел впрок, неужели до сих пор не ясно, что искусственное умаление возможностей соперников лишь уменьшает, а не увеличивает собственные возможности?

Все это я и имел в виду, когда говорил, что события последнего времени укрепили меня в приверженности идее «новой демократии», противостоящей демократии «старой».

Почему речь идет именно о демократии, а, допустим, не о социал-демократии, под знамена которой готово встать сегодня так много самых разных политиков, и не о либерал-демократии в духе, скажем, Бориса Федорова и Ирины Хакамады? Потому что именно слово «демократия», по нашим данным, остается тем символом, который объединяет большинство голосовавших на президентских выборах 1991 года за Ельцина. Но это слово уже не ассоциируется в сознании большинства с людьми, которые сейчас находятся у власти; они, включая Ельцина, не выглядят в глазах общества демократами. И вот в таких-то случаях, когда старые символы еще не исчерпаны, когда они сохраняют свое воздействие, когда еще не вытеснены другими, а реальная практика, освящаемая этими символами, успела вызвать разочарование, как раз и используется обычно прилагательное «новый». В политической истории примеров тому несть числа: «новые левые», «новые правые», «новые консерваторы», «новые искровцы» — первое, что приходит на память.

В наших условиях «новая демократия» — единственная альтернатива гниению «старой», ее вырождению в нечто прямо противоположное. Речь идет не только о выборах и не только о кандидатах на президентскую должность. Речь идет о том, что лишь откровенная публичная критика и самокритика этой «старой» демократии открывает перспективу демократии «новой», а саму «старую» может удержать от вырождения и загнивания в течение того еще очень долгого периода, который нам осталось прожить до выборов.

⁷ Только после убийства журналиста Холодова и последовавшего вскоре выступления Ельцина в роли адвоката министра обороны — выступления, мягко говоря, искажавшего реальное отношение к генералу Грачеву в армии, — интеллигенция в течение нескольких дней «прозрела». Но в статьях ее представителей и коллективных заявлениях просматривалось скорее суетливое желание «отмежеваться», чем серьезная заявка на контроль общественности над властью. К тому же я вовсе не уверен, что взрыв негодования не сменится новым молчанием. Потому что по-прежнему не изжито, похоже, представление, обнародованное Еленой Георгиевной Боннэр: критиковать «свою» власть — значит лить воду на мельницу ее врагов. Неужели так и не поймем, что следовать этой логике — значит не помогать, а вредить «своей» же власти и самим себе, так как такое поведение интеллигенции (подчеркиваю, не политиков, а интеллигенции!) лишает ее доверия со стороны широких слоев общества?

Конечно, «новая демократия» — это пока тоже всего лишь слова. Реальная политическая практика еще не позволяет наполнить их сколько-нибудь конкретным содержанием. А потому тем более внимательно надо относиться к любому, пусть даже не очень явным, симптомам вызревания этого содержания. В числе таких симптомов можно назвать наметившееся сближение Лужкова с Явлинским в разработке программы московской приватизации. Я имею в виду не экономическую, а чисто политическую сторону дела.

Россия все еще не достроила свою государственность. До сих пор не решен один из главных вопросов — о взаимоотношениях центра и регионов. «Старые демократы» не могут осуществить разрыв с доставшимся им историческим наследством, когда центр занимается перераспределением ресурсов между сильными и слабыми регионами. Предпринимаемые же сейчас попытки эту модель усовершенствовать и восстановить (отсюда — усиление позиций такого суперведомства, как Газпром, и лично Черномырдина, который, сам того, быть может, не желая, становится олицетворением «старой демократии») в долгосрочном плане скорее всего неперспективны. Сильные регионы в этом не заинтересованы, это тормозит их развитие, а значит, и приумножение национального богатства. Я уже не говорю о том, что управленческие элиты этих регионов сделают все возможное и невозможное, чтобы не допустить усиления московской федеральной бюрократии. И у них есть неплохие шансы добиться своего, так как федеральное чиновничество, как бы оно ни усиливалось, уже вряд ли сможет стать сильным настолько, чтобы взять на себя былую ответственность за положение дел на местах, а местная бюрократия согласится брать ответственность только в обмен на права.

Конфликт Лужкова с Чубайсом по поводу приватизации и последовавший затем блок московского мэра с Явлинским, известным своей давней ориентацией на регионы, я и рассматриваю как заявку на новый подход к строительству российской государственности. Заявка беспрецедентная в отечественной истории: Москва впервые как бы дистанцируется от центра и от себя как столицы и выступает в качестве региона-лидера, прокладывающего коридор для переустройства прежних взаимоотношений между центром и регионами. Не потому ли, кстати, Лужков отказался баллотироваться в свое время в Совет Федерации?

Было бы нелепо, разумеется, идеализировать этот процесс: его общая демократическая направленность не должна затушевывать те издержки, которыми он сопровождается и будет сопровождаться в наших условиях. Местная бюрократия по части «бескорыстия» мало чем отличается от федеральной. События в Приморье, обнаружившие там факты коррупции и своеволия властей не оставляют на сей счет ни малейших сомнений. Но ведь, с другой стороны, истоки этих событий надо искать в тех взаимоотношениях между центром и регионами, которые пытается укрепить нынешний центр; это — реакция местной бюрократии на поведение бюрократии федеральной, стремящейся обеспечить контроль за перераспределением собственности в ходе приватизации и тем самым сохранить свое прежнее положение, освободившись от прежней ответственности.

Разве не показательна в данном отношении спешная передача значительной части акций Газпрома Приморью? Что это, как не вынужденная уступка федеральной бюрократии региональному чиновничеству в обмен на его лояльность и отказ от проведения выборов главы администрации, дающих последнему желанную свободу от центра? Но такие уступки (кто следующий претендент на них?) демонстрируют лишь одно: несостоятельность перераспределительной модели взаимоотношений центра и регионов. Коррупция на местах — ее естественное следствие. Неужели уже одно то, что такая модель порождает ситуации, когда местные выборы в одном регионе становятся общегосударственной проблемой, не заставляет усомниться в ее перспективности? И это ли не симптомы начавшегося гниения, грозящего перерасти в необратимое загнивание?

«Старая демократия» сегодня такова, что блокирует демократию вообще. Поэтому одно из двух: либо она будет заменена (или, если угодно, будет постепенно заменяться) новой, либо само это слово окончательно себя дискредитирует и станет синонимом тотального беспорядка. И не надо тешить себя

надеждой, что ее место займет социал-демократия или либерал-демократия, если под последней понимать не то, что понимает под ней Жириновский. Это место займет нечто другое, гораздо более для нас привычное. И не так уж важно, как оно будет называться. Важнее нам всем побыстрее понять, что из гниющей демократии ничего хорошего вырасти не может.

Возможно, кто-то скажет, что я чересчур драматизирую ситуацию. Но бывают случаи, когда чрезмерная драматизация лучше благодущия. Мне кажется, сейчас именно такой случай.

Октябрь 1994 г.

Еще раз о «старой» и «новой» демократии

Итак, обсуждение вопроса о недоверии правительству, о чем было так много разных толков, завершилось для кабинета Черномырдина вроде бы вполне благополучно. И все же не будет очень уж большим преувеличением, если я скажу, что результаты голосования в Думе можно рассматривать как удручающие. И дело не столько даже в том, что у правительства оказалось так много противников. Дело в том, что у него почти не обнаружилось сторонников. Кабинет не был поддержан даже многими из тех, кто более чем благосклонно воспринял предложенную правительством программу действий в области экономики.

Конечно, сторонников могло оказаться и наверняка оказалось бы больше, не будь уступки аграриям в виде назначения нового министра сельского хозяйства. Но ведь и само это назначение перед обсуждением вопроса о доверии было вызвано желанием удержать фракцию Аграрной партии или хотя бы ее часть от голосования за недоверие (и кого-то скорее всего тем самым удержать удалось, хотя и очень немногих). Что же получается? Получается, что правительство, дабы заручиться поддержкой «правых», провозглашает курс на углубление реформ (или имитирует такое намерение, что в данном случае не очень важно), а чтобы не лишиться при этом власти, вынуждено уступать «левым» и назначать на ответственные должности людей, которые такой курс заведомо не будут проводить. И тем самым терять голоса первых, не получая взамен надежной компенсации со стороны вторых.

Все это вместе взятое может означать лишь одно: голосование о недоверии правительству показало, что главный вопрос сегодня — не экономическая программа, а исчерпанность политического времени для проведения *любой* программы у тех сил, которые находятся у власти. Я имею в виду не только настроения депутатов. Я имею в виду и то, что численность людей, выступающих за отставку правительства, в последнее время превышает, по нашим данным, долю тех, кто против нее возражает.

Ничего нового и неожиданного тут нет. Реформирование коммунистических экономик во всех странах, где оно осуществляется не авторитарно, а демократически, то есть с согласия общества и его представителей, выдвигает на первый план вопрос о политическом *доверии* к властям со стороны этого общества. Если его нет, то реформы будут буксовать независимо от того, как они проводятся — быстро или медленно, решительно или осторожно, радикальными или умеренными темпами. Они, говоря иначе, требуют постоянной политической подпитки.

Исчерпанность резерва политического времени приводит к тому, что пространство для маневра (в том числе и посредством кадровых перемещений) сужается до размеров бутылочного горлышка, а понятия о «правом» и «левом» флангах утрачивают всякий смысл. Тут, кому бы ты ни уступал, все равно окажешься в проигрыше, теряя поддержку тех и других. И если такие разные люди, как Явлинский и Жириновский, заговорили похожим языком, то это ли не свидетельство того, что нынешние власти находятся в политическом вакууме?

Политическая подпитка может осуществляться двумя хорошо известными способами. Она может осуществляться или силой (то есть свертыванием либо значительным ограничением демократии и установлением режима авторитар-

ной власти), или новым подключением общества к формированию (а точнее — к переформированию) государственных институтов.

Первое при нынешнем президенте скорее всего невозможно: режим сильной личной реформаторской власти предполагает не только готовность большинства населения примириться с ним (а в сегодняшней России и это сомнительно), но и предрасположенность достаточно влиятельных политических, военных, хозяйственных и интеллектуальных элит к сплочению вокруг авторитарного лидера. В России сейчас ничего похожего не просматривается. Даже интеллигенция, до последнего времени сохранявшая верность Ельцину, после его неуклюжей попытки поддержать министра обороны и выдать отсутствующую у того популярность в армии за его присутствие, пришла в растерянность.

Что касается других элит, то большинство их представителей вообще никогда не считали Ельцина «своим»: они мирились с ним лишь потому и постольку, поскольку он пользовался поддержкой населения (а ее-то у него сейчас тоже нет; поэтому, кстати, если президент даже решится со временем на смену правительства, то на новый кабинет сразу же падет тень его личной непопулярности). Рассчитывать же на сплочение элит посредством щедрой раздачи орденов и медалей — все равно что рассчитывать на возвращение вчерашнего дня. Я уже не говорю о том, что за авторитарный поворот придется, возможно, заплатить такую цену, по сравнению с которой потрясения октября 1993-го покажутся семечками.

Остается второй способ: подключение общества, или, говоря иначе, проведение досрочных выборов высших органов власти. Кто их предлагает — Зюганов, Жириновский, Горбачев или Явлинский, — не имеет в данном случае никакого значения. Речь идет не о выборе между теми или иными политическими группировками; речь идет о назревшей проблеме, от решения которой все равно не уйти: надеяться на то, что власти смогут удерживать политическую стабильность до середины 1996 года при отсутствии реального улучшения жизни большинства населения, было бы более чем наивно. Президентские и парламентские выборы, желательно одновременные, обязательно должны пройти в нынешнем году (разумеется, при соответствующем конституционном оформлении); только в этом случае уже само объявление их даты может заполнить образовавшийся политический вакуум. Тем более что идея эта давно уже не чужда российскому обществу: численность поддерживающих ее, по данным наших опросов, достаточно велика⁸. Что же до выборов глав местных администраций, то эти выборы лучше на некоторое время отложить, дабы избежать опасности дестабилизации и обострения кризиса государственности (равно как и в интересах избирателей, которым при совмещении сроков проведения выборов центральных и местных властей очень непросто будет сориентироваться).

Говорят о том (со ссылками на декабрьский опыт 1993 года), что в нынешней обстановке всенародное голосование может привести к власти кого угодно. Но если такая угроза и существует, то со временем она будет не ослабевать, а усиливаться. Между тем выше уже приводились соответствующие данные, свидетельствующие о том, что *президентские* выборы ни один из представителей радикальной оппозиции сегодня выиграть не сможет. Точнее, этого не произойдет, если идея демократии, остающаяся самой популярной политической идеей в российском обществе, предстанет в глазах населения как *новая* демократия. И если соответственно на нашей политической сцене найдутся «новые демократы», не несущие непосредственной ответственности за политику последних трех лет (вопрос о том, как ее оценивать, оставим на рассмотрение историков). Нелепо и глупо раздраженными разговорами об амбициях тех или иных деятелей, запугиваниями «расколом демократических сил» и пустыми призывами к их единству пытаться уйти от простой истины, многократно подтвержденной мировой историей: законы политической психологии населения, как и любые другие, никакими призывами и декларациями

⁸ Вот самая последняя информация, полученная незадолго до сдачи этой статьи в журнал (опрос проводился 12 ноября): за досрочные выборы президента выступают 46 процентов респондентов, против — всего 25 процентов.

отменить нельзя (что вовсе не исключает того, что во втором туре выборов «старые» и «новые» демократы объединятся против кандидата от радикальной оппозиции, если он пройдет в этот второй тур).

Еще более нелепо было бы идеализировать нашу «новую демократию», подобно тому как мы идеализировали «старую». Она будет неизбежно хуже, чем современные развитые демократии. Но она может стать шагом вперед по сравнению с тем, что мы имели до сих пор. И она может гарантировать нам нечто весьма существенное: реформирование коммунистической экономики без насилия над обществом и при сохранении обратной связи с ним; она, говоря иначе, может гарантировать демократическое реформирование и удержать от сползания в авторитаризм, который в такой стране, как Россия, обойдется народу очень и очень недешево.

Что касается конкретных программ (что и как делать), то они должны быть разработаны и представлены обществу в ходе предвыборной кампании. Если же говорить об общей направленности, то это — решительный отказ от перераспределительной экономики в том ее виде, в каком она до сих пор сохраняется, окрашивая всю нашу демократизацию в чиновничий цвет. Коротко суть дела сводится к нескольким достаточно очевидным вещам.

1. Отказ от поддержки безответственного собственника и переориентация на формирование и поддержку ответственного — в том числе и за социальные последствия его деятельности. Под ответственностью за социальные последствия я имею в виду вовсе не ту ответственность за искусственное сохранение рабочих мест, которую продолжает культивировать в директорском корпусе российская бюрократия, а нечто совсем другое. Я имею в виду, что только при наличии ответственного собственника можно рассчитывать на появление новых — настоящих — профсоюзов, которые займутся своим прямым делом — защитой наемного труда от работодателя-собственника.

2. Создание благоприятных условий для деятельности в первую очередь тех предприятий, которые выдерживают конкуренцию на внутреннем и мировом рынке; обложение их непосильными налогами не только не способствует развитию экономики в целом, но и лишает правительство и местные власти необходимых источников для проведения эффективной, а главное — долговременной социальной политики.

3. Создание условий для самостоятельного развития прежде всего сильных регионов и укрепления на их основе складывающихся межрегиональных ассоциаций. Без этого невозможна ни сколько-нибудь длительная и надежная поддержка регионов слабых, ни опять-таки устойчивая социальная политика в центре и на местах. Без этого невозможно завершить строительство новой федеральной демократической государственности, без этого никакая конституция и никакие договоры соблюдаться не будут.

4. Законодательная и политическая поддержка «низовой» интеграции бывших союзных республик, то есть интеграции собственности предприятий, без чего все разговоры и все решения, направленные на создание единого экономического пространства, останутся лишь благим пожеланием.

5. Четкая и последовательная линия в отношении военно-промышленного комплекса, выделение в нем предприятий и отраслей, поддержка и развитие которых необходимы с точки зрения стратегических интересов России, и свертывание тех производств, которые со всех точек зрения, включая военно-оборонную, являются паразитическими.

Кто-то скажет, возможно, что все это, как и многое другое, вполне доступно для понимания и нынешних властей, что нечто подобное они делали, делают или намереваются делать впредь. Допустим, что так. Но я говорю лишь о том, что они этого сделать не смогут, так как быстрых результатов само по себе это не принесет, проблемы как были, так и остаются сложнейшими, а все ресурсы отпущенного им политического времени нынешние руководители исчерпали. Искусственно же продлевать состояние, при котором власть пребывает в политическом вакууме, вредно для всех, в том числе и для нее самой.

Тактика без стратегии

Перестановки и замены в правительстве осенью 1994 года можно рассматривать с трех точек зрения. Во-первых, исходя из тех тактических выгод, которые они могут принести президенту. Во-вторых, с точки зрения возможностей, открываемых для укрепления пошатнувшегося в октябре согласия между основными элитными группами российского общества. В-третьих, исходя из того, насколько способствуют они достижению согласия в самом обществе.

Если говорить о тактике, то Ельцин провел операцию по обновлению кабинета вполне грамотно и даже не без блеска. Назначение Чубайса, учитывая бойцовские качества нового первого вице-премьера, открывает пространство для острой политической борьбы, в которой президент, как известно, чувствует себя намного увереннее, чем при политическом штиле. Кроме того, Чубайс — это знак Западу: реформы продолжаются, а потому не опаздывайте с обещанными кредитами, на которые сделана столь крупная ставка в проекте бюджета. Кроме того, Чубайс — это наконец-то достигнутое ослабление позиций главного (и единственного) конкурента Ельцина после декабрьских выборов — Виктора Черномырдина. Последний становится заложником политических сил, близких к «Выбору России». Я уже не говорю о том, что все перестановки и назначения в совокупности вряд ли позволят спасти кабинет: реплика Шахрая о скором правительственном кризисе имеет хорошие шансы стать сбывшимся прогнозом, чему вряд ли сможет помешать даже такой реалистичный и осмотрительный человек, как Евгений Ясин, которому, судя по всему, отводится роль цементирующего звена.

Наконец, назначение Чубайса — это расчет не только на политическое наступление (вплоть до роспуска Думы), но и на возможное отступление, когда Чубайс может быть объявлен виновником очередного провала. Впрочем, такое отступление будет означать и окончательный разрыв Ельцина с приведшими его к власти «демократами», а тем самым — и его политическую изоляцию. Поэтому в президентском окружении такое будущее если и предусматривают, то скорее всего без особого энтузиазма.

Но как бы то ни было, в нынешней обстановке новые назначения, повторю еще раз, можно рассматривать как тактический успех президента. С той лишь оговоркой, что он достигнут в полном стратегическом вакууме.

Сейчас много говорят и пишут о том, что для предотвращения очередного политического кризиса необходимо обеспечить согласие хозяйственных, политических и других элит России. Но на какой основе его можно обеспечить, если не на стратегической? Ведь символическое единение мы уже имели, оно закреплено известным Договором об общественном согласии. Оно, кстати, было не таким уж и символическим, так как базировалось на объединяющем всех общем интересе в перераспределении собственности. Но сейчас, когда этот передел в-первом приближении завершен, когда на передний план выходит не общность, а противоречие интересов разных хозяйствующих и властвующих группировок, ничего похожего ожидать не приходится.

Для достижения компромисса между разными интересами необходимо наличие по меньшей мере двух условий. Во-первых, необходима готовность относительно слабых хозяйственных и региональных группировок (а в России они составляют большинство), не способных сегодня обеспечить приумножение общенационального богатства, согласиться, в ущерб своим сиюминутным интересам, на ускоренное развитие тех предприятий и регионов, которые конкурентоспособны на внутреннем и мировом рынке. В свою очередь, такая готовность не появится, если нет доверия (и это — во-вторых) к центральной власти, если нет веры в ее координирующие способности и стратегические возможности.

У нас, к сожалению, не наблюдается сегодня ни первого, ни второго; смена персонажей в высших эшелонах власти в этом отношении ничего не изменила. Новый помощник президента по экономическим вопросам А. Лившиц выступил в «Известиях» со статьей, в которой поделился своими соображениями насчет того, что ждет нас в ближайшие пять лет. Из статьи следует, что в этот период преимущественное развитие получают обладающие значительным экспортным потенциалом топливно-энергетический и военно-промышленный

комплексы, а также металлургия. Что касается потребительского рынка, то он, по прогнозу автора, на 80 процентов будет заполняться товарами из-за рубежа. И еще в статье говорится о том (это уже не прогноз, а пожелание), что Россия должна ускоренно обновлять и развивать свое машиностроение: иначе, мол, пропадем.

Допустим, что все это именно так и должно быть. Но чтобы, скажем, руководители предприятий и отраслей, производящих ширпотреб, и руководители регионов, где он производится, добровольно согласились его не выпускать, они должны знать, что произойдет с их рабочими, инженерами и служащими, а руководители машиностроительного комплекса должны быть уверены, что благодаря успехам сырьевиков и металлургов (или благодаря чему-то еще) они получат необходимые средства для реконструкции их устаревших предприятий. Добровольно жертвовать своими сиюминутными интересами можно лишь в том случае, если ты знаешь, во имя чего жертвуешь, равно как и то, чем и когда все это может быть компенсировано. Иными словами, как ни крути, а приходим все к тому же: компромисс интересов возможен лишь на основе более или менее ясной стратегии и доверия к людям, которые ее предлагают. Между тем в статье помощника президента мы обнаруживаем нечто прямо противоположное, а именно — убежденность в том, что в ближайшие три года никакой экономической стратегии в России не может быть вообще!

Это очень симптоматичное заявление. Оно может означать лишь одно: нынешние руководители страны исчерпали все прежние ресурсы для обеспечения общественного согласия, а новые найти не в состоянии. Поэтому они по инерции полагаются на старые, демонстрируя тем самым исчерпанность отпущенного им историей политического времени. Его можно искусственно продлевать кадровыми перестановками или чем-то еще, но политического кризиса на этом пути избежать вряд ли удастся. Если же кто-то рассчитывает на спасительность самого этого кризиса и достижение «согласия» благодаря очередной «победе» над очередным политическим противником, то это игра с огнем. Никто не может гарантировать сегодня, что в конфронтацию не будут втянуты широкие слои населения. Результатом же ее вполне может стать приход к власти самых беззастенчивых демагогов.

Еще не поздно остановиться. В российском обществе сейчас конкурентоспособны только две идеи — идея демократии и идея русского национализма. Пока первая распространена несравнимо шире: по нашим данным, около 50 процентов россиян считают, что России нужна демократия. Но примерно столько же полагают, что она терпит поражение. А среди причин чаще всего называется такая: люди, находящиеся у власти и называющие себя демократами, на самом деле таковыми не являются. Но кто может гарантировать, что за остающиеся до президентских выборов полтора года кризисного развития (а иного не предвидится) разочарование в «демократах» не станет разочарованием в демократии? И так ли уж случайно, что в рядах радикальной оппозиции, которая еще совсем недавно единодушно настаивала на проведении досрочных президентских выборов, появляются люди, согласные полтора года подождать, рассчитывая на то, что за это время плод созреет и сам упадет к их ногам?

Так что от вопроса о досрочных выборах, как бы ни сопротивлялась им душа (а я тоже не в восторге от такого варианта), надо не отмахиваться, а обсуждать его серьезно и ответственно, с ясным осознанием того выбора, перед которым оказалась страна. Но как бы ни был решен этот вопрос, всем политическим силам пора понять: уходить от разработки стратегии, подменять ее общими декларациями о «реформе», «рынке» и «финансовой стабилизации», равно как и тактической изворотливостью в решении сиюминутных интересов, — это дорога в никуда. Ни долговременного согласия элит, ни согласия широких общественных кругов при такой политике обеспечить невозможно.

Особенно важно последнее. Население в массе своей давно уже перестало обращать внимание на перестановки в «верхах». Между тем нынешнее поколение россиян, как и предыдущие, готово многое вынести и вытерпеть — все

это мы знаем теперь и по собственному опыту. Но людей нельзя до бесконечности держать в неведении насчет того, ради чего они терпят. Ведь большинство из них так до сих пор и не знает, так и не может получить ответ на простой вопрос: что с ними будет, чего им ждать после того, как ЭТО кончится.

А между тем даже большевики не только обещали всеобщий рай для всех при коммунизме, но и давали людям конкретные ориентиры в виде своих пятилеток. Чтобы вернуть обществу образ будущего, вовсе не обязательно возвращаться к плановой экономике и той лжи, которой она обставлялась. Надо лишь более или менее внятно сказать о том, что потеряет та или иная группа населения в ближайшее время и что она сможет получить — благодаря государству или своим собственным усилиям — через пять или, скажем, через десять лет.

Если это не сделают политики, желающие выглядеть в глазах мирового сообщества цивилизованными, то им, не исключено, придется уступить дорогу деятелям, способным с легкой совестью пообещать всем и каждому «работу и зарплату», а заодно и многое другое не только на пять или десять, но и на пятьдесят лет вперед.

Ноябрь 1994 г.

Р. С. Война в Чечне показала, что высказанные выше опасения были, к сожалению, небеспочвенными. Исчерпанность политического времени и сопутствующее ей стратегическое бессилие нынешней власти для достижения цивилизованного согласия стали еще более очевидными. А там, где невозможно согласие цивилизованное, неизбежно возникает спрос на силу и устрашение несогласных. Чеченская война не сняла ни одной из проблем, вызвавших саму эту войну, а лишь усугубила их. Выбор, перед которым стоит Россия, остается прежним: или новая демократия, или новая (на этот раз националистическая) диктатура.

Январь 1995 г.

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

Наложным платежом журнал не высылается.

«НМ».

Д. ШТУРМАН

*

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛИБЕРАЛИЗМЕ

В дооктябрьской России, в критические эпохи ее истории, всегда находились люди, видевшие, казалось бы, удовлетворительный выход из кризиса. Во всяком случае, будущее показывало, что лучше было бы пойти тем путем, который предлагали они, чем тем, которым пошли в действительности. Пошли потому, что обычно «общество» их советам не следовало, а народ их не слышал.

То ли они не умели (чаще всего даже не пытались) кого-то за собою вести, то ли невозможно было повести россиян дорогой, видимой лишь прозорливому меньшинству. Только теперь, с конца 1980-х годов, в этих немногочисленных людях и в их несбывшихся соображениях начинает Россия видеть свои перечеркнутые возможности. Не вся, разумеется, Россия, но хотя бы некое просвещенное ее меньшинство.

А они действительно говорили и писали, даже печатали умные и верные вещи, но ничего не смогли сделать для того, чтобы их соотечественники их поняли (или им подчинились)...

* * *

Есть мнение, что в России прогресс обычно навязывала народу верховная власть, в то время как в Европе его продуцировало само общество. В этой связи поминают и Петра I, и Ленина, и даже Сталина. Позволим себе оспорить это мнение: в России, как и везде, бывало по-разному. Но случалось и так, что радикальнейшие преобразователи России не ускоряли, а замедляли поступательное развитие страны. В частности, тем, что насильственно тащили ее в направлении, произвольно почитаемом ими прогрессом. Тащили связанной по рукам и ногам, не делая самых необходимых шагов для ее действительного освобождения.

Истинный ее преобразователь, Александр II, был объектом охоты на него жертвенных террористов почти двадцать лет. И они своего добились.

Интересно, кто так прочно связал с именем Петра I эпитет «Великий»? Историки? Литераторы? Фольклор? Петр переступил не через двух жалких женщин (как Раскольников) — он уложил сотни тысяч своих соотечественников, включая родного сына, ради промышленного и культурного развития России по (как ему казалось) европейскому образцу. Он старался внести в русскую жизнь черты западного быта, образования, ремесел и техники. При нем, разумеется, не было У. Ростоу, который доказал бы ему, что традиционное хозяйство России не может дать стране накоплений для столь радикального и, главное, быстрого, **скачкообразного** развития в произвольно навязанном направлении. Силой и в кратчайшие сроки Петр формировал слои населения, которые в Западной Европе складывались **веками**. Не надо преуменьшать кровавой цены его скороспелых нововведений. Заводы и рудники обслуживали не наемные, а крепостные рабочие, жившие на уровне каторжан. За новыми городами стояли гулаговских масштабов переселения (и та же каторга). В экспресс-порядке он лепил «образованщину» по чужим образцам и навязывал ей чуждых и высокомерных учителей.

Органичность и естественный ритм преобразований суть условия полноценного становления всего живого: от клетки до общества. Софья с Голицыным и

его кругом, возможно, задали бы России более плавную траекторию. Но история — это случившееся, а не то, что могло (или не могло?) произойти. Не будем уподобляться Петру и выбирать для России более благополучную дорогу, да еще задним числом. Произошло то, что произошло. Итак, выбрав для России образец, ей инородный и иновозрастный, Петр нещадно гонит ее **как будто бы** по избранному им пути. На самом же деле **он путь, пройденный к тому времени его образцом, то есть Западной Европой, полностью игнорирует.** Страну, еще не имеющую ни просвещенной аристократии, ни «третьего сословия», ни образованного слоя, а только ростки и зачатки оных, самодержец намеревается превратить в современную ему Европу «большим скачком».

Раскрепощать, высвободить, поддерживать то, что для этого созрело, помогать ему укрепляться и развиваться, имея перед глазами желательный для него образец, — для Петра I это путь, исключенный уже одним только его темпераментом. Поэтому нет смысла патриотам России обижаться, когда Петра сближают то с Лениным, то со Сталиным. В нем действительно была большевистская жажда ударными темпами «перелепить» русский мир по своему разумению, **не считая жертв.** Поэтому он не раскрепощает крестьян, а, напротив, усиливает крепостное право, подавляет суверенность высших сословий, создает, даря купцам крепостных, каторгу для промышленного подъема и военных побед. Разумеется, иначе как варварскими способами навязывать русскому обществу западные черты было немислимо, ибо усвоение этих черт заставляло страну нечеловечески напрягаться и истощаться. Движение, декретированное Петром, начало замедляться, как только сошел в могилу его беспощадный генератор: темп этого движения начала гасить огромная инерция подвергнутого насильственной реконструкции, но внутренне не трансформированного общества. А между тем в петровское время уже многое из старого, допетровского, можно было бы и отменить, многое из желаемого — ввести. Многому надо было только не мешать отмереть.

В той скачке, которую навязал России Петр, погибли многие родоначальники отечественного просвещенного слоя, как духовного, так и светского. Погибли, ибо они не являлись опорой петровской поспешности в прозападных преобразованиях. Не хотели и не сумели бы ею стать. Их заменили «птенцы гнезда Петрова», высиженные из яиц фантастически разнообразных «пород». Повторю, что тогда появилась в России и первая историческая генерация «образованщины», ее прообраз.

За двести с лишним лет произошли с этим слоем разные и многие трансформации. В них родилась политически ориентированная интеллигенция. Но и воскрес просвещенный образованный слой. О нем мы (перешагнув в середине XIX века) и попытаемся поразмышлять.

Среди многих течений политической русской мысли второй половины XIX столетия **большинству** вчерашних советских читателей знакомы только народнический социализм и начавший распространяться в России с 1880-х годов марксизм.

Народнический социализм видел зародышевые формы справедливого общественного устройства в крестьянской общине, сохранившейся под скорлупой крепостного права, не давшего ей распасться. Крестьянский «мир», сообща владеющий землей и перераспределяющий эту землю через промежутки времени, традиционные для данной местности, подушно или по рабочим рукам, — таков идеал социалистов-народников.

Мы не станем здесь разоблачать их иллюзии: это сделано до нас. Сейчас уже трудно сомневаться в том, что, при всем своем бескорыстии, сострадательности, нетерпении и нетерпимости, при всех своих жестоких и **жесточенных** приемах борьбы, радикальный народнический социализм шел в историю вперед затылком и ничего не мог принести России, кроме дорогого стоявших ей миражей и кровавой смуты.

С конца 1880-х годов народников начинают оттеснять на второй план марксисты.

Что же они предложили России?

Вместо фетишизации сельской общины — фетишизацию рабочей артели, причем артели всемирной, с возведением ее в ранг всеземного законодателя, вероучителя и распорядителя. Если крестьянская община в российской действительности реально существовала, хотя и не соответствовала предст

ям народников о ней и о ее будущем, то «диктатуры пролетариата» наяву в истории человечества никто не видел и, разумеется, не увидит. Осуществимая не более, чем вечный двигатель, она была изобретена революционерами-книжниками, которые по ряду мало убедительных соображений вообразили ее себе и представили другим как историческую неизбежность. Это сразу же породило ответную критику, марксистами **ни разу** убедительно не опровергнутую. Критика социализмов всех толков прошла за это время путь от доводов здравого смысла до теорем высшей математики. В социализме-коммунизме не добавилось и не усовершенствовалось ни одно доказательство как его реальности, так и желательности. Просто условилось считать социализмом-коммунизмом то, что из этого учения получилось **на деле**, и на том «теоретики», в отличие от практиков, успокоились.

Оба учения имеют сугубо реактивный характер, о чем тоже говорили их критики и двести, и сто, и шестьдесят лет тому назад. Народнический социализм — реакция сострадательного сознания на страшный гнет крепостного права; марксизм — реакция того же гуманистического сознания на беспросветное существование пролетариев ранних стадий капитализма.

Особенность обоих этих социальных учений — это их способность привлечь в определенных условиях миллионы людей к своему утопическому идеалу. Одной из причин этого является их вышеупомянутая реактивность, то есть их эмоциональная созвучность реакции массы людей на определенные исторические обстоятельства. Так, идеал социалистов-народников совпадал, с одной стороны, с мироощущением крестьянства, с другой — с чувством вины перед крестьянством в образованных людях, с ненавистью первых — к угнетателям, вторых — к угнетению.

Вспышка симпатий к ставшему, казалось бы, за три четверти века ненавистным социализму-коммунизму в нынешних постсоветских странах имеет точно такую же реактивную природу. Людям — трудно. Им плохо потому, что социализм истощил и разрушил подвластные ему страны во всех отношениях: экономически, нравственно, экологически, в правовых аспектах, культурно, организационно. И сейчас это разрушение — по огромной своей инерции — продолжается, а истощение компенсировать нечем. Но масса людей помнит, что до **окончательного крушения коммунизма «порядку было больше»**. И она начинает относить все тяготы его крушения уже не на счет этого **изначально обреченного на развал** строя. Напротив: гнев обращается против тех, кто коммунизму враждебен. Против тех, кто пытается противопоставить развалу какие-то созидательные усилия, какие-то способы и пути его реального преодоления. Повторяется роковой парадокс: правда сложна, многофакторна и не обещает земного рая, да еще немедленно. А демагоги и утописты общепонятны и «гарантируют» «хорошо, много и даром». И опять за ними идут. И — в который раз — все зависит от того, многие ли пойдут, успеют ли здравомыслящие силы противопоставить демагогам и утопистам спасительные шаги.

* * *

В периоды либерализаций досоветской эпохи в обществе немедленно начинали звучать достаточно громкие и многочисленные голоса, призывавшие левых поубавить их разрушительную активность (хотя бы до тех пор, пока не будет исчерпан весь реформаторский потенциал данного времени). А крайне правых — не противостоят реформам, не сужать возможности эволюции, не обрушивать на горячие головы дубины, без разбору крушащей зачастую и центр.

Но ни разу русские либералы не стали — на период, достаточный для разрешения хотя бы самых больных вопросов и для дискредитации крайних групп, — силой не только убеждающей, но и правящей.

Казалось бы: меры радикальные, военно-революционные вынужденно допустимы только тогда, когда нет никакого простора для реформации, для прогрессивной эволюции, которую эти революционные меры и призваны раскрепостить. Во всяком случае, в частной жизни, в повседневной деловой практике нормальные люди на драку идут только тогда, когда **нет иного выхода**, на хирургическую операцию — если бессильно лечение консервативное. Но политика, как внутренняя, так и международная, пренебрегает житейским под-

ходом к тому, что считает своими задачами. Она разворачивается тысячелетиями так, словно ее носителям психология уголовников ближе и доступней, чем здравый смысл обыкновенных людей. Политика тяготеет к силовым приемам не только тогда, когда иного выхода нет. В частности, нередко радикализм расцветает особенно пышным цветом именно там и тогда, где и когда общество располагает известной свободой действий и где потому объективно возможен нерадикальный подход к решению социальных задач. Будучи безусловно необходимой и желательной для общества, либерализация всегда связана с ростом активности и разрушительных сил. Особенно неустойчива либерализация в том случае, если она, непривычная, новая для толщ народа, еще не успела избавить народные массы от экономической тяжести их традиционного быта, от политических черт вчерашнего дня в повседневной жизни. Так, Россия в 1917 году приняла свой военный **квазитупик** за тупик и, взорвав исторически продуктивную, хотя и отягощенную различными трудностями ситуацию, вошла в феврале — октябре 1917 года в тупик настоящий.

* * *

Мы уже говорили: радикалы (и «левые», и «правые») решительны и преданны чисто **политическому** подходу к любому делу. В такой же степени классические либералы¹ склонны быть осторожными и к любому делу или вопросу подходить раздумчиво, теоретически, по внутреннему, а не тактико-стратегическому его существу. В дореволюционной России экстремисты специализируются как политики, а либералы — как литераторы и философы. Поэтому первые торжествуют в жизни, а вторые — в уничтожаемых первыми книгах.

Позволим себе еще одно «отступление в будущее». Чем отличается (в самом главном) 1917 год от нынешнего? Мы имеем в виду Российскую империю и нынешний ареал распавшегося СССР.

Сегодня почти нет (он на исходе) того запаса, **резерва**, который три четверти века помогал выживать в обстановке перманентного хозяйственного кризиса. Нет (проржавели и рассыпались) стальных обручей, которые силой и принуждением сдерживали тенденцию нелепого строя к хаосу и распаду. Правящие силы, да и все общество бывшего СССР сегодня во все большей степени уподобляется саперу, который, как известно, ошибается один раз. Резервов и ресурсов для нескольких серьезных ошибок попросту уже нет.

Тяготение к распаду — к разрыву даже чисто экономических связей внутри недавно еще единого хозяйственного организма — растет. Не только на всем его бывшем пространстве, но и в собственно России, в ее автономиях. Есть и обратные тенденции, как реактивные, так и продуктивные. Но время обратимости распада стремительно истекает. Вопрос в том, кто сумеет его использовать: разрушители или созидатели. Опыт, не только исторический, но и физический, показывает, что распад энергетически дешевле созидания. Его скорость выше, а технология — проще. Ломать — не строить: ума не надо. Сумеет ли на этот раз Жизнь, Созидание опередить темпы распада (нарастание энтропии)? Силы, стремящиеся, казалось бы, к созиданию, дробятся в программных или амбициозных дрязгах...

* * *

Россия почти не знает политически удачливых, решительных, тактически целеустремленных, умеющих побеждать не только в корректной полемике, но и в политических схватках последовательных сторонников либерализма. Если они и поднимались к вершине власти, то на слишком короткое для серьезных

¹ Либералами мы называем людей разных взглядов, рассматривающих рост личной свободы и обеспечение ее правовых гарантий как свою цель, как самостоятельные общественные ценности, а не как обстоятельства, облегчающие разрушение «старого общества» (общество-то одно). Исторически либерал — это сторонник эволюционного повышения уровня свободы и права посредством постепенного раскрепощения общества, его возможностей, в том числе и экономических.

реформ время. В русской истории почти все те, кто превыше всего ценили гарантированную свободу личности, ценили ее настолько, что не пытались лишать свободы действий даже ее врагов, хотя и видели их опасность для общества и много писали об этой опасности. У них не было порою возможности, порою способности возглавить и обеспечить спасительное преобразование общества соответственно их идеалам.

Сегодня русские могут утешаться тем, что западный либерализм все более проникается теми же свойствами. (Правда, на Западе термин «либерализм» уходит все дальше от своего первоначального значения и превращается в один из синонимов социалистической идеологии.)

* * *

В начале царствования Александра II К. С. Аксаков имеет возможность подать царю записку «О внутреннем состоянии России», что он и делает, не претерпев за то никаких гонений. Цитируем отрывки из этой записки:

«Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Правительство, а с ним и верхние классы отделились от народа и стали ему чужими. ...При потере взаимной искренности и доверенности все объяла ложь, везде обман. Правительство, при всей своей неограниченности, не может добиться правды и честности, без свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошли до огромных размеров. Взятничество и чиновный организованный грабеж — страшны».

А это уже в письмах к друзьям: «Революционные попытки... сокрушат Россию, когда она перестанет быть Россией», «И мы сами, поборники народности, не знаем других орудий для исцеления зла, кроме указываемых европейской цивилизацией: железные дороги, изменение крепостного права, журналы, газеты, гласность».

Итак, даже либералы-славянофилы вынуждены обращать свои взгляды к европейской цивилизации — подобно тому как французский историк прошлого века Ремюза писал: «Когда я думаю о Франции, то мне ничего более не остается, как обратить мои взоры на Англию».

В конце тех же 1850-х годов Н. Г. Чернышевский недвусмысленно выговаривает либералам, склонным фетишизировать свободу личности и ее правовые гарантии (термин «демократия» для Чернышевского синонимичен терминам «социалистическое народничество», «социализм» или «революционная демократия»): «либералы почти всегда враждебны демократам и почти никогда не бывают радикалами», демократам «почти все равно... каким путем» добиваться своих целей; радикализм «расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформ готов жертвовать и свободой слова, и конституционными формами» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М. 1950, т. V, стр. 216. Выделено мной. — Д. III.).

Как видим, уже тогда Н. Г. Чернышевский готов был жертвовать и нашей с вами свободой слова, и конституционными формами ради своих реформ.

Б. Н. Чичерин пишет Герцену (ст. «Обвинительный акт» — «Колокол», 1.XII.1858, лист 29): «Вам во что бы то ни стало нужна цель, а каким путем она достигается — безумным и кровавым или мирным и гражданским, — это для Вас вопрос второстепенный. Чем бы дело ни развязалось — невообразимым актом самого дикого деспотизма или свирепым разгулом разъяренной толпы, — Вы все подпишете... Вы считаете даже неприличным отворачивать подобный исход».

По сей день и в более свободных странах, чем Россия XIX века, несочувствие революционным и террористическим методам, даже тогда, когда возможны методы мирные и гражданские, а у революционеров нет положительных целей (как не было их объективно и у Герцена), считается неприличным.

В своих прокламациях «Молодая Россия» и «К молодому поколению» круг Чернышевского (1861 — 1862) возвещает, что его деятели готовы во имя народнического социалистического идеала пролить «втрое больше крови, чем пролили якобинцы во Франции». Этот круг откровенно и деловито прикидывает, одну ли только царствующую фамилию придется ему извести ради общинного

уравнительно-передельного социализма или «всю монархическую партию». Еще нет никаких отчетливых идеалов (перечитайте всю народническую публицистику XIX века — ничего, кроме смутных прикидок будущего, вы в ее положительной части не обнаружите), а уже решено переступить и через свободу слова, и через конституционное право, и через кровь.

* * *

Либералы относились к радикалам по-разному. Это — Кавелин (письмо к Каткову — «Записки Отдела рукописей ГБЛ». Вып. VI. М. 1940, стр. 62): «Из всей этой компании я близок с Чернышевским, которого очень люблю и уважаю» (10 марта 1858 года). И в следующем письме (20 октября 1858 года): «Что же касается до Чернышевского, то его я знаю близко и могу Вас уверить самым положительным образом, что он не заслуживает названия человека без убеждений. С ним можно не соглашаться, да и трудно бывает... иной раз с ним согласиться. Но по искренности и честности своих убеждений он безупречен и заслуживает полного и глубокого уважения и сочувствия. Это один из лучших людей, пользующийся большим влиянием и имеющий горячих приверженцев».

Вот выдержка из ответного письма (27 октября 1858 года П. Леонтьев к Кавелину; «Публикация из прошлого» — «Русская мысль», 1892, № 3): «Господин Чернышевский, как говорят все, очень хороший человек, очень чистый человек и очень способный человек; Вы пишете, что он имеет горячих приверженцев. Нельзя не пожалеть, что такой человек увлекся такими бездушными и бесплодными теориями, но если он еще и других увлекает ими, то не обязан ли противодействовать ему всякий видящий, что эти теории ведут не к жизни, а к смерти всего наиболее драгоценного для людей и обществ? Вы, вероятно, не все читаете, что пишется, иначе Вы, наверное, обратили бы внимание Чернышевского на то, к чему ведет такая деятельность. Тысячелетиями истории выработанные блага для него ничто. Свобода лиц, свобода слова, улучшенное правление — все это вне его симпатий. Помилуйте, ведь проповедовать такие вещи значит развращать людей! Чернышевский, конечно, сам не знает, что творит. Но можно ли знающему оставаться равнодушным? Куда бы мы годились, если бы спокойно смотрели на таких витязей, набирающих себе дружины? Чем более у них приверженцев, тем сильнее побуждение, тем священнее долг противодействовать им, не позволять им лишать нашу молодежь идей и энтузиазма, лишая ее в то же время всякого практического взгляда на потребности жизни. Больно видеть, Константин Дмитриевич, этот индифферентизм, от которого и Ваше письмо не совсем свободно».

Кажется, без существенных изменений (и с одинаковой бесполезностью) можно переадресовать это письмо нынешним проповедникам радикализма и симпатизирующим им **нынешним** либералам как в отсталых, так и в процветающих странах. Но кто же переадресует и, главное, кто убедит прочесть?

Напоминаем: для либерализма истинного ценен **сам по себе** рост общественной и личной свободы (рост **цивизованности права**). Для него крупица этого роста — самостоятельная ценность, а не шаг, облегчающий завтрашний взрыв всего сущего (как демократия — для марксиста).

Для того чтобы признать неправоту Чернышевского, следует:

1) **Признать беспочвенность конечного народнического социалистического идеала** — беспочвенность, которая доказывалась тогда, как и теперь, с двух различных позиций. Первая хорошо выражена приведенным выше отрывком из послания Б. Н. Чичерина Герцену: «Вам во что бы то ни стало нужна цель, а каким путем она достигается — безумным и кровавым или мирным и гражданским, — это для Вас вопрос второстепенный». Вторую позицию мы условно назовем спенсерианской. Эта позиция критикует и отвергает не путь, которым социализм достигается, а **конечный результат победившего социалистического движения**. «Спенсерианцы» уже в прошлом столетии предсказали ту неизбежную трансформацию примитивно-демократической утопии социализма в безвыходную диктатуру, которая и осуществилась в XX веке.

2) Вторым условием признания правоты либералов-эволюционистов, а не радикалов должна быть уверенность в том, что данная ситуация **допускает**

мирную эволюцию, ее улучшающую, что она не чревата близким и непоправимым, катастрофическим ее ухудшением. Ибо если чревата, то тогда у либерала нет иного выхода, как отбиться от радикальной агрессии ее же средствами: обезвредить ее **силой**. И это в истории случалось не раз. В том числе — в новейшей.

Нас спросят: какая же тогда разница между, допустим, агрессивным «народником» (или большевиком) и либералом, прибегнувшим к силовым приемам?

Разница **принципиальная**: либерал защищает правовой и способный к дальнейшей положительной эволюции строй. Либерал отменяет авторитарные (чрезвычайные) законы против радикалов, как только устраняет реальную и непосредственную опасность победы последних. Примеров такого хода событий в истории — предостаточно. В России, однако, ему не дано было свершиться.

Русские либералы 1860 — 1910-х годов не без основания доказывали в своей публицистике, что, с одной стороны, в России не исключено мирное совершенствование общественных отношений, с другой — что программа социалистов-народников или социал-демократов не может эти отношения усовершенствовать.

Мысль о том, что социализм ведет не к демократизации всей общественной жизни, а к ее невиданной централизации и бюрократизации, находила сочувствие в русской либеральной среде. Но последовательных этатистов типа Б. Н. Чичерина в ней было не много. Против чичеринской «апофеозы централизации, бесправной демократии и нивелирующего начала равенства» (Кавелин, 1857) восстают и западнические, и почвеннические либеральные группы. Так, Кавелин пишет Каткову: «Взгляд его (Чичерина. — *Д. III.*) на государство не только есть ошибка и ложь в теоретическом отношении, но **заблуждение, в особенности в наше время опасное и несвоевременное** (выделено Кавелиным. — *Д. III.*). Против поднятого им знамени централизации, против нового Ваала — идеи государства, которому он приносит кровавые жертвы, надобно вооружаться всеми силами, и тем решительнее, чем талантливей рука, поднявшая это несчастное знамя».

Б. Н. Чичерин же оправдывает свой этатизм тем, что русское общество не подготовлено к политической самостоятельности, что ему свойственны пока только шатания из крайности в крайность и что оно породит хаос, если снять с него твердое государственное принуждение.

Поскольку, как показало время, Чичерин был прав, то не имело ли смысла либеральному течению сплотиться вокруг царя-реформатора и его сподвижников? Тем более что не было еще в России мощного «третьего сословия» со своими элитами. Петр I не освободил крестьян и закрепостил дворян. Александр II сделал главный, но только первый (и поздний) шаг. Но либералы остались **течением мысли, а не действия** и предпочли либо поддерживать «вольнодумцев», либо уйти в глухой политический нейтралитет. А «вольнодумцы» уже не думали, а делали бомбы и рыли тоннели (пусть несколько позже). Тогда (в 1850 — 1860-х годах) они только звали Русь «к топору». Но поддержка власти, даже и с оговорками, была и в просвещенной среде дурным тоном. А поддержка «вольнодумцев» — хорошим. И чем дальше — тем лучше.

Помните у Пастернака:

Это было вчера,
И, родись мы лет на́ тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

(«Девятьсот пятый год»)

Напомним: «лаборантши» делали бомбы. И это еще (1925 — 1926) вызывает у их детей романтическую ностальгию. Правда, со временем мироощущение детей изменится. Чтобы избежать «лакировки действительности», скажем так: мироощущение **отдельных** детей изменится...

* * *

Кавелин пишет Герцену весной 1862 года: «Крепко и здорово устроенный суд, да свобода печати, да передача всего, что прямо не требует единства государства, местным жителям в управление — вот на очереди три вопроса. Ими бы и следовало заниматься вместо игры в конституцию». Реформы Александра II все это делали возможным. Но интеллигенция в них не включилась. Она не услышала кавелиных с их отчаянными призывами, обращенными вправо и влево: «Ни реакции, ни революции!..» Еще в начале XIX века Сперанский в своем предисловии к Своду законов, которые хотел провести, молил о том же, но столь же безрезультатно. И просвещенные, и поверхностно образованные слои общества предоставили проведение реформ чиновникам. Вскоре нетерпение левых и тупое упрямство правых опять привели к реакции.

М. Каткова относят обычно к правому краю российского либерализма середины XIX века. Оцените сами рассуждения этого — среди либералов — правого журналиста и сравните их с готовностью Чернышевского загодя жертвовать свободой и правом ради торжества своих снов.

Катков (цитирую выборочно) проповедует сосуществование «крайних прогрессистов» и «умеренных прогрессистов», «партии движения» и «партии охранения», но в английском парламентском стиле и духе борьбы, которую считает естественным образом жизни политически развитого общества. С Чернышевским он спорит непримиримо из-за (цитирую Каткова) «возбужденной и эксцентричной фантазии» последнего, из-за «наезднического обращения с действительностью», из-за приверженности к «внешним или насильственным способам» преобразования, из-за «чудовищной нелепости» конструктивной программы народнического социализма, из-за «непонимания жизни, соединенного с нелепыми притязаниями на переработку ее основания». Вот как рисует свой идеал партийных взаимоотношений Катков: «Общественная свобода есть самое сильное охранительное начало в мире», «Русская история постоянно являла отсутствие равновесия сил «движения» и сил «упора»: они всегда действовали непримиримо враждебно друг к другу и существовали порознь. По этой причине все прошедшие преобразования оказались мало плодотворными. ...В настоящее время особенно чувствуется потребность ввести в нашу государственную организацию участие живых общественных сил, чтобы восстановить равновесие между движением, которое может стать бесплодным, даже разрушительным, с самосохранительными инстинктами жизни. ...Разумное преобразование есть улучшение существующего; средство разумного преобразования — устранение недостатков, обнаруживающихся в существующем порядке, и, следовательно, сохранение в нем всего того, что удовлетворительно. Основой преобразований должен быть существующий порядок. Самое слово **преобразование** показывает, что преобразования не создают чего-либо нового, а дают существующему новый образ» (Катков в М. Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» 1863 года. 1897, № 138).

Но, повторим, борьба политических движений в просвещенных слоях общества оставалась в основном движением литературным, публицистическим. В практическую политику уходили, **как правило**, экстремисты. Хотя исключения были, и чем ближе к 1917 году, тем более частые. Но повторим снова и снова: остойчивая масса «третьего сословия» еще не сложилась. «Тело» нации словно бы не последало за видениями ее образованного меньшинства, начитавшегося книг о **другой** истории **других**, гораздо более зрелых (а то и старых) народов. Радикалы пытались перебросить народное «тело» через этот разрыв — рывком, ускоренно, в произвольно ими, радикалами, избранном направлении. И опять мы приходим к мании «большого скачка», соблазняющей всех скоростных преобразователей.

* * *

Применимо ли наше рассуждение о преимуществах постепенной реформации к строю, сложившемуся в СССР в 1920-х годах и просуществовавшему до 1990-х? Нет, неприменимо. И прежде всего потому, что постепенность **предполагает готовность к реформам на высших ступенях власти**. СССР же вплоть до своего распада был государством **тоталитарным**, то есть по части фундаментальных раскрепостительных реформ **невменяемым**.

* * *

Вернемся, однако, в XIX век.

Естественно, что после множества покушений и чудовищного убийства Александра Освободителя имело место «поправение» власти — реакция на натиск слева. Возникло озлобление против радикализма со стороны даже недавних «почти радикалов» типа Кавелина; что же говорить о всегда умеренном и осторожном Каткове? Катков, нападающий, например, на Герцена, уже в 1860-х годах выглядел так, словно он осатанел от отчаяния, от невозможности убедить, от разрушительного упорства левых и от начавшейся слепой, по его мнению, реакции справа. Он осыпает Герцена бранью куда более резкой, чем позволял себе раньше по адресу Чернышевского: «Бездушный фразер не видит, в чем уголовщина! Ему ничего, — пусть прольется кровь этих «юношей-фанатиков»! Он в стороне, — пусть она прольется!» («Русский вестник», июнь 1862). Или: «Свободный артист, укрывшийся за спиной английского полицмена, вербует себе приверженцев во всех углах русского царства и для своего развлечения высылает их на разные подвиги, которые кончаются казематом или Сибирью». Вот еще один отрывок из статьи Каткова «К какой мы принадлежим партии»: «Вывите с корнем монархическое начало... уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, и место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархией самого дурного свойства».

Что больше похоже на почти вековое «светлое будущее» — «четвертый сон Веры Павловны» или процитированное выше пророчество?..

* * *

Останавливает на себе внимание характерная для 1860-х годов (и для 1910-х, и для нынешних демократических стран и кругов) упорная надежда либералов на то, что радикалы не победят по причине бессмысленности строительной части их программы. Это губительная ошибка: побеждают партии с помощью используемых ими доктрин и лозунгов. А не доктрины с помощью партий.

Невыполнимость радикальных политических лозунгов не делает их «отвлеченными», как утверждают некоторые их критики. Напротив: призывы-программы радикальных политических спекуляторов, как правило, вещественны и для сочувственного слуха сугубо конкретны: «Земля и воля», «Черный передел», «Мир — хижинам, война — дворцам», «Россия — для русских», «Грабь награбленное!».

И не теряют они значения для общества, а просто в нужный момент перестают эксплуатироваться победившей силой, изымаются ею из обихода. И порой — весьма жестокими средствами.

* * *

Революционный подъем 1905-го, «Манифест» от 17 октября 1905 года и всеподданнейший доклад графа Витте при манифесте создали в России 1905 — 1906 годов положение, сходное в некоторых чертах с положением начала 1860-х. Снова приоткрылся известный простор для легального прогрессивного преобразования русской жизни. Все партии, полупартии и круги, тяготеющие к либерализму, пытались ухватиться за эту возможность (а таких групп и больше, чем в 1860-х годах, и опираются они на более широкие слои общества). Однако и российские левые начала XX века (социал-демократы разных толков, эсеры и проч.) — это тоже не социалисты-народники 1860-х. И правые XX века — это Русское собрание, Союз русского народа («Социалисты-Революционеры Наоборот» — как окрестили их либеральные шутники) и другие воинственные, денежные, агрессивные демагогические группы; они не только «страшают и не пушают», но умеют и дирижировать инстинктами темных толп, умело бросают им соблазнительные приманки антиинтеллигентства, антисемитизма, легкой наживы и т. п. И народ — крестьянство, рабочие, горожане — не тот: иной социальный состав, иной уровень социальной активности, грамотности, иные представления, иные

требования. Сохранившая с крепостных времен избыточность сельского своего населения, Россия должна была пройти сквозь мучительную и долгую экономическую перестройку, без которой удовлетворительно разрешить свои внутренние противоречия она не могла бы. Ей предстояло:

- 1) перераспределить землю экономически наиболее выгодным для общества образом;
- 2) убрать из деревни и занять в промышленности избыточные рабочие руки;
- 3) сделать промышленность производительной, без чего нельзя было обеспечить наемным работникам удовлетворительные условия труда и существования.

Через подобную перестройку прошли в свое время почти все развитые страны. Экономические программы С. Ю. Витте, а позднее П. А. Столыпина, учитывая (особенно — вторая) российскую специфику, были устремлены к созданию в России той хозяйственной почвы, на которой только и мыслимы были последующие либеральные преобразования в политике. Сравнительно мирный выход из российского **квазитупика** лежал в области хозяйственного и гражданского устройства крестьянства, **действительного и последовательного исполнения «Манифеста»** 17 октября 1905 года, в нейтрализации политического экстремизма и прежде всего — террора. Страна остро нуждалась в активизации промышленной жизни и торговых связей, в публицистической, культурной и политической пропаганде, которая позволила бы большинству населения осознать свои далеко идущие интересы.

Если бы не убийство (но готовилась и отставка!) Столыпина... Если бы не война... Но история не признает никаких «если бы»: **она есть то, что произошло.**

Сработал расчет радикалов: чем хуже — тем лучше (для их сиюминутной победы). Они (**всех** мастей) и сегодня так рассуждают: чем хуже — тем лучше. Им легче ловить рыбку в мутной воде.

Итак, относительно мирная и благополучная эволюция Российской империи **сорвалась**. Как практически, в каких неповторимо трагических перипетиях — об этом уже рассказано. Не поленитесь прочитать «Красное Колесо».

* * *

Но теперь-то что? Выкован ли в горниле российской трагедии либерал властный и сильный, с четкой программой, не преступающий нравственного закона в его существовании, но умеющий его защитить? Практик, но видящий горизонт (окоем) во всей его широте, организатор и лидер, способный привлечь, отобрать и сплотить людей?

Для черного дела — сумели найти и сделать все необходимое. Сумеют ли и успеют ли для дела честного и спасительного?



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ЭСТАФЕТА

Георгий Борисович Федоров, известный ученый-археолог и писатель, в особых рекомендациях не нуждается. Давние читатели «Нового мира» помнят его по нескольким статьям, в разное время опубликованным на страницах нашего журнала.

С 1991 года Г. Федоров с женой жил в Англии, где и скончался. Рецензию на книгу польской правозащитницы Н. Карсов передала в редакцию жена покойного. Автору хотелось, чтобы его отклик на записки польской диссидентки появился в отечественном журнале.

Морозной зимой 1943 года битком набитый людьми состав на всех парах шел из Варшавы в нацистский лагерь уничтожения Трешлинка, где их уже ждали газовые камеры. Женщина с двухлетней дочкой на руках и ее муж на ходу выбросились из поезда, видимо предчувствуя, что их ждет. Женщина погибла. Отец нашел девочку в снегу с отмороженными руками. В Варшаве, куда тайно вернулась женщина, эту еврейскую девочку выдала за свою дочь полька Станислава Карсов-Шиманевская. Отец ребенка, видя, как сужается кольцо нацистской облавы, и не желая ставить под угрозу спрятавших его людей, вышел на лестничную площадку и выбросился из окна...

Страшные годы нацистской оккупации сменились долгим периодом так называемой народно-демократической Польши, фактически оккупированной Советским Союзом, усиленно насаждавшим в стране кровавый коммунистический режим.

Станислава Карсов-Шиманевская воспитала и вырастила девочку с любовью и нежностью не меньшими, чем свою родную дочку Лиляну. Примечательная деталь: о том, что она приемная дочь, Нина узнала, уже будучи взрослой. Ее мачеха Станислава с самого начала немецкой оккупации вступила в активную борьбу с гитлеровскими захватчиками в рядах подпольной Армии Польской, а затем в Армии Крайовой. Именно за эту борьбу, чудовищно извратив ее суть, «народно-демократические» власти и арестовали Станиславу. Ее приговорили к десятилетнему тюремному заключению и лишь в 1957 году реабилитировали. По фальшивым обвинениям упрятали в тюрьму старшую сестру Нины Лиляну и ряд ее друзей.

Уже будучи взрослой, девушка познакомилась с польским историком и писателем Шимоном Шехтером, который был на двадцать лет старше Нины. Его жизненный путь был сложным: от веры в коммунизм и его «идеалы» к пониманию античеловеческой сути «великого учения». Встреча Нины с Шимоном Шехтером предопределила ее дальнейшую судьбу. Они полюбили друг друга. Вместе вели неравную борьбу с коммунистическими властями, очень затрудненную для Шимона Шехтера тем, что он потерял зрение. Тем не менее они сумели сделать очень много. В частности, Шимон Шехтер написал разностороннее исследование коммунистической идеологии, идеологии лжи, глубоко проанализировав ее методы.

Нина Карсов и Шимон Шехтер по некоторым соображениям конспирации назвали свой общий дневник «Дневником Нины Карсов» и вместе с другими «крамольными» документами хранили его у себя дома, продолжая заниматься правозащитной деятельностью. Реакция органов последовала незамедлительно. Недаром первая глава книги называется «Обыск», вторая — «Арест», а одна из последующих — «Процесс». Да, Нина была арестована и осуждена на три года тюрьмы за изготовление, хранение и распространение «клеветнических материалов, порочащих...» и т. д. Какой русский не знает сходных формулировок статьи 190 Уголов-

ного кодекса РСФСР, отмененной в России только недавно, статьи, по которой можно было посадить в тюрьму практически любого человека. Судили именно Нину — расчитывали, что ее, очень молодую и неопытную, легче сломить. Как же горько служители «правосудия» просчитались! Поведеление Нины и на следствии и на процессе вызывает не только восхищение, но гордость за человека, его мужество, ум и смелость. Шехтера же, с его опытом, зрелостью, сочли фигурой, для процесса негодной и опасной. Ему просто предложили убраться в Израиль. Однако уехать без Нины он отказался, продолжая борьбу за ее освобождение, и победил. Нина была освобождена досрочно, и они уехали в Лондон, где основали крупное издательство «Overseas Publication Interchange Ltd», опубликовавшее на русском языке множество замечательных книг, в том числе и повесть Шимона Шехтера «Время, задержанное до выяснения». После кончины Шехтера в 1983 году Нина продолжает руководить издательством¹.

Эта книга — и о великой любви, и о способности такой любви добиться, казалось бы, невозможного. И хотя читать ее местами трудно — так сжимается сердце, — оторваться от нее, не дочитав до конца, нельзя. Перо же, прочерчивающее на ладони линию жизни, что изображено на обложке, прочерчивает как бы и твою судьбу...

Я бы не согласился лишь с одной немаловажной для меня авторской оценкой. В «Дневнике...» дается резко отрицательная характеристика либералов, которые иначе как «гоготуны» не называются. Да, я хорошо знаю такой тип людей — пустопорожних болтунов, произносящих либеральные фразы, но при малейшем нажиме начинающих действовать, как заметил еще Салтыков-Щедрин, применительно к подлости. Но разве это настоящие либералы? Или, во всяком случае, единственный или главный тип либералов? Нет. Твердое «нет!» Либералы распространяли и читали в России самиздат, либералка спрятала у себя в квартире в Новосибирске Вадима Делоне, за которым охотился КГБ, да все демократическое движение 60-х и 70-х годов не могло бы существовать без постоянной поддержки либеральной интеллигенции. Кажется, еще Норберт Винер говорил: для того чтобы несколько ученых смогли сделать великие открытия, должны работать десятки тысяч обычных научных работников. Я не цитирую дословно, но смысл его суждения именно таков. Из либеральной интеллигенции вышло подавляющее большинство наиболее активных диссидентов.

Еще одно замечание, скорее пожелание. В книге упоминается много имен и событий. В большинстве случаев можно обойтись без комментариев — и так ясно. Однако иногда пояснения все же требуются. Например, относительно не раз упоминаемого в книге октября 1956 года в Польше. Это важный поворот в послевоенной истории страны, а широкому кругу русских читателей суть дела неизвестна. Но мне кажется, что постраничные комментарии не нужны — они только нарушат цельность вещи. Лучше дополнить ее небольшим послесловием при переиздании, которое, хотелось бы надеяться, появится и в России.

Следует упомянуть и отличный перевод книги с польского языка, сделанный Н. Горбаневской при участии Л. Шатунова.

Георгий ФЕДОРОВ.

Лондон.

¹ К сожалению, «Дневник Нины Карсов» — одна из последних книг этого издательства, которое из-за финансовых трудностей прекратило существование. (Ред.)



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

*

ВОСКРЕСШЕЕ СЛОВО

Главы из книги

БУРЕВЕСТНИК В КЛЕТКЕ

Маска и лицо

Максим Горький не был репрессирован, жил и умер в чести и почете у советской власти. Но материалы о нем в лубянской архиве я запросил, зная, что ни один крупный художник, а тем более такая всемирная знаменитость, как Горький, не остался вне внимания Лубянки. Политический контроль, слежка за умами, за творчеством были тотальными, всеобъемлющими. Запросил вроде бы наудачу — но будучи уверен: слишком частую сеть набросили органы на общество, чтобы в нее не попала такая крупная рыба. И не ошибся...

«Владимир Ильич!

С Заксом я не буду работать и разговаривать не хочу. Я слишком стар для того, чтоб позволить издеваться надо мной...

Да и вообще я вижу, что мне пора уходить в сторону...»

Максим Горький — Владимиру Ленину...

Прошло немало времени, пока, перерыв груды журналов и книг в библиотеках, наведя справки в архивах и музеях, я смог понять, что за бумаги передо мной.

И прежде всего обнаружил один поразительный факт: Горький — писатель без биографии. В многочисленных изданиях, посвященных ему, повторяется один и тот же набор хрестоматийных, тщательно процеженных данных, уложенных в некое подобие жития. Будто невидимая, но твердая рука провела черту — что нужно знать и чего нельзя. Отношения Горького с современниками искажены, некоторые люди вообще изъяты из его жизни. Четырехтомная «Летопись жизни и творчества» писателя полна зияющих провалов и неувязок. Сколько писем, на которые есть и ссылки, до сих пор не напечатаны, а те, что печатались, сильно урезаны, — что скрыто за этими купюрами? То же со статьями и даже фотографиями. То же и с архивными документами, многие из них — за семью печатями.

Словом, Горький — эта всемирная знаменитость — едва ли не самый неизвестный советский писатель.

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный... То кричит пророк победы: „Пусть сильнее грянет буря!“»

Это с детства — заставляли учить в школе.

Так оно и вошло в наше сознание, в нашу историю изначально, с пеленок: Буря — Революция и Горький — Буревестник, Вестник Революции... Роман

«Мать», первый шедевр соцреализма, высоко ценил Ленин. Ну, это мимо — скучно... Пьеса «На дне» — да, конечно. «Человек — это звучит гордо, человек — это великолепно. Че-ло-век!»

Горький двоился. С одной стороны — набор стереотипов, вдалбливаемых в голову, примелькавшихся, как портрет с усами, висящий в каждой школе и библиотеке, обычно рядом с Лениным или Толстым. Икона, критиковать нельзя. С другой стороны — не отмахнешься, несомненный талант. Но читать его хотелось все меньше, казался далеким прошлым. Предпочитали Горькому Бунина (почему-то всегда с ним сравнивали), что считалось признаком фронды, вольномыслия.

Короче говоря, я всегда считал Горького Писателем, хотя любимым он никогда не был. И даже как бы не мог быть.

Потом многие годы Горького будто не существовало. Правда, зимую на полярной станции, на острове в Ледовитом океане, я решил перечитать всю классику (заносчивая идея!), взялся и за Горького — и увяз на втором или третьем томе. Не осилил.

Однажды пришли мы вместе с сыном Сережкой — ему тогда было лет восемь — в Дом-музей Горького в Москве, у Никитских ворот. Запомнилась фраза гардеробщицы — шепнула как будто по секрету:

— Здесь ему жилось максимально горько...

Почему? Роскошный особняк. Осмотрев все, Сережка, привыкший к советскому образу жизни — коммунальным квартирам, где в одной тесной комнате семья умудрялась разместить обеденный и письменный столы, родительскую постель, детскую кроватку и бабушкин диванчик, книжные полки, буфет и шкаф для одежды и scarба, а если жизнь семьи осеняют музы, то еще и пианино, и пишущую машинку, — Сережка был потрясен.

— Папа, а кто это все убирал?

— Кто? Слуги.

— Как слуги? — Он был потрясен еще больше. И тут же скомандовал: — Пошли отсюда!

Не вязалось такое в уме моего демократического сына с образом «певца горя народного», страдальца и заступника угнетенных, звавшего Революцию для справедливости на земле. Не вязалось тогда и у меня реплика о горькой жизни Горького здесь, в этом особняке, с атмосферой внешнего комфорта и семейного благополучия.

Прошло несколько лет. У меня умер друг, одинокий художник Шумилин. После похорон я пошел к нему, в его квартирку-берлогу, чтобы забрать картины, — родных у Шумилина не было. Целый день разбирал, складывал, увязывал, курил, вспоминал. Вызвал такси. Уже перед уходом заглянул на антресоли. Там, в грудe одежды, засохших красок и кистей, лежали какие-то два круглых тяжелых предмета, завернутых в бумагу.

Развернул — и отшатнулся: Ленин! Цементная голова, посмертная маска. Развернул другую — Максим Горький, этот полегче, гипсовый... Два лика смерти, отрешенных, загадочных, страшных. Что с ними делать, куда деть? Для Шумилина они могли быть моделью, а для меня?

Сунул в мешок — потом решу.

Пробовал как-то звонить в музей Горького и Ленина — говорят, у них уже есть, не надо. Так и лежат они у меня в кладовке до сих пор. Но совсем о себе забыть не дают — вопрошают...

Что меня больше всего поразило тогда, у Шумилина, — это непримиримое противоборство, враждебность лица и маски, жизни и смерти. Мог ли я думать, что пройдет время — и снова возникнут передо мной эти две маски, уже на Лубянке? Сумею ли я теперь разглядеть за маской лицо?

Ленин и Горький. Два великих друга. Увы, дружба эта в тех документах, которые я нашел на Лубянке, предстает совсем в новом, неканоническом свете, без привычной сусальной позолоты. Но прежде чем заговорят эти документы, вспомним историю отношений Горького и Ленина.

Встретились они впервые в 1905 году, хотя знали друг друга гораздо раньше, встретились — и сразу прониклись обоюдной симпатией. Два волжских бунтаря, возжелавших переделать Россию. Поначалу в их отношениях Горький даже больше покровительствовал Ленину, так как был знаменит и обеспечен,

а Ленин и его партия только еще утверждали себя, рвались к власти. Однако если романтик писатель отклонялся от жесткой линии реалиста вождя — что случалось нередко, — он тут же подвергался принципиальной критике: Ленин как бы поправлял, воспитывал его в марксистском духе. Отношений это не портило. Ведь все это пока больше область теории, мечты. Все эти наскоки и упреки в политических ошибках Горький в конце концов парировал улыбкой:

— Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди...

Ну что тут скажешь? Владимир Ильич только разводил руками.

Но вот она, революция, о которой столько мечтали большевики, — свершилась! Из мечты стала явью, от слов перешла к делу.

Горький ужаснулся. Кто правит бал? Слепые фанатики и авантюристы! Ведь за весь этот позор, бессмыслицу и кровь расплачиваться будет не Ленин, а сам народ! В газете «Новая жизнь» писатель по горячим следам событий публикует свои «Несвоевременные мысли», где отвергает большевистскую революцию, видит в ней трагедию и гибель России.

Такого Горького мы не знали, в школе не проходили. И газета «Новая жизнь», редактируемая Горьким, по приказу Ленина была летом 1918 года закрыта, а «Несвоевременные мысли» запрещены и не издавались у нас вплоть до последнего времени.

Но Ильич неизменно успокаивал:

— Нет, Горький от нас не уйдет. Все это временное, чужое. Вот увидите, он обязательно будет с нами...

И оказался прав — Горький то ли действительно перестроился и раскаялся, то ли просто сдался на милость победителя. Возможно и то, и другое.

«Собираюсь работать с большевиками на автономных началах, — пишет он Екатерине Павловне Пешковой, своей первой жене, — надоела мне бесильная академическая оппозиция „Новой жизни“»...

Замечательно выражение «на автономных началах» — попытка еще как-то спасти свою самостоятельность, личность. Это при большевиках-то, при диктатуре!

Тогда же сын Горького Максим Пешков, работавший у Дзержинского, доверительно сообщает Ленину: «Папа начинает исправляться — «левее». Вчера даже вступил в сильный спор с нашими эсерами, которые через 10 мин. позорно бежали».

Выстрел Фанни Каплан потряс писателя — ведь он всегда был на стороне пострадавших. Горький навестил Ленина в Кремле после ранения и снова почувствовал себя большевиком.

— Октября я не понял и не понимал до покушения на жизнь Владимира Ильича, — признавался он впоследствии. — Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением... Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго, заботливого друга.

Дружба была восстановлена. И подкреплена делом. Горький развернул бурную деятельность на культурном фронте: организовал издательство «Всемирная литература», под крылом которого объединил лучшие писательские силы страны, создал Всероссийскую комиссию по улучшению быта ученых, руководил Экспертной комиссией, собравшей специальный фонд из национализированных ценностей и произведений искусства. Эти три учреждения действительно много значили в то время: благодаря им были спасены от истребления не только культурные ценности — многие ученые, писатели, художники, музыканты обязаны Горькому самой жизнью.

Гражданская война — на всех границах. Внутри страны — страшный голод, разруха. Горький, живя в Петрограде, напрягает силы в помощь гибнущей культуре. Пусть нет времени для собственных рукописей — сейчас важнее помочь интеллигенции выжить: достать крупу и воблу, выбить дрова, сохранить жильё, уберечь от арестов. Вести эту титаническую работу без поддержки Ленина было бы немислимо. В то время они часто встречаются приездах Горького в Москву: в Кремле и на даче у Ленина в Горках, на различных заседаниях, переписываются, обмениваются своими книгами.

Но в середине 1919 года наступает новое охлаждение. Горький, видя, что все его действия решительно ничего не меняют и что революция и культура становятся все менее совместимыми, впадает в отчаянье.

Ильич опять берется за исправление друга, пишет ему:

«Нервы у Вас явно не выдерживают... Вы договариваетесь до «вывода»... что революцию нельзя делать без интеллигенции. Это — сплошь больная психика... Занимаетесь Вы не политикой и не наблюдением работы политического строительства, а особой профессией, которая Вас окружает озлобленной буржуазной интеллигенцией... Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам, Вы пишете, не только тяжело, но и «весьма противно»!!! Еще бы!.. Жизнь опротивела, «углубляется расхождение» с коммунизмом... Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно».

Вождь снова увещивает писателя, уже готового взбунтоваться, обращает в свою веру, лечит, как врач — больного, как отец — неразумное дитя. И все упорное советует покинуть страну, буквально подталкивает к отъезду, хотя, казалось бы, когда, как не теперь, нужны родине истинные патриоты и деятели культуры. Советы эти только огорчали и раздражали Горького — он подозревал в них просто желание избавиться от назойливого защитника врагов новой власти.

Но Ленин не успокаивается, вновь и вновь атакует Горького, пытается примирить его с арестами среди интеллигенции:

«Дорогой Алексей Максимович!.. В общем мера ареста кадетской (и околокадетской) публики была необходима и правильна.

Когда я читаю Ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при наших разговорах (в Лондоне, на Капри и после) Вашу фразу: «Мы, художники, невменяемые люди».

Вот именно! Невероятно сердитые слова говорите Вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или хотя бы даже сотен) кадетских и околокадетских господчиков посидят в тюрьме для предупреждения заговоров... Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!..

Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно...»

Отношение к интеллигенции выражено вполне определенно: не щадить!

Наступает 1920-й. Ленин все более успешно делает революцию, Горький все менее успешно спасает от нее культуру. О демократии, как в 1917-м, уже речи нет. Взамен обещанной свободы пришел красный террор. Слишком уж несовместимы оказались дела Ленина и Горького.

В их отношениях уже чувствуется надрыв. Горький изо всех сил старается играть свою роль, хотя то и дело проговаривается, выдает себя. На чествовании Ленина в связи с пятидесятилетием он ставит юбиляра выше Петра Великого, но произносит при этом зловещую фразу:

— И вдруг мы видим такую фигуру, глядя на которую, уверяю вас, хотя я и не трусливого десятка, но мне становится жутко. Делается страшно от вида этого великого человека, который на нашей планете вертит рычагом истории так, как этого ему хочется...

Горький уже прозревает в своем друге какие-то новые для себя черты, и этот новый Ильич его пугает. Тем не менее для народа они — вместе. Так надо. На демонстрации в честь открытия Второго конгресса Интернационала красный вождь идет с красным бантом и красной гвоздикой в петлице... И рядом с ним шагает красный писатель.

Это на публике, а за кулисами — иное. В те же дни Ильич сточит проект постановления о статьях Горького в журнале «Коммунистический Интернационал»:

«В этих статьях нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического. Впредь никоим образом подобных статей в «Коммунистическом Интернационале» не помещать».

В сентябре опять наступает кризис.

Свидетельство этого — документ, с которым мне довелось ознакомиться в кабинете Лубянки.

Неизвестное письмо Горького вождю большевиков!

Это возмущенная реакция Горького на препятствия в работе издательства «Всемирная литература». Затеявая его вместе с издателем З. Гржебиным, Горький заключил договор с Народным комиссариатом просвещения на финансирование этого огромного и нужного для русской культуры дела. И встретил сопротивление Закса, заведующего Государственным издательством, референта Совета Народных Комиссаров по вопросам культуры.

Была тут своя подоплека. Закс доводился шурином одному из вождей партии, председателю Петроградского совета Зиновьеву, стоящему в то время на третьем месте в негласной иерархии большевиков после Ленина и Троцкого. А Зиновьев был давним врагом Горького: это он особенно настаивал на том, чтобы закрыть газету «Новая жизнь», и даже осмелился устроить обыск в горьковской квартире, угрожая арестовать близких ему людей, что кончилось большим скандалом у Ленина. Происки Зиновьева увидел Горький и теперь.

Писал это письмо Горький долго, мучительно, в три приема. Первый вариант датирован 15 сентября 1920 года. Это лаконичный ультиматум, тон его резок. Первые же слова клокочут гневом:

«С Заксом я не буду работать и разговаривать не хочу. Я слишком стар для того, чтобы позволить издеваться надо мной... Да и вообще я вижу, что мне пора уходить в сторону...»

Обида захлестывает Горького, он не может удержаться, чтобы не уколоть Закса его всесильным родством:

«Теперь в угоду зависти или капризам т. Закса, за которым я знаю пока одно достоинство: он шурин Зиновьева, — вся моя работа идет прахом». Это уже во втором варианте письма, оставленном без даты, незавершенном, обрывающемся на отчаянной ноте: «...мое решение твердо. Довольно я терпел. Лучше издохнуть с голода, чем позволять все то, что до...»

Третий, видимо окончательный, вариант этого письма Горький пишет на следующий день, 16 сентября:

«Владимир Ильич!

Предъявленные мне поправки к договору 10-го января со мной и Гржебиным — уничтожают этот договор. Было бы лучше не вытягивать из меня жилы в течение трех недель, а просто сразу сказать: «договор уничтожается».

В сущности, меня водили за нос даже не три недели, а несколько месяцев, в продолжение коих мною все-таки была сделана огромная работа: привлечено к делу широкой популяризации научных знаний около 300 человек лучших ученых России, заказаны, написаны и сданы в печать за границей десятки книг и т. д.

Теперь вся моя работа идет прахом. Пусть так.

Но я имею перед родиной и революцией некоторые заслуги и достаточно стар для того, чтоб позволить и дальше издеваться надо мною, относясь к моей работе так небрежно и глупо.

Ни работать, ни разговаривать с Заксом и подобными ему я не стану. И вообще я отказываюсь работать как в учреждениях, созданных моим трудом, — во «Всемирной Литературе», издательстве Гржебина, в «Экспертной Комиссии», в «Комиссии по улучшению быта ученых», так и во всех других учреждениях, где работал до сего дня.

Иначе поступить я не могу. Я устал от бестолковщины.

Всего доброго!

А. Пешков».

Было ли отправлено это письмо и попало ли оно к адресату? Видимо, да. Ибо уже 22 сентября упомянутый Закс получил хорошую взбучку. ЦК партии приказал ему немедленно выдать шесть миллионов рублей для издательства и предложил «ни в коем случае не осложнять и не затруднять работу товарища Горького в Петрограде и за границей».

Дело на этом не кончилось. Вскоре Горький опять жаловался Ленину на Закса. История протянется еще на год, пока наконец Ленин не прикажет дать Заксу еще один «арх и нагоняй»: «Иначе выйдет архискандал с уходом Горького, и мы будем неправы...»

В архивной папке Лубянки таилось и другое письмо того же автора тому же адресату:

«Владимир Ильич!

Арестован коммунист Воробьев, старый партиец, человек с большим революционным прошлым. Его знают Бухарин, Трилиссер, Стасова и т. д.

Арестован он потому, что у него найдены сапоги Чернова¹.

Но по словам людей зрячих эти сапоги суть — женские ботинки, принадлежащие некой Иде, несомненной женщине, что можно установить экспертизой.

Полагая, что этот скверный анекдот не может быть приятен Вам, Вы, может быть, прекратите дальнейшее развитие его...

А. Пешков».

Как выяснилось, существует вариант письма (от 24 сентября 1920 года) — он был извлечен из Центрального партийного архива и опубликован только в 90-х годах. Я не сразу узнал текст — совпадало лишь самое начало, весь «скверный анекдот» отсутствовал. Выразительные многоточия охраняли имидж вождя, который еще совсем недавно был неприкасаемым (это теперь его памятники валят на площадях и обливают краской).

И это дело решилось в пользу Горького. Воробьев был спасен. Ленин показал письмо Дзержинскому, тот выяснил, что Воробьев хоть и укрывал эсеров, но «по доброте сердечной, а не из политических соображений», и передал дело в партийный суд. Известно, что Воробьев умер в 1938 году — дата кровавая, мало кто из большевиков ленинского призыва ее перешагнул.

Перед нами машинописные копии горьковских писем. В левом верхнем углу на всех листах стоит знак: «А. М. — б. —» Что это за загадочные «А. М.» — агентурные материалы? (Задавал я такой вопрос нынешним сотрудникам Лубянки — не объясняют: ведомственный секрет!) Под текстами напечатано: «Верно» — и подпись от руки: «М. Славатинский». На неоконченном варианте письма о Заксе приписано: «Согласно показаний Гржебина — отрывок этот написан собственноручно М. Горьким и адресован т. Ленину». И снова — «М. Славатинский. 21.3.22 г.».

Знакомая фамилия! Разбирая следственные дела писателей, например поэта Алексея Ганина, расстрелянного в 1925 году, я уже встречал эту фамилию. Начальник 7-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ. Убивал без жалости. Неужели и Горького он числил в своих подопечных? И брал показания у его знакомых? И когда — в 1922 году, при жизни и Ленина, и Дзержинского?! Такое не сразу укладывалось в сознании. Мог ли какой-то Славатинский вести досье на Горького без их ведома? А то, что оно велось несомненно, на обороте окончательного варианта письма о Заксе есть помета: «В дело. Формуляр М. Горького».

Чтобы понять все это, надо проследить историю отношений Горького и Ленина до конца.

20 октября 1920 года произошла их знаменитая и, видимо, последняя встреча на квартире Екатерины Павловны Пешковой в Москве. Весь советский народ знает о ней по многочисленным описаниям, по фильму режиссера Юткевича. Вождь там — воплощенная человечность, самый человечный человек, влюбленный в искусство. Играл Исайя Добровейн. Звучала «Аппассионата»...

На самом деле благостная сцена слияния двух великих душ была, скорее всего, сценой прощания. Сквозил в ней еще один подтекст — Ильич упорно склонял Горького к эмиграции:

— Слушая ваши рассказы, даже боишься: не успеет написать. К тому же о здоровье вы нимало не заботитесь, а здоровье у вас — швах. Валяйте за границу, в Италию, в Давос...

¹ Чернов В. М. — один из лидеров партии эсеров. В 1917 году — министр Временного правительства, председатель Учредительного собрания. После большевистского переворота, прежде чем эмигрировать, Чернов пребывал на нелегальном положении.

И вдруг добавил:

— Не поедете — вышлем...

Фраза эта сильно врезалась Горькому в память, он вспоминал о ней и много лет спустя. Мог ли он предполагать тогда, что пройдет всего два года — и высылка станет уже государственной политикой, «мерой пресечения» инакомыслия, выбрасывать интеллигентов за границу будут уже десятками и отнюдь не по доброй воле? Чего стоит хотя бы «философский пароход», когда из страны одним махом выдворили около полутора сотен лучших умов России — философов, писателей, экономистов, историков!

Зато когда действительно следовало отпустить, правительство не спешило.

Летом 1921 года опасность нависла над жизнью поэта Александра Блока. Горький бомбардировал Ленина и Луначарского телеграммами: «Спасите! У Блока цинга и нервное истощение. Отпустите в Финляндию лечиться. Здесь он погибнет!»

Пока в коридорах власти судили да рядили, дать ли визу Блоку и его жене, поэт умер. Не умер — доведен до гибели, то есть убит. А через семнадцать дней после его смерти расстреляли другого поэта, Николая Гумилева, расстреляли поспешно, по-бандитски, без всяких оснований примешав его к белогвардейскому заговору. И тут прошение Горького не помогло.

Август 1921-го — черная дата в истории нашей литературы. Погибли два лучших поэта России — с них начинается страшный мартиролог, бесконечный список писателей, погубленных советской властью.

Для Ленина смерть Блока и Гумилева — не событие. Издержки производства. В бумагах его той поры эти имена даже не упоминаются. Если для Горького человек — самоцель, то для его высокого друга — это только сырье, годное или не годное горючее для костра мировой революции.

Об этом ясно скажет сам Горький, через десять лет, более трезво взглянув на события прошлого:

— Сегодняшняя действительность была для Ленина только материалом для построения будущего...

Восьмого октября Горький пишет прощальное письмо Ленину перед отъездом в Европу. Последняя его забота — об оставленном деле, о трех учреждениях, которым отдано столько энергии и сил: «Всемирной литературе», Комиссии по улучшению быта ученых и Экспертной комиссии (все они или захирели, или были закрыты после его отъезда).

Как вспоминает Луначарский, Ленин, выпроваживая Горького из России, рассуждал так:

— У него тонкие нервы — ведь он художник... Пусть же он лучше уедет, полечится, отдохнет, посмотрит на все это издали, а мы за это время нашу улицу подметим, а тогда уже скажем: «У нас теперь поблагопристойней, мы можем даже и нашего художника пригласить...»

«И вот Алексей Максимович, — добавляет Луначарский, — гонимый своей болезнью, необходимостью спасти свою жизнь, дорогую для всех, в ком живет настоящая любовь к людям, откололся от нас расстоянием. Но это не оторвало его от нас. Ниточка, по которой течет кровь, такой сосудик к сердцу Алексея Максимовича остался...»

Теперь мы видим, что одной из ниточек, которые связывали Горького со страной, была та, что свили в ЧК, и эта ниточка уже никогда не отпустит писателя, превратившись к концу его жизни в толстый канат. И держать другой конец каната будет уже другой вождь — Сталин.

Итак, в 1921 году Горький Ленину уже не столько помогал, сколько мешал в наведении революционного порядка. Следовало спровадить строптивного художника подальше, и благовидный повод был: забота о его же здоровье, — спровадить от греха подальше и, пока его нет, накинуть на взбесившуюся Россию узду и хомут, укротить. Ибо Ленин в решительные минуты никогда не исходил из дружеских, человеческих симпатий («Человеческое, слишком человеческое», — как говаривал Ницше), но всегда только из высшей революционной целесообразности и интересов своей партии.

Истинного Ленина мы не знали. Вместо правды нам подсовывали миф, вместо лица — лик. Лишь сейчас медленно стали приоткрываться бронированные двери спецхранов. И оказалось, что в партийном архиве были сокрыты 3724 никогда не публиковавшихся ленинских документа — несколько томов!

Да еще три тысячи документов, подписанных им, — они тоже были замурованы, спрятаны от нас. Посмертно заточили своего вождя!

Не зря прятали! Со страниц этих документов на нас глянул другой Ленин — неугодный коммунистическому мифу, непохожий на икону. Вдохновитель красного террора, создатель ВЧК, которая была его детищем, и детищем любимым

Один из его соратников — Гусев — вспоминал:

«Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить... Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доноительства, а от недоноительства... Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем расходиться в политике, мы вынуждены не только рвать нашу дружбу, но идти дальше — идти на доноительство».

Вот и разгадка, почему письма Горького попали на Лубянку. Разумеется, без санкции Ильича устанавливать слежку за его другом никто не решился бы.

Как-то одна маленькая девочка, все рисовавшая принцев и принцесс, спросила меня:

— А вы в Мавзолее были?

— Был.

— И Ленина видели?!

— Ну да.

— Страшно?

— Почему страшно?

— Ну как же! Ведь он все-о-о видит, все-о-о слышит...

Горьковеды из ЧК

Ходом событий писатель был поставлен на гребень истории — между интеллигенцией и властью, между Востоком и Западом, удержаться на этом гребне, на всех ветрах, почти невозможно. Постоянные метания Горького между желанием сохранить свою духовную независимость и страхом отстать от паровоза революции, между традициями европейского гуманизма, которому он поклонялся, и варварским, штурмовым сотворением нового, невиданного мира — эти противоречия, пронизавшие всю его жизнь, и составляют его трагедию.

Летом 1922 года в Москве проходил процесс над партией эсеров, когда-то вместе с большевиками делавших революцию, а теперь зачисленных в контрреволюционеры. Горький, обосновавшийся к тому времени в приморском местечке Герингсдорф, в Северной Германии, узнав о предстоящей расправе, решил: «Не могу молчать!» Он обратился с письмом к Анатолю Франсу, с целью всколыхнуть общественное мнение Европы (письмо было опубликовано в Берлине, в «Социалистическом вестнике»). Посылая его Франсу, Горький приложил к нему другое свое письмо — заместителю председателя Совнаркома А. И. Рыкову. Оба послания попали на Лубянку, их приобщили к делу.

«Достопочтенный Анатолий Франс!»

Суд над социалистами-революционерами принял цинический характер публичного приготовления к убийству людей, искренне служивших делу освобождения русского народа. Убедительно прошу Вас: обратитесь еще раз к Советской власти с указанием на недопустимость преступления. Может быть, Ваше веское слово сохранит ценные жизни социалистов. Сообщая Вам письмо, посланное мною одному из представителей Советской власти.

Сердечный привет!

3 июля.

М. Горький».

«А. И. Рыкову. Москва.

Алексей Иванович!

Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством — это будет убийство с заранее обдуманном намерением, гнусное убийство.

Я прошу Вас сообщить Л. Д. Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо за время революции я тысячекратно указывал Со-

ветской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране.

Ныне я убежден, что если эсеры будут убиты, — это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России.

1 июля.

Максим Горький».

Обращение к Франсу действительно получило широкий резонанс. И переполошило Кремль. Ленин назвал письмо Горького «поганим». Троцкий вынес резолюцию: «Поручить «Правде» *мягкую* статью о художнике Горьком, которого в политике никто всерьез не берет; статью опубликовать на иностранных языках». И вскоре «Правда» обрушила на Горького отнюдь не мягкий памфлет некоего С. Зорина под заголовком «Почти на дне», обыгрывающем название его знаменитой пьесы: «Своими политическими заграничными выступлениями Максим Горький вредит нашей революции. И вредит сильно...»

Совместное выступление Горького и Франса (к ним присоединились и другие известные деятели), вероятно, все же повлияло на участь эсеров: Президиум ВЦИК хоть и утвердил смертный приговор, вынесенный Верховным Революционным трибуналом, но приостановил исполнение его при условии полного прекращения партией эсеров своей деятельности.

Еще большее возмущение среди «кремлевских мечтателей» вызвал другой поступок Горького — публикация его книги «О русском крестьянстве». Это уже был прямой вызов. В лубянском досье писателя появился материал, озаглавленный «Максим Горький за рубежом». Никаких пометок на этом материале нет, нет ни авторства, ни даты, потому трудно установить его происхождение: то ли это обзор, сочиненный на самой Лубянке, то ли донесение кого-то из множества зарубежных агентов, то ли заметка, подготовленная для печати. Опус этот, однако, стоит того, чтобы его привести:

«После отъезда М. Горького за границу он был осажден целым рядом эмигрантских газет, пытавшихся узнать об отношении писателя к русской революции и русскому народу.

Летом 1922 г. Горький опубликовал в иностранных газетах несколько статей, произведших сенсацию среди общественных кругов Европы и вызвавших обсуждение на страницах наших газет.

В этих статьях, ныне выпущенных изд. И. П. Ладыжникова отдельной книжкой под названием «О русском крестьянстве», Горький высказывает очень безотрадное суждение о русском народе, а в связи с этим и о совершенной русским народом социальной революции. Общий вывод из статей — это «трагичность русской революции в среде полудикаких людей», это трагичность большевизма, по идее движения городской и промышленной культуры, электрификации, точной и сложной организации и индустриализации, по осуществлению оказавшегося восстанием мужицкой стихии, жестокой, дикой, анархической и разрушительной. Отсюда заключение: «Планетарный опыт Ленина, человека аморального, относящегося с барским равнодушием к народным горестям, теоретика и мечтателя, не знакомого с подлинной жизнью, — безответственный опыт его и иже с ним не удался».

Впрочем, все страдания, принесенные большевизмом русскому народу, Горький склонен считать благодетельными, как укрепившие и очистившие народный дух и волю.

Общественные круги Европы, антисоветски настроенные, разумеется, с должной выгодой для себя используют авторитетность горьковского имени среди масс.

В последнее время Горький, дотоле державшийся аполитично и выставивший себя прежде всего защитником русской культуры, сближается с социалистическими антибольшевистскими группами (Абрамович, Мартов, Дан, Чернов, Слоним, Шрейдер). По инициативе этих групп изд. З. И. Гржебина предпринят исторический журнал «Летопись Революции», который выставляет

себя беспартийно-социалистическим и пытается в беспристрастной оценке дать перспективу революционных событий последнего полувека. Горький принимает в журнале ближайшее участие...

Трудно предполагать, что столь враждебно настроенные к нам меньшевистские и эсеровские круги, к которым примкнул за рубежом Горький, сумеют выдержать беспристрастно-исторический тон в своем журнале».

Можно подумать, что Лубянка открыла филиал института по изучению Горького. Тщательно анализируется пресса о нем, перепечатаются публикации эмигрантских газет, делаются переводы с разных языков. Интересно полистать эти разношерстные листки, собранные в кучу неутомимыми «горькововедами» из ЧК. Повороты и зигзаги в поведении Горького, действительно непоследовательном, обсуждались тогда во всем мире и трактовались кому как выгодно — и все они отпечатались в лубянских хранилищах, слой за слоем.

Одна эмигрантская газета обвиняет Горького в поклепе на русский народ, другая сообщает о решении Советского правительства арестовать Горького, если он пересечет русскую границу. И все вместе они обрушились на него осенью 1922 года, когда Горький после, казалось бы, полного разрыва с советской властью вдруг заявил о своей лояльности к ней. Единственное, с чем пока он не соглашался, — это с политикой в отношении интеллигенции. Народ же русский, выразителем которого и был Горький в глазах всего мира, этот народ, стало быть, лучшей доли, чем та, которую он получил, не заслуживал. Народ, по мнению Горького, надлежало не защищать, а пасти, и большевики с этим справлялись прекрасно.

Вот Горький беседует с корреспондентом американской газеты «Fogward» об антисемитизме и роли евреев в русской революции. Здесь, между прочим, есть пассаж, который, без всякого сомнения, не обошли вниманием на Лубянке. «Я верю, — заявил Горький, — что назначение евреев на опаснейшие и ответственные посты часто можно объяснить провокацией: так как в ЧК удалось пролезть многим черносотенцам, то эти реакционные должностные лица постарались, чтобы евреи были назначены на опаснейшие и неприятнейшие посты».

Кстати, о внимании Горького к еврейскому вопросу у нас почти не писалось, а если говорилось, то только тенденциозно, «как надо». В письме, опубликованном в сионистском журнале «Рассвет», писатель углубляется в эту щекотливую, опасную тему и делает тонкое наблюдение о распространении антисемитизма в России при советской власти из городов в деревню, но дальше признается в бессилии понять коренную причину русского антисемитизма — «постыдную и мучительную». Тут же Горький декларирует свое отношение к религии в связи с «бестактным или невольно спровоцированным участием евреев в продотрядах, в антирелигиозной агитации, в деле разоблачения „святых мощей“». Для меня, говорит Горький, мощи и церкви — не святыня, истинная святыня — человек.

Служка за Горьким была в это время уже тотальной: наблюдали не только за ним самим, но и за всеми, кто входил с ним в контакт. Так, в Герингсдорфе Горького навещил французский писатель, редактор журнала «Les écrits nouveaux» Андре Жермен. Восторженный француз поделился своими впечатлениями с художницей Марией Багратион, также знакомой горьковской семье, жившей в Тифлисе. Письмо Жермена перлюстрировали, кое-как перевели в грузинской ЧК и отправили в Москву, оно тоже легло на стол товарищу Славатинскому. Так ничего не подозревавший, влюбленный в Горького почитатель был использован органами в роли информатора.

Это письмо — портрет Горького, написанный в несколько наивно-преувеличенных тонах, но в то же время содержащий искренние, ценные наблюдения. Во всяком случае, он куда более правдив, чем та икона большевистского глашатая, которая подавалась официальной советской пропагандой:

«Меня приняли, не спрашивая моего имени, с такой простотой и благородством, которые сближают автора «босяков» с королями пастухов Гомера. Без всякой церемонии я стоял перед человеком, одетым небрежно, подавляющим своим высоким ростом, с лицом мужика, с чертами могучими и жесткими, под которыми угадывалась жизнь многообразная и увлекательная, но уже на склоне...

Горький прошел по большевизму, не принимая участия ни за, ни против. Это то, что ему не прощают верхи, что разочарует поклонников социалистов, когда они его поймут. Спасать искусство и науку, помогать духовному развитию России — его глаза всегда были устремлены на эту работу... Главари большевизма, которых можно ненавидеть, но у которых нельзя оспаривать теперь их сурового величия, поняли это. Они позволили ему председательствовать в артистических и научных комиссиях, говорить о чистой красоте произведений искусства восхищенной аудитории рабочих и солдат... Они терпели его свободную деятельность с некоторым заигрыванием, как Менады переносили среди них лиру Орфея, как наши кровавые отцы 1793 года приглашали на свои пиры души усопших знаменитых людей, как тиран Дионисий, гордившийся обществом Платона. Он отказался им угождать с героической гордостью...

Я не хочу пропустить еще другую работу, которая его удерживала в России под угрозой голода и холода до последней границы его сил и о которой он не соглашался говорить, — это работа его доброты. Повсюду, где он только мог, он вырывал жертвы у террора. Его чистое сердце не разбирало политического цвета несчастья, и его дом удивительно расширился, как и его сердце, чтобы поддержать и приютить осужденных. Его чистые взгляды безжалостно разрушают идола, которого нынешние демагоги окружают нежными чувствами с тем же стремлением, которое заставляло их отцов целовать стопы царственного лица...»

Эти наблюдения Жермена, в особенности те, что касаются разрушения ленинского идола, конечно, только укрепляли уверенность властей в неблагонадежности знаменитого писателя. Как и то почтение его перед культурой Запада, о котором рассказывает Жермен:

«Он глубоко уважает Францию, Англию и Италию, согласно его мнению, та часть будет наиболее известна Европе, которая наиболее освещена. Вдруг с его губ слетает следующая странная мысль: «Влияние на мир должно принадлежать латинской и английской расе как более аристократической, чем все другие...» Одно ясно — это его громадное беспокойство за будущее европейской культуры: «Разве нет угроз европейской культуре, что вы думаете?» С его простотой, с его громадным доверием он несколько раз ставит мне этот вопрос...

Три слова, которые мне послужат позднее для восстановления стершегося от времени образа, они танцуют в моем утешенном уме, эти слова: веселость, детство и доброта», — заканчивает письмо Андре Жермен.

Писем Горького, и в особенности к Горькому, Лубянка собрала множество, хватит, наверно, на целый том. Я привожу только неопубликованные материалы или те фрагменты, которые изымались перед публикацией, так что почти все, что читатель прочтет здесь, он прочтет впервые. Что-то стыдливо прятали, что-то убежденно вырезали с чувством исполненного долга, по партийной инструкции, внедренной в сознание, творя для нас и личность писателя по своему образу и подобию.

В этом отношении показательно письмо Горького Екатерине Павловне Пешковой из Мариенбада от 3 марта 1924 года. Оно печаталось в «Архиве Горького» с весьма характерными купюрами, делавшими текст не только убогим, но и совершенно непонятным. Приведем здесь несколько вычеркнутых публикаторами, никогда не печатавшихся строк:

«Мне кажется, что пора бы перестать говорить о том, что я подчиняюсь каким-то влияниям, и надо помнить, что мне 55 лет и я имею свой, весьма приличный опыт...

Должен сказать, что меня особенно раздражают намеки на чьи-то «влияния» и проч. в этом духе. Довольно бы уж. Если бы на меня действовали влияния, то я, разумеется, давно подчинился Владимиру Ильичу, который умел великолепно влиять, и теперь я грыз бы бриллианты, распутничал с балеринами и катался в самых лучших автомобилях...»

Заметим, что писалось это через полтора месяца после смерти Ленина.

Горький тогда опять оказался на распутье, ему надо было как-то определить свое место в неузнаваемо изменившемся мире — в новой эпохе и новой России, куда он шагнул из девятнадцатого века, из России Толстого и Чехова. Отстаивать ли традиционный гуманизм и бесстрашную правдивость нашей ли-

тературной классики или подчиниться теперешним хозяевам Родины — коммунистам, для которых литература, да и сам человек — лишь средство в борьбе идей? В этом мучительном поиске был тогда не он один — очень многие почувствовали себя оторванными от корней, потеряли духовные ориентиры, искали точку опоры. И ждали ответа от него, живого классика, мудреца и правдолюбца.

Несколько лет назад к Горькому обращался начинающий писатель Сергей Алинов — просил отзыв на свой рассказ и, конечно же, задавал извечный русский вопрос: что делать? Теперь, в августе 1924-го, Алинов пишет Горькому опять — и какая метаморфоза! Дело не только в том, что вместе с письмом этот человек посылает Горькому уже не рукопись рассказа, а целых три изданных книги, среди которых и роман, — но как изменился тон! Алинов уже считает возможным снисходительно, жалеючи, поучать Горького как безнадежно отставшего от времени и выражает в письме то кредо, которое вскоре станет определяющим для официальной советской литературы, — это отход художника от независимости, конформизм и не просто капитуляция перед властью имущими, но и добровольное, осознанное, какое-то воинственно-горделивое рвение служить им.

Алинов пишет:

«Дорогой Алексей Максимович!

...Вы мне советовали «искать правду», а на вопрос, где она, говорили: «Правда за границами политических взглядов и программ», а где именно — неизвестно.

Спорно и непонятно здесь для меня то, Алексей Максимович, как можно молодому русскому писателю, живущему в России в 1921 году, советовать «искать правду», правду, которая есть неизвестно что и которая неизвестно где, но только за границами политических взглядов и программ...

Ах, Алексей Максимович! Русские писатели долго искали правду. Они не нашли ее — и, вероятно, потому, что тоже, как и вы, не знали, какая это правда и где она именно...

В России происходят любопытные вещи, Алексей Максимович, люди думают как-то совсем по-новому, и если на Западе люди неподвижнее вещей, если на Западе круговорот вещей огромен, а люди до сих пор, по выражению Троцкого, прочно прикреплены к своим социальным гнездам, то у нас в России, Алексей Максимович, вещи неподвижнее людей...

Из всего человечества прикрепляясь к тому кругу людей, который сейчас живет около меня и которому я сейчас нужен (если хотите — иного пути в «человечество» нет), вместо исконной «вечности» я ориентируюсь на тот кусок ее времени, в котором сейчас живут, борются, страдают и радуются мои современники; вместо «справедливости» я прикрепляюсь к политической программе; вместо неизвестной «правды» — к известной полуправде...»

Выбор ясен: партийный подход — вместо общечеловеческого, известная полуправда — вместо неизвестной правды. Вот столбовая дорога, по которой должна идти теперь литература.

Такое письмо наверняка вызвало у лубянских горьковедов чувство глубокого удовлетворения, — пишущий его был явно свой, проходил тест на благонадежность. Славатинский начертал: «Это письмо писал коммунист Алинов — писателю Максиму Горькому».

Совсем иную реакцию вызвало другое письмо — работника «Международной книги» Михаила Николаева, адресованное даже не самому Горькому, а его сыну Максиму, — письмо сугубо бытовое, шутовское, но и оно было внимательно прочитано, подшито к делу. Острый нюх Славатинского что-то тут учуял, и он наложил такую резолюцию: «1 экз. — к делу Горького. 2 ам — к делу Крючкова». (Опять эти загадочные «ам!» Крючков — секретарь Горького, значит, и на него заведено дело!) «На Николаева у нас должен быть материал, обратите на него серьезное внимание».

Так засвечивались корреспонденты Горького и его близких, брались на заметку, а может быть, и на прицел.

Особый интерес вызывает в ОГПУ то, над чем работает писатель, его взгляды, отношения с врагами советской власти — такие фразы подчеркивают-

ся, выделяются. В письме Горького литератору Богдановичу от 4 августа 1925 года подчеркнута фраза: «Бывший благородный русский человек расскажет Вам, как он зарабатывал в Париже деньги тем, что публично совокуплялся с бараном. Ох, если бы Вы знали, какая гниль и пакость русские эмигранты... И до чего они злы. Ну и черт с ними, скоро вымрут...»

Досье Горького — уже особое хозяйство, в котором усердно хлопочет большая группа сотрудников. Письма испещрены служебными приписками: «7 Секретный отдел», «т. Агранову», «т. Славатинскому. В дело», «т. Гендину. К делу Горького», «С подлинным верно. В. Шешкен» — и целые гирлянды подписей.

На аркане

Второй пласт времени, запечатленный в досье Горького, — 1926 — 1928 годы.

Нет уже в живых Ленина — власть цепко перехватил Сталин. Умер прямодушный Дзержинский — его сменил вкрадчивый Ягода (официальный преемник Дзержинского — Менжинский — часто болел и больше числился, чем работал). ВЧК сменила вывеску на ОГПУ. Летучий истребительный отряд революции постепенно превращался в громадную полицейскую машину, протягивающую свои рычаги и провода не только на всю страну, но и во все стороны света.

С досье Горького теперь в основном работают двое: некто, подписывающийся буквами «К. С.», и Николай Христофорович Шиваров, печально известный «Христофорыч с Лубянки», спец по литературе, — именно он будет в 30-е годы выбивать показания из Николая Клюева и Осипа Мандельштама, заведет досье на Андрея Платонова и многих, многих других. Можно сказать, сделает карьеру на писателях. Но пока, на Горьком, он, видимо, еще только учится...

А что происходит с самим писателем? Он живет на прекрасной вилле в Сорренто с видом на Везувий, купаясь в лучах благодатного средиземноморского солнца, по-прежнему — в ореоле мировой славы, в окружении многочисленных домочадцев, помощников, гостей и работает, как завод: пишет свою эпопею «Жизнь Клима Самгина», статьи, воспоминания, ведет обширнейшую переписку. Вроде бы все как нельзя лучше. Здоровье, правда, швах, как выражался Владимир Ильич, но это давно и, видимо, навсегда. Что же до ностальгии — эта болезнь, по его признанию, была ему незнакома.

Теплое, родное гнездо! Все тревоги и баталии мира разбиваются о порог дома. Здесь любят его и заботятся о нем, зовут друг друга милыми прозвищами: сам он в этом интимном кругу — просто Дука, его улыбчивая невестка Надя — Тимоша, его новая жена и помощница Мария Будберг — Титка, секретарь Петр Петрович Крючков — Пе-пе-крю... Рядом — сын Максим и маленькие внучки Марфа и Дарья. Есть и другие близкие, почти члены семьи: Соловей — столь же талантливый, сколь ленивый художник Иван Ракицкий, который однажды, еще в Петрограде, залетел в дом, да так и прибился, остался совсем, и хлопотливая Липа — медсестра Олимпиада Дмитриевна Черткова, тоже добровольная помощница... Наезжает и подолгу живет уже давно не жена, но по-прежнему верный друг Екатерина Павловна Пешкова, навещает Зиновий Пешков — офицер французской службы, брат Якова Свердлова, усюновленный когда-то Горьким...

Словом, дом — полная чаша!

Скоро Горькому стукнет шестьдесят — время подводить итоги. И пора наконец решить — с кем он в большом мире? Где успокоит свою старость?

Был ли он эмигрантом? Как посмотреть. С одной стороны, конечно — эмигрант поневоле. Что ему делать с советской властью, если она не признает бытия людей, не зараженных политикой с колыбели? Когда однажды он узнал, что вдова Ленина, Крупская, составила список книг для изъятия из библиотек и там — Библия, Коран, Данте и Шопенгауэр, он решил, что ему надо вообще выйти из советского подданства. Даже принимался строчить заявление, но потом отложил. Ибо, с другой стороны, не сам ли он говорил, что евангельский гуманизм — плохая вещь?

И ругали его с двух сторон. Из родных краев язвила советская пресса: высоко-де летал Буревестник, да вот сел плохо — прямо в болото. Футурист Маяковский объявил, что Горький — труп и больше литературе не нужен. Но и с противоположного края, из Парижа, кого, как не его, оплевывают белогвардейцы? Называют его очерк о Ленине величайшим преступлением в истории русской печати...

А он — один, между двух огней, под перекрестным обстрелом.

Умонастроение Горького в это время хорошо видно из его неизвестного, хранившегося в лубяном архиве письма, адресованного молодому другу из Советского Союза, писателю Всеволоду Иванову:

«...Очень удивлен Вашими словами: «Мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий Богов слуга, а мечтательный бандит». Не ожидал, что Вы можете так думать и что для Вас приемлема литературная идеализация народниками крестьянства. Я этим никогда и не болел, хотя меня народники усердно воспитывали именно в этом направлении. Более того, я вообще органически не понимаю, как можно идеализировать нацию, массу, класс. Я плохой марксист и слагать ответственность за жизнь с личности на массу, коллектив, партию, группу — не склонен.

Кроме того, я знаю, что зерно перца энергичнее пригоршни мака. И мне кажется, что было бы и не искренно, и смешно, если бы я думал иначе. Не стану, разумеется, отрицать, что мужик — бандит, хищник, анархист, но думаю, что быть ему таковым уже недолго. Бандит и анархист он потому, что издревле не верит в прочность социального бытия своего, от неверия и «мечтательность». Лично я и не желаю ему такой веры, ибо — не те времена, чтобы веровать. Мир человеческий дожил до эпохи, коя дерзновеннейше колеблет и расшатывает все и всякие веры и уверенности, хотя так называемое «неорганическое вещество» зловеще свидетельствует о своей неустойчивости.

Драматизм чувства, скрытого в словах Ваших, мне как будто понятен. Когда я представляю себе всю темную и хаотическую огромность русско-китайской, индусской и всякой другой деревни, а впереди ее вижу очень небольшого, хотя и нашедшего Архимедову точку опоры безумнейшего русского революционера, то, разумеется, такое соотношение сил возбуждает у меня некоторую тревогу за судьбу революционера, за Вашу в том числе.

Глубоко верно сказано Вами: «То, что нам нужно пережить и понять, — превышает знания, понятия и даже чувства наших отцов». Очень верно. И намного превышает...

Живете Вы, очевидно, нелегко. Очень советую, приезжайте в Италию. «Шляться» здесь приятно и смешно. Отдохнете, подумаете, посмотрите на себя. Вам пора писать большую вещь.

О Бабеле ничего не знаю. Буду огорчен, если опять Бабель не побывает у меня, я его очень ценю и ставлю высоко.

Только вчера встал на ноги и могу писать, а несколько дней тому назад впервые почувствовал, как близка человеку неприятная штука, именуемая «смертью». Налит камфарой, которую вспрыскивали мне раз пять, камфарой и еще какой-то жидкостью. Чувствую себя отвратительно...

Крепко жму руку!

8 сентября 1927 г.

А. Пешков».

Письмо очень важное для понимания эволюции Горького. Выводы, которые он делает здесь, безотрадны: времена — «не те, чтобы веровать», русский мужик — «бандит, хищник, анархист». И что самое поразительное: душа писателя болит не за мужика, а за «безумнейшего революционера!» Где же его пресловутая любовь к народу?!

Перед нами не совсем тот, даже совсем не тот Горький, которого мы знали, и понятно, почему это письмо до сих пор держали под замком.

В другом, тоже неопубликованном, письме Всеволоду Иванову — в начале 1928 года — Горький уже сообщает о своем твердом решении приехать в Россию. Но начинается письмо с гнева на Россию изгнанную, эмигрантскую, которую он и не понимал, и не принимал:

«Дорогой друг...

Подлинная причина, почему однофамилец Ваш² отказался печатать стихи в «К<расной> Н<ови>», конечно — опасение скомпрометировать себя в среде «благомыслящих людей». Если б он оскормился сотрудничеством в журнале Вашем, — эмигранты отгрызли бы ему пальцы, уши и нос. И даже еще что-нибудь.

Они тут совсем выживают из ума: Сергей Булгаков написал книгу о «Беспрепетном зачатии». Евлогий вместе со Струве выдумывают новую религию, присовокупляя к Троице — Софию-премудрость, и т. д. Но боготворчество не мешает им зверски ненавидеть друг друга.

Да, в мае приеду и, кажется, не увижу Вас: почему черти несут Вас в Ташкент? И почему Вы прислали 2-й том, не прислав первого? Я очень люблю читать Вас, пришлите.

С этим юбилеем я начинаю чувствовать себя знаменитым, как Мери Пикфорд, и уже боюсь, что мне предложат вступить в законный брак с Серафимовичем. Вот что: под Харьковом существует уже 6-й год колония «социально опасных» детей, я состою шефом ее. Организация, положение, жизнь ее — удивительно интересны. С детьми я переписываюсь, и на каждое мое письмо они отвечают 22 письмами, по числу начальников различных рабочих отрядов. Любопытно — страсть как.

Нет ли у Вас — в «Кр<асной> Н<ови>» — человека, который бы съездил туда и описал колонию? Стоит.

Но имени моего упоминать не надо.

Жму руку.

Ваш А. Пешков».

И здесь Горький предстает без хрестоматийного глянца, далеким от гуманизма и истинного понимания происходящего. Уж он-то должен был знать, что для тысяч и тысяч русских, лишенных Родины, эмиграция — великое несчастье, что многие из них, став пасынками Европы, влачат жалкую, нищенскую жизнь, мог бы если не посочувствовать им, то хотя бы не охаивать, не представлять каким-то озверевшим стадом. Он — писатель! — не мог не знать, что изгнанные из России о. Сергей Булгаков и Петр Струве — не злодеи, а серьезные мыслители и ученые, и коль сам жил без веры в Бога, то хотя бы не называл эту веру выживанием из ума!

В первом письме Иванову он отрекается от русского мужика, здесь — от русской интеллигенции, той самой, которую когда-то защищал от современных варваров — большевиков и к которой себя относил. В кого же и во что он теперь верит? В «безумнейшего революционера»?

Зато все заметней тяга к другому. Советские методы воспитания — вот что ему теперь любопытно. Он тешит свое тщеславие вниманием к нему социально опасных детей из колонии, как будто не понимает, что все это шефство — организованный спектакль, одна из тех ниточек, за которые его дергают, притягивают и связывают. Или у малолетних преступников нет других забот, кроме как переписываться с Сорренто? Или не приходит Горькому в голову вопрос, почему через десять лет советской власти в стране развелось так много бездомных и жуликов?

Вот это и поражает больше всего — постепенная сдача позиций, готовность к обману и самообману, подмена подлинного, действенного сострадания к людям формальным шефством и фальшивой опекой — опасные симптомы той духовной болезни, которая, прогрессируя, приведет в конце концов Горького к полному перерождению, превратит из защитника и вдохновителя угнетенных в защитника и вдохновителя угнетателей.

² Речь идет о поэте Вячеславе Иванове.

Лубянский архив Горького очень пестр и разнороден, вполне возможно, что туда попала не только перлюстрированная корреспонденция, но и что-то добытое агентурным путем или из архива писателя, изъятая у него дома сразу после смерти. По свидетельствам очевидцев, часть архива — целый чемодан — увезла из Сорренто в Лондон его жена и секретарь Мария Будберг (есть основания полагать, что чемодан тот в итоге тоже перекочевал на Лубянку). Теперь, через столько лет, выяснить все это с полной достоверностью очень трудно. Горьковские материалы прошли через многие руки и частично рассеялись. Сотрудники Лубянки говорили мне не без досады, что их постоянно «грабил» партийный архив (Горький почему-то проходил по партийному ведомству), что-то передавалось в разное время и в другие государственные хранилища.

Но и то, что осталось на Лубянке, бесценно. Среди адресатов и корреспондентов Горького люди разных слоев, положений и национальностей, от знаменитых до совсем неизвестных.

Переписка с писателями свидетельствует прежде всего о той громадной работе, которую вел Горький с литературной молодежью, натаскивая ее в писательском ремесле, — в этом он просто феноменален и сделал так много, как никто: он стал «повивальной бабкой» для целой когорты советских писателей, среди которых такие первоклассные мастера, как Бабель, Олеша, Паустовский.

Но самое неизвестное, пожалуй, не переписка с писателями, а голоса самого народа, до сих пор не услышанные, обращения к Горькому простых людей, которыми руководили не профессиональные интересы, а искреннее желание высказаться, излить душу и — открыть глаза Горькому на то, что происходит на Родине. Кажется, не было такого слоя населения в России, от которого бы не долетал голос до далекого Сорренто. В этих письмах — весь срез жизни, драгоценные свидетельства о том времени, в них говорит сама история.

Зывая к Горькому, люди ждали его авторитетного действия в защиту поруганной справедливости. Один из корреспондентов пишет:

«Что большевикам присуща жестокость и кровожадность, свидетельствуют те многочисленные казни, которые теперь совершаются у нас даже за мало-важные политические и иные преступления, как растраты; об этом же свидетельствуют многочисленные убийства многих наших лучших людей, всюо душой преданных интересам народа, о том же свидетельствует зверская расправа с детьми царя...

Неужели Вас не возмущает эта жестокость правящей партии и Вы не должны, пользуясь своим авторитетом и влиянием, показать ей всю гнусность и мерзость такого легкого отношения к человеческой жизни, всего лицемерия ее возмущения и протестов, когда другие правительства применяют неизмеримо более слабые наказания и репрессии к членам коммунистической партии, когда те прибегают к насильственным средствам захвата власти. Против таких гнусностей царского правительства возвышали голос когда-то наши лучшие люди — Л. Толстой, В. Соловьев, В. Короленко, выступали против них и представители науки, обсуждая с разных точек зрения этот вопрос. А теперь? Все молчим, как в рот воды набравши. Ниоткуда нет протеста и осуждения, как будто так и должно быть. А вот расточать лесть Советской власти — на это у нас сколько угодно охотников; не гнушаются этим и люди науки. Все это очень печально, так как показывает страшный моральный упадок всей нашей интеллигенции, происходит оно, это замалчивание, в силу одобрения таких действий или за отсутствием мужества осудить их.

Скорее всего, причина — в недостатке мужества, в чем убеждаешься на каждом шагу. Когда власть как теперь, все боится свободно и искренне выразить свое мнение по тому или другому политическому вопросу или действию правительства, боятся говорить, боятся писать в частных письмах и только шепчутся, оглядываясь по сторонам...

Если Вы этого не знаете, то, значит, не знаете современной России, а если знаете и не возвышаете своего голоса, то берете на себя тяжелый грех. Вы, Алексей Максимович, конечно, высоко ценили и уважали Л. Толстого, Чехова, Короленко. Как, Вы думаете, они отнеслись бы к Советской власти, ее правящей партии? Несомненно, с величайшим осуждением, не молчали бы.

А. К.».

Это письмо анонимно и без адреса, как и многие другие, что вполне понятно: люди, живущие не в прекрасном далеке, а в реальности тоталитарного государства, знали, что слово правды под запретом, и, естественно, боялись. Удивительно, что Горький этого не понимал. Или делал вид, что не понимает, намеренно закрывал глаза и зажимал уши? Не хотел разрушать свою сказку о социализме, прогрессе, о прекрасном настоящем и еще более прекрасном будущем? Эта сказка была для него, как видно, дороже правды жизни.

Мало того, он выступил в советской печати с гневной отповедью своим критически настроенным корреспондентам (статьи «Анонимам и псевдонимам», «„Механическим гражданам“ СССР» и «Еще о механических гражданах»). Он, который всегда провозглашал любовь к человеку единственной своей верой, тут оказался глух и слеп к пронзительному зову реального человека — страдающего, униженного и оскорбленного. Или не понимал, что люди, открывшие ему сердце, ставят себя под удар, рискуют, не знал, что все письма, идущие за границу, вдобавок к такому лицу, проходят тщательную цензуру, а за авторами сразу устанавливается наблюдение? И тут анонимность и псевдонимность не всегда помогают, ибо у тайной полиции есть свои возможности и средства их расшифровать.

Видно, не понимал. Иначе бы не писал своему секретарю Крючкову: «„Руль“ (белоэмигрантская газета. — В. Ш.) подозревает, что письма „механических граждан“ я сообщаю ГПУ. Не стесняются, негодяи...»

Удивительная наивность — как повязка на глаза: то наденет, то снимет. И врагами своими числит «механических граждан» и русских эмигрантов, то есть всех, кто не согласен с политикой советской власти. Такая наивность очень на руку ГПУ!

Разбирая эти письма, не раз вскакиваешь, начинаешь бегать по комнате: что же это такое? И отдавать «нашего» Горького жалко, и за людей горько: открывают душу ему, а туда сразу влезают липкие щупальца органов. Где же он, мудрый учитель, правдоискатель и заступник, художник-романтик?

Буревестник превращен в подсадную утку, используется как ловушка для инакомыслящих. Доказательств тому — множество.

На письме Горькому Андриана Кузьмина из Москвы, например, Шиваров написал: «Оригинал сфотографирован — остался у тов. Медведева. Им же дано задание о наблюдении над Кузьминым».

Прочитаем письмо — станет ясно, почему Андриан Кузьмин стал объектом внимания для ГПУ.

«Москва. 25 декабря 1927 г.

Гражданин Максим Горький!

Несколько слов по поводу Вашего выступления в связи с десятилетием Октябрьской революции и по поводу Вашей статьи от 23 декабря с ответом «псевдонимам и анонимам».

Предупреждаю: пишущему эти строки 52 года, никогда (ни раньше, ни теперь) ни к каким привилегированным или партиям не принадлежал. Следовательно, никакой особо враждебной тенденции ни к прошлому, ни к настоящему нет. Есть трудовой взгляд на жизнь — как она есть... Ваша статья (и та, и другая) возбудила большие толки и пересуды, формулировать грубо которые можно так: Горький сидит на двух стульях. С одной стороны, как бы благословляет все происшедшее с 1917 года, а с другой — как бы нет. А вот как мне кажется: конечно, хорошо хвалить все, что сам не переживал. Я как-то читал какое-то поэтическое описание кавалерийской атаки в одном сражении и подумал: красиво, увлекательно, но хорошо, что автор сам в ней не участвовал...

Вы живете вдали, своевременно уклонившись от счастья быть слепым и безгласным объектом эксперимента, проводимого вопреки Вашему желанию и против желания почти всего населения Вашей страны...

И вообще, рассуждая трезво, без злобы и ослепления, можно ли сочувствовать тому, что делается против желания почти всех окружающих тебя людей? Здесь можно возмущаться всякой жестокостью как таковой, но нельзя же замалчивать и то, что этот эксперимент стоил стране людоедства. Что касается Вашей ссылки на историческую аналогичность с временем Петра Великого, то здесь, по-моему, передержка: не с временем Петра I и его реформами сле-

дует сравнивать аналогичный момент, нами переживаемый, а с временем, если уж хотите, Павла I.

Когда этот сумасбродный и озлобленный человек дорвался до власти, то он шпицрутенами и фухтенами насильно пытался обратить русского человека в пруссака... пока его не убрали. В Питере, в Эрмитаже, есть картина проф. Шарлемана «Парад в Санкт-Петербурге»... Мужички, переодетые пруссаками, — в одном мундире, в буклях и косах, застывшие на морозе, и все терпели целые шесть лет.

У нас теперь время тоже подходит к тому, где всем начинает надоедать «игра с социализмом», проводимая наследниками Павла. Да и среди наследников наступает отрезвление, диктуемое самосохранением, поэтому всех удивляет Ваше выступление: десять лет молчали — и вдруг начинаете петь... тому, к чему даже сами создатели начинают относиться по-иному и где результатом всего вырисовывается тупик.

Не вовремя выступили, впрочем, литераторы всегда были плохие политики».

Непосредственным поводом для многих писем послужило объявление в советской печати о приезде Горького на родину.

«Что представляет из себя в настоящее время СССР, наша новая Россия, Вы увидите сами, — так начинается одно из писем. — Не ездите как знатный гость для этого на Волховстрой, на возобновленные фабрики и заводы, как делают это иностранные делегации, знакомящиеся только с внешней, со спокойной стороны нашей культуры, наблюдающие только то, что им можно показать... Сделайте противоположное: забудьте, что Вы писатель с именем, никуда не ездите с официальными провожатыми, как бы под арестом, а... поезжайте всюду, куда потянет душа, всенародным наблюдателем, как Вы делали это в Ваши молодые годы. При Вашем знании вообще народа, всех его слоев и переплетов, Вы, без сомнения, скоро увидите в нем новые расслоения, а среди них — новые веяния, новые движения мысли. Это новое... просачивается всюду и везде, под неустанным административным воздействием власти и в силу неслыханной и невиданной в капиталистических государствах материальной зависимости масс от центра.

В голове этого общественного движения — небольшая кучка людей, сподвижников Ленина... Эта группа людей, собственно, и составляет партию. Ее тезисы, ее положения, ее идеи лежат в основе нашего законодательства, революционным порядком втиснуты во все обороты народного обихода, принудительным впрыскиванием влиты в плоть и кровь русского народа. И часто против его воли...»

К приезду Горького в стране готовились юбилейные торжества в его честь — писателю исполнялось 60 лет. Газеты запестрели заметками о предстоящем юбилее, директивами об организации чествований. Один из корреспондентов вложил в конверт со своим письмом вырезку из «Вечерней Москвы», чтобы до юбиляра дошли циркуляры власти как доказательства принудительной любви к пролетарскому писателю:

«ЮБИЛЕЙ М. ГОРЬКОГО В ВУЗАХ

Главпрофобр (Главное управление профессионального образования. — В. Ш.) разослал вчера правлениям всех вузов и других подведомственных ему учебных заведений особое письмо о проведении чествования М. Горького. Между 26 марта и 1 апреля во всех учебных заведениях должны быть устроены торжественные заседания с докладами о жизни и творчестве Горького, сопровождаемые литературными и музыкальными выступлениями. Ко дню 60-летия М. Горького (29 марта) должны быть организованы выставки, посвященные его творчеству».

Письмо с этой вырезкой тоже анонимно, но из текста видно, что писал его ученый. Писал резко, нелюбезно, не только выражая свое отношение к писателю, но и, что особенно важно, рисуя бедственную участь советской интеллигенции:

«Милостивый государь Алексей Максимович!..

Принадлежа к числу русских научных деятелей, уже 25 лет работающих в высшей школе, я счел себя вынужденным, несмотря на предписания, уклониться от всякого участия в официальных торжествах, организованных в циркулярном порядке в ознаменование Вашего юбилея. Высоко ценя Ваш блестящий литературный талант, я считаю равно оскорбительным подобные торжества как для Вас, самого крупного из современных русских художников, так и для нас, деятелей науки и представителей русской интеллигенции, которая всегда придавала серьезное значение аналогичным чествованиям лишь в том случае, когда эти манифестации являются актом свободного изъявления общественных симпатий и настроений.

Но я решил писать к Вам на этот раз не столько с тем, чтобы дать Вам некоторое понятие, как у нас организуются теперь в Советской России всякого рода показательные демонстрации, а с тем, чтобы высказать Вам, с тяжелым чувством, ряд недоумений, которые волнуют и вызывают невольное возмущение среди многих и многих русских людей, давно привыкших гордиться Вами как одним из славных русских писателей, имя которого связано с лучшими русскими художниками слова. Я разумею Ваши систематические выступления в советской прессе, где Вы, простите, так до странности легкомысленно выступаете против последних, не добытых еще советским режимом представителей русской интеллигенции и покрываете своим большим именем вопиющую ложь современной русской жизни. Из своего прекрасного далека, пользуясь совершенной свободой и независимостью, хотя и под защитой фашистского правительства, под благословенным небом Италии, в прекрасной вилле с неограниченной жилой площадью, Вы, вслед за официальной лживой прессой Советской России, повторяете на глазах всего культурного мира (хотя и зараженного также в своих господствующих верхах буржуазной ложью) заведомую, для тех, кто пережил эти десять лет в самой России, неправду, которая не может быть оправдана никакими, даже и самыми возвышенными, целями и идеалами.

Мы, люди науки, умственного труда, живого и печатного слова, лишены всех прав свободного научного и интеллектуального творчества и, обреченные под страхом скорпионов ГПУ (о которых и не снилось жандармерии царского режима) молчать, — мы слышим Ваши дифирамбы Советской власти за ее заботы об ученых и науке...

Я не говорю уже о том, что ни для кого не тайна, что сейчас в России нет ни высшей, ни средней школы, ни свободных научных учреждений. Не говорю о гибели молодого поколения, не только лишенного правильного общего образования, но и воспитанного в варварском отношении к величайшим сокровищам мировой и особенно русской культуры.

Конечно, мои слова не убедят Вас, что-то затемняет Ваши глаза, но я хотел бы не убедить Вас (для этого Вам следовало прожить с нами десять лет), а разбудить в Вас просто голос человеческой совести, чувства самой простой справедливости и нравственной осторожности. Вы собираетесь приехать в Россию. О, конечно, Ваше прибытие в Россию будет сплошным триумфальным шествием на советских автомобилях, но не так хотелось бы, чтобы Вы прошли по современной России, не в звании разрекламированного советского писателя, а прежнего Максима Горького, друга Антона Павловича Чехова, того Горького, который, как прежде, незаметным босяком еще раз прошел бы по матушке России и взглянул бы на подлинную страну не через «Известия» и «Правду», ложь съездовских речей и партийной демагогии, а открытым взглядом...

Простите за это не юбилейное слово. Знаю, Вы с презрительной улыбкой бросите это письмо в корзину как еще одно анонимное, жалкое и бессильное словоизвержение врага пролетариата и т. д. Да, Вы, свободный писатель, можете в Ваших письмах в советских газетах, пользуясь монополией, говорить все, что угодно, в защиту Советской власти, имеете все возможности травить нас вполне безнаказанно. От нас Вы ничего не можете услышать в ответ: мы связаны по рукам и во рту у нас советский кляп. Но, зная это, полагаете ли Вы, что Вы поступаете как рыцарь свободного слова?

Алексей Максимович. Подумайте об этом наедине с Вашей совестью, когда-то такой чуткой ко всякой жизненной лжи и подлости. Пусть мы в Ваших

глазах люди отсталые, не понимающие величия мировых задач и благородных лозунгов социальной революции, пусть так (хотя это вовсе не так), но все же не кажется ли Вам, что с противниками следует поступать честно. Связанных не бьют. Я не хочу верить, что Вы сознательно пишете неправду или что Вы продались Советской власти, как говорят кругом. Если бы я так думал, я, конечно, не писал бы Вам. Но я недоумеваю, как же Вы берете на себя так опрометчиво судить о том, чего Вы не знаете, не видите, не переживаете.

Вы даже, по-видимому, не отдаете себе отчета в том, почему Ваши многочисленные корреспонденты, о которых Вы говорили в одной из Ваших статей в «Известиях», не могут подписать своего имени под письмами, с которыми они обращаются к Вам с Вашей родины. Не знаю, пройдет ли благополучно через советский охранный аппарат и дойдет ли до Вас этот анонимный вопль души...

Вы жестоко ошиблись бы, если бы подумали, что Ваш корреспондент — сторонник старого режима. Он слишком много в своей жизни потрудился над разрушением последнего, чтобы мечтать о его реставрации. Но еще более ошиблись бы Вы, если бы приняли его за тайного агента постыдной русской эмиграции или члена какой-нибудь внутренней подпольной контрсоветской организации. Он бесконечно далек и от того и от другого. Он просто принадлежит к последним остаткам тех культурных запасов, за счет которых до сих пор жила и еще продолжает жить Советская Россия. Вопреки убийственным условиям господствующего режима он пытается по мере сил продолжать культурную традицию научной и просветительной работы, стремясь внести нечто положительное в жизнь разоренной страны, ибо только такая работа — сознательная и нужная теперь в нашей родине. Что же касается врагов Советской власти, то внутри страны у нее есть только один действительно опасный враг — это она сама.

29 марта 1928 г.».

Писем множество, и чуть ли не в каждом — SOS! Спасите наши души!

Вот голос деревенского правдоискателя, не шибко грамотного, зато советливого, пробившийся из самой глубинки в Сорренто:

«Мы, крестьяне, находящиеся в глуши от центра нашей матушки Руси, услышав Ваш приезд, радушно его встречаем за глаза. Мы надеемся, что Ваш приезд к нам будет исправлять имеющиеся наши промахи и ошибки наших правителей, т. е. появилось таковых очень много, как-то: растраты, самодурство, вплоть до контрреволюции, а это потому, по нашим крестьянским мнениям, что не проведен трудовой закон открыто.

Вам много сказать еще что есть. Полная власть на местах, как, например, — мелкие наши начальники, как сельсоветы, вики (волостные исполнительные комитеты. — *В. Ш.*), они прямо выдают себя кум королю, почти никогда не исполняют имеющиеся у нас законы, а в частности, кодекса земельного, т. е. закон говорит одно, а они делают другое, и это обстоятельство портит все строительство. А ежели коммунист, т. е. партийный, то к нему близко не подходи и его слово закон, а верно оно или нет, он в этом и не думает отдать отчета... И ежели у меня хватило смелости указать, что это неверно, то первое — рискуешь попасть в неприятные элементы, а кроме того, получишь ответ, что это делается в порядке партийной дисциплины. И вот плохо то, что доносят дальше и дальше, например, уезд, в порядке партийной дисциплины, его поддерживает даже губерния, а между тем это лицо творит полную контрреволюцию, и все это в порядке партийной дисциплины. И вот это и заставляет делать партийца смело всевозможные пакости, он знает, что у него есть ограда — партия, и это у нас так развелось, самовольство, нужно его изжить. Я полагаю, закон, изданный хотя на год, месяц, должен безоговорочно применяться строго ко всем, а к партийцу тем больше. У нас, ежели личность не понравилась секретарю волкома (волостного комитета. — *В. Ш.*) или вика, накладывают налог, продают последних коров, овец, постройки и т. п., и ваши все жалобы остаются в пустыне вопиющими. Все идет партийной линией...

Поэтому вот просим, наш гость, обратить на это внимание, это все Вам пишется верно. Плохо проводится такое важное дело, и плохо, когда комму-

нисты гадят и портят под предлогом коммунизма, да и суд как-то плохо глядит на имеющийся закон и делает, что ему нашепчут его сотоварищи, а также горе тому, кто не сделает по-ихнему, то завтра полетит вон, и так поставлено, что они не закона боятся, а боятся друг друга, а это на жизни сильно отражается. Просим подсобить нашим вождям ввести строгий закон, простой, прямо чтобы его знал каждый из нас в деревне и мог сказать и видеть, что это неверно, и он не боялся, что его за то будут преследовать, и это нужно скорее, скорее спасти нас от гибели...»

«Уважающий Вас Иван Бол...» — подписался под письмом автор, оборвав фамилию на первом слоге, словно зажав рот ладонью, — «крестьянин»... Один из многих миллионов русских людей, чей голос чудом, сквозь мглу лет и заточение на Лубянке, долетел до нас со словом правды.

Немало, конечно, рассказывали Горькому и частые гости, приезжавшие из Союза. Все они тоже попадали на заметку в ГПУ. Разбирая следственные дела литераторов, я, например, наткнулся на такой донос агента «Саянова»:

«Большое внимание следует обратить на лиц, которые по вызову Горького ездили к нему за границу в Сорренто. Очень может быть, что и здесь затесалось некоторое количество врагов, обманывавших честного и прямодушного старика.

Об одном таком «посетителе», ездившем по вызову Алексея Максимовича в Италию, я знаю со слов П. П. Крючкова. Речь шла о Зубакине Б. М., неудачном поэте и, кажется, историке религии...»

Борис Зубакин!³ Однажды мне, в Комиссию по наследию репрессированных писателей, принесли целую пачку бережно сохраненных стихов этого прекрасного поэта. Удалось рассказать о нем по телевидению, показать его вдохновенное лицо, почитать стихи — и, как всегда в таких случаях, посыпались письма. Оказалось, многие берегли добрую память об этом поэте и о его трагической смерти — на Севере, в ссылке. Не исключено, что помог аресту Зубакина и этот донос «Саянова». Дорого тогда стоила поэту поездка в Сорренто!

Вряд ли всю эту подоплеку понимал сам Горький. О чем-то догадывался, чем-то возмущался, но верил другому: там, в Союзе, в целом все идет как надо, по пути прогресса. Голоса одиночек тонули в сводном хоре других, более удачливых, его гостей, домочадцев, секретарей и советской печати — те твердили одно: ваш дом — на родине, там вы нужнее всего, там ваше место на земле. В самом деле, где его читатель? Где его больше всего печатают? Откуда идут основные гонорары? Вот и недавно он получил от Советского правительства значительную сумму — и за изданные книги, и за те, что только готовятся к печати.

Был у этого хора и свой невидимый дирижер. С тем же упорством, с каким в свое время вытаскивал Горького за рубеж Ленин, теперь притягивал его к себе Сталин. Нежелание писателя жить на родине обсуждалось тогда всюду и бросало тень на руководство страны: вот-де Горький хоть и приветствует на словах советский режим, а жить-то все же предпочитает в фашистской Италии!

Советские журналисты будут объяснять возвращение Горького тем, что ему невольно жилось вдали от вождя, от его братской любви, которая оплодотворяет творчество. Нет, не Сталин Горькому, а Горький Сталину был нужен.

Кто самый крупный писатель? Горький! При Ленине не смог жить, уехал, а теперь вернется, где же еще творить, как не в самой свободной и счастливой стране? Пусть одобрит, поддержит нас своим авторитетом, восславит своим пером. Кроме того, Сталин рассчитывал поставить Горького во главе литературы и тем самым навести в ней порядок — разумеется, под своим контролем, — установить иерархию, подобную партийной.

³ См.: Зубакин Борис. Стихи и письма. Публикация А. И. Немировского. — «Новый мир», 1992, № 7. (Примеч. ред.)

Удушение в объятьях

И вот настал час, когда Горький после почти семилетнего отсутствия снова увидел Россию, когда, по словам Луначарского, его «восторженно схватил в свои гигантские объятия победоносный пролетариат».

Первые поездки его на родину были парадно-ознакомительными — он проводил здесь лето, а осенью неизменно возвращался в Сорренто. Дом в Москве для него подыскал сам Сталин, — построенный в начале века для миллионера Рябушинского роскошный особняк в стиле модерн на Малой Никитской, неподалеку от Кремля, сразу стал своего рода общественным и культурным центром, местом контакта власти с творческой интеллигенцией. Кроме того, Горькому были выделены две огромные комфортабельные дачи со специальной охраной — в Крыму и в Горках, под Москвой.

Опустим все те фаңфары, которыми встречали писателя, — до сих пор только их мы и слышали, — заглянем вглубь событий, опираясь на следующий «культурный слой» в лубянской архиве. Это материалы следственных дел арестованных в 1937 году как «врагов народа» — участников контрреволюционного заговора — Генриха Ягоды, секретаря Горького Петра Крючкова, критика Леопольда Авербаха — своеобразного антигероя советской литературы и доносцы литераторов, входивших в горьковский круг.

Со сложными чувствами, не без содрогания публикую я эти трагические, разоблачительные документы — в них много такого, что тоже заставит по-иному посмотреть на Горького и его окружение, да и вообще на историю нашей литературы. Иногда не хочется и верить открывшимся фактам, но приходится: факты, как верно говорил Владимир Ильич, — упрямая вещь.

Кроме публичного, общественного внимания, которым был окружен Горький с первых же шагов на родной земле, он сразу стал объектом тайного контроля, манипуляций со стороны органов и личной опеки самого Ягоды. Генрих Григорьевич вошел в дом Горького уже при первом визите писателя в Москву. Земляк, тоже из Нижнего Новгорода, считай, даже родня — женат на племяннице Якова Свердлова, а брат того, Зиновий, как известно, носит фамилию Пешков, — приемный сын Алексея Максимовича.

Поначалу шеф ОГПУ (в 1934-м переименованного в НКВД) держался, надо думать, осторожно и на почтительном расстоянии, постепенно, при последующих приездах Горького, сближаясь с ним и его домом все теснее. Главной его целью тогда было во что бы то ни стало перетянуть писателя в Советский Союз, и ясно, что добивался он этого не по личной инициативе, а по прямому указанию товарища Сталина.

Будучи сам агентурой Сталина, Ягода завел у Горького и собственную агентуру. Следующее звено в цепочке Сталин — Ягода, безусловно, Петр Петрович Крючков.

Это был облысевший блондин невыразительной внешности, небольшого роста, курносый, коренастый, упитанный, носивший пенсне. Знавшие его отмечают еще необычайно волосатые руки и кольцо с ценным александритом, которое он постоянно носил. Камешек тот имел свою историю. Когда-то он был привезен Горькому с Урала и подарен им своей второй жене — Марии Федоровне Андреевой. Потом александрит перекочевал от хозяйки на волосатую руку Пе-пе-кряю — у нее он тоже одно время секретарствовал.

Других ярких примет за ним не числится.

Сотрудничая с Горьким с 1918 года, Крючков постепенно забирал в свои руки общественные, литературные и издательские связи писателя, так что стал в конце концов не только его канцелярией, но как бы и двойником, часто подменяя его и выступая от его имени во множестве дел. И надо отдать должное, этот умный и аккуратный человек сделал для Алексея Максимовича очень много полезного, был ему и в рабочем, и в житейском плане просто необходим.

Неизвестно, был ли связан Крючков с органами до знакомства с Ягодой, но после его двойная роль несомненна. Уже будучи в тюрьме, на следствии, он рассказал, что вплоть до ареста Ягоды постоянно бывал у того на квартире, а в выходные дни и на даче. Часто встречались они и у Горького. «Установились дружеские отношения», — говорит Крючков — смысл и характер дружбы секретаря писателя и главы Лубянки прозрачен.

— А в здании НКВД вы встречались с Ягодой? — спросил следователь.

— Примерно пять-шесть раз в год я бывал у Ягоды в его служебном кабинете.

— По каким делам вы ходили к нему на службу?

— Часто я ходил к нему в связи со своими поездками в Италию, к Горькому. И иногда за деньгами.

— Какими деньгами?

— Например, в 1932 году Ягода по своей инициативе передал мне четыре тысячи долларов для покупки за границей машины для Горького. В 1933 году Ягода предложил мне две тысячи долларов (хотя я не просил), мотивируя это тем, что нам, мол, не хватает денег для ликвидации дачи в Сорренто. Деньги эти я взял, без расписки...

Признания ошеломляющие! Оказывается, Горький финансировался ОГПУ еще живя в Италии. Это, по понятным причинам, держалось в глубокой тайне, скрывалось аж до наших дней и вот только теперь всплывает наружу. И как финансировался — деньги передавались без всякого оформления, из рук в руки. Тут есть о чем подумать...

Знал ли о щедрых подарках Лубянки сам Горький? Не мог не знать. Но тогда его сближение с Ягодой, увы, приобретает еще одну, весьма прозаическую, окраску...

Больше того, как выясняется из показаний Крючкова, Ягода снабжал деньгами не одного Горького, но и других членов его семьи:

— Несколько раз я получал от Ягоды денежные суммы в иностранной валюте для М. И. Будберг, также без расписок. Для той же Будберг Ягода в 1936-м передал Н. А. Пешковой, невестке Горького, и мне четыреста фунтов (просили триста). Наконец, в сентябре 1936-го (то есть уже после смерти Горького. — В. Ш.) Н. А. Пешкова мне сказала, что получила от Ягоды через его личного секретаря Буланова большую сумму в долларах. Рассказывая мне об этом, Пешкова со смущением заметила: «Зачем мне всучили такую большую сумму?»

— Чем объясняется такого рода щедрость Ягоды? — спросил следователь.

— Эта щедрость, конечно, не случайна. Это задаривание близких к Горькому людей находится в тесной связи с линией Ягоды, особенно обозначившейся начиная с 1931 года, — линией на монополизирование влияния в доме Горького в своих целях...

Крючков подробно расписывает это навязчивое влияние, которое доходило до того, что Горький после долгих и подробных рассказов Ягоды с возмущением говорил:

— Зачем он мне рассказывает такие вещи, о которых мне не нужно знать?..

Степень доверительности тут была такой, что Ягода даже посвящал писателя в служебные секреты, видимо считая его совсем своим. Поведал ему о похищении в Париже белогвардейского генерала Кутепова, организованном ОГПУ. Или втайне надеялся стать горьковским персонажем, предлагал себя в качестве героя?

Крючков на допросе называет двух женщин — очень близких Горькому.

Мария Игнатьевна Будберг, она же Закревская, она же Бенкендорф, она же в доме Горького Мура, Титка, — неофициальная третья, и последняя, жена Горького. Очаровательница и авантюристка, имевшая среди своих многочисленных мужей и любовников и таких знаменитостей, как классик шпионажа Локкарт и классик литературы Герберт Уэллс. Тайне Муры посвящена целая книга — «Железная женщина», автор, Нина Берберова, много сил кладет на то, чтобы разгадать эту тайну.

Предполагается, что Будберг была двойным агентом — английским и советским, предполагается, но не утверждается, ибо доказательства скрытаны глубоко, а возможно, и уничтожены.

Кроме денег, получаемых ею от Ягоды, есть еще одно косвенное свидетельство о причастности Будберг к нашим доблестным органам. Следственное дело Крючкова открывается списком восьми «скомпрометированных» им лиц, и среди них не был арестован и уничтожен в застенках советских тюрем только один человек — она, Железная женщина, отмеченная в списке как «участница анти-советской организации правых». Правда, в 1938 году, когда шел процесс, она

уже была далеко, в Лондоне, но ведь добраться туда для органов — не проблема. Видно, ей на роду написано войти в историю таким сфинксом в юбке.

Еще более глубокое проникновение в дом Горького пытался осуществить Ягода через невестку писателя, жену его сына Максима, мать его внука. Но не просто расчет притягивал его, очевидно, к Надежде Пешковой, а истинная страсть: и ему хотелось быть любимым. А тут и красота, и необычайная женственность — ее отмечали все, включая Ромена Роллана («молодая очень красива, весела, проста и прелестна»), — и талант (она была художницей), и дар вести домашнее хозяйство, поддерживать огонь в семейном очаге.

Отметим сплетни вокруг имени Надежды: никаких доказательств, что у нее был роман с Ягодой, нет, а есть только многочисленные рассказы о назойливых и нескромных ухаживаниях вездесущего Генриха, ставивших объект его внимания в двусмысленное, неловкое положение. Так или иначе, вольно или невольно, и она, Тимоша, как и все домочадцы Горького, входила в сферу влияния шефа ОГПУ, могла при случае в чем-то помочь ему, хотя бы информировать.

Был к тому же и многочисленный штат прислуги — повара, шоферы, библиотекари, садовники, уборщицы и прочие — на Малой Никитской и на обеих дачах, их тоже можно было завербовать или употребить для дела. Вовсе не обязательно люди эти являлись агентами Лубянки, многие помогали органам искренне, добровольно, потому что были правомерно советскими или действовали, как они считали, из благих побуждений, в интересах Горького.

Прибавим сюда и самих чекистов, например Семена Григорьевича Фиринна и Матвея Самойловича Погребинского, частенько навещавших писателя. Его глубоко волновала идея коммунистической перековки душ — эти двое стояли во главе исправительно-трудового воспитания заблудшей народной массы: первый руководил лагерями Беломорстроя и был заместителем начальника ГУЛага, второй ведал созданием специальных коммун для уголовников.

Так что Горький, навещая Россию и тем более окончательно перебравшись на родину в 1933 году, оказался в плотном кольце служителей Лубянки, в центре змеиного гнезда, вырваться из которого он уже не сможет. Даже снабжение писателя и его семьи было поручено управлению НКВД, тому же, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро, а дом Горького был связан прямым проводом с кабинетом Ягоды.

Это многослойное окружение все глуше отгораживало Горького от внешнего мира, реальной жизни. Но ведь и сам он не пытался разорвать его, принимая предложенную ему «нишу» без сопротивления. Тем более что кольцо это удобно и приятно камуфлировалось то под лавровый венок, то под юбилейный пирог.

Огромный штат осведомителей был у НКВД и среди братьев писателей. Я обнаружил донесения по меньшей мере четырех сексотов, зашифрованных кличками, — и все вхожи к Горькому, все работают не покладая рук. Да и шире — литературное общение Горького было во многом несвободно, навязано ему.

— Я подвел к Горькому группу писателей: Авербаха, Киршона, Афиногенова, — рассказывает Ягода на следствии, — с ними же бывали Фирин и Погребинский. Это были мои люди, купленные денежными подачками, игравшие роль моих трубадуров не только у Горького, но и вообще в среде интеллигенции. Они культивировали обо мне <представления> как о крупном государственном муже, большом человеке, гуманисте. Их близость и влияние на Горького были организованы мной и служили моим личным целям.

О том же дал показания и Крючков:

— Эти люди представляли собой своеобразную агентуру Ягоды вокруг Горького. В задачу Авербаха, Киршона и Афиногенова помимо всего прочего входило всячески в глазах Горького превозносить Ягodu, рекламировать его роль в перековке людей, то есть в той области, которой Горький особенно интересовался. Ягода, в свою очередь, изо всех сил старается поднять удельный вес этой своей агентуры и проташить ее к руководству литературными организациями.

А вот как все это выглядит с точки зрения Леопольда Авербаха, из его показаний на следствии:

— Я и ряд моих товарищей часто бывали у Горького и были с ним крепко связаны. На деле мы вовлекали Горького в нашу групповую борьбу, причем именно Ягода посмеивался над тем, что мы, дескать, недостаточно вовлекаем Горького, не умеем использовать его отношение к нам, что мы зря в этом отношении церемонимся. Основной тон его размышлений, опять-таки типически характеризующий его, сводился к сентенции: в драке все средства хороши, отбросьте романтические морализирования и стеснения, опирайтесь на Горького как на силу, гнилая интеллигентщина, дескать...

Поначалу Горький недолюбливал Авербаха — этого крикливого, пронырливого, самоуверенного демагога, более способного к интригам, чем к творчеству. Плотный здоровяк, с круглой, бритой, похожей на бильярдный шар головой, с уверенным, хорошо поставленным голосом, всегда в бойцовской позиции, неистовый Леопольд даже внешне являл собой образец героя нового времени, комсомольского вожака, заводилы и застрельщика. Книгами своими Авербах похвастаться не мог, зато постоянно намекал на близость к партийной элите: мать его — сестра Якова Свердлова, жена — дочь Бонч-Бруевича, а сестра Ида — законная супруга Ягоды, самого шефа ОГПУ. А по всепроникающей паутине свердловских корней он добирался через Зиновия Пешкова, своего дядю, и до Горького — получалось и тому хоть седьмая вода на киселе, а родня.

Будучи председателем Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), Авербах претендовал на руководство всей литературой, будучи родней Ягоды, располагал хитрыми способами добиться этого. И оказывался порой даже сильнее самого Горького. Когда Алексей Максимович попытался защитить от рапповской травли Евгения Замятина, Михаила Булгакова и Бориса Пильняка, доказывая, что они не мешают истории делать свое дело, слова эти так и не были услышаны: напечатать статью писателя с мировым именем не удалось. Издательскую политику вершили авербахи.

Ягода сделал все, чтобы расположить Горького к своему шуруну. Когда Горький жил в Москве, эти двое почти каждый выходной день заявлялись к нему. Авербах даже гостил несколько месяцев в Сорренто и сумел-таки втереться в доверие к Алексею Максимовичу.

В 1937 году в своем заявлении наркому внутренних дел Ежову арестованный Авербах признался:

«Я особенно торопил переезд Горького из Сорренто, и когда я ехал в Италию, Ягода именно с точки зрения своих расчетов просил меня систематически убеждать Алексея Максимовича в скорейшем полном отъезде из Италии».

Из Сорренто Авербах возвращался «радостный и гордый» — Горький уже готовил чемоданы к своему очередному советскому вояжу. И для себя его гость кое-что схлопотал: обеспечил смычку писателя с рапповцами. В Москве Авербах сразу помчался в ЦК докладывать, что Горький смотрит на РАПП как на проводника линии партии в литературе.

Но тут-то Авербах и просчитался, переусердствовал, забежал впереди телеги. У партии были свои планы, что делать с литературой. Прошло несколько месяцев, и в апреле 1932 года как снег на голову — постановление ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций». И РАПП, которую еще вчера наша печать называла не иначе как ячейкой ЦК в литературе, а заграничная — сталинской дубинкой, ликвидировали, появился Оргкомитет во главе с Горьким, призванный покончить с групповщиной, объединить всех писателей в единый Союз советских писателей. Терять привилегии не хотелось — по испытанной большевистской привычке Авербах бросился было в драку и тем самым еще больше себе навредил, навлек на себя гнев самого Хозяина. Сталин, собрав у себя всех этих передравшихся писателей, устроил ему публичную трепку, после чего наш забияка, конечно, присмирел.

В том же году прогремел очередной праздник в честь Горького, обставленный с неприличной помпезностью. Повод — сорок лет творческой деятельности. Пользуясь именем писателя как государственной собственностью, Сталин распорядился засеять им всю страну. Имя Горького получил Литературный институт, Центральный парк культуры и отдыха и Тверская улица в Москве, десятки улиц в других городах и всях, Нижний Новгород вместе с областью, сотни фабрик и колхозов, библиотек и школ, Ленинградский Большой драматический театр и Московский Художественный...

— Товарищ Сталин, но это же больше театр Чехова, — робко заметил один из литературных функционеров, Иван Гронский.

— Не имеет значения. Горький — честолюбивый человек. Надо привязать его к партии канатами...

Горький «подарок» принял, не возражал. Критики он мог не бояться — критиковать его было уже запрещено.

Так по образу и подобию сталинского культа создавался культ Горького в литературе, давящий и губительный.

26 октября 1932 года в доме на Малой Никитской состоялась знаменательная встреча, которая вошла в историю и определила литературную политику на много лет вперед — вплоть до самой горбачевской перестройки. Об этой встрече писалось по-разному: каждый участник трактовал ее по-своему и, как правило, тенденциозно, исходя из собственных интересов, но лишь так, как в тот момент разрешалось сказать.

Взглянем и мы на эту встречу — теперь материалы, которые были спрятаны в секретных архивах, позволяют более объективно представить, что здесь произошло.

Вот я стою в дверях просторной столовой горьковского Дома-музея. Справа — рояль и на нем фотография, с которой смотрят чудесные, счастливые лица — невестка Алексея Максимовича и его маленькие внуки Марфа и Дарья. Длинный стол уходит от двери к широкому причудливому окну. Книги, портреты. Экспозиция. Шуршат войлочными тапками редкие посетители...

В осенний вечер 1932-го здесь все выглядело иначе. Исчезает фотография с прекрасными лицами. Тимоша с детьми, наверно, где-то наверху, укладывает их в постель. Столы — по всей комнате, в белых скатертях, ломятся от выпивки и закусок. Окно плотно задернуто шторой. Сияет люстра.

Столовая переполнена. На почетных местах — кремлевские вожди: Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович... Впрочем, они совсем не выглядят вождями — просты, доступны, острят, с удовольствием едят и пьют. Вокруг и вперемежку — писатели, с полсотни человек, — эти более сдержанны, настроены. Нет здесь ни Ахматовой, ни Мандельштама, нет Пастернака и Платонова, нет Булгакова и Бабеля, Андрея Белого, Николая Клюева, Бориса Пильняка — тех, кого сегодня мы считаем гордостью и славой нашей литературы. Зато много просто талантливых, «хороших и разных», но только «своих». И еще больше — функционеров и деятелей от литературы.

Не будем слушать все речи и спичи, прозвучавшие здесь, — многое теперь покажется не столь уж интересным и очень далеким от творчества. Сначала решали организационный вопрос: кому и как руководить литературой, мирились рапповцев и оргкомитетчиков. Другая проблема была посложней — ведь мало собрать писателей в единое стадо, надо задать им направление, руководящую идею, указать не только как жить, но и как писать. Нужен основополагающий принцип, метод работы. О пресловутой свободе творчества не упоминалось — ее как несуществующую оставили врагам социализма. Устами мудрого Сталина была предложена своя, самая передовая, невиданная теория — соцреализм.

Будем справедливы, Сталин — не единственный творец этой единственно правильной теории. Тут, как в бессмертной гоголевской пьесе, надо еще поискать, кто первым сказал «Э!».

Горький, например, тоже немало потрудился в поисках руководящего принципа для писателей, единой главной линии, чтобы идти в будущее не по одиночке и порознь, а стройными рядами и в ногу, четко выполняя команду, не сбиваясь с пути. Еще раньше, на другой писательской встрече, Алексей Максимович предлагал:

— Не следует ли нам объединить реализм и романтизм в нечто третье, способное изображать героическую современность более яркими красками, говорить о ней более высоким и достойным тоном?

Но и он не был тут первооткрывателем. Размышляя над феноменом Ленина, Горький заметил, что правота того была не только в силе разума и несокрушимой теории, но и в чем-то еще кроме этого... Это еще, думал Алексей

Максимович, есть высота точки наблюдения, а она возможна только при наличии редкого умения смотреть на настоящее из будущего... Эта высота, это умение и должны послужить основой того «социалистического реализма», о котором у нас начинают говорить.

Проросли зерна, брошенные Ильичом!

Вот эту идею теперь и подхватил Сталин, верный продолжатель дела Ленина. Именно так. Изображать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. Жить в настоящем, а смотреть из будущего!

Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь понимал на самом деле, что это за штука такая — соцреализм. Недаром советские литературоведы посвятили его толкованию целую библиотеку. Участник встречи в горьковской столовой И. Гронский предлагал Сталину назвать новый метод литературы и искусства пролетарским социалистическим, а еще лучше — коммунистическим реализмом, но тот выбрал — социалистический. На одном из собраний художников в то же время Гронского атаковали вопросами:

— Скажите хотя бы что-нибудь о социалистическом реализме...

Гронский ответил кратко:

— Соцреализм — это Рембрандт, Рубенс и Репин, поставленные на службу рабочему классу, — и пошел дальше.

И пошли дальше. Рассказывают, что Михаил Шолохов как-то, уже в хрущевские времена, поехал в Болгарию. Там его спросили: что такое соцреализм, классиком которого он является. Подвыпивший Шолохов ответил так:

— Был у меня друг, Сашка Фадеев. Я его часто спрашивал: Сашк, а что такое соцреализм? И знаешь, что он отвечал? А черт его знает, Миша!

Так до сих пор никто и не выяснил, что это за овощ и как его едят.

Но вернемся в горьковский дом. Застолье там уже в самом разгаре. Полилась водка, вспыхнул смех, и вот писатели осмелели, забалагурили, задвигались, перемешались с вождями. Фадеев уговаривает Шолохова спеть, Малышкин лезет чокнуться с товарищем Сталиным.

— Выпьем за товарища Сталина! — трубит поэт Владимир Луговской.

И тут происходит нечто ужасное. Сидевший напротив Сталина прозаик Н. Никифоров, которому Иосиф Виссарионович щедро подливал, вдруг вскакивает и, окончательно расхрабравшись, кричит:

— Надоело! Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина! Небось даже ему это надоело...

Притихли. Поднимается и Сталин. Протягивает руку своему визави и пожимает кончики пальцев:

— Спасибо, Никифоров, правильно. Надоело это уже.

Загудели, как улей.

И чем уж совсем покори́л Сталин писателей в тот вечер — он назвал их инженерами человеческих душ, добавив, что производство душ важнее производства танков. Пытался было что-то возразить военный нарком Клим Ворошилов, но был посажен на место: да, важнее танков! Воодушевленные и гордые от сознания своей значительности, разошлись писатели по домам.

Так в литературу был встро́ен жесткий идеологический каркас, сковавший ее на много лет вперед. А на широко разрекламированном Первом съезде советских писателей, собственно, только довели до сведения общества то, что уже давно решили и продумали до мелочей в кабинете Сталина и горьковской столовой, выдав это за чаяния самих инженеров человеческих душ.

Пройдет несколько лет, и каждый четвертый из участников памятной встречи у Горького окажется в тюрьме, многие будут расстреляны, и, конечно, наивно-неосторожный Никифоров.

О закулисных манипуляциях в литературной среде много и подробно рассказывали и Крючков, и Авербах, когда попали за решетку. Из их показаний встает перед нами многоликий собирательный образ шефа НКВД, умевшего, оставаясь в тени, направлять события. Работая над горьковскими бумагами, я часто повторял про себя: ищешь Горького — найдешь Ягоду! — таким вездесущим он оказывался. И понятно, что именно из сверхзасекреченных архивов Лубянки впервые выходит на свет так обнаженно и с такими подробностями эта историческая фигура — советский Фуше.

Крючков сообщал, что Ягода изо всех сил пытался сделать Авербаха генеральным секретарем Союза писателей, при председателе Союза Горьком, добиваясь согласия последнего, даже снабжал его тенденциозно составленными сводками ГПУ. В тех же целях — поставить своего человека во главе литературы — Ягода в 1933 году дал указание Авербаху написать письмо Сталину.

— Особую активность начинает проявлять агентура Ягоды в 1934 году в связи со съездом писателей, — говорит Крючков. — В результате Горький в письме к Сталину снова выдвигает Авербаха в руководство Союза писателей. Ягода проявляет к этому особый интерес, неоднократно расспрашивает меня, есть ли ответ от Сталина...

И опять — новости. О стараниях Горького поставить во главе литературы Авербаха раньше не было известно. В первый раз мы узнаем и об этих письмах — в Кремль. След с Лубянки ведет прямо в архив Сталина, до сих пор спрятанный от глаз людей, — именно там надо искать разгадку многих тайн не только нашей истории, но и литературного процесса.

Целое исследование о происках и личности Ягоды написал на следствии Авербах в своих собственноручных показаниях, выдержанных в присутствии ему демагогическом стиле. Еще вчера подобострастно выслуживавшийся перед своим высокопоставленным родственником, спекулирующий близостью к нему, Авербах теперь всячески очерняет его, пытаясь этим обелить себя:

«Я по-новому вижу теперь Ягodu... Я понимаю теперь, что за его отношением к Горькому, например, скрывалась отнюдь не любовь к старику, не старая привязанность к нему, не естественная тяга к тому гигантскому внутреннему обогащению, которое давало общение с Горьким. Связь с Горьким нужна была ему как суррогат отсутствующей у него связи с советской общественностью, как возмещение отсутствия у него корней в рабочем классе и в партии.

Меня всегда несколько удивляло и неприятно поражало, с каким волнением расспрашивал Ягода, не было ли у меня в разговоре с Горьким чего-нибудь касающегося его, Ягоды, как отзывался о нем Горький. Я объяснял это кругом явлений, относящихся к дружбе Ягоды с Тимошей. Но мне ясно теперь, что за этим скрывалась просто боязнь того, что Горький, мудрейший знаток человеческой души, поймет и раскроет его душонку, почувствует его внутреннюю гниль и растренность...

Ягода не разбирался в существовании литературных вопросов. Да он явно и не ставил перед собой этой задачи. Читал он крайне мало и о ряде имен и произведений знал только понаслышке. Всех основных литературных знакомых Ягоды (кроме, конечно, Горького) ввел к нему я... В разговорах с Горьким мы говорили о том, что Ягода — не политик, что он хозяйственник, организатор, администратор, честно проводящий линию партии, но, несмотря на свое место руководящего чекиста, никак не участвующий в ее выработке.

Ягода говорил со мной, посвящая меня в свои планы так откровенно не только потому, что я его родственник. Нет, в заговорщической деятельности Ягоды я выполнял роль орудия в его планах на Горького, в ряде случаев выполнял роль политического советника...

Меня особенно поразило, что Ягода со смешком относится к сути дела, что он все сводит к личным взаимоотношениям, случайным мелочам... Но теперь для меня ясно, что это важнейшая черта, характеризующая его вообще, неизбежно рожденная его провокаторским прошлым. Он никогда не вел разговоров на политические темы, он всегда посмеивался надо мной за то, что я, дескать, всюду ишу какие-то принципы и теории. В облике Ягоды главным было грязное принижение всего, подлое, циничное отношение к людям, местечковое комбинаторство, попытки во всем и вся найти что-то низменное и из него исходить...

Политика и власть требуют суровости и жестокости. Они не мирятся со шепетильностью в выборе средств, в желании прожить в белых перчатках, с брезгливостью — и вот расшифровка: программа, теория, массы — только мишура, игра, пыль в глаза. В лучшем случае у искренних, а потому, с точки зрения Ягоды, дополнительно глупых — романтические бредни. Реальная политика — борьба за власть во имя личного самоустрашения. Ее высший закон — умение ставить одновременно на разные силы, жить их столкновениями, перестраховываться. Тактическая мудрость — в беспринципном комбинаторстве и

ловком маневрировании, основанном на принципе «главное — не стесняться». Это не новый вариант Никколо Макиавелли или Игнасио Лойолы. Это местечковый меняла, вдруг почувствовавший себя на международной бирже в кресле Ротшильда.

Люди делятся на своих и не своих. Задача заключается в наличии большого кадра своих людей, своих — значит, лично преданных, то есть чем-то обязанных, поставленных в такое положение, что им опасно перестать быть своими, то есть чего-то боящихся, то есть привязанных на чем-то низменном и грязном. О своих людях Ягода всегда говорил с омерзительным цинизмом. Поражало, что он радовался всему, что выяснялось плохого о ком-либо. К каждому надо, конечно, найти ключ, но лучше и прочнее всего, если этот ключ — от кармана... Свято одно — удачная интрига. Что там борьба классов — вот, дескать, за ней найти борьбу интриг и эти интриги учесть и перекрыть! Всех надуть — высшее достижение...»

Неплохой портрет — даже с литературной точки зрения!

«Мне стало ясно, — продолжает Авербах, — что за отношением Ягоды к Горькому скрывается определенная политическая игра, находящаяся в связи с его постоянной боязнью за отношение к нему партруководства... Горький был нужен Ягоде как орудие в игре, как надежда на помощь, как, в случае разоблачения, прикрытие. Здесь были расчеты на то, что воспоминания о давнем знакомстве с Горьким могли рассматриваться всеми как свидетельство его революционного стажа. Он стремился быть своим человеком у Горького для того, чтобы свою собственную внутреннюю бездействие и интеллектуальную скудость прикрыть авторитетом дружбы с Горьким. А главное, Ягода стремился к тому, чтобы встречаться у него с членами Политбюро, чтобы через Горького воздействовать на оценку его, Ягоды, членами Политбюро...»

Этот особый интерес лубянского начальника подчеркивает в своих показаниях и Крючков:

«Другая сторона линии Ягоды в доме Горького заключалась в стремлении быть постоянно в курсе того, о чем говорят члены Политбюро, бывающие у Горького. Проще говоря, Ягода в своих целях практиковал внутреннюю слежку за членами Политбюро.

Обычно он на эти встречи не приглашался. Роль такого рода информаторов Ягоды играли, в частности, я и Тимоша. Как правило, каждый раз, как только члены Политбюро уезжали от Горького, Ягода в тот же день или на следующий приезжал или звонил мне по телефону, спрашивая: «Были? Уехали? О чем говорили? За ужином говорили? О нас говорили? Что именно?» — и т. д. На эти расспросы я обычно рассказывал ему то, что мне становилось известным либо от личного присутствия при этих разговорах, либо от Горького.

В тех случаях, когда мне лично приходилось по поручениям Горького бывать у Сталина, Ягода расспрашивал, а я рассказывал о характере поручений и содержании разговора. Так было, в частности, в 1931 — 1933 годах, когда я с письмами Горького из-за границы бывал у Сталина. Ягода расспрашивал меня о содержании этих писем...»

И снова — сообщение о каких-то неведомых письмах, и опять след уводит в тот же архив Сталина...

А вот письмо Горького к Авербаху хранилось в деле последнего, пока его не прибрал к рукам архив ЦК КПСС. Осталась ссылка на это и изложение письма в виде справки — из нее видно, что в результате пронырливой активности Ягоды и активной пронырливости Авербаха Горький возложил на неистового Леопольда исполнительную власть в литературе, оставив себе роль законодателя. Он указывает из своего Сорренто, кого из писателей следует печатать, каковы должны быть литературные герои и общее направление в литературе.

«Будите людей, поднимайте на дыбы. Пишите, читайте, это Ваше дело...»

Если бы Авербах только, как советовал Горький, будил людей, поднимал на дыбы, писал и читал! В том-то и дело, что интересы литературы и интересы политики сплелись в один неразрывный клубок, разделить их было нельзя. Все смешались, кружились в этом бесовском танце — Горький и Сталин, Авербах и Ягода, Киришон — Афиногенов, Фирин — Погребинский...

И если Авербах поднимал людей на дыбы, то Ягода — на дыбу.

А дыба эта в творчестве заплечных дел мастеров принимала различные формы — тут и тюрьма, и концлагеря, и каторжные стройки, и расстрелы.

И что же Горький, великий человеколюб, — протестовал, как когда-то, при Ленине? Отнюдь, наоборот — благословлял, приветствовал, вдохновлял!

«Горький неимоверно высоко ценил работу НКВД с преступниками и отзывался о ней с нежным восхищением, со слезами радости, — показывал на следствии Авербах. — У него было чувство горячей и какой-то просто личной благодарности к тем, кто ведет эту работу. Я думаю, что в его отношении к Ягоде громадную роль сыграло то, что эта работа связывалась у него с именем Ягоды...»

Возможно, близость Горького к карательным органам располагала к ним и зарубежных наблюдателей советской жизни. Доверие к писателю, мировой авторитет невольно распространялись и на его окружение.

«Полицейским идеализмом» Ягоды чуть было не увлекся и Ромен Роллан во время своего посещения Горького в 1935 году. Он, правда, оказался все же трезвее своего друга и оставил за собой право на сомнение, право на защиту безвинных жертв.

Каким увидел шефа НКВД Ромен Роллан?

«У «страшного» Ягоды — тонкие черты лица, и выглядит он уставшим, но изысканным и еще молодым человеком, несмотря на седину довольно редких волос (он напоминает мне Моруа, но более утонченного); темно-коричневая форма прекрасно сидит на нем; говорит он спокойно и вообще весь — олицетворение мягкости...»

Завязался разговор. Ягода возмущен тем, что в советском праве нет идеи мщения, хвастается заботой о гигиене заключенных. Роллана удивляет, что при этом его собеседника совершенно не волнуют страдания, человеческие чувства. И в то же время он вызывает симпатию, хочется ему верить.

Но снова сомнения: Ягода убеждает, что в Советском Союзе нет цензуры писем и что вообще режим слишком мягок. Неужели он считает всех такими наивными простаками? Как будто мы не знаем, что письма и к нам от здешних друзей, и от нас к ним проверяются и приходят распечатанными, с рассчитанным на дураков штемпелем: «Извлечено из почтового ящика в поврежденном виде!» Даже полиция Фуше работала аккуратней, хоть не перепутывала письма, рассовывая их обратно по конвертам, — а мы получали и такие...

«Но даже зная все это, — запишет после беседы в своем дневнике Роллан, — испытываешь чувство вины за свои сомнения, глядя в честные и кроткие глаза Ягоды».

Господи, французскому гуманисту, с его представлениями о человеческом достоинстве, даже в голову прийти не может, с кем он разговаривает, кто перед ним сидит!

Ягода продолжает рассказ о своей кипучей деятельности на ниве перевоспитания преступников, — глаза загораются огнем, в голосе — сдержанное волнение. Загадочная личность, изучает его Роллан, что за контрасты! Безжалостный командир НКВД — и полный благости святой в миру...

— Лет через десять — двадцать преступников у нас не будет! — обещает Ягода.

Какие иллюзии! — удивляется Роллан. Как может политик такого ранга впасть в сентиментальный оптимизм в духе Жан-Жака Руссо? Нет, будущее наверняка обманет надежды этого фанатика...

И кому верить в этой стране? Вот Екатерина Павловна Пешкова ненавидит Ягоду, сурово осуждает его. То, что она рассказывает о положении в стране, совершенно противоречит тому, что говорит Ягода. Она уже отчаялась... А другие уверяют, что Генрих — добрый человек, с большим сердцем, ему можно только посочувствовать — надорвался, бедняга, на неблагодарной работе, столько взвалил на плечи...

Сегодня мы можем сказать определенно: это выдумки или заблуждение, что Горький сопротивлялся насилию и что стал бы помехой в 1937 году, за что-де Сталин его и убрал. Желание спасти репутацию писателя, приукрасить историю понятно, но, увы, обречено. Хотелось бы верить, но факты говорят о другом. Горький — вторая по значению фигура в стране — не протестовал против небывалого в истории закона, по которому правительство объявило равную со взрослыми кару, вплоть до смертной казни, детям от двенадцати

лет, даже за воровство. Он «не заметил» ареста поэтов Николая Клюева и Осипа Мандельштама и еще в 1929 году, съездив на Соловки, выразил восторг от первого советского концлагеря. Уже тогда он предал свой народ, благословил тиранию.

Побывав на каторжном строительстве Беломорканала, Горький обнимал Ягоду и проливал слезы от умиления:

— Вы сами не понимаете, черти драповые, что вы делаете!

Понимали, еще как понимали. И посмеивались, должно быть, над чувствительным стариком.

Если бы провести конкурс на самую позорную и лживую книгу в истории, то на первый приз вполне может претендовать «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». Это под руководством Горького советские писатели целой ватагой выполняли социальный заказ и с воодушевлением, с подъемом писали апологию рабского труда.

Это Горький, когда под предлогом борьбы с кулаками уничтожали крестьянство, кормилца России, дал властям страшный лозунг: «Если враг не сдается — его уничтожают» («Правда», 15.XI.30). Каким эхом отзовется горьковский призыв по всем тюрьмам и лагерям, сколько зеков услышит его из уст палачей!

«Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства», — писал он о фальсифицированном, постыдном суде над технической интеллигенцией, Промпартией.

Это он в 1931 году соглашался с судом над меньшевиками, среди которых были и его прежние друзья, называл их преступниками и вредителями и добавлял, что не все еще выловлены и надо еще ловить.

«Как великолепно разворачивается Сталин!» — восклицает он в письме Халатову, главе Госиздата. А через год уже называет партийного вождя «Хозяином» — не с подачи ли Горького это слово закрепится за Сталиным в советском словаре?

Это он позднее, после убийства Кирова, когда без суда и следствия по приговору троек расстреливали мнимых шпионов и диверсантов, призывал: «Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно, нисколько не обращая внимания на стоны и вздохи профессиональных гуманистов!» («Правда», 2.I.35).

Трудно сказать, когда в точности произошло с Горьким такое перевоплощение: он стал не только жертвой, но орудием Сталина и НКВД в духовном закабалении страны. А дальше его ждал только один конец — нравственная и гражданская деградация. Это и есть настоящая история его болезни, которая, конечно, ускорила и физическую смерть. Не предчувствие ли такого конца диктовало ему еще в 1914 году отчаянные строки:

Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?..

Предсмертие

В мае 1934 года Горького постигло страшное горе. Внезапно, проболев всего несколько дней, умер его сын Максим.

Событие это до сих пор окутано тайной. В естественную смерть Максима мало кто поверил. Молодой и здоровый, спортивный, полный энергии человек, талантливый художник и заядлый автомобилист, Максим увлекался воздухоплаванием, строил планы о полярных путешествиях и уже успел побывать в Арктике. Правда вот, выпивал, но на Руси это заурядная привычка. И вдруг — погиб, в одночасье, от обычной простуды.

«Захворал папа, простудился на аэродроме, лежит, кашляет», — пишет Горький внукам, бывшим в то время в Крыму. «Простудился на рыбной ловле», — вспоминает Тимоша. «После выпивки я вывел Макса в сад и оставил на скамейке», — признается Крючков.

Таковы противоречивые сообщения домочадцев.

Властями смерть Максима была квалифицирована как злонамеренное убийство. Но это не сразу, позднее, когда в 1938 году окажутся на скамье подсудимых участники так называемого «правотроцкистского блока» и среди

них — Ягода и Крючков, когда уже не будет в живых и самого великого писателя и смерть сына и отца свяжут в один узел коварного заговора. Тогда убийство Максима будет рассматриваться как удар, направленный в его отца: через устранение горячо любимого сына подорвать здоровье Горького, морально сразить его, вселить апатию к общественной деятельности, ускорить смерть. А зачем надо было убивать Горького? Он — помеха для задуманного государственного переворота, потому что до конца будет с партией, Сталиным, и никаким другим путем его не вырвать из-под влияния вождя.

Убить Максима задумал Ягода. По этой версии, он создал целую преступную группу в составе Крючкова и докторов — домашнего врача горьковской семьи Левина, профессора Плетнева, доктора Виноградова — из санчасти НКВД. В деле Крючкова на сей счет говорится подробнейшим образом.

— Какие интересы преследовали при этом вы? — спросил Крючкова следователь.

— Я лично был заинтересован в устранении Максима как наследника Горького. Ягода это хорошо знал и эту мою заинтересованность использовал. Дело в том, что в 1918 году мне удалось пристроиться к Горькому, втереться к нему в доверие, стать его личным секретарем. На протяжении всех лет я пользовался полным его доверием и являлся полновластным хозяином в его доме, во всех его литературных, издательских делах, бесконтрольно распоряжался всеми его средствами.

У меня возникла мысль убрать Максима Пешкова с тем, чтобы остаться монопольным хозяином, распорядителем значительного литературного наследства Горького, дававшего незаурядный доход. Таким образом, предложение Ягоды об устранении Максима полностью совпало с моими личными интересами, и я его без долгих колебаний принял.

Ягода в беседах со мной намекал, что ему известны мои стяжательские махинации со средствами Горького: «Петр Петрович, я буду с вами откровенен. Я понимаю, что означает для вас ваша роль, ваше положение в доме Горького. А я вас могу в два счета от Горького отстранить. Больше того, ваша судьба целиком в моих руках. Имейте в виду, что первый нелояльный ваш шаг по отношению ко мне повлечет за собой более чем неприятные последствия...»

Получение задания, по протоколу допроса, выглядит так:

— Надо устранить Горького, — говорит Ягода.

— Но как это сделать? — Крючков.

— Вы ведь знаете, как сильно Алексей Максимович любит своего сына. Если Макса не станет, это настолько надломит Горького, что он превратится в безобидного старика.

— Что же вы предлагаете мне — убить Макса?

— Это же в ваших интересах. Если Макс останется наследником, вы останетесь у разбитого корыта. Доктор Виноградов говорит, что на Макса плохо действует алкоголь и что этого само по себе достаточно, чтобы подорвать его здоровье и ускорить развязку. Вот и подумайте... А о других действиях позаботится Виноградов. Он лечащий врач Макса, хорошо его знает...

И Крючков приступил к делу. Выражалось это в том, что он усиленно подливал Максиму, оставляя его пьяным на сквозняке. Был создан культ коньяка «Нарзак» (смесь коньяка с нарзаном), которым и удалось подорвать здоровье сына Горького. Но все это еще не опасно для жизни.

Тогда Ягода предлагает:

— А вы сделайте так, чтобы он пьяным полежал на снегу.

Сказано — сделано. Первое покушение предпринято в марте. И что же? Легкий насморк. А Ягода торопит.

Еще одна попытка — в конце апреля опьяненный Максим оставлен спать при открытом окне. Снова неудача. И вот наконец покушение удалось. «2 мая, после выпивки, я вывел Макса в сад и оставил спать на скамейке...» В результате — температура, головная боль, Максим слег. «Дальнейшее лечение было фактически актом убийства, совершенного Левиным, а затем привлеченным к лечению Виноградовым»...

Между тем Левин определил у больного только легкий грипп. И вот появился Виноградов.

— По своему обыкновению, он привез с собою все необходимые лекарства из санчасти НКВД, — продолжает рассказ Крючков. — Вопреки возра-

жениям Чертковой Виноградов из своей аптечки дал принять Максу какую-то микстуру, несмотря на то что такая микстура, по заявлению Чертковой, была в аптечке дома Горького. В результате ее действия положение Макса еще больше ухудшилось, он совершенно ослаб и уже не мог подняться с постели.

Жена Пешкова и сам Алексей Максимович стали настаивать на созыве консилиума. Этому, однако, очень рьяно сопротивлялись Левин и Виноградов, заявляя, что они ждут резкого улучшения состояния здоровья Макса, что ничего опасного в этом заболевании нет. Около кровати больного развертывается своеобразная борьба между Виноградовым и Чертковой. Виноградов пытается давать лекарства, привезенные им, а Черткова настаивает на том, чтобы эти лекарства давались из аптечки Горького. Я не знаю, подозревала ли что-нибудь Черткова, но она очень энергично отстаивала право давать лекарства лично... По крайней мере, я вспоминаю замечание Виноградова, сказанное вслед уходившей из комнаты Чертковой: «Нельзя ли как-нибудь отвязаться от этой старухи?»

Несмотря на все старания Виноградова обострить болезнь, положение Макса стало заметно улучшаться. Помню, когда я об этом сообщил Ягоде, последний сказал: «Вот сапожники, скольких уже залечили, а тут с чепухой никак не справятся». Как мне стало известно, Ягода после этого говорил с Виноградовым. Последний затем сказал мне, что надо найти возможность или предлог дать больному выпить шампанского. При этом Виноградов сказал: «Мне Генрих Григорьевич говорил, что вы знаете все и должны мне помочь в этом. Я рассчитываю, — продолжал Виноградов, — что в результате шампанского у больного неизбежно появится расстройство желудка, а тогда будет простым предлогом дать ему слабительное. Это его доконает».

Это мною было выполнено. Через несколько часов Макс стал жаловаться на боль в желудке. Виноградов немедленно дал больному слабительное. Выйдя из комнаты, Виноградов заявил мне: «Ну, теперь можно считать, что наша задача решена. Это очень опасная вещь, и даже неспециалисту ясно, что при такой температуре давать слабительное — значит убить человека. Смотрите не проговоритесь!»

Состояние Макса после этого эпизода резко ухудшилось. Он впал в беспамятство, стал бредить. 11 числа Максим Пешков скончался...

Все это было похоже на дурной детектив. Явная липа — так и я думал вначале. И написал уже эту главу, решив, что убийство Максима — фальсификация. Тем более что главный убийца, доктор Виноградов, арестован не был и даже проходил на процессе как эксперт, член медицинской комиссии, созданной специально для подкрепления ложного приговора. Не может же быть, чтобы убийца, разоблаченный на следствии, остался цел и невредим и даже сам фигурировал как разоблачитель.

Но что-то тревожило смутно, заставляло вновь и вновь возвращаться к этой смерти, ворошить все новые материалы. Помог Роберт Конквест. В книге «Большой террор», описывая дело правотроцкистского блока, он тоже упоминает эксперта — профессора В. Н. Виноградова... Стоп! А как зовут врача, залечившего Максима Пешкова? А. И. Виноградов. Это же совсем другой человек! А что с ним стало?.. Вся история смерти Максима предстала совершенно иначе.

Да, все это было бы похоже на дурной детектив, если бы не один непреложный и серьезный факт: перед самым процессом доктор А. И. Виноградов умер при невыясненных обстоятельствах в руках органов безопасности. Следствие в отношении его было прекращено за смертью обвиняемого. Еще одна загадочная гибель. Сделал свое дело — и был убран? Не спрятали ли правду о смерти Максима в могилу Виноградова?

Биографы Горького мало обращали внимания на этот факт. На процессе А. И. Виноградов был отодвинут за кулисы, возможно, путался в сознании с однофамильцем — другим врачом, профессором В. Н. Виноградовым, участником медицинской экспертизы. Но главное, конечно, — не было в руках документов следствия, таких, как дело Крючкова. Теперь они перед нами, и загадка смерти Максима стала проясняться.

Судьба, подобная той, что постигла А. И. Виноградова, была не единственной — в то же время умер начальник Лечсанупра Кремля Ходоровский,

тоже находясь под следствием, тоже по неведомой причине. Не слишком ли много случайностей?

Осужденный на том же процессе известный революционер Х. Раковский произнесет в тюрьме вешие слова (их передал впоследствии один из допрошенных сотрудников НКВД):

— Я напишу заявление с описанием всех тайн мадридского двора — советского следствия... Пусть хоть народ, через чьи руки проходят всякие заявления, знает... Пусть я скоро умру, пусть я труп, но помните... когда-то и трупы заговора...

Трупы заговорили.

8 марта 1938 года. Октябрьский зал Дома союзов переполнен. Что же не празднично? Нет, Международный женский день отмечают не здесь, здесь судят «банду палачей и предателей».

На скамье подсудимых — двадцать один человек, среди них люди, известные всей стране: Бухарин, Рыков, Раковский, Ягода... Присутствовавшие в зале иностранные наблюдатели уверяют, что за происходящим спектаклем наблюдал и главный режиссер — Сталин, сидевший в особом помещении на хорах, за окном, — был момент, когда переключали свет и многие ясно увидели его.

На прокурорском месте — Вышинский и на подхвате у него — Лев Шейнин, следователь по особо важным делам, по совместительству — писатель, новой формации, сталинской выпечки.

Утреннее заседание. Допрашивают Ягоду. Выглядит он совсем по-другому, чем когда был у власти, — поседел, сгорбился, осунулся, мрачен. Перечисляются убийства, организованные им, — Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького — он подтверждает вину. На вопрос о Максиме Пешкове отрезает:

— Максима Пешкова я не умерщвлял.

Вышинский зачитывает показания Ягоды на предварительном следствии.

— Вы это показывали, обвиняемый Ягода?

— Показывал, но это неверно.

— Почему вы это показывали, если это неверно?

— Не знаю почему...

— Почему вы ввали на предварительном следствии?

— Я вам сказал. Разрешите на этот вопрос не ответить.

Фразу эту Ягода произнес с такой яростью, что, по словам американского наблюдателя на процессе, все затаили дыхание.

В допрос вмешался председатель суда Ульрих, но Ягода, повернувшись к нему, злобно сказал (эта фраза не вошла потом в официальный отчет):

— Вы на меня можете давить, но не заходите слишком далеко. Я скажу все, что хочу сказать... Но... слишком далеко не заходите...

Эта сцена потрясла зал. Сталину, если он действительно за всем наблюдал, вероятно, показалось: вот-вот и весь замысел лопнет, спектакль провалится.

Заседание возобновилось вечером. Ягода выглядел уже окончательно сломленным, отчаявшимся, упавший голос был еле слышен. Следователи хорошо подготовили его к новому акту спектакля.

Вначале секретарь Ягоды Буланов описал специальную лабораторию ядов, созданную и лично контролируемую его начальником. По его словам, Ягода «исключительно» интересовался ядами. Тут самое время вспомнить и об этой стороне деятельности нашего многоликого Яго. Сын аптекаря, с детства знакомый с химией и сам до революции начинавший как фармацевт, он экспериментировал в НКВД, надо думать, не для теории. Яды применялись органами широко и повсеместно, за границей и дома. И как знать, не случись революции, может быть, Россия имела бы еще одного отличного аптекаря?

— Подсудимый Буланов, а умерщвление Максима Пешкова — это тоже дело рук Ягоды? — спросил Вышинский.

— Конечно.

— Подсудимый Ягода, что вы скажете на это?

Ягода выдавил, еле шевеля губами:

— Признавая свое участие в болезни Пешкова, я ходатайствую перед судом весь этот вопрос перенести на закрытое заседание...

Потом он вытащил бумажку и стал зачитывать свои показания, медленно, запинаясь, как если бы видел текст впервые. Дойдя до «медицинских

убийств», снова признал только свое «участие в заболевании Макса» и вновь попросил дать объяснения на закрытом заседании.

Дважды еще возвращался к этому Вышинский, пытаясь выжать у Ягоды признание, — с тем же успехом.

— Признаете вы себя виновным или нет? — почти кричал прокурор, теряя терпение.

— Разрешите на этот вопрос не ответить.

Так и не удалось вырвать у подсудимого «да» в этот день. И когда Вышинский перечислял все совершенные Ягодой убийства — Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького, — а тот подтвердил их все, Максима Пешкова в этом ряду не было.

На заседании при закрытых дверях Ягода, как объявили, «полностью признал организованное им умерщвление товарища Максима Алексеевича Пешкова, сообщив при этом, что преследовал этим убийством и личные цели»...

В обвинительном заключении Вышинский торжествующе раскрывал технологию убийства:

— Ягода выдвигает свою хитроумную мысль: добиться смерти, как он говорит, от болезни, или как он здесь на суде сказал: «Я признаю себя виновным в заболевании Максима Пешкова». Это, между прочим, не так парадоксально, как может казаться на первый взгляд. Подготовить такую обстановку, при которой бы слабый и расшатанный организм заболел, а потом... подсунуть ослабленному организму какую-либо инфекцию, не бороться с болезнью, помогать не больному, а инфекции и таким образом свести больного в могилу, — это не так парадоксально.

— Ягода на закрытом судебном заседании, — добавляет Вышинский, — объяснил свое нежелание говорить об этом тем, что мотивы убийства носят сугубо личный характер... Он прямо сказал, что мотивы личные...

Американский посол в Москве Джозеф Эдвард Дэвис расшифровал это так: «Ягода был влюблен в жену Максима Пешкова, что ни для кого не было секретом».

Действительно, эта самая «человеческая» версия и есть, вероятно, самая правдоподобная. Никаких иных причин убивать Максима, кроме личной, у Ягоды не было и быть не могло, а личная причина могла быть только одна — влюбленность в Тимошу. Понятно, почему он так не хотел признаться при всех, на открытом процессе.

Его ухаживания за ней начались еще при жизни Максима, а после его смерти усилились, стали настойчивы и навязчивы. Среди многочисленных рассказов об этом есть один особенно выразительный. Жена Алексея Толстого, Крандиевская, вспоминала сцены на горьковской даче: «По ступенькам поднимался из сада на веранду небольшого роста лысый человек в военной форме. Его дача находилась недалеко от Горок. Он приезжал почти каждое утро на полчаса к утреннему кофе, оставляя машину у задней стороны дома, проходя к веранде по саду. Он был влюблен в Тимошу, добивался взаимности, говорил ей: «Вы меня еще не знаете, я все могу». Растерянная Тимоша жаловалась...»

Процесс закончился. Все участники правотроцкистского блока были расстреляны.

Это случилось через четыре года после смерти Максима Пешкова. А через два часа после смерти сына к Горькому приехали руководители партии и правительства со словами глубокого сочувствия. Он тогда перевел разговор:

— Это уже не тема.

Перед смертью, в бреду, Максиму мерещился самолет. Очнувшись, он рисовал его на папиросной коробке, объяснял конструкцию, говорил, что, если прищуриться, четко различишь форму...

Ровно через год, в мае 1935-го, газеты сообщат: потерпел катастрофу гигантский агитсамолет «Максим Горький», экипаж и десятки ударников, находившихся на борту, погибли.

Эта катастрофа кажется почти символической.

В последние годы жизни Горький — сломленный человек, ставший послушным орудием в руках властей. В своих публичных выступлениях привычно славит Сталина, но прежней близости между ними уже нет, возникла ощу-

тимая дистанция, холодок. Трудно сказать, что за кошка пробежала между домом Горького и Кремлем. Может, дело в том, что писатель пробовал заступиться за опального Каменева и тем окончательно рассердил вождя? Или в том, что так и не написал ничего значительного, эпохального о Сталине, не восславил его должным образом, как Ильича, хотя не раз намекали, и материалы к биографии подсовывали, и даже в печати сообщали: ждите, мол, вот-вот... А он — не сдюжил, не выполнил социальный заказ.

По всему видно, что вождь больше с писателем не церемонится. Ринулся было в Италию — не пустили: живи дома! Не выноси сор из избы. Клетка захлопнулась.

«Правда» вдруг печатает пасквильную статью Д. Заславского, ругает старика за либерализм — за предложение переиздать «Бесов» Достоевского. И Достоевского защищать нельзя! Значит, Горький уже — не из неприкасаемых? Переведен в разряд почетных, но не действующих лиц?

И жизнь, несмотря на внешнее благополучие, славу и фимиам, все больше напоминает домашний арест. Писатель Шкапа передает в своих воспоминаниях один нечаянно подслушанный им монолог:

«— Устал я очень, — бормотал Алексей Максимович как бы про себя, — словно забором окружили, не перешагнуть. Окружили, обложили. Ни взад, ни вперед!.. Непривычно сие!..»

Удивительные вещи происходили в доме писателя. Контролировались даже газеты, прежде чем попасть туда. Были случаи, когда типография печатала номер в одном экземпляре, специально для Горького, — с соответствующими изъятиями и подделками (один такой номер сохранился в музее Горького). Объяснялось это заботой о спокойствии старика, на самом деле стерилизовалось уже само сознание писателя, его превращали в некоего зомби — автомат, удобный в обращении.

Эта психологическая западня, постоянная депрессия, отчаянье, конечно, деформировали личность Горького и, может быть, больше, чем возраст и болезни, вели к концу. Читая то, что он писал в те дни, даже невольно задаешься вопросом: уж не навещало ли его безумие?

Незадолго до смерти он решил, например, мобилизовать сотню писателей для такого вот дела: «Им будут даны сто тем, и мировые книги ими будут переписаны наново, а иногда две-три соединены в одну». Для чего же покушался он на всю мировую культуру? А «чтобы мировой пролетариат читал и учился по ним делать мировую революцию». «Таким образом, — писал Горький, — должна быть постепенно переписана вся мировая литература, история, история церкви, философия: Гиббон и Гольдони, епископ Иринея и Корнель, проф. Анфилонов и Юлиан Отступник, Гесиод и Иван Вольнов, Лукреций Карр и Золя, «Гильгамеш» и «Гайавата», Свифт и Плутарх. И вся серия должна будет кончатся устными легендами о Ленине».

Вот так! Но если вдуматься, и в этом безумии была своя логика. Ведь еще в далеком 1908 году Алексей Максимович собирался переписать заново «Фауста» Гёте, на что тогдашняя его жена Мария Федоровна Андреева, актриса, а в будущем партработник, воскликнула: «Это будет нечто изумительное!»

Пройдет время, и Сталин наложит на горьковской поэме «Девушка и Смерть» резолюцию: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте». Зачем тогда переписывать?

Дом Горького в это время превращен, по существу, в филиал НКВД, через который органы ведут неусыпный контроль и за ним, и за его гостями. Чекисты и писатели сосуществуют в самой тесной близости друг к другу, срастаясь воедино в какое-то злокачественное образование. НКВД выдвигает и откровенно подкармливает нужных ему людей из своей казны. Авербах признавался на следствии, что постоянно пользовался бесплатными услугами хозяйки НКВД и что подобным образом обслуживались на глазах у всех и другие люди из окружения Горького. Он называет писателя Киршона, художника Павла Корина — учителя Тимоши, для которого Ягода построил специальную мастерскую, Афиногенова и Фадеева, которые получили квартиры в доме НКВД, а Крючков, по словам Авербаха, «в этом смысле чувствовал себя в НКВД своим человеком».

Общая роль Крюčkова подробно расписана в многочисленных доносах, посылавшихся на Лубянку после его ареста. Один из них, агента «Алтай-

ского», увенчанный до сих пор грифом «Совершенно секретно», — это своего рода мемуары сексота, который передает рассказы близких Горькому лиц. Вот что он услышал от писателя Александра Николаевича Тихонова:

— Крючков — человек, способный на все... Его задачей было стать полным хозяином у Горького, он добивался этого всеми средствами. И, в частности, сумел отдалить от Горького всех старых друзей. Он нашептывал, срывал посещения Горького писателями и кое-кого совсем не пускал. Из старых друзей остался я один, и то он меня всячески оттеснял.

Для всего этого нужно было и Крючкову, и Ягоде держать Тимошу в своих руках. Она — милая, обаятельная женщина, далекая от всяких махинаций и политики. Она, конечно, очень нравилась Ягоде. А роман Ягоды и Тимоши избавлял Крючкова от опасности, что в дом войдет неприемлемый для него человек. Едва ли она его любит. Ей просто некуда было податься. Она была окружена... В доме Горького Крючковым и Ягодой была создана такая атмосфера, что с Тимошей страшно было разговаривать, того гляди, посадят. Для нее хорошо, что все это произошло (то есть арест Ягоды и Крючкова. — *В. Ш.*), она бы сама из этого болота не выбралась.

Во всем этом было что-то темное. Возьмите одно то, как Крючков жил. Он просто-напросто неограниченно тратил средства Алексея Максимовича на себя. Крючков и Ягода были закадычные друзья. Они вместе в баню ходили... Ну а на основе этой деловой спайки создавалась «широкая жизнь». Я в Озерах (дача Ягоды. — *В. Ш.*) не бывал, но не раз слышал, как Ягода хвастался: «Две тысячи роз и орхидей...» А во всем этом Крючков принимал деятельное участие. Вообще они друг другу подходили — мастера своих дел и делишек. Вместе устраивали попойки и кутежи.

Помню лето 1934-го. Цхалтубо. Приезжает жена Ягоды Ида и привозит с собой — двух шоферов, охрану, машину и т. д. Там жить негде было, а ей отвели целую часть гостиницы. А на курортах тип высокопоставленного чекиста — это же разнуданный человек, которому все девочек подавай... За себя я не боюсь. И с Крючковым, и с Ягодой я был в плохих отношениях. Чему я рад, так тому, что Алексей Максимович всего этого не видит...

Последнюю свою весну, 1936 года, Горький жил в Крыму, на даче в Тесели. Там его навестил известный французский писатель Андре Мальро. Новые подробности этой встречи открылись в архивных материалах Лубянки — рассказ о ней я обнаружил в следственном деле Исаака Бабеля, в его показаниях:

— Мальро приезжал в СССР, чтобы повидаться с Горьким по делам Всемирной ассоциации революционных писателей. Сопровождали его Кольцов и Крючков, по просьбе Алексея Максимовича поехал и я, оставаясь во все время поездки чисто декоративной фигурой.

В памяти у меня запечатлелось, что на вопрос Мальро, считает ли Горький, что советская литература переживает период упадка, тот ответил утвердительно. Очень волновала Горького тогда открытая на страницах «Правды» полемика с формалистами, статьи о Шостаковиче, с которыми он был не согласен. В эти последние месяцы жизни в Крыму Горький производил тяжелое впечатление... Атмосфера одиночества, которая была создана вокруг него Крючковым и Ягодой, усердно старавшимися изолировать его от всего более или менее свежего и интересного, что могло появиться в его окружении, сказывалась с первого дня моего посещения. Моральное состояние Горького было очень подавленное. В его разговорах проскальзывали нотки, что он всеми оставлен. Неоднократно говорил, что ему всячески мешают вернуться в Москву, к любимому им труду... Не говоря уж о том, что под прикрытием ночи в доме Горького, ухидившего спать к себе наверх, Ягодой и Крючковым совершались оргии с участием подозрительного свойства женщин, Крючков придавал всем отношениям Горького с внешним миром характер одиозности, бюрократичности и фальши, совершенно несвойственных Алексею Максимовичу, что тяжело отражалось на его самочувствии. Подбор людей, приводимых Крючковым к Горькому, был нарочито направлен к тому, чтобы он никого, кроме чекистов, окружающих Ягоду, и шарлатанов изобретателей, не видел. Эти искусственные условия, в которые был поставлен Горький, начинали его

тяготить все сильнее, обусловили то состояние одиночества и грусти, в котором мы застали его в Тессели незадолго до смерти...

— Вы уклонились от своих показаний, — оборвал Бабеля следователь.

Есть семь версий смерти Максима Горького. По каждой из них можно выстроить события — так и делали, а истина все равно ускользала, оставляя вместо себя мертвую грудку фактов и домыслов. Но как отделить посмертную маску от живого лица, разглядеть человека, понять, что произошло с ним, а значит, и со всеми нами?

Болезнь писателя оказалась на деле куда сложнее и трагичнее, чем считали, и даже выходила за пределы медицины.

В нашей хронике от смерти Горького нас отделяет совсем немного, проследим этот последний отрезок его жизни не спеша, подробнее, как при замедленной киносъемке. Может быть, сам материал подскажет, умер ли писатель от болезни или был убит и был ли его уход из жизни просто остановкой сердца либо именно концом — полным и бесповоротным распадом личности, гибелью духа.

Теперь, издалека, зная, как много людей окружало Горького, порой даже досадует: ну что же никто из них не сказал правду, как оно было на самом деле! А им, быть может, еще труднее было увидеть эту правду — в упор. Слишком близко. Осмелится ли кто-нибудь из нас сказать, что он видит, знает правду наших дней? Не будем слишком доверять очевидцам, у каждого свой взгляд, своя память, свой угол искажения действительности.

По официальной сталинской версии смерть Горького — злодейское убийство, часть глобального заговора правотроцкистского блока, в который главными действующими лицами входили Бухарин, Рыков, Ягода и заочно — Троцкий. Их цель — свергнуть Сталина и завладеть властью. Горький — преданнейший друг вождя — мешает, значит, должен быть устранен. Как пел народный акын Казахстана Джамбул Джабаев:

Ты Сталина, гения мира, любил,
Ты жил бы средь нас еще долгие годы,
Когда б не змеиное жало Ягоды,
Когда бы не яды убийц-палачей,
К тебе приходивших в халатах врачей...

На самом деле Сталину нужен новый виток репрессий, как всегда, для одного — усилить свое единовластие, крепче взять в руки страну. Вину Ягоды определил сам Сталин в своей телеграмме Политбюро от 25 сентября 1936 года: в открытии большого террора «ОГПУ опоздал на четыре года». И уж не виной, а бедой Ягоды было то, что он слишком много знал про вождя подноготного, — от таких свидетелей Сталин регулярно избавлялся.

В замысле процесса было слабое место: много злодеев, а жертва только одна — Киров. И тут-то Сталину пригодились случившиеся в последнее время смерти — Куйбышева, Менжинского, Горького и его сына, — все они тоже были объявлены жертвами.

Неправда, что гений и злодейство несовместны. Совместны, если перед нами гениальный злодей. Искусник из Кремля дал спектакль — и жизнь предстала в нужном для него виде. И надо сказать, исполнители с Лубянки изрядно потрудились, чтобы сделать из смерти Горького шедевр в детективно-фантастическом жанре.

Снова откроем дело Крючкова. Вот Ягода дает ему задание — «разрушить здоровье Горького». Крючков колеблется, мучается. Ягода угрожает, говорит, что разоблачит его как убийцу сына Горького и семейного казнокрада.

— Когда вас арестуют, вам никто не поверит, вы человек неглупый, поймите, следствие-то будут вести мои люди. А Горький уже старик, он и так вот-вот умрет...

Спрашивается, зачем тогда на него покушаться?

— После смерти Горького вы будете едва ли не самым богатым человеком в СССР, — продолжает Ягода. — Одни комментарии к письмам чего стоят.

— Бросьте хныкать и беритесь за дело, — давит Ягода, — раньше вы оберегали здоровье Алексея Максимовича, а теперь... После смерти сына духовные силы его надорваны.

— Делайте побольше сквозняков, свежего воздуха, — смеясь, говорит Ягода. — Кстати, у него, кажется, всего одно легкое, да и то не в порядке...

И Крючков действует.

— Я делал все, что мог, чтобы простудить Алексея Максимовича, ослабить его организм: «забывал» закрывать окна, когда он засыпал, увлекал его работой над четвертым томом «Клима Самгина», зная, что чрезмерное утомление для него чрезвычайно вредно. Будучи в Крыму, в целях ослабления и разрушения и без того слабых легких Алексея Максимовича я организовывал вечера на воздухе перед костром. Естественно, что дым от костров очень отрицательно влиял на его легкие, а вечернее пребывание на воздухе при разности температуры от костра и температуры воздуха также отрицательно влияло на здоровье. Уже в Крыму у Алексея Максимовича в силу вышеприведенных моих преступных действий появились частые ознобы и начались жалобы на общее состояние организма...

Ягода между тем торопит. Весной 1936-го звонит из Москвы:

— Уговорите Горького переехать в Москву и по дороге найдите случай выполнить задание.

Склонить Горького к отъезду не удастся, а тут еще Тимоша звонит: у внучек грипп, не торопитесь возвращаться.

Крючков докладывает Ягоде. Тот отмахивается:

— Сообщите Алексею Максимовичу, что ребята совершенно здоровы.

Наконец выезжают. Уже в дороге Горький чувствует себя скверно, а 30 мая, на даче в Горках, заболевает серьезно.

Так говорит Крючков, по протоколу допроса, продолжая и под занавес усердно играть роль, отведенную ему в историческом действе, задуманном в Кремле и успешно инсценированном на Лубянке.

Дальше в показаниях под прицел обвинения ставится лечащий врач Горького — Левин. По словам Крюčkова, в течение нескольких дней он скрывал правильный диагноз, и только когда сам Алексей Максимович 2 июня установил у себя крупозное воспаление легких, врачу пришлось согласиться с ним. И все же он медлит с принятием решительных мер, поручает Крючкову всячески сопротивляться впрыскиванию нужных лекарств, навязывает больному в качестве врача профессора Плетнева, не допуская приезда другого доктора — Сперанского, которому доверяли в доме.

В конце концов Крючков рисует такую картину:

— На консилиуме, состоявшемся незадолго до смерти Алексея Максимовича, Плетнев предлагает влить физиологический раствор. Должен сказать, что он прекрасно знал, что физиологический раствор действует крайне ослабляюще на организм Горького, и все это предложил. Вливание раствора окончательно подорвало здоровье Алексея Максимовича, а вторичное впрыскивание, по совету того же Плетнева, дигалена окончательно разрушило сердечную деятельность, что привело к смерти Алексея Максимовича...

Получается, убили физиологическим раствором и дигаленом — легким сердечным средством из листьев наперстянки.

Такова официальная версия, навязанная Крючкову, придуманная Лубянской и санкционированная Кремлем. Инсценировка многие годы принималась за правду жизни, да и как не поверить, если за ее достоверность персонажи заплатили жизнью!

Но был ведь, был документ, обязательный, точный, который фиксировал течение болезни Горького, до самого конца...

Мы никогда не узнаем правду о смерти Горького, сокрушались горьковеды, история его болезни не сохранилась!

И вот эта документальная хроника последних дней, часов и даже минут писателя — медицинская история болезни, извлеченная из бездонных подвалов Лубянки, — лежит передо мной. Сшитая простыми нитками тетрадка, исписанная чернилами, разными людьми, порой трудноразборчивым почерком, но текст датирован тем временем, писался день за днем по ходу болезни Горького и, значит, непреложно достоверен.

Раскроем же историю болезни Горького, проследим течение его жизни к неизбежному концу и сравним эту подлинную хроника с той официальной версией, которая отпечаталась в показаниях Крюčkова. И сразу же мы на-

ткнемся на явные расхождения. Мы увидим, что правильный диагноз был установлен своевременно, что не раз созывались консилиумы лучших врачей и принимались самые решительные меры для спасения уже безнадежно изношенного и разбитого болезнью организма. Что стоило следствию, если бы оно заботилось об истине, заглянуть в историю болезни? Обязательно было! Видимо, и заглянули, и спрятали потом записи врачей подальше, и продержали в своих запасниках до нынешних дней!

Запись домашнего врача Горького Леонида Григорьевича Левина:

«28 мая. Вчера А. М. возвратился из Крыма в Москву. Дорогу перенес тяжело, без сна, трудно было дышать...» На полях: «грипп».

«1 июня. Грипп, бронхопневмония...»

«2 июня. Грипп, бронхопневмония. Ночь без сна. Консультация с профессором Лурье и доцентом Гинзбургом... Резкие изменения в обоих легких, связанные со старым туберкулезным процессом...»

«4 июня. Консультация с профессором Плетневым. Диагноз — тот же. Положение очень серьезное».

«5 июня. Консультация с доктором, профессором Лангом. Диагноз и терапия те же».

«Ночь на 7 июня прошла относительно спокойно. А. М. спал с частыми перерывами, моментов острого упадка сердечной деятельности в течение ночи не было. Новых очагов в легких нет. Больной несколько бодрее, чем был всегда. Терапия та же». Подписи: Кончаловский, Ланг, Левин.

«8 июня. Общее состояние по-прежнему остается тяжелым. В пятом часу дня положение еще ухудшается...»

Наступил кризис. В этот день ситуация казалась настолько безнадежной, что врачи решили — конец неизбежен. Близкие Горького — Екатерина Павловна Пешкова, Тимоша, Мария Игнатьевна Будберг, Черткова, Ракицкий — пришли к нему для последнего прощания.

Что произошло у постели умирающего, я восстанавливаю дальше по их воспоминаниям.

Горький открыл глаза и сказал:

— Я уже далеко, мне так трудно возвращаться...

И после паузы:

— Я всю жизнь думал, как бы мне изукрасить этот момент...

Вошел Крючков и сообщил, что едет Сталин (видимо, он уже предупредил Сталина о состоянии Горького по телефону).

— Пусть едут... если успеют, — сказал Алексей Максимович.

Черткова, вспомнив, как еще в Сорренто она однажды воскресила Горького, впрыснув ему лошадиную дозу камфары, пошла советоваться к Левину:

— Разрешите мне впрыснуть двадцать кубиков, если все равно положение безнадежно...

Левин махнул рукой:

— Делайте что хотите.

Камфара и впрямь вернула больного к жизни, так что, когда в доме появился Сталин, а с ним Молотов и Ворошилов, они были поражены бодростью Алексея Максимовича — ожидали ведь, что он при смерти.

Сталин вел себя по-хозяйски и сразу стал наводить порядок:

— Почему так много народу? Кто за это отвечает?

— Я отвечаю, — сказал Крючков.

— Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?

— Знаю.

— Кто это сидит рядом с Алексеем Максимовичем, в черном? Монашка, что ли? — Сталин показал на Будберг. — Свечки только в руках не хватает.

Крючков объяснил.

— А эта? — Сталин показал на Черткову, одетую в белый халат.

Крючков объяснил.

— Всех — отсюда вон, кроме этой, в белом, что за ним ухаживает.

В столовой Сталин увидел Ягоду.

— А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было! Ты мне за все отвечаешь головой, — сказал он Крючкову. — Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!..

Горький заговорил о литературе. Но Сталин остановил его:

— О деле поговорим, когда поправитесь, — и спросил, есть ли в доме вино.

Выпили, разумеется, за выздоровление. Уезжая, расцеловались с Алексеем Максимовичем. Он потом сожалел:

— Напрасно целовались. У меня грипп, я могу их заразить...

Горький прожил после этого еще десять дней. Дважды за это время приехал Сталин. В первый раз больному было плохо, и врачи к нему не пустили, второй раз — поговорили минут десять, почему-то о французских крестьянах.

В последние дни, когда к Алексею Максимовичу возвращалось сознание, он пытался как-то зацепиться за жизнь, участвовать в ней, произносил отрывочные фразы.

Показали газету с проектом Конституции, на что он сказал:

— Мы вот тут пустяками занимаемся, а в стране теперь, наверно, камни поют...

Но были и другие слова, простые, мудрые, человеческие:

— Умирать надо весной, когда все зелено и весело.

Или проснулся однажды ночью и говорит Чертковой:

— А знаешь, я сейчас спорил с Господом Богом. Ух как спорили! Хочешь, расскажу?

Не успел рассказать.

История болезни:

«9 июня. Ночь провел плохо, часто просыпаясь. Кислород, камфара... С утра — несколько спутанное сознание, сейчас — ясное. Состояние тяжелое...» Ланг, Плетнев, Кончаловский, Левин.

«13 июня. ...Положение не меняется к лучшему, несмотря на огромное количество введения под кожу и внутримышечно сердечных средств... Пульс временами снижается до 90 и быстро опять учащается. Сознание ясное. Около часу дня выразил желание видеть внучек, что было исполнено. Свидание не ухудшило положения...»

«14 июня. 22 час. 30 мин. Последние часы самочувствие, несмотря на тахикардию, было удовлетворительным. Покушал немного цыпленка и куриные котлеты, несколько яиц, молоко, чай, пил нарзан».

«15 июня. 19 час. Побрился с парикмахером. Кушал бульон, пил молоко, нарзан...»

«16 июня. 12 час. дня. Состояние очень резкой сердечной слабости. За последние два дня усилилось явление большого нервного возбуждения... Много говорит...»

Подписи — прежние, будущих «врачей-отравителей».

17 июня состояние больного резко ухудшилось.

«Около 9 час. утра обморочное состояние. Поднятая рука опускается плетью, ни на что не реагирует, ничего не говорит... Сопорное состояние. После большого количества кофеина, камфары, кардиароба, кислорода... выпил три четверти чашки молока.

После относительно хорошо проведенной ночи сегодня в 6 час. 30 мин. утра внезапно наступило кровохарканье... Одновременно с этим значительное расстройство дыхания, усиление цианоза и помрачение сознания. В 8 час. 30 мин. — короткий обморок. В легких много отечных хрипов...»

Пришла последняя ночь. Началась агония. За окнами гремела гроза, хлестал ливень. Собрались все близкие. Доктора, жившие в эти дни в Горках, сошлись внизу, в кабинете писателя, за круглым столом, хотя уже все было ясно. Поддерживали больного кислородом, за ночь триста мешков, — передавали конвейером, прямо с грузовика, по лестнице, в спальню текла эта струйка жизни.

«18 июня. ...Провел очень тяжелую ночь... Очень возбужденное состояние, непрерывный бред, не пьет ничего, отказывается часто и от кислорода...»

11 час. Глубокое коматозное состояние. Бред почти прекращается, двигательное возбуждение также несколько уменьшается. Клокочущее дыхание.

11 час. 05 мин. Пульс падает, считается с трудом. Коматозное состояние. Не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание.

11 час. 10 мин. Пульс стал быстро исчезать... Пульс не прощупывается... Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет (проба на зеркало). Смерть наступила при явлении паралича сердца и дыхания...»

На обороте этого последнего листка в истории болезни записан клинический диагноз:

- «1. ...Легочный туберкулез, каверны, бронхоэктазия, эмфизема легких, пневмосклероз, плевральное сращение;
2. Атеросклероз аорты и коронарных сосудов сердца, кардиосклероз;
3. Сердечная недостаточность;
4. Бронхопневмония;
5. Инфаркт легких (?);
6. Инфекционная нефрозия».

И подписи — всех четырех врачей: Г. Ланг, М. Кончаловский, Д. Плетнев, Л. Левин.

Почему же на суде и Плетнев и Левин заявили: мы — убийцы Горького? Лишь в наши дни вскрылись документы, объясняющие это, и среди них — заявление Плетнева высшим руководителям страны. Семидесятилетний профессор, считавшийся лучшим врачом России, подает нам голос из прошлого, из Владимирской тюрьмы:

«Весь обвинительный акт против меня — фальсификация. Насилием и обманом у меня вынуждено было «признание»... Когда я не уступал, следователь сказал буквально: «Если высокое руководство полагает, что вы виноваты, то, хотя бы вы были правы на все сто процентов, вы будете все... виновны...»

Ко мне применялись ужасающая ругань, угрозы смертной казнью, таскание за шиворот, удушение за горло, пытки недосыпанием, в течение пяти недель сон по два-три часа в сутки, угрозы вырвать у меня глотку и с ней признание, угрозы избиванием резиновой палкой... Всем этим я был доведен до паралича половины тела... Я коченею от окружающей меня лжи и стужи среди пигмеев и червей, ведущих свою подрывную работу. Покажите, что добиться истины у нас в Союзе так же возможно, как и в других культурных странах... Правда воссияет!..»

Сегодня врачи, лечившие Горького, реабилитированы. Специальная медицинская экспертиза, проведенная недавно, пришла к выводу: диагноз и лечение были правильными, смерть — естественной.

Не хватало для полной ясности истории болезни — теперь вот и она есть. Но сколько же времени потребовалось — ведь более полувека прошло! — чтобы приблизиться к истине, чтобы сорвать паутину лжи с жизни и смерти Горького. Так медленно мы выходим из большевистского обморока, приходим в сознание. А за это время накручиваются новые трагедии, новая ложь. И мы опять не успеваем их осознать и распутать. Такова наша история.

Есть еще один малоизвестный документ о последних днях Максима Горького. Это не лживая стряпня лубянских протоколов и не сухая, хоть и правдивая, регистрация хода болезни. Это собственноручные заметки самого Алексея Максимовича, которые он пытался вести перед смертью. Подложив последнюю из прочитанных им книг — «Наполеона» Тарле, — он фиксировал вспышки гаснущего сознания:

«Вещи тяжелеют: книги, карандаш, стакан, и все кажется меньше, чем было.

...Конца нет ночи, а читать не могу.

...Забылъ дать нож чинить карандаш.

Спал почти два часа. Светает.

Кажется, мне лучше...

Крайне сложное ощущение.

Сопрягаются два процесса:

вялость нервной жизни — как будто клетки нервов гаснут — покрываются пеплом, и все мысли сереют,

в то же время — бурный натиск желания говорить, и это восходит до бреда, чувствую, что говорю бессвязно, хотя фразы еще осмысленны.

Думают — восп. легких, — догадываюсь: должно быть, не выживу.

Не могу читать и спать...»

Последнюю заметку Горький уже продиктовал:

«Конец романа — конец героя — конец автора».

Диагноз поставлен. Ярко и беспощадно точно. Может быть, это самые трагические слова, сказанные в литературе.

Послесмертие

Алексей Максимович завещал похоронить его рядом с сыном на Новодевичьем кладбище. Теперь, узнав, что правительство решило кремировать Горького для Кремлевской стены, Екатерина Павловна позвонила Сталину и попросила, если уж нельзя выполнить последнюю волю покойного, отдать семье хоть горсточку праха для захоронения в могиле сына. Сталин сказал, что решать будет правительство. Ответ передал Ягода: правительство не сочло возможным выполнить просьбу. Даже тело, даже прах Горького отняли у близких!

То же произошло и с архивом.

Уже в день смерти Алексея Максимовича, когда скульптор Меркуров снимал маску с его лица, когда мозг писателя отвозили в ведре в Институт мозга, была утверждена комиссия для приемки литературного наследия и переписки Горького.

На деле владельцем архива стал НКВД.

Есть версия, что органы обнаружили в доме Горького тщательно запрятанные записки и что Ягода, прочитав их, выругался:

— Как волка ни корми, он все в лес смотрит!

Было ли так, бог знает. А вот что нам стало известно.

Уже после ареста Крючков расскажет следователю, что он докладывал о содержимом архива Ягоде, чем тот сильно интересовался, и особенно настойчиво, нет ли там чего-нибудь «о товарищах», то есть о членах Политбюро. Тимоша будто бы говорила ему в 1935-м, что Горький ведет такие записи...

— Не беспокойтесь, будете жить в довольстве, пока жив я, — заверил Крючкова Ягода.

Глава НКВД вообще действовал в горьковском доме бесцеремонно, его личный секретарь Буланов следил за доходами наследников, состоянием текущих счетов, расходом денег. И даже в 1937 году, уже отставленный со своего поста и ставший наркомом связи, Ягода вмешивался в дела горьковской семьи и советовал Тимоше изъять дома Горького из ведения НКВД с тем, чтобы она была полной хозяйкой.

Но вернемся к архиву. Он, конечно, представлял для органов особый интерес. Заняться им подсказывали не раз неутомимые стукачи, продолжавшие свою бессмертную вахту. Агент «Саянов», например, доносил:

«Следует полагать, что в архиве Горького, ныне, как я слышал, опечатанном НКВД, должны быть письма, представляющие огромную ценность политическую. Это не только письма разоблаченных врагов народа, очевидно, уже изъятые НКВД, но многое другое, переписка лиц, которых еще не разоблачили. Было бы большой ошибкой, с моей точки зрения, не изучить все эти материалы. Вообще следует учесть, что враги всячески пробирались в дом Горького... Несомненно, что не все связи этого дома еще ликвидированы. Какое-то количество людей еще собирается вокруг Крючкова, ведающего теперь Музеем Горького.

Надо обратить внимание на некоторые редакции, связанные раньше с Горьким, особенно редакцию «Наши достижения». Арестован ли Вигилянский и другие сотрудники этого журнала, не знаю, но думаю, что арестованы, так как эти люди очень подозрительны политически...»

Так исподволь готовилось массовое избиение горьковского окружения, которое не заставило себя ждать. Когда будет арестован Крючков, то один из информаторов НКВД в доверительной беседе донесет капитану госбезопасности Журбенко, что Крючков скрыл часть архива, а «там могло кое-что быть».

— Ну, что — нападки на Союз писателей? — спросил Журбенко.

— Не только.

— Против партруководства?

— Против некоторых его представителей...

Дом Горького органы чистили как следует, и не один раз. При аресте Крючкова разрезали даже картошку — искали драгоценности.

— И это все, что вы накопили? — с издевкой спрашивали жену Крючкова Елизавету.

Об этой сцене сообщил капитану Журбенко другой сексот — «Алтайский». И услужливо добавил: «Тимошу уже допрашивали...»

То-то в НКВД не знают, кого они допрашивали, кого нет!

Капитан Журбенко между тем собирал материалы и на жену Крючкова, готова арест. Ее очень близкий человек, тоже писатель и тоже сексот, по кличке «Зорин», после каждой встречи с ней подробнейшим образом докладывает обо всем, о чем бы они ни поговорили, даже о том, что Крючкова доверяла ему в минуты отчаянья:

— Я стою перед бездной, я никому не верю. У меня есть только вы и Петька, сын. Если бы у меня не было Петьки и вас, я бы застрелилась... Еще и год не прошел после смерти Алексея Максимовича, а уже оскорбляют его память преследованием близких ему друзей.

— А что вы думаете, каковы причины отставки Ягоды?

— Ягода всегда ссорился с Ежовым. Но это не главное. А дело в том, что Ягода в свое время принял аппарат НКВД таким, каким он был еще при Дзержинском. Работая по старым традициям, аппарат перестал удовлетворять современным требованиям государственности. Так что Ягода — жертва общей перемены государственного курса...

Через несколько дней Елизавета Крючкова будет арестована как сообщница Ягоды. На суде она заявит, что никакой политической связи с ним не имела. Ягода пытался сделать ее своей любовницей...

В тот же день она будет расстреляна.

Перед крайней чертой, накануне неизбежной смерти, многие еще раз мысленно проживали свою жизнь — и обретали другое зрение. Выйдя из позы партийного бойца и сбросив пропагандистские доспехи, Авербах размышлял в последних записках:

«Могла ли моя жизнь сложиться иначе? Конечно да. Это чушь о мистической социальной закономерности, о родовой наследственности среды. Вероятно, все в тюрьме, оглядываясь на прожитое, мысленно создают себе другую жизнь...»

Увы, другой жизни нам не дано.

Даже Ягода, став узником своей родной Лубянки, начал очеловечиваться. Говорят, он не мог ни спать, ни есть, а только бегал по камере из угла в угол. И вдруг воскликнул:

— А Бог все-таки существует!

— Что такое? — не понял бывший при этом сотрудник НКВД.

— Очень просто, — объяснил Ягода. — От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу. От Бога я должен был заслужить самую суровую кару — тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет...

В финале горьковской пьесы «Сомов и другие» агенты ГПУ арестовывают почти всех действующих лиц. Конец пьесы «Горький и другие» такой же. Не многие из людей, попадавших в роковой горьковский круг, умерли естественной смертью. Партийцы, чекисты, писатели-стукачи и просто писатели — одни расстреляны, другие потеряли здоровье в тюрьмах и лагерях, третьи доведены до самоубийства.

Больше повезет женщинам. Липа Черткова доживет почти до конца сталинской эпохи, Екатерина Павловна Пешкова — до хрущевской оттепели, Тимоша — до брежневского застоя. Всех их переживет Мария Будберг — на то она и «железная»...

Марфа и Дарья Пешковы, слава богу, живы до сих пор, свидетели горбачевской перестройки и ельцинской постперестройки. Внушки Максима Горького стали бабушками, правнуки — взрослые люди, а для праправнуков, которые подрастают, советская власть — это уже прошлое.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



ТЕНЬ «АМАРКОРДА»

«Если бы падающий вниз камень мог думать, то он думал бы, что падает по собственной воле»... Почему падающий камень подумал бы, что он падает по собственной воле? Где и когда такое случилось? Наоборот, нам известны обстоятельства, при которых свободные гении воображали себя инертными исполнителями чужой, объективной, воли. А падшие ангелы сплошь и рядом ссылаются на условия и среду, их якобы заевшие.

В. С. Яновский, «Поля Елисейские».

Мне нравятся книги с эффектными заглавиями. Хотя я много раз обжигался и даже вывел некий «закон», по которому чем шикарнее название, тем хуже содержание, — нравятся и по сей день.

Передо мною две повести: «Блок-ада. Праздничная повесть» Михаила Кураева («Знамя», 1994, № 7) и «Свободное падение» (главы из книги «Плач по красной суке») Инги Петкевич («Новый мир», 1994, № 6). Я понимаю, что оксюморон в заглавии у Кураева то ли слишком кощунствен, то ли чересчур соцреалистичен («оптимистическая трагедия», подарок ко дню памяти о снятии блокады), а название повести Петкевич только выиграло бы, если бы вместо существительного был поставлен глагол (не длинный, растяжный, какой-то этнографический «плач», а короткий, хлесткий приказ-выкрик: «Плачь по красной суке!»). Но несмотря на эти претензии к заглавиям (эффектным и броским), несмотря на выведенный мной же «закон», я прочел обе повести — и поразился. Передо мною были два полюса современной литературы, две крайние точки литературного осмысления нашего недавнего прошлого и настоящего. Оттого что политические симпатии и антипатии обоих писателей в общем-то одинаковы («антисоветчики», «антикоммунисты»); оттого, что и Инга Петкевич, и Михаил Кураев избрали один и тот же жанр — воспоминания, документальная повесть, где документ один — память, моя или моих близких; оттого, наконец, что главное место действия повестей одно и то же — Ленинград, — *разнополюсность* этих книг бросается в глаза. О том же самом, но по-разному, и принципиально, несовместимо по-разному.

Когда-то я полагал, что вся русская литература XX века втиснута между гармоничным, умелым мастером Набоковым и дисгармоничным, умелым «ломастером» (гениальным неумехой) Платоновым. Теперь я думаю, что точки отсчета, литературные оси координат могут быть и другими. Например, благородная ярость Солженицына и джентльменская ирония все того же Набокова...

Итак, меня поразили «противосовпадения» прочитанных мною повестей. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.

Оба писателя одной из центральных метафор, одним из центральных символов своей книги делают «падение». Падение у Петкевич, во-первых, вполне метафорическое, во-вторых, состоявшееся, осуществившееся; падение — это символ жизни героев ее повести... «С этого времени началась история моего затяжного свободного падения. Долгие годы, как в ночном кошмаре, я падала в бездонный колодец, где из мрака холодно и жутко наблюдали за моим падением дикие монстры. И никто никогда не только не помог мне, но даже не посочувствовал... Конечно, порой

мне встречались и хорошие люди, но все они были до того измотаны, что сами с трудом держались на ногах».

У Кураева падение тоже становится знаком жизни героев его повести. Только это недосостоявшееся, прерванное и к тому же реальное падение, которое лишь в конце текста превращается в метафору, в символ (как в финале загадки — отгадка). Попросту Михаил Кураев рассказывает о том, как его двоюродный брат Анатолий, подросток, работавший во время блокады кровельщиком, чуть было не упал с крыши. «Загорать братец любил у конька крыши, а по команде „Кончай шабашить!”, отдавая дань игре молодых сил, лихо съезжал на задку вниз, чтобы в конце пути упереться пятками в водосточный желоб, выставленный вдоль края крыши... Анатолий ради сомнительного детского удовольствия скользнул вниз, однако едва ноги коснулись желоба в конце пути, как ржавая жесь рассыпалась от удара, и братец заскользил дальше вниз... Зацепившись уж неведомо чем за остатки крепления рухнувшего желоба, братишка со свесившимися вниз ногами замер на краю крыши... Он лежал на спине, дико уставившись в пустое небо, на котором недосыгаемо высоко стояли бесполезные полупрозрачные облака... Если вам случалось бывать в подобных положениях, то вы, вероятно, помните в высшей степени неожиданное ощущение, страх не оттого, что полетите вниз, а вот так, оторвавшись спиной от крыши, рухнете в бездонное небо... Сколько он так беззвучным провисел над одним из лучших проспектов города, сказать трудно, но коллеги в конце концов заинтересовались его положением и, тихо матерясь... ползком двинулись в спасательную экспедицию... Высотник... из Анатолия не получился, и на пенсию он ушел по инвалидности... конструктором приборов стабилизации космических систем в полете. Если кто-нибудь удивлялся обилию авторских свидетельств и патентов на изобретения, он с легкостью объяснял: „Представь себя на месте падающего тела... Так что все вот это... только для одного, чтобы падение превратить в полет”».

Один и тот же образ у двух писателей используется по-разному.

У Петкевич — одномерный, без «двусмысленностей» символ: восемнадцатилетнюю девочку начинают тягать в Большой дом. Это только один из эпизодов ее мытарств — падения в бездонный колодец. Если падение, то падение вниз, в мрак; если кто и наблюдает падение, то это или монстры — со злорадством, или хорошие люди — в бессилии. Совсем не то у Кураева. Реальный эпизод — парнишка чуть не сверзился с крыши — сначала дополняется фантастикой (упасть с Земли в небо, упасть с низу в верх, не в мрак узкого колодца, а в распахнутое широкое небо), чтобы потом обрести многомерность, многозначность — «все... это... для одного, чтобы падение превратить в полет».

У Инги Петкевич падение — оно и есть падение, ничему хорошему оно научить не может.

У Михаила Кураева падение может превратиться в полет, и страх высоты может помочь в конструировании «приборов стабилизации космических систем в полете».

Дух тяжести и дух легкости, непримиримость и компромисс, — кажется, это может быть отнесено и ко всей русской литературе. «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя» — афоризм верен только по отношению к части российских писателей. «Железные забияки» — именовал этих наследников односторонне понятого Гоголя Владимир Набоков. Надо отдать им должное, при всей своей односторонности они поняли что-то очень важное и в самом Гоголе, и в российской жизни, раз спустя десятилетия враг и ненавистник «обличителей», разночинцев записывал, как бы соглашаясь с ними: «Прав этот бес Гоголь!»

Была и другая линия русской литературы, в силу разных причин сдвинутая на обочину, во второй эшелон, во второй ряд.

Добродушнейший Генслер, например, совсем иначе, чем Гоголь, описывал петербургских департаментских чиновников, канцелярских крыс: «С открытием навигации на Неве открывается навигация и у гаваньских жителей. Они садятся в челны, соймы и барочные лодки и отправляются на ловлю щепы и поленьев на взморье... Гаваньцы столько же боятся воды, как семга, которую они закусывают, когда она очень дешева... Когда дроволовы-гаваньцы завидят <пустую>, плывущую на взморье лодку, плот или даже целую барку, вот тогда полюбовались бы вы на них! Ни один из лучших английских крейсеров не показывал столько соображе-

ний, ловя контрабанду, какое видно тогда в этих мирных жителях, сидящих в другом случае с перышком за ухом на жестком департаментском стуле» (Генслер И. Гаваньские чиновники в домашнем быту, или Галерная Гавань во всякое время дня и года. СПб. 1860, стр. 64 — 66). Анекдотичность, чудная не-типичность и не-обычность — все это было во «втором эшелоне», в литературе, приближающейся к бульварщине, к чтиву. Серьезной литературе, напротив, был предписан дух давящей типичности, обычности, обыденности, подобной кошмару, от коего не проснуться. О «праздничности», об оксюморонах в этой литературе говорить не приходится. Инга Петкевич, пожалуй, изумится, если ей скажут, что и она, и Астафьев, и Солженицын — принадлежат к этой именно, революционно-разночинской литературе. Разночинцы не зря разохлые топтали сапоги. Их дело не пропало (напомню наблюдение Игоря Дедкова о близости поздней прозы Виктора Астафьева разночинским обличениям свинцовых мерзостей царской России, о чуть ли не дословных совпадениях с «Очерками бурсы» Помяловского и воспоминаниями А. К. Воронского). Такие же совпадения с литературой революции, с ее «железным забиячеством» и одновременно истерическим отчаянным обреченным бунтом маленького человека есть и у Инги Петкевич: «...я возненавидела этот мертворожденный город, этот музей-застенок, эту дьявольскую колыбель безумной ненависти Евгения из «Медного всадника»... Я брела по набережной, а слева во мгле маячил зловещий призрак дьявольского крейсера. «Чтоб тебя... чтоб тебя... чтоб!» — как заклинание, твердила я, преимущественно матом». Сравните: «Мгновенное безумие бредовой мечты бронзового строителя — и волей бреда на топях черных болот, на торфяной зыби, приюте болотных чертей, сами собой встали граниты, обрубились кубами, громоздась в громады стройных домов по линиям ровных проспектов, по каналам, Мойкам, Фонтанкам. Дворцы и казармы, казармы и дворцы. По ранжиру, под медный окрик сержанта Питера, в ряды, в шеренги, в роты по кровавой дыбашей воле, построились, задышали желтым отравленным дымом, населились людскими прозрачными призраками, зажглись призраками не сущих огней» (Б. Лавренев, «Ветер»).

Это позднее советские писатели безоговорочно приняли сторону «Петра-державостроителя»; поначалу столь же безоговорочным было приятие безумного обреченного бунта Евгения, Акакия Акакиевича — маленьких человечков. И сам выстрел «дьявольского крейсера» становился в этом контексте жестом отчаявшегося полусумасшедшего бедняка. Диалектику подобного превращения, смену, так сказать, вех, очень неплохо растолковал один из героев повести Петкевич, чекист, славный чекист 40 — 50-х: «Он договаривался до того, что жиды повернули революцию не в ту сторону, создали лагеря и развалили народное хозяйство. Советскую власть он не трогал, потому что считал, что, если бы не евреи, они бы при помощи своей партии возродили Империю». Здесь любопытнейший парадокс не литературного только, но и общественного развития. Ганзелка и Зикмунд придумали такую метафору для обозначения ситуации в послереволюционной России: Советский Союз напоминает им машину, у которой педаль газа и тормоза — одна и та же. Чекист, воображающий себя защитником революции, на самом деле — великодержавный черносотенец, жандарм; изнасилованная им женщина, считающая себя ненавистницей революции, на самом деле заряжена или заражена (как угодно) революционным темпераментом. Она и сама это чувствует (не знаю, понимает ли), даже точно формулирует «комплекс революционера», «комплекс железного забияки»: на фотографии отец «отрешенно глядел поверх объектива, но его надменное, мятежное и спесивое лицо поражало своей социальной уязвимостью и обреченностью». «И я поняла, какие именно качества моего характера я получила от него в наследство, а не приобрела на моем тернистом жизненном пути. Это была спесь, гордичество, правдолюбие, непримиримость... и обреченность».

Обреченность и социальная уязвимость, пожалуй, самые важные качества в этом списке добродетелей-пороков. Ибо Инга Петкевич воспроизводит основную смыслообразующую идею революционной разночинской литературы (если не революционной идеологии вообще). Это — мысль о решающем, о непреодолимом влиянии среды на человека. Измените среду — и квартирный хулиган, мелкий ворышка и алкоголик делается героем войны, лихим разведчиком или рачительным домовитым хозяином. Все зависит от окружающей обстановки: «За какой-нибудь год из подтянутой и энергичной девицы я обратилась в тихую, слабоумную идиот-

ку, заторможенную дебилку и кретинку. Все мои с таким трудом приобретенные добродетели таяли на глазах, все валилось из рук, мысли путались — пассивное, тупое отчаянье парализовало меня». Человек в повести Инги Петкевич — вовсе не «мыслящий тростник», он — «страдающая глина», из которой силой обстоятельств и волей других людей вылепливается нечто отвратительное, чуждое «глине». В противоположность заносчивому афоризму: «Человек есть то, что он сам из себя делает», — Петкевич полагает, что человек есть то, что из него делают другие, и это доставляет ему — боль... А если и дальше вспоминать афоризмы, то для повести подходит слегка переделанное изречение Спинозы: «Если бы падающий вниз камень мог думать, он очень скоро понял бы, что летит вниз не по собственной воле, и страдал бы от этого». Между социальной функцией человека и его природой есть некий зазор, позволяющий некоторым людям страдать от того, что с ними сделали, а некоторым понимать, отчего они страдают: «В прихожей у меня стояло трюмо. Оно отражало наши безумные лица — жалкое зрелище полного банкротства человеческой души, ее падения, опустошения...» «„Полюбуйся, на что мы похожи. Неужели ради этого мы родились на свет? А ведь от природы мы красивые, здоровые люди...” — сказала я». (В одном из рассказов Шукшина есть удивительное описание такого «зазора» между человеком сделанным и человеком, из которого сделали: «Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза его оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку — безнадежно-грустно».)

Итак, вся повесть Инги Петкевич посвящена тому, как из человека «делают» нечто враждебное и отвратительное человеку же, как навязывают скверную, чуждую, чужую для него роль. Ощущения «падения», зависания в пустоте или замирания в низу живота от провала в бездну нет... Это не «свободное падение», а насильственное втискивание, пригнетание к земле и даже ниже, чем к земле. Недаром пространственный образ повести — коридоры, коммунальные кухни, кабинеты для допросов. В этом затхлом мире из человека могут сделать все, что угодно: «...те, кому удавалось вырваться из зловещих стен, вряд ли чувствовали особый подъем и радость освобождения... ни одна форма жизни уже не могла доставить им никакого удовольствия, потому что там их будто кастрировали, удалив все органы восприятия жизни, все человеческое...» С главной героиней повести (alter ego автора, надо полагать) и делают «все, что угодно», вопреки ее сопротивлению, ее боли и страданию. Сначала из «грязного, вшивого, злобного, полуглухого, большого заморыша», чудом уцелевшего в концлагере, немецкая женщина делает подтянутую, энергичную, работающую европейскую девицу («Мне не нужна глухая неграмотная рабыня, — говорила она. — Я должна сделать из тебя человека, и я его сделаю. Из упрямого и ленивого грязного дворового щенка я сделаю человека, и ты будешь благодарить меня всю жизнь». «...Господи, до чего же в первое время я ненавидела и боялась ее. Она казалась мне злой тиранкой, которой доставляет удовольствие мучить меня и дрессировать»). Потом, на родине, в коммунальной ленинградской квартире, из «подтянутой и энергичной девицы» делают «заторможенную дебилку»: «...я уже не могла соответствовать образу жизни моих соплеменников... немцы совратили, искалечили и подменили меня, научили трезвости, трудолюбию, чистоплотности, сдержанности, честности. Но все эти тяжким трудом приобретенные в Германии добродетели здесь автоматически обращались в пороки». «Воспитывать они не умели никогда, а лишь перевоспитывать». И наконец «маленький облезлый лисенок» становится женщиной, да какой! «Красной сухой», любовницей чекиста... «В новом качестве, придетую и раскрашенную, меня не стыдно было показать друзьям и коллегам, можно было взять с собой в ресторан, на банкет, на званый ужин, где я неизменно пользовалась успехом. Моя ненависть придавала мне значительность и какой-то шарм — меня считали таинственной особой, и многие его друзья ко мне клеились. Но я держалась своего негодяя и только раз для страховки переспала с его начальником — он мог пригодиться».

Это обвал превращений, это насильническое делание из человека того, кем он не хочет быть, но уже не может не быть, сконцентрированы, сгущены в одной из самых страшных, унижительных сцен повести: «...тут машина вырвалась на набережную, и передо мной возник призрак зловещего крейсера, я по привычке матюгнулась, а мой любезный, мгновенно угадав адресат, слегка съездил меня по

физиономии... я вцепилась ему в глотку... Он... не только легко скрутил меня в бараний рог, но для пущей важности еще изнасиловал тут же в машине, после чего вытряхнул из нее под зад коленкой. На прощанье мне, правда, удалось плюнуть ему в рожу. Так начался этот производственный роман с идеологической подоплекой. Так он протекал на всем своем протяжении. Нас ничего не связывало, кроме слепой животной ненависти... акт величайшей человеческой близости и доверия у нас превратился в акт животной ненависти и вражды... Однако именно он пробудил во мне женщину, и я ненавидела себя в первую очередь за эту биологическую зависимость». Подобная ситуация была использована в фильме «Ночной портье». Но фильм есть фильм, а не автобиографическая проза, не рассказ о пережитом. Последнее страшней.

Ненависть — вот воздух повести И. Петкевич. «Черная злоба, святая злоба» — назвал это чувство Александр Блок. Инга Петкевич находит иные, но тоже весьма действенные, весьма яркие определения. Она пишет о своем соседе по коммуналке и, кажется, не замечает, насколько точно характеризует не только его, но и атмосферу самой своей повести: «Тогда впервые я постигла всю меру его ярости, и злоба эта ужаснула меня, но в то же время почему-то восхитила... он ненавидел все вокруг... ненавистью здоровой, лютой и бодрящей, как крепкий морозец».

Ненависть, здоровая, лютая и бодрящая, — а как еще относиться к миру, к окружающей среде, рождающей человека, насилующей его?.. В какой-то момент пугаешься, когда понимаешь, что с удовольствием, со злой радостью читаешь, например, такое описание: «Мой бандюга... погиб, как скорпион, который порой обращает свое смертоносное жало против себя... В канун 40-й годовщины нашей революции, когда все мы чуть не захлебнулись в ликовании и водке, он сгорел в собственной постели от сигареты». Но ведь это не паук, не скорпион, а то же человек... Если же я его приравняю к пауку, к скорпиону, к гаду, которого раздавить — вся недолга, то чем я тогда буду отличаться от него? Чем мои взгляды, моя идеология будут отличаться от его фашистских взглядов, от его человеконенавистнической идеологии?

Душная, исполненная духа тяжести повесть Инги Петкевич порой проваливается на наивное «нищестанство»: «Надо сказать, мне даже нравилось проводить время в их обществе, нравилось находиться в окружении здоровых, красивых, спокойных и уверенных в себе молодых людей. Среди всех слоев нашего общества они больше всех походили на мужчин или, скорей, на сытых хищных зверей... Инстинкт убийцы в крови у мужиков, он завещан им многими поколениями воинов, и поэтому глупо требовать от них кротости, смирения и гуманности». Закономерно, что эта тяга к «сильным хищникам», это восхищение суровыми добродетелями Спарты, «школы мужества, чистности, выносливости и справедливости», возникают у поруганной, закомплексованной, слабой женщины.

Здоровый, сильный мужчина, умелый писатель, владеющий собой и своим текстом, так объяснил свое отношение к войне и милитаризму: «...к жестокости войны я был довольно равнодушен; я допускал даже, что можно находить известную прелесть в меткости выстрела, в опасности разведки, в тонкости маневра; но этими маленькими удовольствиями (к тому же лучше представленными в других специальных областях спорта, как-то: охота на тигра, игра в крестики, профессиональный бокс) ничуть не искупался оттенок мрачного идиотизма, присущий всякой войне» (В. Набоков, «Дар»).

Столь же «мрачный» и вполне материалистический вывод о том, что человек лишь то, что из него делают другие, дополняется, утяжеляется — закономерными и естественными в контексте повести Петкевич — рассуждениями о крови: «Инстинкт убийцы в крови у мужиков», «Ну, почему, почему ты русская? — Да по крови», «Между нами возник тот странный контакт, который бывает только между родственниками, то есть людьми одной крови, кровными людьми. В таких контактах есть особая близость...». В такого рода словах есть что-то пещерное, что-то доисторическое, биологическое, напрочь отбрасывающее все многовековые потуги человечества стать единым и братским. Человек сам по себе — ничто; из него делают все, что угодно, — среда, другие люди, кровь... Человеку остается только одно — крохотный зазор, в который он может увидеть, в какой скверной песне какую гнусную роль ему приходится играть.

В этом зоре, в этом крохотном несоответствии между тем, что ты есть, и тем, что из тебя сделали другие, содержится маленькая надежда, даже не глоток свободы, а капля свободы. Такая свобода может быть реализована только борьбой, только преодолением: «С опытом, которым он наградил меня, жить было почти невозможно. Он заразил меня отвращением почти ко всем формам жизни. С таким опытом не живут, а борются с жизнью. И я стала бороться».

Дух придавленности, несвободы, борьбы и ненависти отсутствует в повести Михаила Кураева, хотя по части ужасов — ужасов, ставших бытом, — Кураев нимало не уступает мрачному «Свободному падению». «Одноглазый рабочий поспешил бросить: «Пойду подкопаю», — и двинулся прямо по мертвецам в сторону пустынного пространства... <Он> закидывал могилу комьями смерзшейся земли, не очень заботясь о том, чтобы они легли плотно. Он то и дело останавливался, передыхал и смотрел на Анатолия своим одиноким глазом и думал о чем-то, скорее всего к Анатолию относящемся. Голубоватый глаз смотрел на скукожившегося на морозе отрока, ждавшего, когда же вся эта пытка кончится и можно будет двинуться домой, а до дома еще идти и идти. Говорили, что голубоватый и прозрачный взгляд был у тех, кто, как тогда говорили, ел, ел то, что человеку как бы есть и не полагается»... Или: «С Борей еще ничего, его мама положила между рамами, и он мог лежать хоть до весны, так люди делали, а вот бабушку надо было хоронить. И хоронила ее как раз Тачка, притащившаяся с проспекта Красных Командиров со своим двенадцатилетним сыном Анатолием. ...Мертвая бабушка и синий Борька, величиной чуть больше батона, вовсе не вызывали страха».

Довольно гиньольных сцен. Михаил Кураев вовсе не закрывает глаза при виде страшного, трагического. Но здесь же — важное различие с миром повести Инги Петкевич. В этом ее мире кто бы ни погибал, ни спивался, ни садился в лагерь — их не жалко, ибо это не люди, это — искалеченные жизнью — остатки, обломки людей, которые превратились в волчат, ящеров, гадов, здоровых хищников, скорпионов: «Это был совершенно опустившийся, спившийся бродяга-попрошайка неопределенного возраста. Я долго отказывалась признать в нем Колю. Он на чисто потерял человеческий облик и полностью забыл Германию... Вскоре он снова сел за бродяжничество, и я вздохнула с облегчением» (разрядка моя. — Н. Е.). Иное дело у Кураева. У него в повести всяческие беды и несчастья происходят с людьми — такими же, как и мы с вами. «Мама в этот день всегда вспоминала какого-то мальчика, лет четырех-пяти, которого встретила декабрьским вечером сорок первого года, медленно бредущего по занесенному снегом Малому проспекту. «Куда он шел? Откуда? Чей? Глаза открыты, вот так вот, а идет, будто слепой старичок... У меня же вас трое, мама лежит, ну, куда, куда я...» Мама всякий раз начинала плакать, словно оправдываясь за свою вину перед этим прохожим». Бердяев когда-то писал, что люди делятся на исповедующих религию вины и культивирующих в себе чувство обиды. Кажется, это верно. Я не скажу, что одно хуже другого. Порою осмеливаться судить порядочнее, чем отказываться от какого бы то ни было суда, прикрываясь евангельским: не судите, да не судимы будете. Но «обида» и «вина» заставляют по-разному глядеть на мир. Разное зрение, разный подход, разные литературы.

Ленинград у Инги Петкевич: «мертворожденный город», «музей-застенки», «дьявольская колыбель». «Блокада могла случиться только с ленинградцами. Потому что ни один народ, кроме ленинградцев, просто не стал бы ее переживать. Люди, которые по полгода, а то и больше, совсем не видят солнца, всегда готовы к блокаде... Холодно, строго и расчетливо работает их организм, здесь нет места особым страстям и прочим излишества... Вы не увидите здесь радостно хохочущей женщины, если, конечно, она не пьяна или же не в истерике».

Тот же город у Михаила Кураева: «Ленинград — произведение художественное, и потому он так полно и звучно отозвался в... артистической душе, свободной от провинциальной скудости следования хорошим манерам, сведения о которых почерпнуты из журналов «Работница» и «Огонек»... Зная маминых сестер и их ленинградских подруг, надо сказать, что и она и они принадлежали к тем типичнейшим и благородным лицам, обязанным своей культурой, вкусом и нравом не столько происхождению и даже не образованию, тем более не капиталу, но лишь самому городу, где Русский музей, Александринский театр, Оперная студия кон-

серватории, Эрмитаж, Мариинка, Филармония были и школой, и университетом, и академией».

Соседи по коммунальной квартире в повести Петкевич: «Тетка Липка, Олимпиада Гавриловна, потомственная портниха, была горячей общественницей, то есть злостной склочницей, сплетницей и провокатором... Это шустрое, нелепое остроносое существо, нищее и слабоумное, с нелепой претензией на интеллект, почитало себя потомственной ленинградкой. Электросчетчик был ее роковой страстью, и часто можно было видеть в полутемном коридоре призрачную тень, которая, поднявшись на цыпочки, замороженно следила за мельканием цифр в крохотном оконце или ласково стирала с него пыль чистой тряпочкой... В конце концов эта страсть погубила тетку Липку — в одной электробаталии ей проломили череп. Главными врагами тетки Липки было семейство Корноуховых: мать — дебелая телка с целым выводком поджарых кусачих волчат, возрастом от трех до двенадцати лет». Соседи по коммуналке, описанные Кураевым: «Стук в дверь. «Оленька, Анечка, представьте себе, я нашла чай. Провожу инспекцию в кухонном столе, думаю, что за бумажка, а это, оказывается, цибики, я о нем совершенно забыла!» Это Прасковья Валерианна, соседка, милая, недалекого ума старуха. За шестьдесят два года жизни не поняла простой вещи, понятной любому цивилизованному человеку: счастья на всех не напасешься и надо уметь быть счастливым в одиночку».

Инга Петкевич столь же мало «чернит» действительность, как и Михаил Кураев ее «лакирует». Окружающая среда в равной степени ужасна и у Петкевич, и у Кураева. Разнятся традиции описания этой действительности. Разночинско-революционная у Петкевич: «Так жить нельзя!» — и — оппортунистическая? ироническая? — у Кураева: «Раз так приходится жить, то надо жить, и жить по-человечески!» Нет, ненависти к сильным мира сего Кураеву не занимать, и проявления этой ненависти, пожалуй, еще и сильнее, и убийственнее, потому что там, где Петкевич видит адскую дьявольскую силу, достойную проклятия и заклятия, Кураев описывает просто перетрусивших людей, заслуживающих насмешки и презрения: «Надо отдать должное последовательности властей и официальных органов, озабоченных тем, чтобы не бросить тень на портрет героических руководителей блокады никому не нужной и мало кому интересной статистикой смертей от голода. Недаром же Андрей Александрович Жданов в своем историческом телефонном разговоре с Иосифом Виссарионовичем Сталиным первого декабря сорок первого года то ли из страха перед великим вождем, которого боялся, естественно, больше, чем немцев, то ли просто по подлости души, но правды о положении в городе так и не сказал, хотя голод уже пошел косить ленинградцев... Все виды дистрофии были представлены у нас в энциклопедической полноте и разнообразии, и даже сам Андрей Александрович, хотя и не выполнил рекомендацию врачей и не похудел во время блокады, может быть предъявлен медицинской науке как классический экспонат... дистрофии совести».

Но всевластная среда, неодолимая сила вещей, мерзость окружающего мира у Кураева оказывается обжитой, преодоленной. Здесь человек не то, что из него делают другие, а то, что он сам из себя делает: «Матушка моя, не посвящая свой век взращиванию и обслуживанию своего эгоизма, во всей полноте душевных способностей развилась в личность притягательную, сумевшую сохранить достоинство и ясное представление о порядочности в ту пору, когда самое понятие «порядочность» уже не включалось в «Словарь по этике». Пакостные обстоятельства доставшейся ей жизни, вынуждавшие после Единой трудовой школы зарабатывать еще и трудовой стаж на разгрузке барок с дровами, провожать родителей в ссылку, переживать аресты родных, страх за детей, за мужа, за себя, в конце концов, не убили в ней способности радоваться, и, кажется, она упустила в жизни не так уж много мгновений многоликого, хотя и краткого счастья...», «Разве бытие не определяет сознание? Ну, конечно, определяет, однако, как показывает бесценный опыт индивидуальной жизни, начиная с какого-то уровня нравственного сознания уже *само сознание* начинает определять бытие, и здесь можно говорить о независимости духа... «Субстанция» интеллигентности это и есть нравственное сознание, независимое от родовитости и безродности, от выручки в лавке, от котировки ваучера, больного зуба, прихоти тирана, прокуратора, самодержца, генсека и президента, независимое даже от количества снарядов, выпущенных по тебе сегодня».

Такая в полной мере «идеалистическая» точка зрения, как ни странно, не только не мешает, но, наоборот, помогает Кураеву острее вглядываться в мир. Его повесть полна деталей, частности — мелочей эксцентрических, оксюморонных, страшных и смешных одновременно: «...объявление, написанное на тетрадном листе крупным детским почерком и прикрепленное у входа в гастроном на углу Девятой и Среднего: «Перевожу на саночках ихних покойников и другие бытовые перевозки». Ясно было, что первую часть объявления предприимчивый юный извозчик сочинил сам, а вторую скорее всего сдул откуда-нибудь из старой «Вечерки», прежде чем сунуть ее в печку или обмотать для тепла ноги». Или: «Анатолий в обеденный перерыв с пустым животом загорал на крыше, наблюдая, как самолет таскает за собой на тросе «колбасу», а девчата-зенитчицы бабахают по этой «колбасе» для тренировки и обучения... Он слышал ровное, с переливами при разворотах, гудение... переживал за судьбу летчика, которого мазила могли запросто сбить».

Мир Инги Петкевич замкнут, описан просто и четко, как комната.

Кураев описывает, как правило, освещенный солнцем пестро-противоречивый мир: «Я запомнил этот день, потому что он был ясным, солнечным, и голубой автобус на сверкающем слепящем снегу был роскошен. Народ кругом был крайне возбужден, взвинчен, зол, все боялись налета и проклинали солнце. Именно в такую погоду немецкие летчики, заходя на цель со стороны солнца, делаясь почти невидимыми зенитчикам, с особой легкостью отправляли под лед (Ладоги. — *Н. Е.*) все, что по льду ползло и двигалось».

Пристальное внимание к мелочам страшного быта, эксцентричность и удивляющая поэтичность в явно антипоэтической обстановке (душа жива — жив человек!), видимо, почитаются Кураевым смыслообразующими свойствами любого искусства. Как Петкевич находит точные слова для характеристики своего искусства, своей прозы — «ненависть, лютая... бодрящая, как крепкий морозец», так и Кураев с той же точностью и вызывающей образностью описывает атмосферу и задачу своего искусства, своей прозы: «Анатолий, ни слова не говоря и не слушая участливый щебет, принес из кладовки старый раздолбанный башмак сорок третьего размера, постелил на стол газету, поставил башмак на газету и нарисовал, да так, что видны были не только царапины и облупившаяся краска вокруг дырочек для шнурков, но был виден и нрав башмака, отчасти сродни дедовскому, то есть нрав существа вполне самоуверенного и склонного к шегольству» (разрядка моя. — *Н. Е.*).

Эксцентрика для Кураева — странное, искаженное проявление свободы, внезапное нарушение «правил игры», нечто незаконное, но теплое, человеческое, едва ли не праздничное, опасно-праздничное: «Как и полагается, Анатолий ходил на крышу своего знаменитого дома «Помещика» на дежурство, гасил зажигалки, а какую-то неразорвавшуюся бомбу, не очень большую, пока мать уходила рожать Нину, принес домой. Бомба мирно жила у него под кроватью. Мать была предупреждена, чтобы даже во время мытья полов бомбу не трогала. Ребята в классе, а Боря Беккер и сегодня может это подтвердить, не очень-то верили рассказам о бомбе под кроватью. Пришлось на спор принести бомбу в школу, а для доказательства того, что это не муляж, сбросить ее из окна во двор во время перемены. Бомба разорвалась и запыхала так яростно, что тут же прозвучал сигнал воздушной тревоги на ближайшем посту, а вскоре примчалась и пожарная машина... Слезы матери и непростительная мягкотелость школьного начальства и местного поста ПВХО не позволили применить к Анатолию закон во всей его строгости, но из школы он, конечно, вылетел пулей».

Необычность, неожиданность появляются и в повести Петкевич, но для того только, чтобы подчеркнуть давящую несвободу окружающего мира, замкнутый, захлопнутый кошмар, бред, из которого не вырваться: «...поутру она вдруг вспомнила о коллекции. Отчим любил собирать большие противотанковые снаряды с цветными боеголовками. Ему дарили снаряды на военных заводах, где он выступал. Разумеется, они были полностью безопасны в быту, но сажали порой и за меньшее... И вот слабая, большая женщина... набивает этими снарядами сумку и, полумертвая от страха, пронесит эту сумку через проходную — дом был ведомственный и охранялся. Целый день до самого вечера она таскается с тяжелой сумкой по улицам любимого города... Все-таки один снаряд ей удастся утопить. Ей кажется, что за

ней следят. Из каждого окна, из каждой машины на нее глазают люди... Поздним вечером полумертвую от усталости ноги сами приводят ее обратно к проклятому дому. И тут в забытьи и изнеможенья она высыпает снаряды под куст в скверике как раз против собственной проходной...» (разрядка моя. — *Н. Е.*). Сознаательно или нет, но в последнем предложении Петкевич цитирует одно из самых мрачных стихотворений Тютчева, чей «сюжет» (возвращение на нелюбимую родину) поразительно сходен с настроением «Плача по красной суке»:

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то *забытьи изнеможенья*
Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера.

Эта смазанность, нечеткость страшного сна, кошмара присуща прозе Петкевич, как и четкость, детализированность мира присущи прозе Кураева. Казалось бы, все должно быть наоборот... У человека, исповедующего «религию вины» и идеалистическую веру в независимость человека от внешней среды, и описания должны быть сновидны, нечетки, размазанны. Но нет! Как раз у того, кто почитает среду и кровь решающими факторами созидания человека как такового, мир превращается в кошмар, в сон, в котором человек лишь снится сам себе. Для Кураева адский мир, в который втиснут против собственной воли человек, оказывается не кошмаром и бредом, из коего не вырваться, но скверной пьесой, в которой, однако, можно и нужно сыграть хорошо: «Огромному числу людей предписывается играть в сочинениях, исполненных лукавства и полуправды. И что же? Мы видели и сами участвовали в представлениях, где отыскивали свою «правду» и пытались ее одухотворить искренним чувством исполнителя. Пошлый фарс, кровавая трагедия и бесконечно, на десятки лет растянутая нудная драма становятся судьбой, человеческой жизнью... «Как же вы прожили эту жизнь, полную лжи и унижения?» — «А вот так и прожили...» Сохранилась фотография, где раскинувшая руки мама, по-видимому, исполняет роль пропеллера в грандиозной гимнастической пирамиде «Ответ Керзону», изображавшей многомоторный бомбовоз. А потом у мамы была роль матери троих детей в блокадном Ленинграде. А потом была роль жены лауреата Сталинской премии первой степени за 1949 год. Справилась. И что, быть может, важнее прочего, роли свои вела не стеснительно для окружающих, никого не тесня, не унижая, не помыкая».

Нельзя сказать, чтобы подобная «театрализация» жизни была совершенно незнакома Инге Петкевич, но в ее мире, в мире ее повести эта «театрализация» — свидетельство не силы, а слабости, не гармоничности, но ущербности: «Все ужасы блокады, репрессий и арестов мать излагала таким ёрническим тоном, наскоро и грубо подкрашивая беспроблемный кошмар своей жизни элементами черного юмора. Их поколение любило оживлять трагические этапы своей биографии комическими деталями. Они вообще были великими комедиантами, подлинных своих переживаний они не выдавали никогда. Этот комизм, защитная реакция от любого осмысления, спасал их сознание от жестокой реальности и даже от безумия. Но мне кажется, что они всего лишь подменяли один вид безумия другим его видом, более для них приемлемым и выгодным».

Можно представить себе, какими сарказмами и проклятиями, каким гневом и негодованием без малейшего намека на «комизм» был бы напитан, напоен Ингой Петкевич эпизод, который Кураев излагает так: «...отцу припомнился очень сложный вариант женитьбы его друга. Все началось с грозного суда, куда отец был вызван для моральной поддержки, как введенный во все сердечные затруднения друга. Юрка не нашел для себя ничего лучше, как увести жену профессора Политехнического института, где они оба учились. Жена эта была дочка лейб-медика Его Императорского Величества и имела от профессора сынишку. А профессор не нашел ничего лучше, как подать заявление в суд, указав при этом, что разлучник был со своим отцом в войсках белого генерала Святополк-Мирского. Юрка разъяснил суду, что был при отце в детском состоянии, девяти лет от роду, а вот истец может рассказать, как он служил у белого генерала Булат-Булаховича отнюдь не в детские

годы. Отец никак не ожидал такого способа и нападения и защиты. При таком повороте дела они запросто могли оба вылететь из кандидатов в ВКП(б), из профсоюза и даже из института. Отец говорил, что страху натерпелся. После непродолжительного совещания «на месте» председательствовавший, то ли под рабочего одетый, то ли действительно из рабочих, резко объявил: „Революционный суд не имеет возможности выяснять заслуги истца и ответчика перед белогвардейской сволочью. Для выяснения этих заслуг суд рекомендует обеим сторонам обратиться в органы ГПУ”».

Я сравниваю один текст с другим не для того, чтобы доказать, что добродушие и юмор Кураева лучше (или хуже) ненависти Петкевич. Я стараюсь лишь показать два подхода к недавнему прошлому, две литературные традиции в описании «невыносимой легкости бытия»... Не исключено, что сейчас как раз настает время для «кураевского» подхода.

Это может показаться странным. Воздух нашего времени вовсе не «добродушен». Сейчас главное, сюжетобразующее — не реабилитации, а разоблачения. В отличие от оттепели, когда главным было доказать, какой Эйхе — хороший человек, а не то, какой Сталин — тиран, сейчас главное — доказать, какой кровавый убийца Ленин, а не то, какой герой Колчак. Нет, нет, добродушием в атмосфере нашего времени и не пахнет. Лейтмотив, лейтмотив — не удивление (радостное) от того, сколько, несмотря ни на что, на Руси талантливых, смелых ребят, а некоторая оторопь, перепуг: «Батюшки, мы и не знали, что у нас столько... слабаков и фашистов». Разоблачение, срывание всех и всяческих масок — вот сюжет нашего времени.

«Открытием» 60-х стал роман Булгакова «Мастер и Маргарита» («Вот какой клад от нас скрывали! Для чего?»). «Открытием» 80-х стала пьеса Булгакова «Батум» («И что этот ваш бульварный романист? Читали его сервильную пьесенку? Так же угодничал, как и все остальные...»)

Литература — это сведение счетов, нечто вроде симпатической магии, когда в восковую фигурку врага вонзается серебряная иголка. Готово! Враг повержен: «Наши корифеи отправлялись в Москву, напялив на себя все, что имелось в доме: на подштанники — лыжные штаны, а сверху брюки; так же многослойно был укутан торс: нательная рубашка, шерстяная и верхняя, какой-нибудь свитерок, на все это натягивался пиджак, который топорщился, не застегивался и так жал в проймах, что руки становились ластами... Мои друзья по редколлегии не были так уж бедны, чтобы не укрыться от служебного более цивилизованным способом, и в изобилии их одежд не проглядывало франтовство, причина была в дикости, в полном отсутствии бытовой культуры». Я цитирую книгу Юрия Нагибина «Тьма в конце туннеля» (Нагибин Юрий. Повести. М. Независимое издательство «ПИК». 1994). Как видите, название тоже весьма эффектное... и очень литературное. Почти цитата, перетолкованная цитата. Нагибин, видимо, хотел, чтобы читатель вспомнил другую знаменитую «Тьму...» — «Тьму в полдень» Артура Кёстлера, на русский язык переведенную как «Слепящая тьма». Но вспоминается прежде всего не знаменитая книга разочаровавшегося в коммунизме Кёстлера, а советский детективный фильм конца 70-х — «Свет в конце туннеля». Масскульт, «развлекуха» соединены с высокой литературной традицией уже в заглавии.

Столь же противоречивы и сами воспоминания Нагибина. Он полагал, что писал антифашистскую книгу, и повесть в самом деле проникнута, пронизана страхом перед фашизмом: «Часто удивляются: откуда берется фашизм? Да ниоткуда он не берется, он всегда есть, как есть холера и чума, только до поры не видны, он всегда есть, ибо есть охлос, люмпены, городская протерь и саблезубое мешанство, терпеливо выжидающее своего часа. Настал час — и закрутилась чумная крыса, настал час — и вырвался из подполья фашизм, уже готовый к действию». Неплохое определение, верное, хотя и немного нервное, но к какому разряду отнести описание драки — пусть и с негодяем — в той же повести? «Теперь я разглядел студента. На свету он не был похож на примерного пионера из Агнии Барто — плохой, совсем плохой мальчик, к тому же и не русский: нос приплюснут, плоское лицо, желток в узковатых глазах. Господи, с кем он связался, этот метис!.. Когда он упал, я врезал ему каблуком в ребро. Мне потом говорили: лежачего не бьют. Чепуха! Достойного человека не надо бить ни стоячего, ни сидячего, ни лежачего, а негодяя — круши во всех позициях». Кажется, это одно из основных свойств фа-

шизма: против тебя — не люди, и крушить их следует во всех позициях. Это ведь страшнее печально известного афоризма Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают». Здесь предлагается уничтожать и сдающихся врагов.

Кажется, Нагибин особенно и не старается разрешить все противоречия, свести все концы с концами, он любит умирителем крестьянских бунтов генерал-лейтенантом Дальбергом — и тут же честит Николая II «несчастливым придурком», при котором «пролилось много невинной крови, стреляли по мирным гражданам». Но ведь генерал-лейтенант Дальберг, надо полагать, не кроткими увещаниями бунты умирал? Почему же он — герой, а Николай II — «придурок»?

Герцен когда-то заметил: «Мы — не врачи, мы — боль». Не было соблазнительнее и опаснее афоризма для писателя. С боли спрос не велик; человек кричит от боли — что тут сказать? Но боль не артикулируется так торжественно, не изъясняется так красноречиво: «Как много в жизни неоплаченных счетов, как много безответных унижений, неотмщенных ударов, издевательств, и какое счастье, когда ты можешь вколотить назад в тупую, вздорную, злую башку извергаемую ею мерзость».

Энергия этого текста заразительна. У кого в жизни не было неотмщенных ударов, унижений? Кто хоть раз в жизни не был охвачен чувством обиды? Кто не хотел бы «вколотить» в злобную башку «извергаемую ею мерзость»? Но у Нагибина — особая искренность. «Тьма в конце туннеля» — его последняя, предсмертная книга. Все, что он хотел напоследок и напрямик сказать о себе и о жизни, он сказал. Это побуждает внимательнее всматриваться в текст. Странный текст. Юмористические, смешные сцены соседствуют здесь с саркастическими проклятиями, набоковские лирические «вкусные» описания — с насмешками над Чарской, «спрятанной в умном, безжалостном авторе „Лолиты“». К Набокову у Нагибина особый счет. Оно и понятно. Всякий, кто пишет о детстве в нынешней литературе (а большая часть книги Нагибина посвящена его детству), волей-неволей попадает под обаяние «Других берегов». Но главная, волнующая, «чарская» тема воспоминаний Набокова не просто чужда — органически враждебна Нагибину. Для Набокова детство — потерянный рай, который можно вернуть только искусством и только искусственно. Для Нагибина детство — это ад, из которого ты наконец-то вырвался, но который всегда может вернуться. Он (этот ад) не исчезал никуда, он вечно с тобой: «Я молчал, давая ему выговориться. Все более мрачней, он сказал, что никому нельзя верить, кругом вранье и обман: «Вот и ты тоже... О тебе говорят, что ты жид»... Ненавистное слово в его устах ошеломило меня. Прокатились через душу двор в Армянском переулке, Агапеша с его советами «отмывать в Бердич», вся старая, полузабытая духота заложилась грудью. Господи, воистину все течет, но ничего не изменяется». Поэтому и страх Нагибина перед возможным фашизмом — это страх перед вернувшимся, возвращенным адом его детства.

По ярости отвержения, неприятия того мира, который называют советским (и постсоветским), Юрий Нагибин сравнится с Ингой Петкевич: «Все первые яйца, снесенные российским обновлением, которое до поры само не ведало своей разрушительной силы, были сплошь тухлые, из них вылупились антисемитизм, национализм, общество «Память» и ярая сталинистка Нина Андреева. Это были сильные, жилистые, сразу взрослые и задиристые цыплаки; последующий помет, в котором были свобода слова, выборы взамен голосования, многопартийность и другие бледные копии западных свобод, оказался хилым, слабосильным, маложизнеспособным».

Любопытно, что нагибинское соединение сарказма и юмора, добродушия и злости уже было на слуху, уже было опробовано аудиторией. Я имею в виду песни Александра Галича. Удивительно, что многие сюжеты нагибинской повести словно повторяют сюжеты песен Галича. Женитьба на дочке номенклатурного босса... Да ведь это «Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где «Титан»-кино!» — и далее по тексту: «Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у ее топтун под окнами. И с доскою будешь спать со стиральной — за машину за его персональную...»

Даже главная, мучительная русско-еврейская тема — исповеди? воспоминаний? — Юрия Нагибина (дело не в твоей крови, не в твоём происхождении, а в том, как тебя называют другие и как ты называешь себя сам) оказалась обыграна, едва ли не спародирована Александром Галичем задолго до признаний видного со-

ветского писателя. В самом деле, история человека, всю жизнь носившего клеймо еврейства в черносотенной антисемитской среде и только в конце жизни узнавшего, что его отец — расстрелянный в 1921 году русский дворянин, словно перевернута Галичем в известной песне о человеке, который потерял документы: «И пошел я к Львовой Клавке: „Будем, Клавка, выручать, оформляй мне, Клавка, справки, шлепай круглую печать! Значит, имя, год рожденья, званье, член КПСС”. Ну а дальше наваждение, видно, вдруг попутал бес. В состоянии помятом говорю для шутки ей: „Ты давай, мол, в пункте пятом напиши, что я — еврей”. Посмеялись и забыли, крутим дальше колесо, нам все это вроде пыли, но совсем не вроде пыли дело это для ОСО! Я теперь живу в Калуге, беспартийный рядовой! Мне теперь одна дорога, мне другого нет пути. „Где тут, братцы, синагога?! Подскажите, как пройти!”» Сравните: «Обрести свою национальность значило для меня потерять Марка как отца. Не знаю, выжили бы мы с матерью, если бы не он. Я обязан ему жизнью в силу его сознательного великодушного решения, а не по физиологическому разгильдяйству... И скажу прямо, народ, к которому я принадлежу, мне не нравится. Не по душе мне тупой, непоколебимый в своей бессмысленной ненависти охотнорядец» — «Господи, прости меня и помилуй, не так бы хотелось мне говорить о моей стране и моем народе! Неужели об этом мечтала душа, неужели отсюда звучал мне таинственный и завораживающий зов?.. Мне пришлось выстрадать, выболеть то, что было дано от рождения. А сейчас я стыжусь столь желанного наследства. Я хочу назад в евреи. Там светлее и человечней».

Галич — мужественнее, насмешливее в своем неприятии российского антисемитизма и черносотенства. Нагибин — истеричнее, женственнее. Оно и понятно. Тень фашизма и тень «Амаркорда» («горьких и сладостных воспоминаний детства») крест-накрест легли на страну.

Любой писатель, коль скоро он пишет о недавнем прошлом, волей-неволей разрабатывает тему знаменитого феллиниевского фильма: я вспоминаю гадкое время, это время искалечило, исказило меня, мой Божий или природный образ, но это — мое время. Это — мое отечество, как я могу не любить его? Как я могу не проклинать его? Фашизму (даже фашизму!) не испохабить моего прошлого, моего детства. Или... даже детство испохаблено фашизмом, даже мое прошлое, мое отечество становятся для меня отвратительными из-за фашизма?.. Это двойственное художественное восприятие совпадает с двойственной, зыблящейся задачей нашего времени: как из революционной утопии не вышагнуть бы в утопию обновившегося фашизма; разучившись жить по старому сценарию, как бы не попасть в новый, ничем не лучший.

Я взял эти три книги: яростный и безжалостный «Плач...», добродушную и ироничную «Праздничную повесть», истерическую почти до цинизма «Тьму в конце туннеля», чтобы вернее почувствовать то недавнее прошлое, разрыв с которым необходим и невозможен.

Санкт-Петербург.



Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

«...ЗОВЕТСЯ VULGAR»

И наконец-то! Наконец и в нашей вялотекущей социофренической литжизни произошло ЧП: наипервейшие перья перецапались, всерьез — не по ролям — осердясь. Причина скандала: «Эрон» Анатолия Королева («Знамя, 1994, № 7 — 8).

Агеев с Басинским, после обмена порциями яда, с переходом, как водится, на личности, «сделали друг другу спины», и, кажется, насовсем, по гроб жизни...

И при этом в горячке гнева никто — ни люди свиты «голового», точнее, раздетого до исподнего Королева (Елена Иваницкая, Александр Агеев), ни форвард антикоролевской команды (Павел Басинский), ни ее вратарь (Андрей Немзер) — не удосужились разъяснить: а в чем, собственно, ядовитость предложенной Королевым приманки. Даже всегда выступающий о с о б о М. Золотоносов («МН», 1994, № 64), начав «за упокой» и кончив «за здравие», общего баланса — баш на баш, стенка на стенку — не изменил. Злая фраза Бунина о «Леонардо да Винчи» Мережковского: «Длинно, мертво, натужно, натащено из разных книг, но почему знать, может быть, ворованное?», которая, по Золотоносову, применима в полной мере к «Эрону», перевесила все его положительные на сей счет соображения...

Да, Королев возвращает «свободу пороку» и сильно ограничивает в гражданских правах добродетель. Но кто же сегодня после Сорокина — Шарова удивится т а к о м у? Тем паче, что сам возмутитель и нарушитель приличий «чертеж смысла» «Эрона» растолковывает вполне добродетельно — в лучших традициях романов воспитания: б е з з а щ и т н о е, дескать, н е у я з в и м о. И не только сей тезис декларирует, всем ходом повествования старается доказать, что к положительным (Адам, Надин) героям его «хроники» (когда по плоти и крови пошло гниlostное брожение; рыба гниет с головы, а империи — со столицы) порча не пристает. Из бездн разврата, коим несть числа в лабиринтах столичной сладкой жизни, сия не возлюбленная, но явно созданная друг для друга п а р а выбирается хотя и помятой физически, но нравственно неповрежденной. Мораль такова: даже акулам порока беззащитные не по зубам...

Басинского можно, впрочем, понять, он-то истинно убежден, что Королев не только «голый король», но еще и «классический тип агрессивного графомана» и что читатель с соответствующими брезгливостями или его, Басинского, брезгливости уважающий, утолив первое любопытство и заработав и н д и ж е с т и ю, сам во всем разберется. А коли так, зачем тратиться на истолкование графоманских причуд?

И Немзеру вообще-то извинительно, ибо чистосердечно признался: кроме сексуальных мечтаний, «дневных грез» «старого мальчишка, так и не умудрившегося» мужчиной стать, да плохо переваренных расхожих, всеми читанными книг (включая поваренную) ничего достойного его умственных усилий здесь нет.

Труднее понять А. Агеева. Он ведь утверждает, и без всяких оговорок, что скандальный, за гранью самых широких приличий, «Эрон» — «блестяще задуманный и сыгранный спектакль».

Мысль, право же, интересная, больше того, она — если ее превратить из вещи в себе в вещь для нас — могла бы отчасти замаскировать сальное пятно

на знамени и фасаде представляемого им журнала. Уж что-что, а «Эрон» как текст такую возможность вполне допускал — ибо большинство образующих его картинок (порнооткрыток) из периода полураспада империи и впрямь театральны — этакий Виктук, разыгранный пусть и ученическими, но отнюдь не робкими перстами...

До утраты сил старается отстоять честь «Знамени» и Елена Иваницкая. Натомашь разделяется с учительствующей — архаической пратолстовской ориентации — критикой: нарочно, мол, замолчали «Голову Гоголя», а теперь на «Эрон» набросились, из «нежелания понимать», что это не просто рядовые «создания отечественного постмодернизма», а его, постмодернизма, «творческая победа».

Казус, однако, в том, что самым первым (среди «оценщиков дум»), кто решительно отказал Анатолию Королеву в прописке по части постмодерна, был не кто иной, как нынешний главный редактор «Знамени». Вот что писал Сергей Иванович Чупринин, подводя итоги 1992 литгода, того самого, когда в одном из летних номеров «Знамени» появилась «Голова Гоголя»:

«Налицо парад эстетических суверенитетов, и законы, действующие на территории, допустим, постмодерна, даже и в учет не берутся... в кабинете, отвоеванном для затворничества Анатолием Королевым» («Знамя», 1993, № 1).

Случай забавный, но характерный, такая уж мода пошла: все говорят и никто никого не слушает и не слышит, пропуская мимо ушей все, что неудобно или невыгодно принять к сведению и отразить. А порой и выгоды-то никакой нет, а есть лишь нежелание ленивого, нетренированного инфантильного ума «практиковать сложность». Закавыченное выражение принадлежит М. Мамардашвили и вырвано из такого контекста: «Это и есть инфантилизм, вернее, состояние переростков. В нем нет способности (или культуры) практикуемой сложности. Нет форм, которыми люди владели бы и которыми их собственные состояния доводились бы до ясного и полного выражения своей природы...» («Если осмелиться быть...» — «Родник», 1989, № 11).

Диагноз убийственный, но, увы, верный: отсутствие этой способности (или культуры) и превращает наши разногласия в мордобой. А когда в спор включаются неистовые ревнители «отечественного постмодернизма», то хоть святых выноси. Каковы хозяева этого тщательно огороженного только для инфантилов и переростков закутка, такова и поддакивающая им критобслуга. И вообще: не этим ли — на своем пятачке, дескать, мы сами себе все позволили и потому можем все — так привлекательна другая система?

Но вернемся к Королеву и попробуем все-таки разобраться в сущности этого явления. А в том, что автор «Эрона» — явление, и в своем роде замечательное, я, к сожалению, почти что не сомневаюсь...

Чем же замечательное? Ну, прежде всего откровенной, то есть установочной, сознательной, намеренной, а не природно-вынужденной вульгарностью. Элементы дурновкусия имели место быть и в «Голове Гоголя», и даже в «Повести о парке» (мне, кстати, принадлежит первый и почти восторженный отклик на эту вещь в ту пору (1990) совершенно никому не известного Королева; и еще я, помнится, долго выясняла, не питерец ли он, и с большим трудом узнала: москвич, не новичок, успел издать в «Совписе» сборник с весьма эффектным именем: «Ожог линзы»). Но там, в «Гении местности» и в «Голове...», были все-таки лишь элементы — следы пошлости. В «Эроне» же Королев вульгарен сплошь. И тогда, когда «делает нам красиво». И когда рассуждает об шибко умном. И когда холодно-сознательно раздает «пощечины» общественному вкусу. И тогда, когда гонит, серийно, порно-омерзительности...

И все это, повторяю и настаиваю, совершается сознательно, хотя, может быть, и с использованием материала, накопленного подсознательным. Ибо таков, по Королеву, вкусцвет времени. Нет, не того — застойного (1972 — 1988), в котором формально прописан роман. А нашего, нынешнего, того, что нынче на дворе... В стилистике собственно эры «эрона», то бишь оплаченной нефтяными «богатой нищеты», сработаны лишь вставки-главки «Хронотопа», а все остальное пространство хроники распада империи А. Королев тщательно, с удовольствием отремонтировал и передекорировал в новом, вульгарно-шикарном стиле: à la «новые русские».

Но почему же, почему С. Чупринин все это напечатал? Неужто и впрямь полагает, что сие чудовищное по безвкусице изделие века и есть «чудо искусства»? Не думаю. Я почти не сомневаюсь, что природный вкус главного редактора «Знамени» оскорблен «Эроном» ничуть не меньше, чем, скажем, вкус П. Басинского или, допустим, мой.

Но Чупринин — критик не только со вкусом, но еще и с идеями. А чего не сделаешь ради идеи, тем более самой любимой? А самая любимая идея Чупринина, с которой он носится, будто с дитем своего выбора, уже не год и не два, — проста, как пирамида Мавроди, универсальна, как очарование «Чары», и заключается в следующем... Нет, не буду пересказывать Идею-Ч своими словами, лучше, чем у ее изобретателя и толкателя, все равно не получится.

Итак, во избежание обвинений в передергивании цитирую без изъятий:

«Не стоит отворачиваться презрительно: фи, масскульт! фу, чтиво! — а попробовать-таки разобраться в сортах этого... чтива, чуть усилиться, для того чтобы понять, в чем секрет, тайна, магия его притягательности» («Знамя», 1993, № 1).

Ах, если бы Сергей Иванович только соблазнял и подначивал! Так нет — он же еще и пугает и так уже перепуганных! Дескать, ежели отвернетесь, не сделаете усилия — останетесь на обочине, изредка переаукиваясь с такими же упрямыми, с теми отщепенцами, кто знать не желает, какое времечко наступило, с теми, кто при закрытых фортках плетет себе свои словесные кружева по старомодным узорам, впадает в соблазн эссеистичности и, как и встарь, «интеллектуализирует» да «мифологизирует».

Ну что, не хотите? Признайтесь как на духу: втайне страдаете? От охлаждения читающей публики? От равнодушия новых издателей?

Тогда на те вам (вам — то есть не безумцам, а нормальным средним писателям) верное средство от страданий безвестности:

«Сделайте шаг навстречу... презренной прозе масскульта, осваивая «низкие жанры», опираясь на «низовое эстетическое сознание» и прививая тем самым классическую розу к советскому дичку».

И средняя наша проза (в лице Анатолия Королева) сделала-таки этот спасительный, точнее, спасательный для средней прозы шаг.

Нет-нет, Анатолий Королев не отказался ни от любимых «словесных кружев», ни от склонности к эссеистичности, ни от «интеллектуализирования» и «мифологизирования». Но он их ловко перевел на уровень масскульта, приспособив «игры в бисер» к возможностям «низового сознания».

А заодно, по ходу дела, позволил себе и еще одно отступление, еще одну поправку в рецептуре дарованного Чуприниным верного снадобья: к дичку соцреализма (в стадии загнивания, вариант позднестойного А. Проханова) привил не одну ложноклассическую розу, а, согласно вкусам главного заказчика, — миллион алых роз (сорт: «мыльная опера»). Предварительно скрестив их с миллионом черных жаб.

Лиха беда — начало.

Кто следующий?



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЛЕНЕННЫЙ СВОБОДОЙ

Алан Черчесов. Реквием по живущему. «Волга», 1994, № 3 — 4, 5 — 6.

Алан Черчесов снова пишет о своем: люди, горы и... обилие слов, малопонятных человеку, знакомому с Кавказом только понаслышке либо видевшему заснеженные главы Эльбруса из окон туристического автобуса. В расшифровке не помогут ни страницы русской классики (Пушкин, Лермонтов, Толстой, далее почти нигде), ни современные сводки новостей о жизни людей, трагически высоко ценящих честь, чтущих законы рода и могилы предков. Хадзар, нихас, фынг, хурджин — слова употребляются без малейшей претензии на стилистическую изысканность, они настолько же обыденны в быту героев Черчесова, как в нашем нынешнем — «дискета», «платежка» или «пейджер».

Зато внешние характеристики народа («осетины», «осетинский») у автора нашего романа почти не звучат, разве только мимоходом... Поневоле затеваешь этакий экскурс в давно забытый школьный ликбез: так, кажется, потомки скифов, ясы, аланы (!), с незапамятных времен принявшие христианство (в отличие от соседей по Северному Кавказу), ныне большей частью православные. Следующий шаг — торопливая справка в словаре или энциклопедии. Не без некоторого труда выясняется, что нихас (или ныхас) — священное место, где собираются главы семей, живущих в селении. Здесь у каждого свое, строго определенное место и право голоса. Вообще «термин „ныхас” в буквальном смысле значит „разговор”»¹. А цепь, помещаемая над традиционным открытым очагом в осетинском жилище, и в самом деле священна, кроме того, «в хадзаре, где висела надочажная цепь, запрещалась всякая рука»².

Впрочем, намеренный этнографизм, осознанные просветительские установки книгам Черчесова вовсе на свойственны³. Чуть ли не в «Хаджи-Мурате» больше извне увиденных и для стороннего взгляда прописанных курсивом этнографических подробностей или — в повести «Ночевала тучка золотая» (да простится мне нарочитое сопряжение столь несходных эпох, писательских имен и кавказских народов).

Черчесов описывает мир, как бы не предполагающий наличие непонимающего зрителя, его рассказ адресован не любопытствующему заезжему гостю: разговор идет только о своих, на своем наречии и для своих же. Более точные литературные аналогии обнаружить не так уж и затруднительно. Согласно почти слившемуся с реальностью апокрифу, Шервуд Андерсон, познакомившись с ранними текстами Фолкнера, открыл начинающему автору его настоящее поприще: «Ты — деревенский парень, и все, что есть у тебя, это клочок родной земли, который можно прикрыть на карте почтовой маркой». Так это было, нет ли, однако знаменитая йокнапатофская сага не замедлила быть задуманной и начатой, а вскоре она уже покорила сонмы читателей неведомым доселе размахом и мощью рассказа, посвященного предметам будничным и даже суетным. Тогда, в середине двадцатых годов нашего столетия, в литературе в очередной раз был открыт «вертикальный человек», причастный прежде всего не злободневным тяготам современности, а этнической почве предания, традиции, отменно (вертикально!) уходящей в глубь напластований прошлого. Существовал, конечно, рядом с «вертикальными» героями Фолкнера, Фроста, Шолохова (?) (а позже — Маркеса и иже с ним) и «человек горизонтальный». Он был отлучен от национально-этнографической уникальности, интересовался более всего сиюминутными проблемами, сближающими людей разных сословий и народов (скажем, от Хемингуэя и Ремарка до Грина и Сартра).

¹ Цит. по кн.: «Осетия и осетины». Владикавказ, СПб., 1994, стр. 227.

² Там же, стр. 234.

³ См. также: Черчесов Алан. Дождь — одинокий прохожий. — «Волга», 1990, № 6; Черчесов Алан. И будет лето... — «Новый мир», 1990, № 3.

Прибавит ли сей исторический экскурс достоинств прозе осетинского «почвенника» Алана Черчесова? Так или иначе, но разговор о литературном регионализме (есть, впрочем, и регионализм живописный — Вуд, Уайетт, Кент, Сарьян...) совершенно необходим, и сразу по двум причинам. Прежде всего Черчесов определенно учитывает, что «Вертер», то бишь цикл Йокнапатофских романов, уже написан, а потому насыщает свою книгу многочисленными скрытыми и явными реминисценциями. Вот один из многих возможных примеров: «И пусть он не стоял посреди времени, отслаивающегося в прошлое аульной памяти, пусть не всегда коллол его на куски... только вот оно, время... сверяло по нему тугие воды свои». Вторых, сходство соседствует с различием: миром у Черчесова правит не специально приближенный к натуре рассказ-исповедь, но повествование, уже прошедшее через тигль художника. Для того чтобы приобщиться к прошлому, вечному, недостаточно услышать и понять рассказ деда, прадеда о делах давно минувших дней, нужно провидеть и верно истолковать второе значение слова «история»: «художественное повествование о прекрасном». «Может, времени как такового не существует вовсе, а есть только бесконечная паутина бесконечных историй?» — вопрошает рассказчик. Так, собственно говоря, дело у Черчесова и обстоит, только вот не любая история, внешне достоверно воссоздающая случившееся, может быть правильно истолкована. Лишь художественное повествование способно воссоединить целое вечного времени.

Черчесовский протагонист по прозвищу Одинокий — художник (живописец) словно бы мимоходом. Он стремится запечатлеть красками на полотне только то, что потрясло, перевернуло его воззрения либо требует дополнительного познания, разгадки. Картины Одинокого приносят несчастье: написанная на холсте девушка, подобная легконогой лани, вспрыгнувшей на отвесный утес, в самом деле воображает себя ланью, пытается покорить неприступную скалу — и гибнет. На другой картине — содержательница дома терпимости, давно, казалось бы, утратившая способность к доброте, но согласившаяся скрыть от мстительных глаз обесчещенную безумицу Рахимат. Снова несчастье — трагически гибнут близнецы, родившиеся у Рахимат.

При каких же условиях «бесконечная паутина бесконечных историй» может перерасти в связанное преодоление несовместимости времен, возможно ли, чтобы красота, запечатленная на холсте и в рассказе, перестала быть разрушительно-двусмысленной? Если бы не трагически неперемное присутствие в романном мире «Реквиема» мотива искусства-искуса, то все прочие (порою — почти навязчивые) сходжения с книгами Фолкнера выглядели бы простой тавтологией. Сходжений же таких немало и на уровне сюжета. Мужчина-мальчик, в результате странных событий занявший место на нихасе среди стариков хозяев, в одиночку убивает медведя (ср. охотничью инициацию Айка Маккаслина из «Медведя», и не только). Надломленно безгрешное сознание лишенной разума Рахимат напоминает о Бенджи Компсоне из «Шума и ярости». Еще пример: о девушке из дома терпимости, одарившей его первыми чистыми ласками, Одинокий думает так: «Ее кожа пахла рекой». Это откуда? Правильно: «Кэдди пахла деревьями». Кроме того, вполне сопоставимы волк, одомашненный Одиноким, и прирученный Буном Хоггенбеком полудикий пес по кличке Лев...⁴

Мужчина-мальчик привлек к себе всеобщее внимание, когда возвратил в аул одного из пяти коней, украденных его приемными родителями. Совершив кражу

⁴ По некоему почти мистическому совпадению рядом с романом Черчесова в тех же номерах «Волги» перепечатаны главы из лондонской книги Игоря Померанцева, из которых одна называется... «Читая Фолкнера». И здесь (хотя и более демонстративно, открыто) используется стилистика и топика творца Йокнапатофы. Речь на этот раз не о Кавказе, а о многоязычном городке Черновитц-Чернауц-Черновицы-Черновцы, угнездившемся в самой сердцевине одного из крупнейших в Центральной Европе межэтнических разломов. «Итак, начинаются Черновцы! Встаньте — как вы всегда встаете, когда говорят о любви». «Все люди родились в Черновцах!» — восклицает далее Померанцев, выстраивая из собственных детских впечатлений целый мир, полный до краев отходящей и отошедшей красотой. (Не скажу за всех, а вот автор этих строк провел в воспитом Померанцевым городе без малого два десятка не худших лет и может поспорить, где на самом деле ходили трамваи в конце 60-х.) Фолкнеровские реминисценции, как видим, разными путями ведут к одному итогу, позволяют уловить и зафиксировать стремительный миг ухода этнического уклада в его прозрачной непосредственности. Кавказ и Буковина — все это на страницах хорошего поволжского журнала, которому явно не чужд высокий регионализм, чуткое внимание к самобытности и аутентичности жизни.

краденного, он в конечном итоге не только избегает положенной обычаем кровной мести (два минуса дают плюс), но и становится единоличным хозяином покинутого конокрадамы дома. Бесстрастно, почти высокомерно заставляет Одинокий старейшин признать свое право восседать на нихасе, а вскоре обманным путем нанимает аульчан для обработки собственного надела.

Одинокого не любят, потому что «в глазах его не было ни злобы, ни тепла». Его пришествие знаменует новую эпоху в жизни аула. «Те годы... мы жили словно посередке между тем, что было и что будет. Между воспоминаниями и предчувствием». «Время устало и сносилось, отойдя добровольно в прошлое». Одинокий исключен из повседневного цикла бытовых забот. Он не умеет проигрывать — ни на охоте, ни в карточной игре, которой соседи впервые у него же и научились. Одинокий чем далее, тем последовательнее выполняет функцию «культурного героя», посредника между вековыми традициями аула и чуждыми нравами, которые царят в близлежащей русской крепости. Он, в частности, совершает и первую торговую операцию, выручив деньги на покупку жеребца от продажи картины.

Мотивы поступков Одинокого загадочны, если не вовсе фиктивны. Окружающие понимают только одно: из-за него «мы все отравлены».

Отравлены непобедимостью мальчика-мужчины, его неистощимой предприимчивостью. Одинокий словно бы ставит под сомнение родовые законы, согласно которым отдельному человеку не принадлежит ни вина, ни добродетель. То и другое — вопреки личному хотению — гнездится в коллективном лоне семьи, рода, аула.

Но вот с какого-то момента Одинокий начинает терпеть поражения, он словно бы «растерял запах вечности». Мера его свободы от устоев и принятых правил, видимо, превысила все мыслимые пределы. «Сперва он сделался свободным, потом свобода его покорила, превратила в своего раба, приказала ему вмешаться в нашу жизнь и спорить с уготованной аулу судьбой». Но дело-то в том, что как раз те деяния Одинокого, которые совершены под знаком «порабощающей» свободы, — вполне добры, человеколюбивы по исходному намерению. Несчастья соседей по аулу Одинокий воспринимает теперь как свои собственные, видит их глубинный символический подтекст. Вот дурочка Рахимат рождает близнецов. Одинокий: «Что ж такое с землей нашей приключилось, если на ней мать саму себя не слышит?» Попытка спасти Рахимат и ее детей, как уже говорилось, кончается крахом. Столь же неудачен замысел удержать отца рассказчика от мести мельнику Барысби, совместно с иноплемennыми пришельцами взорвавшему в горах повозку с товаром и убившему помощника лавочника. И здесь провал: Барысби якобы случайно оступился на лесной тропе и от удара утратил разум. Кровная месть отца по отношению к Барысби предотвращена, но результат от этого никак не меняется: мельник мертв, пусть духовно, а не физически...

Важен в романе мотив «спрятанной крови», то есть крови не пролитой в соответствии с древними обычаями мести. «Что, в сущности, означает «спрятанная кровь»? Спасенную жизнь или отсроченную месть? А может, отсроченную месть за чью-то спасенную жизнь? Или, может, это только спасенная отсрочкой месть?» Можно ли, спросим мы, однозначно и уверенно оценить субъективно добрые поступки Одинокого, попирающие обычаи? Свидетельствует ли итоговый уход Одинокого о его окончательном поражении? И да и нет. Плененный свободой бунтарь открывает и оставляет после себя нечто большее, нежели конкретные (почти всегда нулевые) результаты своих предприятий. Собеседники Одинокого (дед, отец, дядя рассказчика, наконец, сам рассказчик) получают благодаря общению с ним доступ к разгадке прошлого. Одна за другой гибнут картины, посвященные отдельным важным событиям жизни Одинокого, и только его манера рассказывать позволяет связать воедино ценности разных поколений, сохранить в слове универсальный код происшедшего и происходящего.

Частные поражения Одинокого, таким образом, оборачиваются победой, обретенная было жертвенность, властно пресеченная внеличными родовыми законами, получает решающее подкрепление в области эстетической: создается рассказ, связывающий начала и концы.

Роман Черчесова почти не содержит прямых апелляций к религии, морали. Неразрешимые поиски права на благой поступок так и остаются неразрешимыми. Моральные заповеди в избрженном мире сформулировать невозможно, ибо любое осознанное личное усилие рискует опрокинуть общинные «категорические им-

перативы». Однако само по себе понимание только что выведенной антиномии, передача ее из уст в уста, от поколения к поколению позволяет увидеть жизнь в ее непрерывности, исполнить «реквием по живущему». Итоговое художественское деяние, подхватывание и переосмысление предания как раз и означает, что традиционный космос способен с некоторых пор вместить в себя новые черты, преобразиться, сохраняя в то же время живую причастность к первоначалам.

Не все в равной степени удачно в романе «Реквием по живущему». Напряженное разгадывание истинного смысла происходящих событий порою оборачивается чрезмерным многословием, подчас вычурностью («Тишина соскоблила с блеска реки последние крошки людского неугомонья»). И все же неизбежная чересовская мистерия с участием гор, горцев и смерти изложена здесь со всею ясностью и полнотой.

Дмитрий БАК.



ДОРОГИ И ТРОПИНКА

Ольга Седакова. Стихи. — «Гнозис», «Carte Blanche». Москва. 1994, 384 стр.

Один мой сверстник рассказывал, что полюбил стихи Ольги Седаковой еще в машинописных списках. Помню, я делал ксерокс с ксерокса ее книжки «Врата, окна, арки» (так она тогда называлась, теперь «врата» поправлены на «ворота»). Уже дата стояла — 1986 год, но книжка была тамиздатская, парижская. Да и повышенную «культурологичность», «религиозность» еще вчера не принято было одобрять. Книга и поэтому была интересна, хотя главная ее жемчужина — «Старые песни».

Потом была скромно-элегантная московская книжка («Carte Blanche», 1990), долго продававшаяся «у Марка»¹, причем циклы «Старых песен» были по-прежнему хороши, несмотря на то что книжка не имела уже тамиздатского ореола.

Наконец, фолиант «Гнозиса» и «Carte Blanche'a». Такой тип издания — твердый переплет, алфавитный указатель, примечания, послесловие одного академика и аттестация на супере — другого, большущий список опечаток — называется одномником. В общем, теперь все как у людей, как у Ахмадулиной.

В книге много всего уютно-культурного: греческие, итальянские, китайские и прочие циклы, Тристан, Иван Жданов, элегия смоковницы, Изольда, Аверинцев, Александр Поп, геральдические собачки на гобеленах, рифма «верже — уже» (которая, кажется, «уже» есть у Мандельштама) — как в хорошо подобранной библиотеке квалифицированного филолога.

О снобизме, конечно, говорить не приходится. Можно говорить о способе жить, о строе души. О возможности ошестиниться колючками или по крайней мере — укрыться в зарослях. О происхождении же шиповника из переродившихся кустов розария, некогда заброшенного за ненадобностью, говорится совершенно определено:

Здесь было поместье, и липы вели
туда, где Эрасты читали Фобласов,
а ратное дело стояло вдаль.
Как мелкие розы, аккорды цвели
и чудно дичали Расиновы фразы.

Когда-то, скажем у Вяч. И. Иванова, поэтичность природы зависела от степени нагруженности ее культурными ассоциациями («О души дремные безропотных дерев, / Нам сестры темные — дриады!»). Нынче же — при сходном «составе» холмоноватых поэтизмов — за сад мироздания принимаются (выдаются) плотно обступившие дебри культуры, делается попытка ее, культуру, «оприродить». Сделать вторую природу первой. «Дикий шиповник» и прежде трогал тем, что заросли его не просто одухотворены (это-то понятно), но в них было актуализировано тепло сердечное: «И столько пропавшей и тайной любви / замешено здесь на подпочвен-

¹ Известный в Москве магазин некоммерческой литературы «Салон „19 октября”» в Качаево переулке.

За теми же «общими» для всех словами поэт отправляется в свои многочисленные европейские путешествия: «...кто беден был, / а кто богат, / кто войны вел, / кто пас телят / — но драгоценнее стократ / одно летящее *назад* / мельчайшее зерно» («Тристан и Изольда»). Правда, иногда в этих тонировках встречаешь и случайные краски. Вот почему-то в «Алатыре» «...камни... росли, как бамбук».

Путь к началам избирается автором чрезвычайно окольный. Что можно понять. Во-первых, из чего-то должны же строиться художественные, духовные объемы. Во-вторых, современный человек, как пишет Умберто Эко, не скажет просто: «Люблю тебя безумно». Он может объясниться только с помощью цитаты: «По выражению Лиала — люблю тебя безумно». Но главное, что влюбленные все же объяснились!

Много говоря в «Похвале поэзии» об отталкивании от мандельштамовской «косвенности» в строении образа, О. Седакова отдает косвенности-уклончивости изрядную дань, принимает ее в свою поэтику. Здесь сошлись, переплелись влияния разных европейских и русских школ от Данте до Рильке, от символистов, Хлебникова до обэриутов. Клавиатура упоминаний в стихах ее вполне присутствует даже самими неупоминаниями («речка поет с неразомкнутым ртом» — прекрасный образ, соответствующий этой ситуации). *Sapienti sat* («умному достаточно») — так, по-иностранному, и сказано в стихотворении «Портрет художника на его картине», а какая картина подробно описана — догадайся, расшифруй, если ты *sapient*: «Пуускай на крыше ангелы танцуют / и камни драгоценные целуют / и убегают к верхнему углу / и с верхнего угла бегут сверкая, / серебряные нити рассыпая / и посохи меняя на бегу». Эффект глубины и таинственности достигается в подобных случаях за счет простого умалчивания и неназывания. А это не совсем то же, что таинственность в собственном смысле. Как и перифраз, описательно уклончивый заменитель метафоры, конечно, не то же, что метафора как таковая, — это ее истончившийся вариант: «На медленном зное подруга лугов / и света подруга на медленном зное / лежит — и уходит лицо глубоко / в повисшее зеркало передвижное». Все четверостишие — заменитель слова «река», как и в «Горной оде»: «...водой, перебегающей повсюду, / Моравии, Баварии зеленой / перемывая чистую посуду...» Иногда автор вплотную подходит к поэтике шарады: «Летят имена из волшебного рога, / но *луг* выбирает язык» (курсив принадлежит поэту).

Боюсь, что это изысканно.

Боюсь, что в «Горной оде» перенос (анжанбеман), и вообще синтаксис, — тоже изысканны:

Где высота сама себя играет
на маленьком органе деревенском
и на глазах лазурь изображает,
но голосом не взрослым и не женским —
а где-нибудь в долине удивленной
водой, перебегающей повсюду,
Моравии, Баварии зеленой
перемывая чистую посуду,
там в каменный кувшин с колоколами
упрятано готическое пламя.

Изысканность синтаксиса этого одического десятистишия, видите ли, в том, что в строфе главное предложение стоит в самом конце: «там... упрятано готическое пламя». А все предыдущие восемь строк — придаточное предложение, и читателю предлагается особый интонационный напряг (назовите это хоть духовным напряжением, не поможет), предлагается то ли напрячь мышцы шеи, то ли пригнуться на цыпочки, чтобы удержать строфу с ее «опрокинутым» развертыванием. Так построена вся ода: строфы, хотя и отделенные точкой, так плотно пригнаны друг к другу, что, несмотря на риск потерять образную нить, нельзя останавливаться, ведь на несколько больших строк (с пятой по восьмую) один синтаксический субъект — «она». Кто «она»? Возвращаемся к пятой строфе: «То Руфью отзываясь, то Рахилью, / глядела жизнь, как рядом пировали, / не зная, для чего ее растили / и где конец ее чужой печали». «Она» — это, наверное, «жизнь». Образ достаточно отвлеченный, как в философских одах XVIII столетия или в английской метафизической поэзии.

Характерно для уклончивой поэтики автора избегать не только лирического «я», но и синтаксического субъекта (или объекта), который здесь обыкновенно обозначается словами «она», «ее», «как тот», «как та», «это», «там», «туда» и т. п. В «Коде» к «Стансам в манере Александра Попа» грамматика указательных слов вполне наглядна:

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть. Как белка в колесе,
он крутит свой воображимый рок...

Понятно, что это однообразие грамматики и парной рифмовки и в самом деле передает вращение в беличьем колесе, а вместе с тем косноязычие создает ощущение, что стихи написаны как бы уже не автором, который мог бы выправить их. Это то ли имитация автоматического письма, то ли вагиновское соединение слов посредством ритма. Благо завершение-комментарий явно выдает пастернаковскую «установку» на случайность стиха:

И если мы туда скосим глаза,
то самый звук случаен, как слеза.

Таков наш ответ Керзону, вернее — Александру Попу, вернее — холоду собственных стихов.

Зато при чтении «Старых песен» не возникает мысли о мере и такте. Когда их издадут и переиздадут отдельной книжкой для народного чтения, тогда, смею надеяться, станет ясно, что они понятны читателю разной степени искушенности. Потому что о последних вещах поэт говорит простыми словами. И каждый найдет свое в этих метафизических объемах:

Милый мой, сама не знаю:
к чему такое бывает? —

зеркальце вьется рядом
величиной с чечевицу
или как зерно просяное.

А что в нем горит и мнится,
смотрит, видится, сгорает —
лучше совсем не видеть:

жизнь ведь — небольшая вещица:
вся, бывает, соберется
на мизинце, на конце ресницы, —
а смерть вокруг нее, как море.

(«Зеркало»)

«Старые песни» дают повод для разговора о русском стихе. На сегодняшний день силлаботоника стала слишком доступной, верлибр, не правда ли, так и не прошел, размашистость литературного акцентника слишком маркирована именами Маяковского или Сельвинского, даже дольник несет на себе память трехсложных метров. Многие прекрасные, необыкновенно поэтичные имитации народного стиха звучат довольно этнографично, что все-таки не в большой традиции, которая у нас скорее книжная, чем фольклорная: от XIX века никуда не денешься. Теперь стали вспоминать об опыте силлабики. А что же наша тоника, исчерпала ли она себя? Будущее, как всегда, неясно.

Надо, однако, иметь дерзость искать дорогу, нишу. Ю. Кузнецов дерзнул заявить, что Пушкин пренебрег возможностями символа. И захватил-таки свою нишу — «афанасьевскую» мифо-поэтическую символику. Теперь у многих авторов это воспринимается как кузнецовщина. Бродский растянул строку до размеров «имперского дольника» (этот парадоксальный «термин» пришел к Игорю Кручику под влиянием «римской» темы Бродского; см. его заметки «Динамит Джозефа» — «Литературная учеба», 1994, № 2). И все уже примерили этот фасон, а теперь ехидно намекают друг другу, что в чересчур длинном платье можно споткнуться.

Ольга Седакова сделала тяжелую мужскую работу, причем — не в пример другим — без эпатажа и скандала, поэтому, может быть, и без особого резонанса. Сама или с помощью Никиты Толстого (не важно, поэт берет свое везде), она набрела на едва-едва различимую, но, к счастью, не заглушённую вовсе, а также и не вытопанную в пыль тропинку. Не то чтобы я призывал всех стихотворцев топтать по этой тропинке, теперь как бы заново маркированной. Тем более что опыт этот не лежит на поверхности.

Тактовик (по терминологии М. Л. Гаспарова) ее «Старых песен» продолжает свежо воспринимаемую традицию имитаций фольклорного стиха, известную по пушкинским «Песням западных славян», воспроизводящим, впрочем, эксперименты А. Х. Востокова. Стих этот не звучит сугубо этнографично, потому что образец имеет как бы литературное происхождение, а символика не только фольклорная. Но здесь же — свежая фольклорная струя, «жалобная» интонация «стихов духовных», внимательно прочтенных Г. Федотовым, который объяснил, что в свою очередь «в основе духовных стихов всегда лежали книжные повести, более или менее церковного происхождения». Новизна же «песен» О. Седаковой в том, что они не эпические, в малом жанре отодвинута событийность, а осталась чисто «духовная», лирическая субстанция.

Между прочим, тема книги Г. Федотова «Стихи духовные» — «русская народная вера по духовным стихам». Этой темы, собственно религиозной, христианской, я почти не касался, несмотря на то что это и не тема для нашего автора, а мироотношение. Меня можно упрекнуть даже в чрезмерном внимании к «физической» стороне дела. Так зато честнее, а то ведь того и гляди соскользнешь в фарисейство. Значит, о вере: я выйду из положения, приведя стихи, где этот жар, этот огонь так и сушит изнутри:

Ты гори, невидимое пламя,
ничего мне другого не нужно.
Все другое у меня отнимут.
Не отнимут, так добром попросят.
Не попросят, так сама я брошу,
потому что скучно и страшно.

Как звезда, глядящая на ясли,
или в чаще малая сторожка,
на цепях почерневших качаясь,
ты гори, невидимое пламя.

Ты, лампада, слезы твое масло,
жестокое сердца сомнение,
улыбка того, кто уходит.

Ты гори, передавай известье
Спасителю, небесному Богу,
что Его на земле еще помнят,
не всё еще забыли.

Кажется, автор так и не произносит слов «вера», «пламя веры» на сей раз из чувства такта, а не из желания воспользоваться приемом умолчания. Простите за «последнюю» (или «предпоследнюю») цитату, но здесь есть явная реминисценция из Бунина («Ты, сердце, полное огня и аромата... / До черноты сгори» — «Кадильница»). Бунин же был одним из очень-очень немногих, кто — несмотря на решительное преобладание у него силлаботоники — воспользовался «пушкинским» тактовиком («Молодой король», «Мушкет»). Но он же внимательно слушал вживе и стихи духовные (см. его рассказ «Лирник Родион»).

«Старые песни» О. Седаковой — это ее маленькая часовенка (Мандельштам о Вяч. И. Иванове: от него останется маленькая византийская часовенка). Мало это или много? О, это очень много. Это не одно из «путешествий» автора, а может быть, это цель ее странствий.

Стихи живые, они звучат по-русски, у них есть голосоведение (термин Б. В. Томашевского), в них сообразно и соразмерно сошлись традиции и новизна, свобода и дисциплина, культура и природа. А как она так сумела: звезды ли сошлись, записала ли сон или на машинерии какой вычислила (надеюсь, впрочем, что не на машинерии), мне про то неведомо. Обмануть меня нетрудно, я, когда стихи хорошие, и сам обманываться рад. Последняя цитата.



ЧЕЛОВЕК ОДИНОКИЙ

Владимир Соколов. «Сквозь снег бродячих лет моих...» Стихи. «Знамя», 1994, № 1.

Владимир Соколов. Посещение. Стихи. М. «Советский писатель». 1992, 112 стр.

Я встретился со стихами Владимира Соколова четверть века назад. Та давняя книга — «Снег в сентябре» — до сих пор со мной, в круге чтения. Обтрепалась и пожелтела мягкая бумажная обложка, но сам корпус оказался из более прочной бумаги. При желании в этом можно увидеть некоторый смысл, в случайном — проблеск некоей закономерности. Впрочем, случайность готова идти на поводу у любой нашей мысли и того или иного предпочтения. Самое удивительное, что встреча вообще состоялась: тогда я был увлечен другим поэтом.

Встреча состоялась прежде всего благодаря контрасту: оглушенный полюбившимся мне поэтом, я почти не слышал, что говорил Соколов. Но говорил что-то интересное. Что? Для этого приходилось напрягаться, прислушиваться. Сегодняшний призыв поэта: «Слух напрягите. Слушать научитесь!» — оказывается вовсе не лишним. Привыкая к высокому уровню агрессии поэтических текстов, мы вдруг оказываемся в беспомощности перед текстом с нулевой или даже отрицательной агрессией. Поначалу стихи, которые звучат «Как шум дождя (его не слушать можно), / Как снегопад (не слушать можно тоже), / Как разговор не для чужих ушей», оказываются за порогом восприятия. Так поклонники «тяжелого металла» просто не в состоянии услышать Шопена.

Если понятие «громкости» трактовать достаточно широко, то можно сказать, что именно «громкость» — чрезмерность, запредельность (за-умность, за-сердечность) — и является сегодня главным врагом культуры на ее собственной территории. Разумеется, «громкость», будучи по своей сути явлением антикультурным, может иногда выполнять и выполняет культурную работу — работу разрушения старого и закосневшего. О Владимире Соколове можно сказать, что он всегда осуществлял себя в культуре, в формах культуры.

Ненавязчивость — вот, пожалуй, самое первое и общее впечатление от его поэзии. И тем не менее его стихи впечатываются в сознание без всяких усилий.

Звучат, гоня химеры
Пустого баловства,
Прозрачные размеры,
Обычные слова.

Во время появления этих строк подлинное значение «обычных слов», пожалуй, еще не осознавалось. Для них застолбили экологическую нишу с вывеской для начальства — «тихая лирика», а Владимира Соколова провозгласили патриархом этой лирики.

Значение «обычных слов» сегодня, безусловно, возросло.

Читатель устал от шумной ярмарки тщеславий, от пестрых обложек, дешевого эпатажа, патологии, атмосферы пошлости и скандала. От всего того, что можно определить как господство скандальной славы. Но даже понемногу отходя от этого эстрадного угара, читатель не сразу — сужу прежде всего по себе — восстанавливал простейшие и жизненно необходимые реакции. И главное — способность слышать и понимать нормальный человеческий голос, без истерического аккомпанемента пижонов и канатоходцев духа.

Я должен быть не узан и не понят.
Я должен быть держащимся в тени.
Я должен быть не тем, о ком трезвонят,
А тем, кто каждой улице сродни.

Это стихи зрелого Соколова, но это же — алгоритм его поведения с первых шагов в литературе.

Самое раннее стихотворение в книге «Посещение» помечено 1945 годом, по эту только что исполнилось семнадцать. От сегодняшних стихов оно отделено подумком. Но это все тот же Соколов, все та же мелодия печали, пронизывающая

человеческое существование, все то же одиночество, все тот же снег, все тот же дождик, все те же улицы и переулки любимого города...

Если литература — оркестр, каждому автору нетрудно подыскать аналогию с музыкальным инструментом. Чаще всего это будет гитара. Есть и барабаны, контрбасы, рояли. Соколов, конечно, скрипка. Он и сам настаивает на этом.

А годы не проходят даром
И вот уже сулят тоску
Не барабанам и гитарам,
А скрипке и ее смычку.

В сущности, лишь возрастающая концентрация горечи — неизбежной приправы любой, самой благополучной жизни — отличает более поздние стихи.

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

Эта строфа из стихотворения, помеченного 1988 годом, в сущности, выросла, как из семечка, из строфы года пятидесятого.

Чего ты хочешь, умный век,
В турбины заключивший воды?
Ну лирик я, ну человек
Из вымирающей породы.

Те же рифмы, те же реки и воды, то же насилие разума над стихией, над жизнью, та же обреченность самого человеческого в человеке — лирики.

При безусловном постоянстве основных личностных и творческих характеристик очевидно также естественное и органичное движение поэта во времени. Он не выпадает из одного периода в другой, а просто течет, как река, развиваясь так, как развивается все живое, — эволюционно. Развитие идет вглубь — к сути вещей. Поэт словно припоминает вместе с ними и «подсказывает им собственную сущность» (Рильке). В его предисловии к поэме «Пришелец» об этом говорится так: «В тот странный час на серой, пустой предутренней улице, где все что-то забыло, что-то важное и теперь мучительно припоминает — карнизами, окнами, мостовой, ты должен помочь этой улице вспомнить, о чем она забыла. И в этом совместном с ней воспоминании чего-то забытого, важного и есть тот момент, когда зарождается стихотворение или поэма».

Развитие идет также вширь — за счет освоения пограничных территорий с прозой, с кинематографом. Многие стихотворения последних лет — видеофильмы, где зрительные образы создают атмосферу направленного и продуктивного размышления. Такие вещи, как, например, «Дайте мне почитать мою новую книгу», близки, пожалуй, фильмам Андрея Тарковского, во время просмотра которых, да и значительное время после них, хорошо думается. А, например, стихотворение «В том древнем итальянском городе...» могло бы существовать и как рассказ, и как киносценарий. Но жизнь внешняя, чужая все-таки остается лирическим переживанием.

Там я увидел эту женщину
С лицом измученной мадонны
И ощутил вдоль сердца трещину
От маеты чужой, бездонной.

Эта «трещина вдоль сердца» всегда присутствует в поэтическом подтексте. Возможно, без нее и нет лирика, то есть нет резонанса, совпадения собственной частоты с частотой колебаний мира, который также в трещинах и разломах.

«Печаль земли — родня людских содружеств», — формулирует Соколов. Именно печаль, присущая всему живому, и роднит людей, заставляет их теснее прижиматься друг к другу, чтобы сохранить и приумножить толику тепла, отпущенную человеку.

Владимир Соколов берет у прозы не только психологизм. Его стихи в буквальном смысле раскрыты прозаическому многообразию мира («Сколько лирики в сумрачной прозе с бесконечным ее словарем!»). И тогда появляется могучий, почти толстовский период, старающийся вобрать в себя все, что возможно.

В кафе под дождем, где по столику стук
 И капель, и клюва нахохленной птицы,
 Которая больше меня не боится
 И глаз не косит на движения рук,
 Записывать сразу сугроб и листву,
 Снежинку и каплю, и шорох газеты,
 Полночный Милан и сырую Москву
 И думать под юношескую кассету
 О друге своем, с кем порой не одну
 Минуту мы здесь проводили, бывало,
 Что, не ожидая девятого вала,
 Задумчиво бросился в третью волну
 И где-то в кафе под дождем и листвой
 На полузнакомом ему перекрестке
 Сидит и, сырую московской тоской
 Охваченный, хочет в Москву и в подростки.

Это стихотворение не только, по слову Блока, «покрывало, растянутое на остриях нескольких слов» — снег, дождь, деревья, птица, тоска, — но и одновременно узор на покрывале. В этом, мне кажется, и состоит новизна поэзии Соколова. В его стихах происходит соединение символического, подсознательного плана с вполне реальным — зримым, слышимым, осязаемым. Соколов всегда подчеркивает второй план даже у самых прозаичных и однозначных вроде бы вещей. И поэтому реальность в стихотворениях Соколова загадочна, как в сновидениях. Постоянно присутствует некий ореол, дымка, туман. Ненасилюемая реальность повернута к будущему, которое всегда скрыто, как младенец в утробе.

Если чистая лирика, в сущности, цветок, рвущийся из почвы, отгалкивающийся от нее и забывающий о ней, то лирика сегодняшнего Соколова скорее похожа на осторожно извлеченный цветок, со всеми корешками и отросточками, с осыпающейся землей, с другими растениями, в симбиозе с которыми он существует. С ним нужно срочно что-то делать — не дать ему засохнуть и погибнуть. В сущности, это сочетание эстетического и познающего начала. И на этом, безусловно, печать XX века, когда эмоция стала интеллектуальной, а интеллект — эмоциональным и когда только их единство способно обеспечить продуктивное продвижение сквозь дебри непознанного.

В этом цветке, осторожно явленном взору, видится также и другое, возможно, более важное открытие XX века. Его впервые сформулировал А. Швейцер: благоговение перед жизнью. Это качество духовно зрелой личности в полной мере проявляется прежде всего в любовном внимании поэта к малым и случайным деталям этого мира, на которые также распространяется горечь человеческого существования: они так же бrenны, как и мы. Постоянный же фон поэзии Соколова, видимый или подразумеваемый, — ночное звездное небо. Хорошо сказал об этом сам поэт: «Угол дома с кружевным углом ржавого карниза висит в космосе. Бабочка, вспорхнувшая на цветок, — вечность. Мы умираем в бесконечности и все время ждем, что будет в конце. Левитановский «Март» — крыльцо, снег, лошадка — мне часто видится на фоне черного звездного космоса, приближенного, как в телескопе. Всегда хочется поймать переход времени в вечность».

Поэт, как звездочет, стоит с поднятой головой под ночным сияющим небом. Сегодняшние гвельфы и гибеллины хватают его за рукав: ты с кем?

Ему, когда он глаз не сводит
 С отрады будущей земной,
 И в голову-то не приходит
 Спросить, озлясь: а кто со мной?

«С ним — никого. С ним только вечность». Много ли это? Достаточно ли этого и для звездочета, и для поэта?

Попытки найти что-то третье, уклониться от решающих противостояний на всем протяжении человеческой истории всячески пресекались властью имущими или претендующими на оную, осуждались нормативной моралью. Так есть ли третий путь? Есть ли в человеческом обществе группы людей или пусть даже только единицы, которые имеют право, а значит, и обязанность не становиться ни на сторону гвельфов, ни на сторону гибеллинов?

Если политика — это ветки дерева (вправо-влево), то культура — ствол, сердцевина. И человек культуры помнит прежде всего о целом, он не может отстаивать

интересы только ветки, буйно зазеленевшей именно сегодня с солнечной стороны. Он помнит о дереве, о том, что оно медленно, под присмотром звезд, поднимается к небу, и о том, что каждый порыв влево уравновешивается порывом вправо.

Если политика — это амплитуда маятника, постоянные раскачивания (от анархии к деспотизму), то культура — ось икс, постоянно укрощающая синусоиду.

Интересы людей политики совпадают с интересами групп, находящихся у власти или собирающихся ею овладеть. Интересы человека культуры совпадают не только с интересами маленького человека, который при любой власти выносит на себе все тяготы бытия, но в конечном счете и с интересами человека как вида. И в этом смысле человек культуры в своей основе космополит. Но так как человек является «эволюцией, которая осознала самое себя» (О. Хаксли), то его интересы совпадают также и с интересами всего живого на Земле. Неся такую высокую, иногда и не сознаваемую, хотя всегда ощущаемую ответственность, человек культуры представляет, в сущности, партию жизни.

Во всяком случае, остается надеяться, что политика в области культуры постепенно будет вытеснена культурой в области политики. И пока «жив будет хоть один пиит», напоминание о жизни, которая существует вне политики и не для политики, всегда будет актуально и свежо.

На нынешнем витке Истории
Неплохо обратить внимание
На две кувшинки в акватории
Пруда, лежащего в тумане.

На нынешнем витке Истории
Неплохо нежностью попотчевать
Двух редких бабочек, которые
Витают выше нас и почвы.

На нынешнем витке Истории,
На улице, на сквозняке,
На нынешнем витке Истории,
Пульсирующем на виске.

Возможно, лет двадцать назад такое стихотворение прошло бы незамеченным. Появление такого стихотворения на сегодняшних журнальных страницах («Знамя», 1994, № 1) — как поток свежего воздуха в прокуренной комнате. Владимиру Соколову присуще умение (пожалуй, все-таки талант) быть кстати. В этом проявляется не чувство литературно-политической конъюнктуры, когда автор строчит то о БАМе, то о концлагерях — только бы успеть напечатать, но прежде всего чувство жизни, острое ощущение ее назревших и еще никем не выраженных потребностей.

Какая радость в мире без надежд
И без мечты — увидеть летний ливень.

Да, человек подвержен страданию и смерти. Да, человек одинок. Современная цивилизация атомизирует индивида, разрушает все человеческие связи, делает все более трудным противостояние государственной машине. Подлинная поэзия, открывая человеку глаза на экзистенциальную ситуацию, в которой он находится, не обещает человеку рая ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем, но тем не менее рождает в нем силы, чтобы жить. Хочется вспомнить слова Рильке, сказанные им в письме к молодому поэту: «Мы не имеем никаких причин не доверять миру. У него ужасы — так это наши ужасы. У него пропасти — так это наши пропасти. Мы должны попробовать его полюбить. И то, что еще сейчас нам кажется чужим, станет нашим сокровеннейшим и вернейшим. Мы должны вспомнить те старые мифы о драконах, которые мгновенно превращаются в принцесс. Может быть, все драконы нашей жизни — принцессы, которые только и ожидают увидеть нас мужественными и прекрасными».

Мужество быть в мире в полной мере присуще и творчеству Владимира Соколова. Он один из тех немногих поэтов, кто на нынешнем сломе времен остался самим собой, таким, как был, никакими перестроениями он не занимался, и вследствие этого само его присутствие в сегодняшней культуре оказывает стабилизирующее воздействие. Оказывается, есть нити, которые не рвутся, есть судьбы, которые органично продолжают. Потому что такова структура его личности, в которой аполлоновское начало подчиняет дионисийское. Потому что он не играет роль поэта — пусть талантливо и убедительно, — но является им. В сегодняшнем мире ролей и масок — это все большая редкость.

Сегодня техногенная цивилизация, диктующая свою волю всему остальному миру, задыхается от дефицита культуры, пытается заменить ее суррогатами — массовой, всепроникающей и всеотравляющей, и — на другом полюсе — элитарной, не менее ядовитой. Творцам культуры одинаково тяжело, хотя и по-разному, при любых режимах. Но их спокойное и мужественное противостояние духу времени дарит человеку единственную надежду — на самого себя.

...Встань, человек одинокий,
 Страшного века дитя.
 Ты еще все сможешь,
 К жизни любовь затая,
 И незаметно положишь
 Душу за други своя.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

ПУШКИН В ЗЕРКАЛЕ ФОЛЬКЛОРА

Д. Н. Медриш. Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура. Волгоград. «Перемена». 1992. 145 стр.

Новая книга Д. Медриша (помеченная давно минувшей датой, но выпущенная в свет из темницы книжного склада лишь в конце года прошлого) для стороннего взгляда выглядит заранее ожидаемым подарком. Только что подарком не юбиляру-автору, а самого автора нам. При всей ветвистости научных интересов главными героями статей и книг Д. Н. Медриша всегда были двое: фольклор и Пушкин. Чего уж, кажется, безопасней и безусловней? Что меньше зависит от «смены вех», господствующих режимов, социологических схем и литературоведческих методологий?

На практике же, вблизи, эта книга (как и ее предшественницы) — работа миссионерская. Требовавшая в равной мере и дальновидения, и зоркости в микромасштабах. Дерзну сказать: вместе с лучшими работами пушкинистов-историософов, богословов, культурологов, от И. Киреевского до наших дней, труды Д. Н. Медриша готовили наше нынешнее открытие «другого Пушкина». Не Пушкина — просто социолога, просто историка, просто психолога, просто реалиста. А Пушкина, который был всем этим, но в некоем «космическом», бытийственном, «пятом» измерении.

Вот тут-то современным пушкиноведам-фольклористам приходилось особенно несладко.

Существовала в советской науке о Пушкине тема (но решительно не проблема) под ласковым именем «Народность Пушкина». Пребывала она в двух ипостасях. Либо народность эту искали в узкостилистически понимаемом фольклоризме — и тогда «Пиковая дама» или, положим, «Скупой рыцарь» из «народности» естественным образом выпадали. Или ее, народность, находили в узко-социологически же толкуемом «отражении общественных настроений народных масс». И тогда опять-таки львиную долю пушкинских произведений подверстать под подобную «народность» можно было только с помощью более или менее хитроумных трюков.

Это пошлейшее «изнародование литературы» (по известной шутке тех лет) профанировало истину. А истина именно такова: все великие писатели действительно народны. Однако не в смысле безоговорочного восхищения Пугачевым или любым иным низовым бунтом. И не в смысле досконального знания фольклора — хотя Пушкин его изучал и записывал почти профессионально. (Подробные, во многом новые материалы об этом читатель обнаружит и в книге Д. Н. Медриша.) Они народны в понимании, которое латышский поэт И. Зиедонис выразил так: фольклор учил человека ответам на «главные вопросы» бытия: зачем ты живешь на свете? Каковы законы, по которым человеку надлежит жить?..

Всякий труд, любой житейский сюжет в фольклорном мире прямо соотнесен с большими понятиями: добра и зла; жизни, смерти и бессмертия; правды и кривды. А не только лишь с «утилитарной» социологией, «частной» психологией, «неодушевленным» бытом. Поэтому и народность — чем дальше, тем больше — станови-

лась для Пушкина не специализированной «социологией», «эстетикой», даже не интеллектуальным «мировоззрением», а — образом мира.

О такой народности и написана книга Д. Н. Медриша; такую пушкинскую народность он и отстаивает и исследует во всей своей пушкиниане.

Тогда и становится очевидным, как от сказок Пушкина расходятся-растекаются мотивы, символы, сюжеты, конфликты в самых «нефольклорных» (как может показаться) направлениях и жанрах. Открытия Д. Н. Медриша тут сыплются горстями, как «чистый изумруд» в сказке о царе Салтане.

Это он, ученый-фольклорист, подметил, например, параллель между столицей на острове Буяне и столицей на Неве в «Медном всаднике». Ведь оба стольных града являются из ничего, словно по волшебству: строительство Петербурга нам не показано; царь задумал — юный град вознесся. А отсюда вырастает далеко идущий принцип зеркального контраста: между «русской утопией» Буяна (В. Непомнящий) и «русской антиутопией» заколдованного медного царства. Если же протянуть нить еще и к «Скупому рыцарю», где обезумевший от самоослепленности герой воображает себя в своем подвале царем призрачной державы, с «садами», «чертогами» и «нимфами» (от себя прибавлю: это ли не колдовские сады Черномора?), то сюжет закольцовывается и приобретает вид поистине титанический. С «Медного всадника» спадает мундир тесного социологизма — и разворачивается (сквозь разные фабулы и века) народный фольклорный сюжет испытания властью. Исполнения сверхчеловеческих по своему размаху желаний. Проверки человека этими его желаниями, которые сбываются («чудо наяву»), но тем самым открывают подлинную бытийную суть и бытийную цель своего хозяина.

Не смог Пушкин (сам Пушкин!) удержать в «Медном всаднике» петербургскую утопию; не сможет он этого и в неоконченном романе «Арап Петра Великого». Идеальному царю место только в сказке — подытожит пушкинскую «петриаду» Д. Н. Медриш. Я бы уточнила: это оттого, что только в сказке никто не принимает в расчет «текущий момент», «необходимость компромиссов», политику как заведомо «грязное дело», «величие державы» и т. д. и т. п. Только сказка с «царя» (царевича, королевича) спрашивает ровно столько же, сколько и с «псаря». Не больше, но и не меньше. Великий — вот уж где да! — демократизм сказки в том и состоит, что бытийные законы, а потому и нравственные мерки в ее мире для всех одинаковы. Ее идеальный герой призван быть идеальным человеком; тогда и счастье державы, и сама держава приходят в придачу.

Что это? Социология пушкинских — и народных — сказок? их мораль? их характеристология? их сюжетика? Все вместе, но превыше всего — это их космология.

Исследовательский метод Д. Н. Медриша не сужает Пушкина, не пригибает, не втискивает его в фольклоризм — он безмерно (и пластически убедительно) расширяет наше видение Пушкина в этом космологическом, народном «вещем зеркале».

Другой пример: открытые финалы Пушкина. Ученый особо обращает наше внимание на «нетипичную» для сказочных канонов концовку сказки о рыбаке и рыбке. В ответ на старухино требование сделать ее владычицей морскою, повелительницей самой «государыни рыбки», та ничего не отвечает, только молча уходит в море. Фольклор чаще использует иной канон: «сказано — сделано»; вещее слово есть само по себе главное и неотменяемое дело. (Не от того ли подсознательно идет пушкинский афоризм о словах поэта, которые уже суть дела его?) Но нарушения канона здесь нет. Молчаливый уход рыбки — это ее «слово», это ответ мироздания на «реплику» человека, пытающегося отменить его, мироздания, иерархию ценностей, властей, сил, «предметов».

Не получит ответа словом (получит — пулю в лоб) воевода из одноименной пушкинской баллады-переложения, когда попробует самовластно распоряжаться жизнью и смертью других людей. В молчании растворится финал «Пира во время чумы», а до того молча явится перед автором гимна чуме, Вальсингамом, видение «святого чада света». Оборванным диалогом Татьяна и Онегина, героем, оставшимся наедине с истиной, «с ее ужасной наготой» («Полтава»), завершится роман в стихах.

И так далее — что все это значит? А значит это, что мы встречаем здесь фольклорный принцип не только вещего слова, но и — в предельной, священной, последней перспективе — вещего умолкания перед высшими истинами и открытиями бытия. Пушкин в этом «исихаст», молчальник, наследник традиций «неизреченного», не только христианских, а и фольклорных. Собрат Шекспира, из тех же глубин извлекающего прощальную реплику Гамлета: «Дальнейшее — молчанье».

Можно долго и увлеченно множить примеры из книги Д. Н. Медриша — я этого делать не буду. Из двух соображений: во-первых, читатель найдет примеры сам; во-вторых, интересней обсудить, «куда ж... плыть» автору книги дальше?

Отчасти это уже видно. Сказки образуют ядро, центр притяжения, вокруг которого все наслаиваются и наслаиваются другие, несказочные пушкинские жанры, циклы, тематические группы, персонажные ряды. Работы тут непочатый край. Но мне хотелось бы повернуть «магический кристалл» пушкинского фольклоризма еще и под другим углом.

Фольклор не монолитен. Точней, он целостен в своей сердцевине, в масштабе мироздания, в крупности и непреклонности своей. Однако слишком много столетий и даже тысячелетий он насчитывает, чтобы остаться неизменным. Среди прочего фольклор пережил в себе и собой грандиозную ломку: переход от язычества к христианству. Переход этот не завершился — чем, кстати, фольклор, снова честно и крупно, подтверждает, что «христианских народов» (включая русский) на Земле покамест не обнаруживается. Вот вопрос: что же с этой кричащей, вопиющей «несогласованностью» между языческой и христианской традициями делать фольклористу-пушкинисту?

Вопрос не праздный и не специально-теологический. Сама поэтика Пушкина полна шрамов и ран от этой космической сшибки.

К примеру, баллада о рыцаре бедном, одна из самых надрывных и загадочных пушкинских вещей, — это «черный» вариант одного из самых светлых любовных сюжетов: сказки о Гвидоне и Лебеди. И там и тут перед нами история любви человека к «нечеловеку» — фольклорный сюжет неизмеримой генеалогической давности. В сказке любовь эта благополучно завершается браком, да еще с благословением «иконой чудотворной» (неувязка, которой наивно не примечает фольклор и улыбочиво «не замечает» Пушкин). Не то в христианском мире баллады. В нем между разной любовью к Богородице: набожной — и неистойвой, одержимой, «мужской», — пролегает страшная, «недоступная черта». Нигде в язычестве святая не являлась такой человеческой, как в христианстве. И как раз потому — никогда в язычестве не жгло таким безумием, соблазном, кощунством желание человека слиться с ней — старым, языческим, эротическим способом.

Пример второй: пушкинские «Бесы». Тоже стихотворение, цитируя самого же Пушкина, надрывающее сердце. Бесы в нем — нечисть совершенно по-язычески «своякая». У них собственные семейные заботы, свадьбы и похороны, игрища, песни (вой) и пляски. И являлись они также совсем по-язычески: в степи, в вихрях снежных, в мятушемся воздухе, оборотнями («пень иль волк?»). Но вот переживаются они человеком (автором? «лирическим героем?») по-христиански. Так возникает леденящий эффект: будто герой стихотворения из нашей эры «по Рождестве Христовом» проваливается на глазах в некий «бесконечный, безобразный» хаос, где не то что Христа, но и «никакого Бога не было» (М. Цветаева) — есть одна первобытная фольклорная демонология.

Опять не стану умножать примеры — вывод ясен. Стройная, изящно-«закругленная» книга Д. Н. Медриша — никак не конец, а начало. И новых поисков самого автора. И нового нашего осмысления Пушкина — когда в солнечном, когда в «перуново»-грозовом свете многовекового фольклора.

Марина НОВИКОВА.

*

МУЗЫКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Т. В. Чередниченко. Музыка в истории культуры. Курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством. М. «Долгопрудный», «Аллегро-Пресс». Выпуск I — 1994. 218 стр. Выпуск II — 1994. 174 стр.

Книга Т. В. Чередниченко «Музыка в истории культуры» — явление, пожалуй, уникальное. Не было еще такого труда, в котором охватывалась бы именно вся музыка и буквально во всех аспектах. Прежде всего отметим, что автор не знает пространственно-временных ограничений. Открывается книга с проблемы происхождения музыки — заканчивается сегодняшним днем и тем, что, возможно, будет завтра. При этом европейская культура хотя и доминирует в разворачивающейся перед читателем картине музыкального бытия, но выступает в тесной связи со всем

многообразием других культурных регионов. Нет в книге и качественных ограничений — наряду с музыкой высокой традиции (культовой и композиторской «опус-музыкой», включающей в себя как шедевры, так и посредственные и эпигонские сочинения) большое место уделено сфере бытового и развлекательного музицирования. Наконец, собственная авторская позиция в отношении рассматриваемого предмета столь же многоуровневая — от обобщенно-философского видения проблем до пристального всматривания в строительные элементы музыкальной ткани.

Уникальность книги, однако, не в самом универсализме как таковом, а скорее в моменте преодоления специфических трудностей, неизбежных в подобном роде трудах. Так, обилие материала не должно привести к хаосу представлений, в котором «все» легко может обернуться «ничем». С другой стороны, необходимо найти такие способы систематизации, которые не превращали бы текст в простой конгломерат различных ветвей музыкальной науки.

Автору настоящей книги не понадобилось задумываться над подобными вопросами, так как решение, по всей вероятности, было дано изначально. Музыка предстает доподлинно живым существом, действующим и испытывающим воздействия одновременно. Как всякий организм, она растет, развивается, выступает в различных ипостасях, но остается при этом сама собой. Придерживаясь в некоторых своих проявлениях сложившихся внешних стереотипов, в других свободно выражает собственное волеизъявление.

Автор пишет биографию музыки, подобно тому как пишется биография человека. Однако это биография не в современном смысле слова, где суть составляют сами жизненные события, порой сменяющие друг друга случайным или даже нелепым образом. Скорее можно говорить о типологическом сходстве данной книги с литературой агиографической (житийной), в которой каждое деяние героя соотносится со смыслом целого, где жизнь представлена как путь, начало которого лежит в иной плоскости, нежели осуществление, и противопоставлено последнему как вечное преходящему.

Первая часть книги посвящена рассуждениям о феномене музыки — то есть рефлексии по поводу Начала. Обычно задаваемые по отношению к искусству, «тривиальные» вопросы «что» и «как» в данной книге поднимаются до выражения категорий феноменологической философии (имеется в виду труд А. Ф. Лосева «Музыка как предмет логики», автору, безусловно, близкий). «Что» — есть «Эйдос» в Платоновом понимании этого слова: сущность музыки, наглядное изваяние ее смысла; «как» — «Логос»: метод этого изваяния и отвлеченный план его. Если «Эйдос» являет картину смысла, то «Логос» — способ соединения элементов этой картины. При этом в «Логосе» связь элементов только постулируется, «Эйдос» же дает мотивацию «Логосу» — вопрос «зачем» непременно входит внутрь «что», определяя тем самым «как».

В книге Т. В. Черденниченко технические понятия рассматриваются именно как понятия логические, выстраивающиеся в определенную иерархическую последовательность. В огромном многообразии технических средств выделяются моменты всеобщности, определяющие специфику музыки как таковой. Через «Логос» автор приходит к «Эйдосу»: «Соединение в музыке символизированных человеческих ценностей и раскрепощенного самовыражения придает ей двоякую важность: она есть и «книга» (часто даже «священная книга»), в которой запечатлены представления о последних основаниях человеческого бытия, и «игра» (в смысле театра и спорта), увлекающая своими условными правилами и обнаруживаемой в их рамках непредсказуемостью».

«Эйдос», однако, не исчерпывается только лишь данным определением. Ценность рассуждений автора заключается более всего в том, что понятия не образуют здесь сплошное целое, самодовлеющее в своей замкнутости. Между ними всегда как бы остается свободное пространство, создающее сильное поле притяжения. Понятия раскрываются в это пространство, выходя за рамки собственной понятийности, и «Эйдос» обретает живые, подвижные черты, соответствующие самому живому предмету музыки.

Таким образом, становится возможным изложение собственно «жития» музыки. Реальная ее история разворачивается по-разному: «медленно» — в «традиционалистских» музыкальных культурах, «быстро» — в «опус-музыке». Логика подобной классификации очевидна. Традиционалистские культуры, усваивающие нормы «что» и «как» бессознательно, принадлежат более области этнографии либо сторонам исторического бытия, которые так или иначе сохраняют инфантильные черты (ими об-

ладает в некоторой степени и литургическая музыка, обращенная к Отцу Небесному и рисующая образ человека, нуждающегося в защите и покровительстве). Композиторская «опус-музыка» соответствует «взрослому» возрасту культуры — здесь нормы формализуются и, следовательно, преобразуются, поскольку «предпосылкой любой инновации является дистанцирование от существующего образца, а такое дистанцирование дается только теоретическим осознанием» (вып. I, стр. 111).

Возвышение истории музыки до уровня философии истории осуществляется с помощью метода философского структурализма. Структурализм может быть выведен из феноменологии, поскольку эти два философских метода связаны между собой утверждением ведущей роли человеческого сознания, взятого с «объективной», внеличностной его стороны. Если феноменология занимается выявлением конструкций предметов в сознании, то структурализм развивает ее идеи, утверждая, что само устройство видимого мира — земли, вселенной, человеческого общества — является плодом конструктивного сознания.

Использование принципов структурализма позволяет автору обосновывать те или иные явления музыкальной культуры окружающим историческим контекстом, проводя тонкие аналогии — например, между гомофонной фактурой и проблемами личности и общества: «Личность реализует свою свободу через интеграцию в общественные структуры, но эта интеграция может и подавить личность. Так и в гомофонии: мелодия лепит свой характер в той тональной схеме, которая представлена аккордовым сопровождением, но характер может оказаться „недовылепленным“, „тривиальным“» (вып. I, стр. 86).

В данной системе совершенно естественно воспринимаются и сближения развлекательных и серьезных жанров: «Комические нестыковки, вроде голоса пионерки, которым в альбоме группы «ДК» «Неприступная забывчивость» поется заводной рок-н-ролл о «борматее», входят в общую рубрику с отработанными в большой музыке несоответствиями, например, жанра и темы (как у И. С. Баха в «Кофейной кантате»: крупная форма кантаты, имеющая к тому же церковный авторитет, использована для иронического восхваления обычной пить кофе, который в Германии времен Баха входил в моду в домах зажиточных бюргеров)».

В анализе концепций ряда русских опер автор выходит за рамки одной культуры, усматривая в глубине исторической перспективы очертания мифологических прообразов. Так, в разделе, посвященном «Руслану и Людмиле» Глинки, вскрыта сложная система взаимоотношений главных героев, основанная на двойном трагестировании сказочных и мифопоэтических мотивов. Затрагивается историческая проблематика, имеющая непосредственное отношение к опере (вплоть до вопроса о роли норманнов в судьбе русского государства).

Последний раздел книги демонстрирует тождество философского метода и предмета исследования. Отгалкиваясь от рассуждений по поводу «своего и чужого» в русской музыке, автор строит последовательную картину осознания самой музыкой Единства собственной истории. Музыка XX века направлена на уравнение «исторического детства и исторической зрелости». Новая музыка вбирает в себя все старое, смыкая начало и конец пути — то, что было вчера, идет навстречу тому, что будет завтра: «Музыка стремится продублировать номенклатуру Вселенной... Она выходит из рамок индивидуального психологизма и драматизма... Ее чувства не холодны, даже предельно интенсивны, но из них ушло все героически одинокое и патетически деятельное... Хотя Новая музыка и выведена историзированным сознанием композиторов из предшествующих исторических импульсов, в ней самой все историческое успокаивается, образ времени-истории в конце концов сходит на нет. Она — как «вечное теперь» в «Моментах» Штокхаузена или в «In C» Райли».

Труд Т. В. Чердниченко не имеет определенного адресата и в принципе обращен ко всем любознательным читателям. Сложная музыковедческая терминология отнюдь не избегается, но органично включается в круг наиболее общих понятий и категорий, обретая объяснение внутри целого и через целое. На взгляд музыканта-профессионала, эта книга принципиально нова и интересна, а для немусыканта может оказаться подлинным открытием, поскольку она способна дать глубокое представление об истинной значимости исследуемого предмета — Музыки в самом мудром и высшем смысле этого слова.

Елена СОРОКИНА.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ТВОРЧЕСТВА

Определение Александра Кушнера: пушкинский «Пророк», «сбивший всех с толку и так прославленный Достоевским, — замечательная библейская стилизация» («Среди детей ничтожных мира» — «Новый мир», 1994, № 10) — веский повод для разговора о природе вдохновения вообще.

...Истинность стихотворения, мера его лирического достоинства в значительной степени определяются интенсивностью и доброкачественностью первоначального творческого импульса. А тот, в свою очередь, зависит от многих причин, и не в последнюю — от выдержки творца, от его способности к длительному накоплению без расхода — стихотворной энергии.

Стихотворения могут создаваться, так сказать, на разных энергийных уровнях, при разном накале воображения, но имеющий ухо и поэтический опыт всегда отличит, которое из них появилось на свет «непроизвольно», то есть вдохновенно, а какое — вытянуто из небытия акушерскими щипцами настойчивого волевого усилия. Причем на поверхностный взгляд второе может быть вовсе не хуже первого (и даже лучше в смысле мастерovitости), но если за первым — годами, а то и веками — сохраняется породившее его лирическое волнение, мощный звуковой фон, эфир, «хаос», сфокусированный в текст только отчасти и текстом не исчерпанный, то «необязательное» исчерпывается мастерством, и «родительская» энергия дорасходована тут полностью. В его движении скорее улавливается скрежет маховика, раскручиваемого сознанием, с тем чтобы лишний раз пережить радость сочинительства и «отчитаться» перед гипотетическим читателем новым созданием, без чего совестливый поэт чувствует себя дармоедом.

«Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения» (И. Бродский). Все дело только в природе «ускорения»: по наитию оно или механистично.

Тем более что с годами непосредственные творческие энергии часто слабеют, поэтическая «скважина» оказывается выработанной до дна, надобно бурить новую, но для новой поэтики необходимо и обновление мироощущения; далеко не у всякой личности находятся на это ресурсы, тут речь уже идет о духовном развитии, совершенствовании — к тому же такому, которое не антагонистично стихотворчеству.

Напомню скрупулезно выписанную Пушкиным анатомию творческого процесса:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

«Плоды мечты» — «знакомцы давние» — материализуются по наитию «свободного проявленья» — вдохновения. Давно выношенный замысел, помысел реализуется сомнамбулически: «как во сне».

«В иные времена, — вспоминал Гёте 14 марта 1830 года, — со стихами дело у меня обстояло иначе. Они не жили во мне, я их не предчувствовал, возникнув неожиданно-негаданно, они властно требовали завершения, и я ощущал неодолимую потребность тут же, на месте, произвольно, почти как сомнамбула, записать их. В таком лунатическом состоянии я частенько не видел, что лист бумаги, оказав-

шийся передо мной, лежит криво, кое-как, и замечал это, лишь когда все уже было написано или мне не хватало места, чтобы писать дальше...»

Воплощенное в тексте вынашивается порою годами — это вытяжка, выжимка долгих переживаний и впечатлений, но собственно текст, стих, родится «нежданно-негаданно». «Божественный лепет... / Жестче, чем лихорадка, оттрепет, / И опять весь год ни гу-гу» (Ахматова).

Творческие паузы — иногда по несколько лет, у многих поэтов наступающие в середине жизни или поближе ко второй ее половине, — верные свидетельства выдержки поэта, не желающего стихослагательствовать механически. Наконец становится ясно: состоялось или нет «второе рождение» мастера, обрел ли он воистину новый голос. Или, не меняясь по существу (под «существом» понимаются тут, разумеется, не внешние атрибуты поэтики: новые размеры, тропы, образы и т. п., а свежее силовое поле за текстом), дотягивает на прежних запасах — лишь в силу того, что осталась наркотическая зависимость от творческого процесса и поэта начинает «ломать», ежели он долго не пишет. Тогда он варьирует и перепевает сказанное им прежде — но сказанное с первоизданной энергией. И к «основному корпусу» творчества-откровения прибавляется досадный довесок текстов, выработанных старанием и усилием, когда с трудом по сусекам наскреблось то, что раньше само охотно шло в руки.

...За каждым стихотворением позднего Мандельштама, к примеру, такое энергичное поле, что кажется, его хватит еще на много стихотворений. Мандельштам усложняет свои лирические регистры, все прилежней берет уроки у Хлебникова, отказывается от прежней акмеистической рафинированности, граничащей с приторностью, его ассоциативные ряды и метафоры диктуются подчас уже не столько смысловыми, но и фонетическими надобностями, непосредственность и публицистичность органично спаяны с изощренной лингвистикой. Неисчерпаемо многомысленна, точней, противоречива и его культурно-социальная философия.

Все это началось у Мандельштама с осени 1930 года, после пятилетнего накопления и наращивания сил, постепенного обретения могучего и полифоничного образного и речевого эфира. Конечно, новая вселенная, образовавшаяся «вдруг» в результате ослепительной и, казалось, случайной вспышки и расщепления немоты («Я дружкой был, как выстрелом, разбужен»), взаимодействовала с прежней по принципу сообщающихся сосудов, но и зажила уже своею, до преизбытка цветущей жизнью. Все стихи позднего Мандельштама насыщены ее током, наполнены иголочками и пузырьками ее озона, оживающими от каждого нового соприкосновения с текстом и заставляющими сладко сжиматься сердце:

Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей речи не только пугач для детей —
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

...А все потому, что Мандельштам обладал по отношению к вдохновению колоссальной выдержкой и писал только при наивысшем его накале. Надежда Яковлевна, на протяжении почти двух десятилетий имевшая возможность наблюдать «технологию» творчества своего гениального мужа, рассказывает: «Для поэта отказаться от работы, остановить себя, гораздо труднее, чем погрузиться в нее по первому зову. Всякий, кто пишет стихи, вероятно, знает, что в голове у поэта часто мелькают отдельные строки и даже строфы. Можно ухватиться за такую «бродячую», как их называл Мандельштам, строку или строфу и, приведя себя в соответствующее состояние, присочинить к ней еще нечто, чтобы получилось стихотворение (положа руку на сердце, большинство из нас так и пишет. — Ю. К.). Так появляются мертворожденные стихи. В период, когда Мандельштам не писал стихов, бродячих строф у него было сколько угодно, но он их даже не записывал. Он рассказывал мне об этом, когда стихи вернулись, и на вопрос, почему он не пытался использовать эти строфы, он ответил: «Это было не то» <...> Из этого разговора я поняла, какую роль для поэта играет самообуздание. У него должен быть мощный контролирующий аппарат, чтобы распознать качество и ценность импульсов».

О том же самом и Гёте говорил Эккерману: «Мой совет — ничего не форсировать, лучше уж развлекаться или спать в непродуктивные дни или часы, чем стараться выжать из себя то, что потом никакой радости тебе не доставит. <...> В поэзии насильем над собой не много сделаешь, приходится ждать от доброго часа того, чего нельзя добиться усилием воли. Так нынче в «Вальпургиевой ночи» я дал себе передышку, чтобы она не утратила своей мощи и обаяния».

Конечно, распоряжаться своим вдохновением столь по-царски — давать ему передышку, не боясь потерять, — может не каждый; в данном случае это особенно удивительно, потому что Гёте об эту пору было уже за восемьдесят и, казалось, он должен бы спешить, дожидая «Фауста».

Трагедия пушкинского Сальери, знающего «негу творческой мечты», в убеждении, что совершенство автоматически обеспечивается жертвенной усидчивостью и ее результатом — высоким ремесленным мастерством. Что ж, можно сколько угодно поверять алгеброю гармонию, но только не при ее рождении. «Алгебра» — необходимый, разумеется, инструмент гармонии, поэт обязан встречать вдохновение в осястке «алгебры», но «алгебра» ни в коем случае не повивальная бабка и не гарант гармонии.

То же дарование, которое есть, безусловно можно и углубить, и усовершенствовать, если не тратьте его попусту при каждом удобном случае. Дар — не наркотик и не идол, «дарование есть поручение» (Баратынский).

Чье же это поручение, кто и что тебе поручил?

— Никто и ничего, — досадливо отмахнутся новейшие стихотворцы, многолетние идеологические блокадники, только-только приходящие в себя на мировых променадах, на богатых тусовках и презентациях узнавшие новый вкус свободного творчества, — дайте ж нам наконец по своей глупой воле пожить.

Но и поэты традиционной складки, с изначально благополучной творческой биографией, нередко убеждены: у поэта один долг — писать хорошо. И баста.

Так-то оно так, не поспоришь. И все-таки что-то «взывает из глубины»: «Ох, бедновато!» Уж слишком тут многое вынесено за скобки: душевное богатство, духовная сила, качество мироощущения. Ежели мне скажут, что все это в подлинном поэте разумеется само собою, не соглашусь и напомню, что «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Но если начнут утверждать, что все это вообще пустой звук, что иерархии строя мыслей, чувств и нравственных движений вовсе не существует, — усомнюсь еще более.

...И вполне разделяя восхищение Александра Кушнера дивной соразмерностью поэзии нашей — человеку, ее до альбомности доходящей интимностью, все же невозможно согласиться с вышеупомянутым мнением о пушкинском «Пророке». Внутренний слух, интуиция протестуют и — «ловят» это стихотворное откровение «на волнах» проповеднических, пророческих¹.

Пушкин, Достоевский, Толстой немислимы не столько без Байрона, Дикенса, Мопассана, сколько без всей нашей духовной «инфраструктуры», сложившейся задолго до петровских времен и на глубине существовавшей и после. Пусть Пушкин не знал Рублева, пусть захвативший в Феропонтово Шевырев не заметил там Дионисия — корень их культуры один.

«У наших предков... не было ни трубадуров, ни миннезингеров, жаль, конечно, но, если бы мы их имели, не было бы целомудренной чистоты Андрея Рублева, а позднее дело не дошло бы до Толстого и Достоевского. Приходится выбирать» (С. Аверинцев).

Отделить русскую лирику от ее религиозного, патриотического, даже политического пафоса, до конца секуляризовать ее и загнать в зону «приватности» — значит проделать с ней ровным счетом обратное тому, что было сделано серафимом в «Пророке».

Конечно, слишком понятен страх мастера перед стеснениями, накладываемыми на него чем бы то ни было, и упование, что «естественные законы» сами регулируют степень творческой свободы — здравым смыслом и эстетической мерой. Слишком долго всякого рода цензуры под самыми благовидными предлогами — от моральных до идеологических — ограничивали свободу художника, уплощали его творения. Нарочито благонамеренные стишки, когда строки не напишут, рта не перекрестив, никого еще не спасали.

Но весь опыт западной культуры последних десятилетий века XX вопиет: отделить творческое сознание от сакрального — значит обесточить его, обресть на коммерциализацию, на службу стимуляции потребления, на продажу не «рукописи», но самого «вдохновения», когда побочный расчет присутствует на уровне замысла. Вот уже и новые литераторы наши, годами достойно ведшие полулегальное самиздатское существование, ныне оказались втянуты в... крутеж выживания и испод-

¹ См. об этом в отклике Ирины Сурат на страницах «Нового мира» (1994, № 1).

воль необратимо им перемолоты — за неимением, как выяснилось, нравственно-эстетического самоограничения и надежной прививки от накотившей свободы.

В конце концов самый рафинированный вид творчества — поэзия — из культуры и жизни вымывается вообще как заведомо не дающий прибýtка, консервативно мешающий эстетическому эпатажу и обывательской зрелищности. Тут от нонконформизма до конформизма не долог путь, это родные братья, объединившиеся против обскурантизма, реакции и... гармонии как списанной на свалку эклектики.

«Замечательная стилизация» по отношению к «Пророку» не уместней, чем, например, «искусная арабеска» — в отношении евангельской притчи. Низведение духовного явления до культурно-эстетической игры отнюдь не очеловечивает его, как, очевидно, представляется Кушнеру, а занижает возможности самого человека. Происходит обмеление онтологии, приручение метафизики.

«Пророк» Пушкина — о традиционном для нашей культуры понимании творческой деятельности как служения, как «поручения», где божественное и человеческое проникают друг друга. «Пророк» явно не вмещается в герметизм «слишком человеческой» изящной словесности.

Русская поэзия самодостаточна и окормительна вместе. Так ее чувствовали и Баратынский, и Пушкин, и Мандельштам, и Ахматова.

...Кушнер, не раз находивший теплые слова для многих своих сверстников-стихотворцев, назвал «мумиями» поэтические миры Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Вяч. Иванова, Белого. Кому что нравится. Но поэзия их — в ткани эпохи: вырвы — и образуются черные дыры. Сам демонизм их до наивности простодушен — в сравнении с современным имморализмом.

Но прелестные где же развратницы,
Искушенные в таинстве зла,
Люциферова воинства латницы,
Без которых и жизнь не мила?

Где вы, добрые, смелые, милые,
Для которых работал Коти?
В эти дни безнадежно-унылые
Над Невою мне трудно идти.

Неужели Кушнеру, хорошо знающему, что такое настоящее стихотворение о Питере, о Неве, и написавшему много превосходных стихов о родных местах, и эти сологубовские строки — из большевистского 1926 года — кажутся «мумией»? А по мне, тут «и жизнь, и слезы, и любовь» старика Сологуба. Несколько щемящих, во времени не остывающих бескорыстных строк — уже прекрасно.

...«Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда» — любим цитировать мы Ахматову, редко, однако, вдумываясь в смысл этих слов и, кажется, понимая так, что из любой дряни талантливый человек при случае скроит отличную пьеску, если не станет витийствовать и принимать позу пророка. Но стихи, конечно же, о другом: о произвольности творческого процесса, о том, что случайное впечатление может вдруг создать силовое поле и чудесным образом расшевелить стихослагательную энергию, что стихи — часть органического мира, естественны и неприхотливы, свежи и не нарочиты и не стыдятся этой простоты, безыскусности. Но и они, как и все в мире, не только наше, но и Божье творенье — «Как желтый одуванчик у забора, / Как лопухи и лебеда». В конце концов, это стихи о том, что Дух дышит где хочет.

Но избави Бог думать, что «сор» — это любой нечистый источник; сама жизнь, сама поэзия Ахматовой — своего рода послушание, подвиг; творчество, поэтика — на грани с аскезой. То, что Пунин писал из концлагеря (14. IV. 1942) о ее жизни, применимо и к ахматовской поэзии тоже: «Нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как Ваша <...> В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки».

Да, некультивируемость, непринужденность стихослагательства, но и — вся остальная жизнь как подготовка к нему, чтобы весь год, когда «ни гу-гу», шла невидимая работа «на повышение», вдохновение заставляло не врасплох, а во всеоружии духовного роста.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



CAHIERS DE L'ÉMIGRATION RUSSE.

1. *La première émigration russe. Vie politique et intellectuelle.* Paris. 1994. 96 p.

2. Vladimir Nabokov et l'émigration. Sous la direction de Nora Buhks. Paris. 1993.

121 p.

ЗАПИСКИ О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Славная своей историей — в качестве одного из центров русского культурного зарубежья в Париже — Славянская библиотека, а точнее Институт славянских исследований (Institut d'études slaves), выпустила первых ласточек новой серии. Принято это дело межуниверситетской Группой по изучению русской эмиграции (GREG). Созданная в 1992 году в продолжение деятельности Русской Академической группы — которая возникла на заре эмигрантской эры, в начале 20-х, и объединяла высланную из России научную интеллигенцию, с привлечением французских коллег, — GREG решила собрать тех, кто работает над историей русской диаспоры, координировать их усилия и, организуя встречи и коллоквиумы, способствовать новым начинаниям.

«Cahiers de l'émigration russe» — это отклик на перемены в России. Как формулирует в предисловии к первому выпуску Н. Струве, эмиграция — больше уже не политическое явление, перед лицом которого приходилось приспосабливаться и в зависимости от меры личной отваги выражать к ней либо предписанную враждебность, либо осторожную, осмотрительную симпатию. Отныне, со времени падения коммунизма на Востоке, эмиграция получила всеобщее признание, и прежде всего в стране ее исхода, как неотчуждаемая часть национального достояния, как носительница главных ценностей, против которых как раз и вооружалась революция 17-го года. Франция может гордиться тем, что в период с 1925 по 1940 год она привлекала и принимала все, что было лучшего в религиозных, философских, политических, литературных и художественных кругах России; именно во Франции русская эмиграция написала в свою историю наиболее славные страницы...

Выпуск I — «Первая русская эмиграция. Политическая и интеллектуальная жизнь» (по техническим причинам вышедший после второго) появился в итоге проведения двух встреч в ноябре 1991 и мае 1993 года. В выпуск вошли статьи: Сабина Брюйяр (Breuillard), «Политическая жизнь русской эмиграции, 1919 — 1945: ее судьба», Хильда Хардеман (Hardeman), «„Мир и труд“: иллюзия *modus'a vivendi* между советским режимом и его оппозиционерами»; Даниель Бон (Beaune), «Федотов и парижская эмиграция, 1925 — 1939»; Никита Струве, «Петр Струве в эмиграции»; Режи Гайро (Gayraud), «Разыскания об Илье Зданевиче» (футуристе-«заумнике»); Валерий Познер, «Архивы Познера во Франции»; Дмитрий Шаховской, «Положение источниковедения по истории и литературе русской эмиграции». На лицо многоохватность тем, масштабность вопросов и существенность изучаемых фигур. Как замечает в предисловии Н. Струве, «Павел Милюков, его идеологический противник Петр Струве, их младший современник Георгий Федотов — три известных имени, три разных аспекта политического действия и политической мысли: соответственно, радикальной и позитивистской; консервативной и либеральной; социальной и христианской».

Статья Х. Хардеман — это глава из фундаментального труда, посвященная животрепещущему вопросу «смены веж» и интеллектуального приспособления к коммунистической идеологии и реальности. Исследование архива Соломона Познера, дружившего с Горьким, Ремизовым, Ходасевичем, во Франции сотрудничавшего с Милюковым в «Последних новостях», открывает немалые перспективы. Обзор

Д. Шаховского (напечатанный по-русски) послужит несравненным путеводителем по издательским центрам русского зарубежья, познакомит с их деятелями вплоть до сегодняшнего дня. По словам самого автора, «цель данной статьи — дать общий историко-хронологический обзор главных пособий, при помощи которых возможно изучение культурного наследия русской эмиграции». И задача эта выполнена превосходно.

Выпуск II — плод проведенного в ноябре 1992 года коллоквиума по теме «Набоков и эмиграция». Здесь тоже сгущение материалов, сюжетов и проблем: Нора Бюкс, «Эмиграция Набокова», Михаил Геллер, «Набоков и политика»; Андре Монье (Monnier), «Набоков в пушкинском зеркале», Жорж Нива, «Набоков и „вдруг немислимый конец“» (тайна смерти и бессмертия в творчестве Набокова); Нора Бюкс, «Двое игроков за одной доской: Вл. Набоков и Я. Кавабата»; Никита Струве, «Был ли Набоков автором «Романа с кокаином»?» (очередная его работа на эту тему); Даниель Бон, «Публикации Набокова и изменения в направлении журнала „Современные записки“», Лора Трубецкая, «К другим берегам: от „Камеры obscura“ к „Смеху во тьме“»; Марианна Гург (Gourg), «Диалогизм и идентификация в „Соглядатае“» (роман сопоставляется с «Записками из подполья» Достоевского); Евгений Кушкин, «Возвращение «Дара» в Россию»; Леонид Геллер, «Художник в зоне мрака: «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных») Набокова»; Изабель Пулен (Poulin), «Тошнота Владимира Набокова и презрение Жан-Поля Сартра» (о скрытой полемике между двумя писателями).

Но как хорошо, что за всем богатством тем и ракурсов не упущен главный вопрос, редко до конца обнаруженный, но всегда встающий при одном только упоминании имени Набокова: что это за личность в литературе и что за литературу она представляет?

«Эмиграция Набокова, — пишет Нора Бюкс, — это не только факт его биографии, его поэзии и прозы, это природа самого его искусства». За первые же романы, которые он писал на родном языке, литературная критика российского зарубежья упрекала автора: это что-то совсем нерусское. И не без оснований. По отношению к русской литературе с ее гуманистическим пафосом, этическим и социальным проповедничеством Набоков встает в вызывающую позу, он афиширует волю к разрыву с ее моральными традициями. Границы, принятые повествовательной русской прозой, были дерзко нарушены «новой поэтикой» Набокова. Он сам удаляется в художественную эмиграцию, порывая с миром отечественной литературы. И возвещая об этом: «Писатель имеет только один действительный паспорт: свое искусство». В зрелом творческом возрасте Набоков предпринимает еще одну, лингвистическую, эмиграцию, отрываясь от русского языка. Итого: одна принудительная эмиграция и две добровольные.

Однако приготовимся к следующему подарку — на горизонте третий выпуск серии «Сahiers...», собранный по следам коллоквиума, проходившего в Париже в ноябре 1993 года и посвященного Льву Шестову. Ждем.

Р. Г.

●

CONTEMPORARY RUSSIAN POETRY. A Bilingual Anthology. Selected, with an Introduction, Translations and Notes by Gerald S. Smith. Bloomington and Indianapolis. 1993. 353 p.

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Видимо, одна из наиболее полных и представительных антологий современной русской поэзии (параллельные тексты оригиналов и переводов). Отобрано 186 стихотворений 23 поэтов, среди которых Слуцкий, Окуджава, Корнилов, Рейн, Бобышев, Горбаневская, Кушнер, Ахмадулина, Лосев, Чухонцев, Бродский, Шварц. Антология снабжена краткими биографическими справками и библиографией.

С. К.

¹ Статьи М. Геллера, Л. Геллера и вторая статья Н. Бюкс напечатаны на русском языке.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Давид Бурлюк. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. Публикация, предисловие, примечания Н. А. Зубкова. СПб. Пушкинский фонд. 1994. 383 стр. 2000 экз.

Бхагавадгита. Перевод с санскрита, послесловие, примечания, толковый словарь Б. Л. Смирновой. СПб. «А-сад». 1994. 600 стр. 8000 экз.

Поль Валери. Юная Парка. Стихи, поэмы, проза. М. «Текст». 1994. 239 стр. 30 000 экз.

Вардван Варжапетян. Баллада судьбы. Повесть о Франсуа Вийоне. Франсуа Вийон. Стихи. Переводы Ф. Мендельсона, И. Эренбурга. Примечания Ф. Мендельсона. М. Издательство «НОЙ». 1994. 304 стр.

Своеобразный двухтомник под одной обложкой — художественное жизнеописание поэта и его избранное. Издательство предполагает издать в таком виде избранное Овидия, Ли Бо, Нарекаци, Омара Хайяма вместе с биографическими повестями о них Варжапетяна.

Константин Воробьев. Убиты под Москвой. Повести, рассказы. Составление, подготовка текста С. Воробьевой. М. «Художественная литература». 1994. 382 стр. 25 000 экз.

Т. Вулф. Взгляни на дом свой, ангел. История погребенной жизни. Роман. Перевод с английского И. Гуровой, Т. Ивановой. Таллин. М. «Скиф Алекс». 1994. 622 стр. 25 000 экз.

Ромен Гари. Избранное. Переводы с французского Е. Гольшевой, В. Орлова, И. Кузнецовой. Предисловие А. Зверева. Рига. Издательство «Полярис». 1994. 655 стр. 10 000 экз.

Сборник знаменитого французского писателя русского происхождения Романа Касева (1914 — 1980), единственного в мире обладателя двух Гонкуровских премий, — результат литературной мистификации, когда писатель выступил под псевдонимом Эмиля Ажара. В книгу вошли романы «Корни неба», «Жизнь впереди» и эссе «Жизнь и смерть Эмиля Ажара».

Геннадий Головин. Чужая сторона. Повести, рассказы. М. СП «Квадрат». 1994. 604 стр. 25 000 экз.

Грем Грин. Конец одного романа. Перевод с английского Н. Л. Трауберг и других. СПб. «Северо-Запад». 1994. 428 стр. 10 000 экз.

Василий Гроссман. Все течет... Последняя проза. Составление, предисловие Л. Лазарева. М. «Слово». 1994. 378 стр. 10 000 экз.

Р. Гуль. Азеф. Роман. М. Редакция журнала «Семья и школа». 1994. 320 стр.

Гэндзи-обезьяна. Японские рассказы XIV — XVI веков Отоги-дзоси. Перевод с японского М. В. Торопыгиной. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проспект». 1994. 270 стр. 10 000 экз.

Джон Донн. Избранное: из его элегий, песен и сонетов, сатир, эпиталам и посланий. Перевод Г. Кружкова. С добавлением гравюр, портретов, нот и других иллюстраций, а также предисловие и комментарий переводчика. М. «Московский рабочий». 1994. 174 стр. 5000 экз.

Замок Монсальват. Легенды европейского средневековья. Пересказали В. Маркова, Н. Гарская, С. Прокофьева. М. «Энигма». 1994. 350 стр. 25 000 экз.

И. Ильф, Е. Петров. 1001 день, или Новая Шахерезада. Повести, рассказы, очерки, фельетоны. М. «МиК». 1994. 414 стр. 30 000 экз.

Юрий Кублановский. Число. Стихотворения. М. Издательство Московского клуба. 1994. 400 стр. 5000 экз.

М. Кураев. Зеркало Монтачки. Криминальная сюита в 23-х частях, с интродукцией и теоремой о призраках. М. «Слово». 1994. 320 стр. 3000 экз.

Наследники Вюльфингов. Предания Германских народов средневековой Европы. В пересказах Е. Балобановой, О. Петерсон. М. «Аргус». 1994. 496 стр. 100 000 экз.

Евгений Попов. Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину. Роман. М. «Текст». 1994. 224 стр. 10 000 экз.

Первое книжное издание самого значительного, может быть, из написанного до сих пор писателем; плод совместного творчества Евгения Попова и художника Вячеслава Сысоева. Известность роман получил после первой же — журнальной — публикации («Волга», 1989, № 2). Разбор этого романа, сделанный Владимиром Потаповым, появился в № 10 «Нового мира» за 1989 год.

Поэты группы «ОБЭРИУ». Вступительная статья М. Б. Мейлаха. Биографические справки, составление, подготовка текста, примечания М. Б. Мейлаха и др. СПб. «Современный писатель». 1994. 638 стр. 3000 экз.

Алексей Слаповский. Я — не я. Саратов. Издательство журнала «Волга». 1994. 410 стр. 10 000 экз.

Кроме романа «Я — не я» в книгу вошли повести «Война балбесов», «Здравствуй, здравствуй, Новый год».

Александр Солженицын. В круге первом. Роман. М. «Голос». 1994. 732 стр. 50 000 экз.

Марк Шагал. Моя жизнь. Перевод с французского Н. С. Мавлевич. Послесловие, комментарий Н. В. Апчинской. М. «Эллис Лак». 1994. 208 стр. 50 000 экз.

Воспоминания охватывают детство, юность, проведенную в Витебске, начальный период уже полноценной творческой жизни до момента отъезда из России. Перед нами не мемуары в обычном смысле этого слова, а книга, написанная не только великим художником, но и талантливым писателем. Издание богато иллюстрировано графикой Шагала.

Борис Чичибабин. Цветение картошки. Книга лирики. М. «Московский рабочий». 1994. 190 стр. 5000 экз.

Антуан де Сент-Экзюпери. Сочинения. В 2-х томах. М. «Согласие». 1994. Том 1 — 540 стр. Том 2 — 558 стр. 10 000 экз.

Кроме широко известных вещей двухтомник предлагает первое книжное издание одного из центральных в творчестве Экзюпери произведений — романа «Цитадель» (перевод М. Кожвниковой). Впервые на русском языке роман был опубликован журналом «Согласие» (1993, № 1 — 12; 1994, № 1).

П. У. Энквист. Библиотека капитана Немо. Роман. Перевод с шведского А. Афиногеновой. М. «Радуга». 1994. 192 стр. 5000 экз.



Арфы на вербах. Призвание и Судьба Моисея Береговского. Москва — Иерусалим. «Гешарим», Еврейский университет в Москве. 1994. 232 стр. 5000 экз.

Моисей Яковлевич Береговской (1892 — 1961) — музыковед-фольклорист, подвижническая жизнь которого (исключая лагерные годы) была посвящена изучению и собиранию уходящей культуры еврейского фольклора; им были собраны и записаны тысячи песен и множество еврейских народных песен для народных театров. В сборник вошли статьи и письма Береговского, воспоминания дочери, документы к биографии исследователя. А также небольшая часть собранного им фольклорного материала — ноты и тексты (на идиш и на русском языке) песен, уникальная запись пуримшпиля (народной оперы) «Голиас-шпиль». Сборник составлен Эдой Береговской. Издание подготовлено Асаром Эппелем.

Анне Ворст. Конец Штази. История одной секретной службы. Перевод с немецкого Р. С. Лобачева и В. П. Милютин. М. «Возвращение». 1994. 270 стр. 1000 экз.

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. Евгений Александрович Гнедин и о нем. Мемуары, дневники, письма. Составители В. Гефтер, М. Кораллов. М. «Мемориал». 1994. 176 стр. 2025 экз.

Мемуары и записки бывшего дипломата, а затем — лагерника с судьбой исключительной даже по меркам отечественного ГУЛАГа, историка, диссидента. Отрывок из воспоминаний Гнедина об аресте и содержании в Сухановской тюрьме опубликован в «Новом мире» («Себя не потерять» — 1988, № 7).

Евангельский текст в русской литературе XVII — XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов. Петрозаводск. Издание Петрозаводского университета. 1994. 391 стр. 3000 экз.

Составлен на основе материалов I Международной конференции «Евангельский текст в русской литературе...», проходившей 7 — 12 июня в Петрозаводске. «Евангельский текст...» рассматривался как в христианском, так и в антихристианском контексте истории России. Анализировалось творчество русских писателей от Пушкина и Жуковского до Платонова и Пастернака. В сборнике представлены петрозаводские ученые, среди которых — В. Н. Захаров, а также гости: Ю. Бёртнес (Норвегия), С. Оливье (Франция), И. А. Есаулов (Москва) и другие.

Мир Пушкина. Том 2. Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к мужу и отцу. 1831 — 1837. Перевод, подготовка текста А. Андрес, Н. Сперанской. СПб. Пушкинский фонд. 1994. 256 стр. 8000 экз.

Р. Пайпс. Русская революция. Часть 1. Авторизованный перевод с английского. М. РОССПЭН. 1994. 398 стр. 5000 экз.

Андрей Платонов. Кн. 1: Воспоминания современников. Материалы к биографии. Кн. 2: Мир творчества. Составление, подготовка текстов, примечания Н. В. Корниенко, Е. Д. Шубиной. М. «Современный писатель». 1994. 2000 экз.

И. Родионов. Тихий Дон. Очерки истории донского казачества. Предисловие В. Н. Запевалова. СПб. «Дмитрий Булавин». 1994. 196 стр. 5000 экз.

Ж. П. Сартр. Проблемы метода. М. «Прогресс». 1994. 240 стр. 5000 экз.

Митрополит Антоний Сурожский. О встрече. СПб. «СТИСЬ». 1994. 265 стр. 10 000 экз.

Сборник бесед и интервью, частично публикуемых впервые, частично опубликованных в журналах «Звезда», «Литературное обозрение» и других, в том числе и в «Новом мире» («Без записок», 1991, № 1).

Художники русской эмиграции (1917 — 1941). Библиографический словарь. Авторы Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. СПб. Издательство Чернышова. 1994. 592 стр. 5000 экз.

В словарь вошло более 400 биографических очерков. Содержит справочный и библиографический разделы.

Д. Шарп. Незримый ворон. Конфликт и трансформация в жизни Франца Кафки. Перевод с английского. Составление, редакция В. В. Зеленского. Воронеж. НПО «МОДЭК». 1994. 127 стр.

Составитель С. КОСТЫРКО.

ПОПРАВКА

В № 9 нашего журнала за 1994 год в рецензии на книгу стихов Нобелевского лауреата Нелли Закс «Звездное затмение» допущена досадная оплошность. В выходных данных этого уникального издания (книга вышла в количестве 999 экземпляров) не назван Израильско-Российский Энциклопедический Центр, без материального вклада которого встреча поэта с русским читателем просто не состоялась бы.

М. Борщевская.

SUMMARY



In this issue we are publishing short stories and narratives by modern Russian prosaists: «The Caucasian Captive» by Vladimir Makanin, «Astronomy of Insects» by Mikhail Butov, «In Our Alms-House» by Grigory Petrov.

The poetry section is presented by poems of provincial authors Evgeny Karasev, Mikhail Sopin, Elena Yagunova, Sergei Vasiliev, as well as by the texts of ten songs written by Dmitry Sukharev for the play «In the Busy Place» by A. Ostrovsky.

Russian spiritual folk songs are collected and commented upon by Olga Yukecheva, with a foreword by Dmitry Pokrovsky.

In the section «New Translations» we are publishing the short story «Hapworth, 16, 1924» by J. Salinger (translation by Inna Bernshtein).

In the section «Essays of Our Days» we are finishing publication, started in 1994 (Nos. 1, 3, 6, 9), of the series of travel notes by Boris Yekimov about the Russian province.

The section «Publicistics» presents the essay «New Democracy or New Dictatorship?» by politologist Igor Klyamkin, as well as «Reflections About Liberalism» by Dora Shturman.

In the section «Comments» G. Fedorov presents the book «Nina Karsov's Diary», published in Russian in London.

In the section «Writer's Diary» we are finishing publication of the chapters from the book «The Revived Word» by Vitaly Shentalinsky (see the beginning in No. 3), describing the circumstances of life and personality of M. Gorky on the basis of the materials from the KGB's archives.

The section «Literary Criticism» is presented by the essay «The Shadow of Amarcord» by Nikita Yeliseev about some tendencies in modern autobiographic prose, with works by Yury Nagibin, Mikhail Kuraev, Inga Petkevich cited as an example.

In the section «By the Way» we are publishing polemical reflections by Alla Marchenko on the novel «Eron» by Anatoly Korolev.

In the section «Book Review» Dmitry Bak reviews the novel «Requiem to a Living Man» by Alan Cheresov; Vladimir Slavetsky reviews a book of poems by Olga Sedakova; Valery Lipnevich reviews the one by Vladimir Sokolov; Marina Novikova reviews the book by D. Medrish on Pushkin's works; Elena Sorokina reviews a manual of the history of music, by Tatiana Cherednichenko.

In the section «Editor's Mail» Yury Kublanovsky enters into polemics with the notes by poet Aleksandr Kushner (No. 10, 1994).

Our traditional sections «Foreign Books About Russia» and «Bookshelf» are also to be found in this issue.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев** (зам. главного редактора)

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Пугинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.12.94 г. Подписано к печати 10.2.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отг.), 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 25.850 экз. Зак. 702. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
АННА АННЕНКОВА. Впервые в Европе (пристрастные впечатления);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

В. И. ВЕРНАДСКИЙ. «Коренные изменения неизбежны...» (дневник 1941 года);

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ. Рассказы (из наследия);

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Роман воспитания;

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Однофамильцы (рассказ);

ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Три дома Петра Капицы (воспоминания);

СЕРГЕЙ КИРИЛОВ. О судьбах «образованного сословия» в России;

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);

ЮРИЙ КУВАЛДИН. Ворона (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Тогда меня звали Вольдемар и Вилли;

Т. Г. МОРОЗОВА. В институте благородных девиц (воспоминания);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман);

ВАЛЕРИЙ СЕРДЮЧЕНКО. Прогулка по садам российской словесности;

ФРЕД СОЛЯНОВ. Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании;

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская музыка и геополитика;

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в России;

Е. Р. ЭЙГЕС. Записки о Сергее Есенине;

ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ. Известные тексты и материалы;

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ. Письмо из Солигалича в Оксфорд (роман);

а также новые произведения АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, БОРИСА ЕКИМОВА, ИГОРЯ КЛЯМКИНА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА, ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ, ЕВГЕНИЯ СТАРИКОВА, ИРИНЫ СУРАТ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ!**